

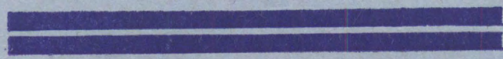
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

1985

1

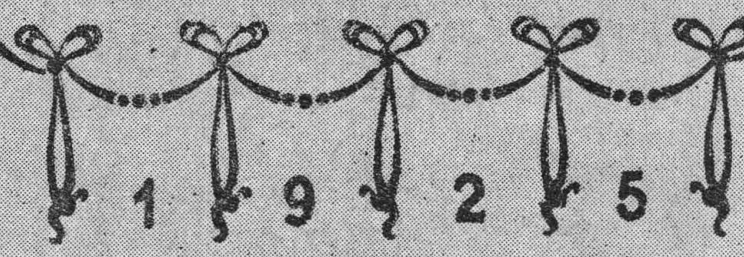


1985

Н О В Ы Й
М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

1





НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОЛЛЕКТИВУ, АВТОРСКОМУ АКТИВУ И ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОГО МИРА»	5
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — <i>Игра</i> , роман	6
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — <i>Из лирики</i>	74
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — <i>Стихи</i> . Перевел с аварского Яков Козловский	78
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — <i>Спящий</i>	83
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ — <i>Раздумья</i> , стихи	97
УИЛЬЯМ СТАЙРОН — <i>И поджег этот дом</i> , роман. Перевел с английского В. Гольщев	101
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — <i>Неопубликованные стихи</i> . Публикация Г. А. Су- ховой-Мартыновой. Предисловие Сергея Залыгина	160
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ПРИКАМЬЕ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧ	168
МИХАИЛ ШЕВЧЕНКО — <i>Поэзия молодого города</i>	169
ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО — <i>Очерк про очерк</i>	175
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
С. В. БЕЛОВ — <i>Вокруг Достоевского</i> . Предисловие Д. С. Лихачева	192
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. ВОРОНСКИЙ — <i>Серго Орджоникидзе в Праге</i> . Публикация Г. А. Ворон- ской. Предисловие Евгения Сидорова	216

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СЕРГЕЙ АБРАМОВ — Война и журнал . О страницах «Нового мира» сорока-летней давности	225
ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ — А. В. Луначарский — редактор и автор «Нового мира»	234
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Бочаров . Внутренний свет.	
В. Хмара . О времени и о себе.	
Василь Быков . Талант ученого — талант художника.	
<i>Политика и наука</i>	
Г. Шахназаров . Всего дороже.	249
С. Меринов . Наше общее достояние.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
В. Су слов. — Инесса Буркова. «Я — должен!». Повесть о Николае Бирюкове. ◆	
Татьяна Бек. — Кавкасиони. Литературный сборник. ◆	
Г Петрова. — Вацлав Михальский. Тайные милости. Романы. ◆	
Е Полякова. — Т. И. Бачелис. Шекспир и Крэг. ◆	
Петр Черкасов. — Э. А. Арсеньев. Франция под знаком перемен. Очерки о классовой борьбе в современной Франции. ◆	
М. Буянов. — В. М. Блейхер. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. ◆	
В. Бабушкин. — Ю. К. Мельвиль. Пути буржуазной философии XX века	257
ЛЕТОПИСЬ «НОВОГО МИРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ	263
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

КОЛЛЕКТИВУ, АВТОРСКОМУ АКТИВУ И ЧИТАТЕЛЯМ «НОВОГО МИРА»

Дорогие товарищи!

Секретариат правления Союза писателей СССР горячо поздравляет вас с шестидесятилетним юбилеем журнала.

1 января 1925 года вышел первый номер «Нового мира». Это стало заметным явлением в культурной жизни молодого Советского государства. Литературно-художественному и общественно-политическому журналу «Новый мир» со времени его создания принадлежит большая, достойная роль в развитии советской многонациональной литературы. На его страницах впервые были опубликованы неизданные рукописи В. И. Ленина о диктатуре пролетариата, выступления видных деятелей Коммунистической партии и Советского государства.

«Новый мир» вправе гордиться тем, что он первый напечатал многие произведения основоположников литературы социалистического реализма М. Горького и В. Маяковского, крупнейших мастеров слова М. Шолохова, К. Федина, А. Твардовского. Многие произведения, опубликованные в «Новом мире», вошли в золотой фонд советской литературы, являясь высокими достижениями нашей социалистической культуры. Благородную традицию обнаружения наиболее примечательного, что создается нашими писателями, публицистами, литературоведами, «Новый мир» заботливо сохраняет и приумножает.

Свою важнейшую задачу журнал видит в том, чтобы неустанно способствовать формированию духовного мира советского человека, его идейно-нравственному совершенствованию. «Новый мир» последовательно укрепляет связи литературы с жизнью народа, обращается к самым насущным проблемам коммунистического строительства, не уходит от постановки острых, злободневных проблем.

За время, прошедшее после принятия постановления ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства», журнал опубликовал ряд значительных произведений, разнообразных по тематике и жанрам. В преддверии сороковой годовщины Победы советского народа над фашистскими захватчиками видное место на страницах журнала заняла тема Великой Отечественной войны. Журнал уделяет большое место содержательным публицистическим выступлениям на междуна-родные темы.

Руководствуясь основополагающей речью Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К. У. Черненко на юбилейном пленуме Союза писателей СССР 25 сентября 1984 года, «Новому миру» необходимо сосредоточить внимание на произведениях, отражающих коренные вопросы внутренней и внешней политики нашей страны, на главных направлениях социального, экономического и культурного развития советского общества.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполнении поставленных перед вами задач.

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

ИГРА

Роман

Глава первая

В такси по дороге из аэропорта Крымов чувствовал недомогание, испарина выступила на висках, было душно, жесткий воротничок прилипал к потной шее, и он несколько раз опускал стекло с ожиданием облегчения, откидывался на заднем сиденье — тогда летний сквозняк, пропитанный теплыми выхлопными газами, обдувал его влажное лицо.

Он смутно удивлялся праздному многолюдству в эти часы на остановках автобусов, у магазинов (когда же люди работают?), видел утреннее сверканье солнца в листве, в стеклах витрин, а перед глазами каруселью вращались другие улицы, витрины, столики на тротуарах под тенью красных тентов, другие толпы, одетые в пестрое, цветное, другое солнце, знойное даже в раннее время. И эта сверкающая, как в дурмане сна, карусель высокомерно стирала, чем-то унижала скромность московских улиц, всегда грустно трогающих при возвращении из заграницы домой. Но неприятно было то, что в прошлые свои приезды он не ощущал такого болезненного удушья в горле, как будто подкатывали и застревали невылитые рыдания. Он не понимал, что происходило с ним, готовый смеяться над собой и презирать себя за сентиментальность, для которой не было причин.

Да что такое? Ведь все было прекрасно в этом гостеприимном Париже — шесть дней праздничной заграничной шумихи, ни к чему не обязывающих приемов, кондиционированных кинозалов, коктейлей, дискуссий, ночных шоу в кабаре со сладко-пахучим багровым полумраком, бархатными диванами, бледными женскими телами на сцене, а утром тщательное бритье, в завтрак две чашки кофе, придающих бодрость, просмотры фильмов и наконец — почетный приз за режиссуру, неожиданный и ожидаемый. Все было на фестивале удачным и благосклонным, но от этих приятных и сумбурных дней за границей оставался вязкий привкус горечи и стыда, о чем не хотелось вспоминать.

Он закрыл глаза, стараясь настроиться на прежнюю московскую жизнь, на ее привычный ритм, где снова студия, худсоветы, подготовка к съемочному периоду, но почему-то нарастало раздражающее беспокойство, и он подумал: «Я вернулся раньше срока и два дня отдохну дома».

Но когда уже подъехали к дому на Ленинском проспекте, повернули во двор под ветви тополей, когда он вошел в каменную

прохладу подъезда, в исцарапанную кабину лифта, затем увидел знакомую лестничную площадку и обитую коричневым дерматином дверь с кнопкой поющего в передней звонка, он не мог преодолеть томившее его чувство, сдавливающее горло слезами, и вынужден был для успокоения немного постоять на лестничной площадке.

Он позвонил четырехразовым звонком (семейный шифр), прислушался и позвонил вторично, ожидая услышать за дверью голос жены, дочери или сына, однако за дверью — тишина, ползли невнятные шорохи в квартирной пустыне: дома, по-видимому, никого не было.

«Счастливыми объятиями меня встречают любимая жена и любимые чада», — подумал он, усмехаясь.

И, открыв дверь своим ключом, втащил чемодан в переднюю, опавшую теплотой домашней пыли, увидел себя в зеркале, утомленного, и вдруг почувствовал, что все-таки ему неожиданно-негаданно повезло. Да, он чертовски устал, и хотелось побыть одному, и помолчать, и полежать на диване в бездумной расслабленности, и полистать журналы, просмотреть газеты, пришедшие за его отсутствие письма.

Сбросив пиджак, он прошелся по комнатам. Ясно: семья уехала на дачу, окна во всей накаленной квартире были наглухо закрыты, закупорены шторами. Всюду стояла спертая духота, кое-где на паркете, на коврах, на мебели лежали проникшие в щели штор солнечные нити, а в кухне с незанавешенным окном пахло горячей клеенкой, и счет за телефонный разговор, упавший на пол с тумбочки, пожелтел на солнцепеке, полузакрученный в трубочку.

Каждый раз, когда он возвращался из заграницы, было ощущение длительно прожитого вдали ненастоящего, придуманного игрой жизни периода, и ему, переутомленному этой игрой, надо было в разговорах с друзьями освободиться от чего-то коктейлеобразного, многоречивого, ресторанного, чем вынужден был заниматься некоторое время, теща честолюбие, наслаждаясь собственным любопытством.

И сейчас хотелось смыть с себя душевно тяжкую и вместе игрешечную усталость от своих улыбок, интеллектуальной болтовни, парфюмерную сладость чужого туалетного мыла, в котором было нечто нарочито женственное, химический запах синтетики, пропитавший парижские кинозалы и номер отеля, — все, что было уже прожито.

Холодный душ омывал его дождевыми иголочками, вода плескалась с весенним, свежим шумом. Дверь в ванную была открыта, и, казалось, морское эхо отдавалось в пустой квартире. Растираясь полотенцем, он босиком ходил по комнатам, голыми пятками по нагретому паркету и, еще не одеваясь, в столовой сказал вслух: «Ладно, все пройдет и все проходит», налил рюмку коньяка, вышил, колючая волна ожгла его, и как бы стало легче.

Потом он лежал на диване в кабинете, просматривал вынутые из переполненного почтового ящика журналы, газеты, разные приглашения на встречи, на выставки, разбирал письма, но не читал их, проглядывал лишь обратные адреса, надеясь встретить знакомую фамилию. И, будто споткнувшись глазами, с медлительностью отложил на угол журнального столика голубоватый конверт, где резко бросился в глаза незнакомый официальный штамп: «Главное управление Министерства внутренних дел», сразу вызвав у него скользкую тревогу.

«Значит, началось снова... вернее — все продолжается?» И, помедлив, Крымов надорвал конверт, бегло прочитал, что ему, Крымову Вячеславу Андреевичу, следует явиться 4 июля (это же через три дня!) к следователю Токареву по адресу Петровка, 38, второй этаж,

комната 200-я, имея при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. «Зачем второй раз? Мы уже встречались с ним на студии. Да, Токарев Олег Григорьевич, воспитанный умный молодой человек с аккуратными усиками. Но что бы со мной ни было, я на Петровку не поеду, милый Олег Григорьевич, я не хочу, чтобы вы стали тенью того, что случилось».

Он в раздумье отложил повестку и начал проглядывать рецензию на фильмы парижского фестиваля, чувствуя какую-то фальшивость принятого минуту назад решения и вульгарную искаженность в оценке своего фильма, наивное противопоставление «социалистической нравственности и душевной чистоты жестокости западных героев, внутренний мир которых напоминает пустую раковину».

«Ну и ловкие ребята наши рецензенты, только зачем этот жалкий примитив?— И Крымов сердито засмеялся, отчетливо вообразив мясистое лицо знаменитого американского режиссера, по родам выходящего из России, человека талантливое и ядовитое, показавшего на фестивале потрясший всех фильм «Содом и Гоморра» о гибели сумасшедшего дома, что символизировало смерть человечества, утраченного милосердие.— Мой оппонент Джон Гричмар похохотал бы со мной вместе. «Чистота», «нравственность», «высота» — какие стершиеся слова, бог ты мой, взяли мы себе в доказательство и защиту, вооружились ими с ног до головы. Мы, избранные, присвоили себе ангельскую непорочность, невзирая ни на что, оставив все сатанинское за бугром».

Он уже с раздражением начал читать другую рецензию, где вновь замелькали назойливые фразы о сексе, патологии, безнравственности в фильме Джона Гричмара, и не дочитал до конца, отбросил газету, повторяя вслух:

— Кретинизм, черт бы его взял, кретинизм...

Они вместе получали премии, вместе приглашались на ланчи (два режиссера двух великих держав), каждый вечер встречались в баре отеля после просмотров кинокартин и, встречаясь, угощали друг друга виски и водкой больше чем надо, хотя американца перепить было невозможно, две ночи по приглашению Гричмара провели в клубах, всякий раз спорили о судьбах России, до взаимной неприязни разьединенные противоположностью позиций и в то же время чем-то объединенные, может быть, неутоленным любопытством одного к другому.

Вторая ночь в клубе была особенно изнурительна яростными спорами, чрезмерностью питья и зрелищ, а утром в вестибюле отеля перед просмотром он с больной головой листал на столике «Пари-матч», моля обстоятельства освободить его сегодня от коктейлей, туго завязанного галстука, от разрушительного яда Гричмара и дать возможность передохнуть, сделать вдох и выдох, бездумно побродить по вечерним улицам Парижа. Огромный вестибюль, не с французской, а с восточной роскошью застеленный толстыми коврами, американское роскошество зеркал, широкие кресла, диваны, обитые красной синтетической кожей, движение фигур возле стеклянных дверей и конторки портье, приглушенные голоса, горькие и теплые запахи сигарет и духов — все было обычным для отеля, виденным не раз Крымовым в других странах, и он изредка скользил взглядом по знакомым и незнакомым лицам продюсеров и режиссеров, до гладкости выбритым или бородатым (два равно встречающихся типа лиц в современном мире), по затянутым спортивным фигурам кинозвезд и неизвестных знаменитостей, прелестным, молодым и молодящимся, со следами ночи в чересчур блестящих глазах. Но что-то мешало его привычному наблюдению; то ли тяжесть в голове, то ли ртутная яркость в глубинах зеркал, и он видел одновременно всех в этом про-

странстве утреннего вестибюля, собравшихся после завтрака, и вдруг покрылся испариной, подумав, что все они вместе замечают его наблюдающий взгляд. Он перевел внимание на страницу в «Пари-матч» и в ту же минуту услышал их смех, снисходительно-насмешливые фразы, они говорили о его невежливом любопытстве, с каким он не имел права разглядывать их, и тотчас почувствовал почти физическое прикосновение на своем лице. Он поднял голову от журнала и увидел, что кто-то из группы продюсеров и режиссеров смотрит на него со спокойной пристальностью, кто-то очень знакомый, с проседью, в сером костюме, человек, которого он не однажды встречал. «Я знаю его, но кто это? Кто?» И точно выныривая из давящей толщи, он стал постепенно узнавать прическу, лоб. седину в волосах, галстук, стараясь встретиться с человеком глазами, но отдаленные глаза не встречались, были в тени, оттуда неподвижно смотрели в его сторону — и с внезапно окатившим потом слабости, боясь, что задохнется сердце, он понял наконец, на кого похож был этот человек...

Несомненно, причиной галлюцинаций могло быть нервное перенапряжение, он слышал о разного рода стрессах у людей его профессии, но не знал, что подобное бывает именно так. «Невозможно, глупости, чепуха! Дурман какой-то!» И тогда он встал, бросил журнал на столик и, переживая решимость военных лет, твердо и прямо пошел к этому человеку, стоявшему в толпе продюсеров. Но человека в сером костюме уже не было... На его месте стоял французский режиссер Клод Мелье, сухой, жилистый старик фривольного вида, что придавали ему подкрашенные куцые ресницы, он не без светской любезности поклонился Крымову, показывая еще влажные от туалетной воды, мастерски начесанные на плешь волосы. И неизвестно зачем Крымов тоже поклонился, выдавил любезно: «Бонжур, мсье» — и, справляясь с неловкостью, прошел мимо в конец вестибюля, к бару, там, как всегда, увидел за стойкой Джона Гричмара, обрадованно замахавшего рукой. Гричмар пришел в этот миг как спасение: «О, я тебе рад, Вячеслав!»

Через день нечто похожее повторилось в самолете, где, казалось, все заграничное, превышенно пестрое, ежедневно связанное с душевным напряжением, тратой сил, кончилось, и в полупустом салоне родного Аэрофлота с милыми стюардессами было светло, легко, слышалась русская речь... Было удивительно и то, что здесь, на девятикилометровой высоте, оказались две мухи, они ползали по стеклу иллюминатора, до золотистости освещенные солнцем, а по горизонту огромно слепили застывшей курчавостью облачные торосы, и плоская равнина нижних облаков представлялась Ледовитым океаном, сквозь прорехи которого в немислимой глубине едва виднелись затопленные подводные города, волоски дорог, темные леса.

Крымов смотрел на гигантские лохматые айсберги, на мух, ползающих по иллюминатору, и было весело думать о несоответствии величественной высоты, стерильной белизны облаков и двух путешественниц, залетевших в салон либо в Шереметьеве, либо в аэропорту Орли. Как? Для чего залетевших?

И подумав об этом несоответствии и неизбежном «зачем», увидел с наслаждением и особой ясностью самого себя неизвестной властью освобожденным от самолета, от его стали и материальности, от кресла, в котором сидел (но сохраняющим эту позу в воздухе), увидел себя летящим над белой пустыней, беспредельным сиянием облаков, омываемым ветром и солнцем.

«Я знаю, что со мной было,— уверял он себя, силясь объяснить свое состояние. — Была реализованная в моем сознании мечта. Мне всегда хотелось иметь летательный аппарат вроде одноместного вертолета. И иногда страстно хотелось в конце дня уйти от всех, подняться с земли, лететь без дорог, опуститься где-нибудь на сказочной

поляне, угасающей под закатом, где лесная тишина смотрится в озеро... Но в связи с чем я подумал об этом? Тогда в вестибюле отеля я увидел себя — праздного человека, хорошо одетого, умеющего творить чужие чувства, но лишнего за границей, — и стало не по себе... Чем объяснить, что я сейчас явственно испытал давление воздуха в лицо, ветер полета, мучительное замирание в груди и полное освобождение от материального?..»

Стройно покачиваясь на каблучках сапожек, улыбаясь встречающей улыбкой, подошла стюардесса с подносом, на котором пузырилась в бокалах минеральная вода, спросила, не хочет ли он боржом, — она приблизилась к нему из светлого салона (вот оно, прекрасное, материальное в образе женщины), а он молчал с нежеланием улыбнуться ей в ответ, слушать милый щебет, смотреть на это внешне совершенное молодое существо, знавшее, откуда он возвращается, и видевшее его фильмы. Все стало грубо реальным по сравнению с мукой томительного замирания в освобожденном полете над белизной закрывших землю облаков. Он отказался от боржома, попросил коньяку и отвернулся к иллюминатору. Этой замкнутости Крымов раньше с собой не замечал. Он на минуту прикрыл глаза, и в гуле, реве реактивных моторов почувдился сатанинский вой, крик и плач жертв, духовые оркестры, смешанные с симфоническим громом. Крымов пытался уловить, запомнить какую-то определенную ноту, но железная музыка ежесекундно менялась, нарастала до гигантского рыдания, гремела в уши, как угрожающий всему миру звук вселенной, и он продолжал думать в полуяви: «Ирина... Все сместилось после ее гибели...»

А по стеклу иллюминатора ходили солнечные спектры, беловолосая стюардесса расстелила салфетку, по-прежнему улыбаясь юными губами, вновь спрашивала его о чем-то, он не расслышал, равнодушный к еде и этой ее заученной улыбке. И тут мелькнула неожиданная мысль, что сейчас захлебнутся реактивные двигатели, самолет гибельно споткнется в воздухе и всей стальной массой начнет валиться вниз, падая с высоты.

Как страшно закричит она эта стюардесса с юными накрашенными губами (никто их уже не поцелует никогда), и как страшно, дико, предсмертно закричит весь салон!.. «А я? — задумался он тогда. — Что сделаю я в тот момент? Буду ждать последнего удара и прощаться с жизнью? Я знаю хорошо, что не буду кричать и молить о пощаде...»

Он поморщился, глядя на мух, ползающих по стеклу иллюминатора и ему захотелось вернуть нарушенное счастливое состояние — парение, как во сне, голубиным перышком на воздушных волнах, когда нет ни страха, ни обязанностей — какое блаженство!

«Страх? Я подумал о страхе?»

Телефонный треск будто ударил его в висок, и, за неделю отвыкший от телефонных звонков, он, стяхивая дремоту, вскинулся на диване. машинально потянулся к трубке на журнальном столике. И тотчас отдернул руку — пока еще никому не было известно, что он в Москве а первый разговор по телефону из дома — это уже быт, обязанность, забота. Ольга не знала, что он приехал на два дня раньше, поэтому не могла звонить с дачи.

И он снова лег мечтая погрузиться в блаженное плавание забывтья, но повторный звонок заставил его снять трубку.

— Да, — тихо сказал он, оживая услышать бодрый голос директора картины Молочкова, и поторопил, удивленный осторожным дыханием в трубке: — Да, я слушаю, говорите, не стесняйтесь, если уж набрали номер!

— Это я-а, — протяжно запел почти детский голос, засмеявшись. — Здравствуй, папа. Ты приехал? А я позвонила наугад — и

неожиданно ты подходишь. Просто потрясающе! Мы на даче. По просьбе мамы я звоню тебе из автоматной будки возле пляжа. Она предчувствовала, что ты приедешь. Я рада, папа...

— Танька, милый мой пес,— заговорил Крымов растроганно, с внезапной хрипотцой. — Я тебя не видел и не слышал целое столетие. Как вы жили без меня? Как мама?

— Мама? Потрясающе.

— В каком смысле потрясающе?

— Я думаю, что мама — самая красивая женщина в мире, и она очень скучала без тебя. Это по секрету. Не выдавай. Знаешь почему? Вечерами одна сидела в твоём кабинете и читала... О ужас! — Она озорно завизжала. — Тут к автомату подошла целая компания за мной и монеткой стучат в стекло. Папа, я рада, и мы тебя ждем! Пока! Машина в гараже. Мы добрались на электричке.

— Передай маме, что я задержусь по делам в Москве, приеду завтра,— сказал Крымов и, слушая звуковые пунктиры в трубке, опущенной дочерью в неведомой автоматной будочке возле загородного пляжа, внятно ощутил вкус Ольгиных губ, ее вопросительный взгляд, темных глаз снизу вверх, когда она подставляла губы при встрече, ее ласково-спокойное: «Ну вот и ты», — и с неприязнью к себе подумал, что способен не говорить ей правду, скрывать то, что унизило бы ее, не виновную ни в чем.

И насильно взбадриваясь, он соскочил с дивана, раздернул теплую штору, раскрыл окно в солнечную искристость тополиной листвы, вдохнул асфальтовый жар городского дня. Лицо защекотал тополиный пух, летевший по всему юго-западу Москвы, поплыл в кабинете, и Крымов сдунул пух со щеки, подошел к зеркалу, сделал гримасу, удовлетворяясь тем, что утром в отеле тщательно побрился перед выездом в аэропорт. В свободные дни он не любил неопрятности, которую допускал во время работы, забывая бриться и отдавая предпочтение заношенным курткам и свитерам.

«Знаю ли я его? — подумал он иронически, узнавая в зеркале усталого, седеющего человека с прищуренными серыми глазами, кровно родственного, знакомого и вместе с тем незнакомого, и вдруг вспомнил утренний вестибюль отеля, того, другого человека с несвежим лицом в толпе знаменитостей, праздного, хорошо одетого, чужого здесь, и содрогнулся от стыда, от бессмысленности шести дней в Париже. — Что же это за дьявольщина? Кажется, я живу какой-то нереальной, косвенной жизнью. Хожу, ем, произношу слова, езжу за границу, получаю никому не нужные премии, а душой там, в том страшном июньском дне, когда погибла Ирина».

Глава вторая

Как обычно, он вошел в приемную уверенной походкой человека, знающего, что здесь, перед солидно обитой благородной кожей дверью, не пропускающей студийные шумы в недра директорского кабинета, его встретит неизменно приветливая, аккуратно причесанная секретарша, и в ее сопровождении он войдет в кабинет, обласкиваемый издали всплеском рук Балабанова, басовитым возгласом: «Ба, кто к нам собственной персоной!» — и, распространяя уважительную доброту, умиление, из-за огромного письменного стола выкатится жизнерадостным старым ежом Иван Ксенофонович и распахнет объятия, точно готовый умереть тут же, на месте, от забывшего в его кабинете ослепительного солнца.

В это утро Крымов, несколько разбитый после скверной ночи в Париже и после самолета, вошел в приемную Балабанова, с некоторым усилием выказывая секретарше дружелюбную беспечность: «Как самочувствие, Ниночка?» — и тотчас что-то новое передалось ему в

ее вялой ладошке, в пустоватом взоре поверх его головы, и было что-то новое в ее фразе, когда, не пропустив его, она мгновенно скрылась за дверью: «Я сейчас узнаю». И через минуту, кивком пропущенный ею в кабинет, он почувствовал, что ветер, должно быть, изменил здесь направление со дня его отъезда во Францию.

— А, заходи, заходи, парижанин! — проговорил грудным басом Балабанов, против обыкновения сидя за столом, не подымая ежеподобной головы от бумаг, которые вроде бы сосредоточенно читал, и рукой махнул на кресло против стола. — Прошу. С приездом. Остальные послезавтра прилетают? Н-да-с. Поздравляю с международным призом. Капитализм гнилой отметил, и слава богу. Пусть чихают и утираются. Ну а что раньше времени прискакал, Вячеслав Андреевич? Париж есть Париж, модные женщины, роскошные витрины, бары, кавальдос... — продолжал он гудящим голосом, углубленный в бумаги, прикрывая опущенными бровями крошечные глаза. — А ты раньше сроку? Неясно-с. Игривый город, игривый... Н-да-с!

И Крымов, увидев эту фальшивую занятость, равнодушное небрежение, чего даже в намеке нельзя было представить месяц назад, сел в кожаное кресло и нетерпеливо поморщился при последней фразе Балабанова:

— Кто-то хорошо сказал о Париже: город городов...

— Бары, витрины, кавальдос — ребяческая сказка для взрослых дураков, — с досадой перебил Крымов, бросая недокуренную сигарету в чистейшую пепельницу на столе Балабанова, наполненную скрепками. — Вы, насколько я понимаю, серьезно заняты, Иван Ксенофонтович? Может быть, зайти, когда вы освободитесь от увлекательного чтения? Назначьте время — я подожду.

— Н-да-с, дорого куплен контрабас... Н-да-с, все мы дураки.

Балабанов раздвинул одутловатые веки и астматически задышал, засучивая рукава сорочки, как для борьбы, недовольно повел раскосмаченными бровями в сторону пепельницы, затем, словно дохлую мьппь, взял двумя пухлыми пальцами окурочек и бросил его в мусорную корзину под столом, поплевал на пальцы.

— Н-да-с, сожалею, бросил курить пять лет назад, — проговорил он напоминаяще и в настороженной рассеянности пошевелил бумаги на столе. — Чем мне обрадовать вас, многоуважаемый Вячеслав Андреевич? Очень хотел бы обрадовать, очень, но — чем?

— Ничем сверхъестественным, — ответил Крымов, еще не вполне догадываясь о причине этой сухости и уклончивости Балабанова. — Раньше срока я приехал из игривого, как вы заметили, города только потому, что через месяц начинаются съемки моей картины. Меня интересует сейчас главным образом только это, — договорил Крымов, подчеркивая нежелание подделываться и подстраиваться под что-то новое, создавшееся в его отсутствие, и, подчеркнув «только это», спросил официально-любезным тоном: — Надеюсь, Иван Ксенофонтович, на студии не изменилось отношение к моему сценарию? Если изменилось, то в чем?

— Всею душою хотел бы вам помочь, всею душою... — Балабанов с опущенными веками перебирал скрепки в пепельнице, мял их. — Но... Неужто вы не понимаете?..

— Я хочу понять, — с тихой вспыльчивостью произнес Крымов, — что вы решили с моей картиной, черт возьми?

— Н-да-с, не хочу огорчать, — сурово проговорил Балабанов и опять астматически, свистяще задышал, засучивая рукава на бревнообразных волосатых руках. — Как вы можете снимать через месяц картину, Вячеслав Андреевич, после таких трагических обстоятельств, вы уж меня извините?.. После гибели Ирины Скворцовой у вас нет главной героини. На грешную землю опуститься придется. Н-да-с, дорого стоит контрабас!

— Оставьте свои контрабасы, Иван Ксенофонтович,— сказал Крымов холодно.— Вы со мной неискренни. А я хочу, чтобы вы объяснили мне, что произошло вокруг картины, и прошу не лгать мне и не водить за нос, с вашего разрешения.

«Почему я сказал «лгать»? С какой стати?»

— А я хочу заметить, что директор студии пока еще я,— выговорил Балабанов, плотно багровея, отчего седой ежик его волос рядом с малиновой багровостью широкого лба приобрел первозданный цвет выпавшего снега.— Не вы, извините, а я отвечаю за производство. И за вашу картину в том числе, Вячеслав Андреевич! Несмотря на вашу известность, которая, смею сказать, вскружила вам голову! — крикнул он толстым басом, все так же тревожно копясь короткими пальцами в пепельнице среди скрепок.— А вы, как можно понять, не хотите нести никакой ответственности за свою картину, как будто вам все позволено! Шалите, шалите, Вячеслав Андреевич, очень уж как-то!..

— Ответственность? Шалю? — пожал плечами Крымов.— Нелепость!

— А, не притворяйтесь и не наивничайте, Вячеслав Андреевич! — Балабанов отодвинул пепельницу, веки его вздернулись, и оловянного цвета глаза поискали что-то на переносице Крымова, загораясь колючим огоньком.— Я зависимый человек и, как бы я к вам ни относился, ничем не могу сейчас помочь, несмотря на ваши требования не лгать,— проговорил он оскорбленно и еще гуще побагровел.— Я сожалею... И сомневаюсь, что эту картину придется снимать вам. Это уже не в моей компетенции.

— Сомневаетесь? Почему? А в чьей компетенции?

— Вы отдаете себе отчет, Вячеслав Андреевич, что в связи с тем, что произошло в вашей съемочной группе, вам угрожает суд? Или вы считаете, что на вас, известного человека, не распространяются советские законы?

— То есть?

Он произнес «то есть», и душное чувство стало надвигаться тоской, неумолимым рычажком поворачиваться в его душе, что началось месяц назад после того рокового дня, когда, казалось, надолго приостановилось естественное движение жизни и он, Крымов, не скоро вернется к работе. Но перед отъездом во Францию был часовой разговор с Балабановым, сожалеющим о происшедшем, скорбно сочувствующим, заинтересованным в продолжении работы над фильмом, и эта исходившая теперь от директора студии стеклянная официальность, которую он из осторожности не часто применял, вызвала у Крымова усталое отвращение.

— По-моему, вы сказали — суд? — проговорил Крымов, притворно выказывая удивление.— За что же меня хотят судить?

Балабанов перестал копошиться в скрепках, раздраженно махнул лопатообразной ладонью.

— Позвольте вам доложить, Вячеслав Андреевич,— заговорил он задыхающимся басом,— что и меня приглашали в следственную, так сказать, инстанцию... по поводу того невиданного... невероятного... Я говорю об этом трагическом... Об этом чрезвычайном деле...

— Выражайтесь немного яснее, Иван Ксенофонтович. Я вас с интересом слушаю.

— Как выяснилось, Вячеслав Андреевич, вы были в интимных отношениях с трагически погибшей актрисой Скворцовой, потому и взяли ее на главную роль...

— Если это и так, хотя это не так, то какое это имеет отношение к чрезвычайному делу, как вы изволили деликатнейшим образом выразиться?

«Странно — я время от времени вижу себя со стороны,— подумал Крымов, разглядывая щекастое, налитое кровью лицо Балабанова и вместе с тем немного затуманенно видя себя в кресле напротив стола — свое лицо с тенями утомления под глазами, летний костюм, голубоватую, свежую, но ставшую влажной под мышками сорочку.— Сколько лет вот этому человеку с сединой в волосах? И похож ли он на respectableного убийцу любовницы, что может присниться Балабанову, или, может быть, на героя детективной французской картины из жизни самовлюбленных интеллектуалов? Как глупо это, как глупо!»

— А вы внятнее поясните, Иван Ксенофонович, что конкретно вы имеете в виду? — повторил Крымов бесстрастно.— И что вы можете утверждать, не зная ничего? Вернее, не зная ни хрена, говоря по-солдатски. Прошу за грубость прощения великодушно...

— Осторожней, осторожней! — басовито выкрикнул Балабанов и затряс тяжелыми щеками, не подымая головы.— Вашими, так сказать, делами, мягко выражаясь, сомнительного свойства занимаются другие организации, а я не желаю ими интересоваться! Что же касается вашего безнравственного действия по отношению к водителю студийной машины Степану Гулину, то здесь...

«...то здесь он, как директор студии, делает выводы. Впрочем, со стороны смешно и непостижимо: я ударил шофера? Интеллигентный человек... Но что бы сделал этот благоразумный Балабанов, когда она лежала без сознания на траве в мокром купальнике, а машины на месте не было? Что он, Балабанов, сделал бы, увидев кольца губной краски на окурках чужих сигарет, торчащих из пепельницы в дверце машины, наконец прибывшей через сорок минут? Испытал бы он ту ярость против шофера, куда-то уехавшего, вероятно подвозившего дачников, а она в это время умирала? Да, непостижимо. Но Балабанов, этот многоопытный лицедей, два лика, актер в кресле! Должно быть, поэтому мне неприятен его вибрирующий бас, его краснота лба и шеи, его ежеподобная голова и, главное, его ежовые глазки, которые он прячет, сохраняя солидность, опасаясь посмотреть на меня. Он умывает руки».

— Вполне могу вообразить, как вы перестрадали в серьезном учреждении, отвечая на вопросы. Я приношу извинения за доставленные вам неприятные минуты,— насмешливо проговорил Крымов, глядя на беспокойно заелозившие брови Балабанова, и вновь увидел себя в затянутой туманцем дали: овал бледного лица, поза в кресле — и больно колющее предупреждение впервые серьезно обеспокоило его: «Что же я — до предела устал? И не могу выйти из штопора? Так я пропаду».

Балабанов сказал густо:

— Не испытывал удовольствия, отвечая на вопросы, н-да-с!

— Вы недоговорили: дорого стоит контрабас. Однако, надо полагать, ваши ответы не были черного цвета. Поэтому я не спрашиваю, Иван Ксенофонович, что и как вы отвечали. Я хочу другое знать: что вы решили с фильмом в дни моего отъезда?

— Сожалею. Снимать вы пока не будете.

— Что значит «пока»?

Крымов оттолкнулся от подлокотников и быстро встал с напряженностью, с секундной темнотой в глазах («О, как мне нехорошо, какая слабость!»), и тотчас перед ним — через стол — возникла неуклюжая фигура Балабанова, покатоплечего и толстого в поясе, всполошенно поднятого из кресла силой какого-то страха, смывшего багровость с его лица. И Крымов, дивясь смешной мысли, представил, как растерянно вскрикнул бы басом и отшатнулся, опрокидывая кресло, этот осторожный еж Балабанов, если бы только одним пальцем погладить его по крупному носу, говоря: «Милый вы страдалец за истину».

— Извините за резкость,— сказал Крымов, насмешливым наклоном головы успокаивая Балабанова.— Во всех смыслах вы не сдерживаете буйную фантазию, и это вас далеко уводит. Так что значит «пока»? — выделил он.— Пока, пока... Пока я не осужден, пока не в тюрьме, ответьте: кто принял это решение? Вы? Комитет по делам кинематографии? Посоветовало серьезное учреждение на Петровке?

Балабанов надел пиджак, висевший на спинке кресла, и, внушительно застегиваясь, затягивая круглый живот, как корсетом, заговорил со свистящим дыханием:

— Я тоже прошу извинения, уважаемый Вячеслав Андреевич! Мне надобно сейчас уезжать. Но!.. Помилуйте! — И он сделал плачущее лицо, затоптался подле кресла, растопыривая руки.— Помилуйте, дорогой! Неужели после того невероятного, что произошло, вы еще надеетесь? Вы еще требуете? Вы еще иронизируете? Да вы по земле ходите, Вячеслав Андреевич? Да вы отдаете себе отчет, в чем вас обвиняют? Я ведь уважал и любил вас...

— Обвиняют? — холодно удивился Крымов и договорил с увеличенной учтивостью: — Благодарю за полуискренность последней фразы. Я отдаю себе отчет, что не вы решаете мою судьбу, Иван Ксенофонтович. Всего наилучшего!

«Какой бессмысленный, несуразный разговор! Зачем он нужен был?»

Перед отъездом на парижский фестиваль Балабанов пригласил Крымова в кабинет и, угощая чаем, добродушно шевелил бровями, наставительно убеждая, что в данное время, кроме него, послать к капиталистам некого, а ему после всего случившегося развеяться надо, и полезно на буржуазию поглазеть и себя показать, и какой-либо приз наверняка в Москву привезти, на что надеются и он, Балабанов, и люди повыше. Говоря так, он тыкал чайной ложечкой в направлении потолка, похохатывал, прихлебывал чай, и обычная его шумность, оживленное засучивание рукавов (точно нетерпеливое приготовление к важному делу) — все было знакомо Крымову не один год, все должно было говорить, что Балабанов добрый старикан, меценат, либерал с известной особенностью моментально багроветь и от удовольствия и от негодования, громогласно басить на подчиненных, что, в общем-то, не приносило вреда никому, ибо он не был любителем кляуз и интриг на студии, всякий раз сглаживая, заминая возникающие обострения в съемочных группах.

Но сейчас Крымов выходил от Балабанова с ощущением тупого разрушительного наваждения, обманной подмены старой реальности нелепой новой, еще полностью не осознанной им. А едва он переступил порог директорского кабинета, секретарша в приемной с неприкрытым лицом дернула плечиком, затем деланно ласково сказала кому-то солидному, длинновласому, в замшевой куртке, сидевшему на диване («Заходите, товарищ Козин!»), и тот, вскользя и озлобленно глянув на Крымова, поплыл к двери с достоинством оскорбленной знаменитости, которую заставили долго ждать.

«Экий глупец этот Козин,— подумал Крымов, узнав режиссера с телевидения, неизменно льстиво-приветливого при встречах, расплывающегося в медовых улыбках и неузнаваемого с этим пронизанным высокомерной злобой взглядом.

Однако более всего мучило потом то, что по давно заученному методу быть безобидно дружелюбным, безобидно ироничным с коллегами он по инерции кивнул Козину и со стыдом проклял свой кивок, вроде имеющий значение слабости, и даже приостановился в приемной.

— Не сердитесь на старого глупого старикашку, не поимейте обиду, о, великие соплеменники! — сказал он ернически-умиленно,

с монашеским истовым поклоном, ставшим почему-то в последнее время модным, как и сентиментальные мужские лобызания в актерской среде, и, робко покашляв в кулак, ссутулясь, бормоча «чичас я, чичас», услужливым жестом лакея из пьесы прикрыл из коридора дверь, с удовольствием заметив при этом обмершие лица Козина и секретарши.— Клоун, паяц, грошовый актер,— сказал он вслух и засмеялся в полутемном коридоре, презирая себя за то, что было противно ему, но с чем не мог и не хотел справиться неизвестно почему. «Да что это? Из меня прет какое-то паясничание! Как будто я в гордыне лишаю всех способности быть разумными людьми. И какой же второй человек во мне подсказывает эту игру, которая противна моей душе?»

Но идя по коридорам студии в съемочную группу, попадая то в затемненные туннели коридоров, то в солнечные обвалы обильного света на стеклянных галереях, за которыми открывался студийный двор (а там над тополями счастливым сиянием стояли летние облака), он вдруг вспомнил день гибели Ирины, похожий на этот день жарой, блеском, зеленью. Тогда он тоже шел в съемочную группу, а она ждала его в комнате директора картины, чтобы поехать в Спасский монастырь на освоение природы, где предполагалась съемка эпизода. В тот день он шел вот по этому коридору не сомневающимся в прочности всего земного человеком, и было утреннее, свежее настроение. Все было удачно, прекрасно, найдена и утверждена актриса на роль главной героини, и съемки должны были начаться в августе.

Теперь в закоулках и переходах многочисленных коридоров ему поминутно встречались знакомые лица, одни будто бы случайно отворачивались с деловым выражением спешащих людей, другие, похоже было, здоровались неуловимым движением подбородка, иные жадно засматривали прямо в зрачки с остренькой неутоленностью любопытства, что терзало многих, готовых и защищать и осуждать его за щекочущую нервы тайну смерти молоденькой и талантливой актрисы.

Глава третья

Зимой она жила на Ордынке, у родственницы, но в начале лета переехала в простенькую гостиницу «Балчуг», сохранившуюся на Пятницкой, против старого моста через Канаву. Это был уголок относительно тихий, замоскворецкий, где, мнилось, понемногу кончалось буйство центральных улиц с их бегущими толпами на переходах, неумным сверканьем машин, грохотом, вонью выхлопных газов, очередями за мороженым и соком, переполненными до банной духоты кафе, людскими круговоротами на Театральной площади, в Столешниковом, на Петровке. Уже близ гостиницы узкие улочки по ту сторону Канавы напоминали бывший купеческий город некой обманчивой уравновешенностью, крошечными булочными с тюлевыми занавесками в витринах, старомодными зеркалами парикмахерских (опахивающих из дверей облаками «Шипра»), древними липами, еще оставшимися там, где раньше были заборы, арками ворот, голубятнями в заросших травой двориках. Эту часть Москвы с открытым небом, не всюду уродливо и прямоугольно загороженным американоподобными чужестранцами, Крымов снимал в довоенных эпизодах картины о сорок первом годе и полюбил скромный уют этих не полностью разрушенных переулков и тупичков.

А когда в воскресный полдень он подъезжал к «Балчугу», то с радостью узнавания замечал и жидкую тень деревьев на сонной набережной, и сонную воду Канавы, и брызжущую радугу поливальной машины, недоумевая, зачем она придумала встречу в гостинице, ве-

роятно прожаренной солнцем в эти часы. Но вспомнив ее весело закинутую голову, уголки ее губ, поднятые улыбкой, ее театральную фразу, брошенную с наивной скоропалительностью: «Назначаю вам деловое свидание в „Балчуге"», он понял, что это игра, в которой ей интересно и приятно было его участие. И он согласился не без любопытства, и в вестибюле гостиницы молодой портье не остановил его, не спросил, к кому он идет, только кивнул приветливо, видимо предупрежденный ею, а когда на втором этаже дошел по малиновой дорожке до ее номера в конце коридора, сразу вообразил за дверью маленький номер, зеленый от лип за окнами.

— Пожалуйста, входите. Я жду. Но, к сожалению, без бального платья. Меня можно простить?

Он увидел в раскрытую дверь ее взгляд, устремленный ему в глаза с выражением веселой доверчивости, что рождало и сложность и простоту в общении с ней.

— А не так ли встречались в добром девятнадцатом веке? — сказала она и сделала реверанс. — Здравствуйте, Вячеслав Андреевич.

— Ну что ж, пусть так, — согласился Крымов небрежно и не сдержался, легонько обнял ее, чувствуя, как она вздрогнула в растерянности, вся отдалась его рукам, опасливо прижимаясь к нему и, казалось, даже озябнув от этого объятия. — Где бал имеет быть? — спросил он намеренно заинтересованно. — И куда ехать прикажете?

— Я сейчас все продумаю и посоветуюсь кое с кем, — сказала она строго и отошла, коснулась носом зеркала и вздохнула. — Нет, нет, не хочу на бал. Оставим его до вечера. Карета подождет. А не поехать ли нам в Австралию? Во-первых, на каждом шагу чудесные кенгуру с кенгурятами...

— И, как это ни странно, люди ходят вверх ногами, — сказал он простодушно. — Но, может быть, нам стоит заменить Австралию на что-нибудь отечественное? Сокольники, например. Побродим там, пообедаем, а потом поедem на студию. В три часа нас ждут. Сделаем кинопробы. Кинематограф интереснее Австралии, Ирина, вы это увидите.

— Согласна на отечественное. Без общества кенгуру.

Он долго не был уверен, что она даст согласие сниматься. В тот год была снежная зима, лютые морозы, метельные вечера в однокомнатной квартирке ее родственницы, уехавшей в Архангельск, и медленное узнавание, поражавшее его.

В один ненастный вечер он отпустил такси на углу, пошел пешком по Ордынке, закутанный с ног до головы метелью, еле видя впереди на тротуаре светлые пятна от окон, где вьюжную пыль закручивало спиралями, а вверху мимо скрипящих фонарей снег то плыл наискось, то пронесился белыми волнами, и везде было ярое хлещущее неистовство. А он шел, наваливаясь на ветер, и в нем подымалось ощущение физической полноты жизни, здоровья, непонятого умиления. Он позвонил, она открыла дверь, он снял в передней заснеженную, продутую стужей дубленку, возбужденно сказал:

— Зима.

Она вскинула глаза, в них промелькнуло выражение счастливого соучастия.

— Метель на улице, да?

— Метель.

— Снег кружит?

— Снег.

— Холодно, и, наверно, фонари... скрипят и качаются. Хорошо сейчас ехать куда-нибудь в поезде и слушать вьюгу, правда? А я вас

очень долго не видела. Целую вечность. Вы как будто вылезли из са-ней, и от вас пахнет стелью.

И она прислонила ладонь к его холодной щеке.

— Но уверена, вы ни по кому не скучали. Пожалуй, забыли обо всем на свете на своей студии среди суеты.

— Суета была,— сказал он и опять не сдержался, обнял ее, целуя в изгиб шелковисто-мягкой брови.

— Я хочу, чтобы вы не уходили сегодня,— прошептала она, отодвинулась с затаенным страхом, села на диван и по-детски погрозила пальцем ему, затем самой себе, смешно говоря: — Спятели оба. Ко-нец света.

Он тоже сел рядом, а она тихонько легла, вытянула руки, спро-сила загадочным шепотом:

— Скажите, в чем смысл жизни?

— То есть? В каком смысле?

— В торжественном.

— Вы думаете, Ирина, что кто-нибудь может ответить точно?

— Но ведь все-таки должен быть какой-то главный смысл в том, что происходит между вами и мной. Вы ведь меня не любите. Разве не так?

Она прикусила губу, и ее зеленые глаза незащищенно засвети-лись лукавым непониманием.

— Нет, я спрашиваю не то. Скажите, неужели вам что-то ин-тересно во мне?

— Ну вот...

— Вы не хотите ответить?

— Я сейчас шел и думал о вас, Ирина. Я думал, как вы иногда таинственно улыбаетесь. В улыбку Джоконды был влюблен Леонар-до да Винчи...

— А вы?

— Обо мне и говорить нечего.

Она ответила ему откровенно радостной улыбкой.

— Нет.

— Что?

— Ничего не знаете.

— Что не знаю?

— У меня просто талант обаяния, и все.— Она боязливо обожгла глазами самые его зрачки.— Значит, такие вам нравятся, как я? И, наверное, вы хотите, чтобы я хотя бы на немного была вашей женой? Или нет?

— Хочу. И не хочу. Вы — девочка из другого мира. Из другой галактики. С летающей тарелки.

— А вы руководите меня,— сказала она шутливо и с опаской отодвинулась от него на диване.— Руководите, вы ведь все знаете. Я подчинюсь немножко.

Они не были близки, и он наклонился, осторожно целуя ее сом-кнутые щекотно-колкие ресницы, а пальцы его гладили, скользили по мягким волосам, по тонкой выгнутой шее, и тут он вдруг почув-ствовал ее слабые детские позвонки и, охваченный пронзившей его жалостью, отдернул руку с желанием встать, ощущая робкие, стыд-ливые движения ее тела, увидел — она, закрыв глаза, запрокинула назад голову, влажно белели сцепленные зубы, открытые ее полу-печальной, полурадостной улыбкой; она прошептала:

— Это бывает так, когда умираешь. Очень страшно...

Он видел ее непостижимое в своей влекущей изменчивости ля-цо, улавливал знобящий ветерок ее шепота, и на какой-то миг хоте-

лось вообразить, что ему, вполне серьезному, опытному человеку, не пятьдесят с лишним лет, а она не моложе его в два раза, что он влюблен без памяти, как был влюблен в послевоенные годы в Ольгу, подчиненный наваждению, дурману, от которого невозможно было спастись. Но, обнимая Ирину, он почему-то испытывал охлаждающее состояние терпкого предела, виновато царапающую жалость.

— Ирина,— сказал он,— нам следует, пожалуй, не забывать о том, чтобы не быть смешными. Я говорю о себе, конечно.

Он помнил: в тот зимний вечер на Ордынке она, стараясь улыбаться, смотрела ему в грудь моргающими глазами и в них пеленой накапливались слезы. Она молчала и молчанием как будто умоляла его о какой-то помощи, а он, чтобы заглушить ноющую муку неопределенности, говорил успокаивающе:

— Ну что вы? А то я тоже заплачу. Так и будем реветь оба.

— Меня любят собаки и дети,— сказала она тихо, вытирая слезы кулачком.— Стоит на улице любой псине сказать: «Пошли, дурачина» — и она будет бежать следом. Я замечала на бульварах — дети подходят ко мне, как только посмотрю... А вы не любите меня, а жалеете. Любить вам нужно совсем другое. И я понимаю. Но я не марсианская женщина. Скажите, за что сильный мучает слабого?

Она заглянула в его зрачки своей лесной зеленью беззащитных глаз. Он, оглушенный ее почти горькой убежденностью, сказал в полушутку:

— Вы принимаете меня, Ирина, не за того, кто я есть, а за того, кем я не хочу быть.

— Все равно вы сильнее меня. Мужчина — царь природы, добытчик, защитник, а я — слабая особа женского пола, которая должна печь хлеба и рожать детей.

— Поэтому сильнее вы.

— Я-а-а? — протяжно спросила она.— Это серьезно, или вы, как всегда, шутите?

— Да нет, конечно. Я сильнее. Во-первых, у меня стальная воля и я не могу видеть чужих слез, особенно когда плачет женщина. Во-вторых, когда бьют ребенка, я готов ненавидеть все человечество за его жестокость. Но чаще меня охватывает жалость ко всем и ко всему, и тогда готов простить людям самые страшные прегрешения. И себе, конечно. Царь природы, лишенный власти и не желающий власти. Пока продолжается род человеческий, царица природы — женщина. Без нее мы превратились бы в кротов.

Она остановила его слабым движением бровей.

— Нет, я вижу вашу доброту и любопытство ко мне, к некоей беднячке и славнячке девочке из балета Большого театра, которая так хорошо начинала. И с которой случилось несчастье. Ах, как я не люблю, когда меня жалеют и сочувствуют: «Как же тебе не повезло, Иринушка!»

— Жалеют и сочувствуют? А так ли уж это плохо?

— Плохо... Я понимаю, какое несоответствие между нами. Между вами и мною. Вы уже много сделали. А я как будто взломала замок и вошла в чужую богатую квартиру. Но я любила танец с детства. И мне не нужно было ничего. Ни денег, ни славы, ни ценностей, ничего. Знаете...— Она опять посмотрела на него несмелым взглядом, и уголки ее губ изогнулись в виноватой улыбке.— Знаете, я иногда очень сержусь за это на себя, очень... когда бывает не по себе.

— Я могу вам чем-нибудь помочь, Ирина?

— Мне — никак. Не нужно. Я справлюсь. У меня все хорошо.

— Значит, все хорошо? — повторил он.

— Абсолютно,— сказала она и захлебнулась слезами, прерывисто втягивая воздух носом, спросила сжатым голосом: — Слышите?

— Что? — Он обратной стороной пальцев вытер жаркие, детские слезы на ее щеках.— Ну зачем это?

— Слышите, какая тишина в доме? Метель... и какая тишина...

— Да бог с ней, с тишиной.

— Нет, нет. Тишина — это знаете... какой-то странный звук, похожий на звук несправедливости и смерти.

— Вы еще ребенок, Ирина, и вам еще многое предстоит.

— Думаете, я не знаю, что такое несправедливость? И что такое неудача?

— Ответьте искренне: как вы живете, Ирина?

Но она уже молчала, слезы высохли на ее устало прикрытых ресницах, и подрагивали брови, точно в дреме она прислушивалась к чему-то сокровенному, недоступному ему, а он думал, что надо прекратить эту добровольную пытку, расстаться с этой милой девочкой, которая влекла его наивной, беспомощной хрупкостью, какой-то неразгаданностью своей жизни.

Каждый раз она встречала его то с открытым восторгом, то с серьезной взрослостью, глаза ее то влюбленно, то грустно лучились ему в глаза, и порой синие круги тайного недомогания проступали под ними. Иногда, по-видимому не один час прозанимавшись у балетного станка, она лежала на диване, одетая в спортивный костюм, и, не вставая, печально улыбалась уголками губ, рассматривая его лицо, но едва он пробовал заговорить, ладонью прикрывала ему рот, просила шепотом: «Не надо, давайте сегодня помолчим». Он не раз заставлял ее в задумчивом изнеможении с книгой на ковре посреди комнаты, погруженную в одиночество, отрешенную от всего мира. Иногда же ее охватывало ребяческое веселье, и она, оживленная, с блестящими глазами, тянула его на люди, в толпу, в Центральный парк культуры, к которому у нее была привязанность из-за «чертова колеса», «комнаты смеха», в загородные рестораны (чтобы случайно не встретить знакомых из театра), где учила его современному року, не стесняясь никого и привлекая общее внимание дерзкой молодостью, гибкостью, светлыми, почти белыми волосами.

И все-таки он не знал, как она жила и чем она жила. Ирина не напоминала, ничего не говорила о своей травме, из-за которой целый год ей не разрешили выступать в театре, не позволяла Крымову наблюдать за своей тренировочной работой у станка и, казалось, по часту занималась чем-то посторонним и лишним. Однажды он пришел на Ордынку в седьмом часу вечера и застал ее за необычным занятием. В спортивном костюме она лежала на полу, вокруг валялись справочники по тригонометрии, таблицы Брадиса, листки бумаги, исчерченные углами и линиями, а она, подперев щеку, чертила формулы в школьной тетради, то и дело восклицая:

— Косинусы, синусы! Гадость какая!

Он, развеселившись, спросил, что происходит в этом доме, она возмущенно ответила, что решает тригонометрическую задачу, которую когда-то по причине полной ненависти к формулам не решила на экзамене в девятом классе, и, ответив, сейчас же смешала листки, закрыла таблицы, хмуро покусала кончик карандаша.

— Экзамен по тригонометрии иногда мне снится как кошмар. Я хочу отделаться от него и не могу. А кошмар случился в день моего рождения несколько лет назад.— Она досадливо щелкнула пальцами.— Кстати, у меня сегодня торжество. Оставайтесь. Увидите моих знакомых — актеры, художники, милые хулиганы...

Эти «милые хулиганы» с криками, шумом, гогом ворвались в квартиру Ирины в десятом часу вечера: целовались, вопили востор-

женные приветствия, кидая пальто и куртки на пол в передней, потом тесно заполнили всю комнату — худенькие девушки в брючках, молодые люди в толстых свитерах. Один черноволосый, низенький, с угольными глазами, сквозными от хмеля («Татарин, невообразимо талантливый художник», — сказали позднее Крымову), просторно раскидывая руки, кричал: «Ира, Ириночка, свет души моей!» — и размахивал, как кеглей, бутылкой коньяка. Его не слушали. Тогда он взобрался на стул и, изображая губами и горлом саксофон, принялся делать телодвижения дикого танца.

— Ирка! Красавица! Поздравляю!..

— Татарин! Диас! — останавливал его кто-то ярым, хриплым, актерским голосом. — Тихо! Я хочу произнести тост! Тихо, банда! Абсолютная, химическая тишина!

Озябшие девушки в брючках протискивались, садились за стол, сразу словно бы разгромленный, залитый, засыпанный мокрым пеплом сигарет, молодые люди по-кавалерски раскланивались перед Ириной, не обращая внимания на Крымова, только мужчину средних лет, рыхловато-полный, с косящим глазом, из расстегнутого воротника шерстяной рубахи был виден несвежий тельник, пожимая руку Крымову, сказал спотыкающимся голосом:

— Вас где-то я видел! — И пьяно качнулся, придвигая стул к столу. — Где-то...

— Мне тоже кажется. Где — не помню.

— Абсолютная!.. Химическая тишина! — гремел актерский яростный баритон. — Этот дом... в этом благословенном доме новорожденной мы можем оставаться до утра! Мы любим этот дом потому, что можем прийти в него в любое время суток! Да здравствует солнценосная, ура!.. Тихо, банда! Татарин Диас, заткнись! Дядя, дорогой дядя, вы потом расскажете, сколько женщин вы имели и когда!.. Тишина! Мертвейшая тишина! Я не досказал...

— Вы слышите? Вы их понимаете? Они орут на меня, — зашептал удрученно рыхлый мужчина с косящим глазом. — Вот этот татарин, своеобразный художник, работает в своей мастерской, родственники ему ее построили. Ухарь, видите ли, всадник, буян, но тронут цивилизацией. В генах небо, степь, ветер, под седлом кусок сырого мяса — вот что питает его талант. А этот Всеволод, луженая глотка, — актер, сын того... знаменитого из МХАТа... Слышите, как кричит! Мальчишка, а кричит!

— Дядя в тельнике! Вы к нам присоединились в Цедри, поэтому чужой и — молчать! Кончайте разговор о женщинах, у вас много было их... Тихо, тихо! Я читаю стихи! Я прочту стихи! Гениальный Блок! Слушать всем! «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне...»

— Слышите? — недоуменно зашептал мужчина с косящим глазом. — Они чего-то хотят...

— Чего именно? — спросил Крымов, огуленный хаотическим шумом за столом.

— Чего-то они хотят, — заговорил мужчина обеспокоенно. — Мы с вами их не знаем — чего они хотят? Они чего-то хотят или вот так пропивают талант? Распыляют жизнь. Я сейчас скажу им, я все им скажу...

Он встал, нетрезво пошатываясь, теплая мешковатая рубаха его была осыпана сигаретным пеплом, сизое лицо потно, косматая, с островами седины шевелюра казалась львиной.

— Молодые люди, мы в наше время... у нас была твердая цель, — проговорил он. — Мы страдали, но мы видели цель, мы знали... Мы ходили в лаптях, но мы...

— Дядя, садись! — перебил его актерский баритон с трагической значительностью. — Дядя, вы пьяны, но вы мудро сказали тост! Дядя, вы гений! Скажу только два слова: ге... ний!.. С вашего разрешения...

— Я хочу прочитать Гумилева! Всеволод, установи тишину!

— Татарин, поставь бутылку! Кто пьет из горла?

— Они действительно милые, хотя и грубоватые хулиганы, — сказала Ирина на ухо Крымову. — Вы сидите сейчас в сторонке, смотрите и слушайте, как мышь. Это очень интересно. Они сейчас будут спорить.

— Хорошо, я буду сидеть, как мышь в углу.

— Кочетов... роман Кочетова... Как назвать это? А?

— Не-ет, это хорошо, что он открылся, что он весь как на ладошечке. Он обнажился, разделся перед всеми. Эт-то стриптиз!

— Коля-а, а ты как относишься к евреям и русским?

— Ищу среднее.

— Ложь распространяют завистливые.

— В каждой подлости есть наивность, так же как в глупой наивности — подлость! Но ты — завистник.

— В добре — тоже подлость?

— В беззубом, сюсюкающем, ясно?

— Абсолютная хим-мическая тишина! Тих-хо! Кто хотел читать Гумилева?

— Я предлагал.

— Тих-хо, гангстеры! Где мои пистолеты с инкрустированными рукоятками? Гриша, читай Гумилева!

— Я хочу вам сказать, молодые люди! Гумилев после.

— Опять вы, дядя? Ну давайте, давайте говорите! Дайте сказать ему, банда! Слушать тост человека, который познал все страдания мира!

С угрюмым, уже вконец хмельным, малиново-сизым лицом, кося глазом, снова по-медвежьи поднялся рыхлый мужчина, сосед Крымова, и он внезапно вспомнил: его знакомили с ним лет десять назад на каком-то вечере в Доме актера как с сыном известного писателя, погибшего на Севере в тридцатых годах.

Тот впился ртом в рюмку, выпил с жадностью.

— Древние говорили: торопись, но медленно! Это касается всех нас! Суетимся!

— Мысль о смерти — страх перед смертью.

— Потребители жизни. Что вы знаете? Труднее всех на свете живет талантливому и честному человеку.

— Все твои уважаемые классики — сентиментальные вруны!

— Натан, как ты ко мне относишься?

— Я романтик, поэтому это спасает меня от реальной оценки вещей. Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Прав тот, у кого больше прав.

— Циник.

— Откройте окно, пусть ворвется свежий ветер в эту накуренную комнату! Прекратите курить все!

— Диас продал пейзаж за пятьсот. Оформляет сейчас спектакль, кажется, на Таганке.

— Если работа — жизнь, то она наполнена до краев. Не хватает времени.

— Так что же — значит, ложь огромна, богата, сильна, а правда мала, ничтожна, бедна?

- Чепуха! Искусство — всегда метафора действительности.
- Самая лживая ложь охраняет и поддерживает жизнь всех правд человеческих!
- А бездарность всегда лжет!
- Не бесполезное ли это умствование?
- У нас шестнадцать процентов всех мировых запасов лесов, двадцать процентов всей мировой воды, а бумаги не хватает!
- А что такое ложь — самозащита?
- А если ложь есть правда? А правда есть ложь? Не корчь рожу, сам умею!
- Тихо! Слушай сюда! Я прочту вам стихи Ахматовой! Божественные строки!
- Роза, как насчет твиста? Учти, я не способен. Татарин! Гений! Изобрази губами что-нибудь про твист или шейк!
- А Всеволод на сцене умеет здорово хлопотать мордой. И голосом. Орет, как иерихонская труба!
- Знаешь, что такое критика? Автограф под собственным невежеством.
- А ты вот ушами хлопаешь, как дверьми! Подай бутылку, родной! Зафилософствовался!
- О ком говоришь? Кто бездарность? Ерунду заявляешь и даже не бледнеешь. О художнике надо судить по лучшей его работе! А не по худшей. Злые мы стали, завистливые до ненависти.
- Ты — о ком? Или уже вдрободан? О ком ты?
- О тебе. Тиркушка ты.
- Что за тиркушка? Офанарел?
- Птица такая. Малю-у-сенькая. Уживается с крокодилом. Раззевает пасть, а она чистит ему зубы. Клювиком — раз-раз! После того как он сожрал кого-нибудь.
- О, как интересно — зло уживается с добром?
- В каком смысле это тебя интересует, Светланочка? В житейском или философском? Когда ты мне говоришь «нет» — это зло по отношению ко мне. Но ты считаешь это добром по отношению к себе. Не так? Вот сейчас я хочу уйти с тобой в ванную...
- Прекрати глупить, Натан. Я серьезно.
- Зло, девочка, это то, что разъединяет людей, как бы злые люди ни были объединены. Это в философском смысле.
- А бог? Есть ли тогда бог? Куда он смотрит?
- Он смотрит на направление главного пути, а не на извивы человечества. Ты хочешь меня углубить, девочка?
- А может быть, истина и есть в этих извивах? Спроси у бога, Натан, где теперь любовь?
- Хочешь в философском смысле? Пожалуйста...
- В любом. Ты все затуманил. Говори так, чтобы тебя понимали.
- Изволь, дорогуша моя. В американском журнале «Плейбой» помню рисунок: ошарашенный вождением карикатурный папаша сидит в кресле с сигарой в зубах, а возле него три обнаженные девицы. Подпись: разделение труда. Одна девица зажигает спичку, дает ему прикурить, другая возбуждает этого толстого хряка, а третья лежит в постели, ждет его. Здесь я способен понять и позавидовать. Ха-ха! Что касается правды или истины, то, пожалуй, лучше всего, чтобы тебя не понимали. Я хочу тебя — это понятно?..
- Ты смеешься?
- Света, пошли к дьяволу циника от философии! Я за свободу

дискуссий! Поэтому не обижайся: чуши он тебе нагородил — лошадь не перепрыгнет. Наоборот: человек только тогда человек, когда боится умереть, только тогда он может познать свою ценность и ценность других. В этой слабости его величие. Не боится смерти только нуль, пустота, ничто!

— Троекратное ура мудрецу...

— Тихо, банда! Слушать сюда, когда говорят взрослые! Кто сказал «ценность других»? Архитектура? Позорище века! Стыдоба! Кривая дорога ослов! Не слушай их обоих, Светка! Единственное, что еще стоит чего-то... что еще объединяет людей, это любовь. Все остальное — полкопейки!

— Какая любовь? Любовь — способность, а я, возможно, бездарен в этом отношении.

— Н-да, господа, глупость нельзя отделить от нашего Всеволода, как причину от следствия. Гип-гип, я пью за причину и следствие.

— Погромче, Диас, бормочешь чего-то...

— Говорю: все в живописи соцреализма идет от идеи, старик, цвет — лишь средство. Считаю, что я рисую для себя, потому что уважаю идею самого цвета.

— И колорита?

— Я уважаю серебристый колорит.

— Кто — Всеволод талант? Или Натан? Не-ет, это планеты, а не звезды. Звезды — редкость, родной мой.

— Почему планеты?

— Отраженное... не свой свет. Кто мог быть, пожалуй, звездой из всех нас, так это Ирина. Но не стала, не повезло. Знаешь, как в жизни — все вдруг. Вдруг разрыв связей, и на год врачи запретили танцевать. Подожди, дай-ка я скажу тост. Всеволод, наведи порядок! Все галдят как сумасшедшие, не прорвешься...

— Тихо, банда, стрелять из бутылок шампанского буду! Тост! Химическая тишина, когда говорят великие журналисты, не разбойники пера, а борцы за правду!

— Дорогая Ирина, прелестнейшая и талантливейшая женщина нашего времени, мы все влюблены в тебя, и я хочу от всех нас, твоих друзей, сказать, что ты могла быть замечательной актрисой...

Крымов, никого не знавший из гостей, оглушенный толчеей вокруг стола, криком, хохотом, спорами этой несгешительной молодой компании, сидел на диване, в тени, ничего не ел, не прикасался к рюмке, понимая, что здесь он чужой, курил, наблюдал украдкой за безмолвной Ириной, за переменчивостью ее лица, которое в зависимости от направления споров становилось то веселым, то виновато-растерянным, потом, когда сухопарый длинный парень в очках, «великий журналист и не разбойник пера», стал произносить тост, лицо ее выразило страдание. Она вытянула из пачки Крымова сигарету, прикурила от его зажигалки, тотчас загасила сигарету в пепельнице и, подняв глаза на парня в очках, проговорила грустно:

— Милый, о чем ты говоришь? Все это неправда, все это слова, слова, которых мне стыдно... И тебе потом будет стыдно.— Уголки ее губ дернулись в полупечальной улыбке.— Вообще все, что вы говорите, так далеко... и это, наверно, все не нужно, все лишнее. А мы лжем самим себе и уже не помним... мы забыли, кто мы есть. Мы — частички земли, маленькие частички... и больше ничего. А мы перестали ее любить, потому что любим самих себя. Друзья мои, вы ведь любите только себя... Я не лучше вас, я такая же, но я не хочу лжи, не хочу обмана, не хочу слов, я хочу любить землю...

— Кого любить, дьявол-передьявол? — загремел иерихонский баритон актера.— Ты предала нас, Ира! Ты обманула нас, неверная!

И Ирина сказала дрогнувшим голосом:

— Я никого не обманула, я хочу любить небо, землю... а может быть, потом — всех вас. Небо, землю и, конечно, горизонт,— повторила она с той страстной наивностью, которая делала ее и независимой перед всеми, и обезоруженной.— Да, я люблю горизонт.

— Где ты видишь горизонт, Ириночка? Чем ближе к горизонту, тем он дальше. Даже в любви его не догонишь! Каким образом, дьявол-передьявол, ты хочешь любить горизонт? Аномалия! Причуды амазонки! Патология!

— Пусть. Я хочу,— кивнула она со своей неуловимой полуулыбкой и поднялась за столом, сказала внятно и по-прежнему независимо: — До свиданья. Мой день рождения окончился. Я никого не предала. Через неделю можете приходить ко мне в любой час дня и ночи.

А после того как гости разошлись, закрылась за последними дверь, затихли голоса на улице, она в раздумье подождала в передней, погасила свет и, слабо темнея силуэтом, остановилась у окна, раздёрнула занавеску — там, за стеклом, в ветреной тьме над Замокворечьем в ледяном холоде горели зимние созвездия.

— Какие они все чужие,— сказала она.— Подойдите и посмотрите,— добавила она шепотом.— Как блестят изумительно!

Крымов подошел к ней и, по-новому чувствуя и ее беззащитность, и упрямую пружинку сопротивления, не предполагавшуюся им раньше, подумал о том, что она умеет держаться на людях с какой-то плавной, не обижающей твердостью.

— Я не понял, Ирина, кто — чужие? Ваши друзья?

Она не ответила, в глазах ее переливался голубоватый влажный отсвет яростно пылающих среди ночи звезд.

— Неужели все мы будем в прошлом? Были, надеялись, ждали... И Сократ и Чехов в прошлом. И Сафо и Анна Павлова. И миллиарды людей, что жили. И мы с вами будем в прошлом. Скажите, Вячеслав Андреевич, почему люди делают не то, что надо? Они не чувствуют это?

— Когда вам разрешат танцевать, Ирина? — спросил он, не желая поддерживать ее настроение.— И могу ли я вам в чем-либо помочь? Простите меня за этот навязчивый вопрос, но мне хотелось бы...

— Я потерплю,— сказала она строго.— И мне не надо ни в чем помогать. Если вы еще раз скажете о какой-то помощи, то я рассержусь... Хотя я и не хочу на вас сердиться, наверное.

— Спасибо.

— Знаете что? Ваша жена — очаровательная женщина, и ее нельзя не любить, и я не хочу говорить вам ложные слова. А я не смогу быть женой и никогда не буду ничьей любовницей. Гадкое слово, противное... Пока вам или мне не надоест, мы с вами останемся друзьями. Вы согласны?

— Я согласен,— ответил он с превеселой покорностью и спросил:— А если не секрет, чего хотят ваши молодые друзья? У них все хорошо? Или все плохо?

— У них, пожалуй, все хорошо. Но что значит хорошо? Они зарабатывают деньги. Но все они считают себя неудачниками. Они мечтали о мировой славе. Вы не замечаете, что в последние годы стало много самонадеянных неудачников? У них как будто так, как надо. И какое-то несомещение...

— С чем?

— Ну, с жизнью... Вернее, как бы вам сказать... Желаний с жизнью. Мы слишком много ждали...

— И у вас?

— Я разве сказала? И вы хотите жалеть меня?

Она повернулась к нему, чуть заметно проступал звездный свет на ее волосах, глаза были опущены, и в изгибе рта чудилось ему нечто упрямое, своевольное, детское. И он, осуждая себя за излишнее вмешательство, с чувством стыда перед любопытством к этой девочке с непокорными зелеными глазами проговорил:

— Знаю свою слабость — нетактичен и невежлив, как оглобля.

— Все имеет свое начало и свой конец, не правда ли? — сказала она. — Но мне никто не может помочь.

— Никто?

— И вы не можете. Только я сама. Я должна говорить себе: «Ничего, мы еще повоюем»...

Она отошла от окна и села на диван, смутно различимая в потемках.

Это слово «повоюем» не соответствовало ее слабой улыбке, слабой тонкости ее рук и шеи, порой возбуждавшей у него неотчетливое чувство опасности, которая, мнилось, угрожала ей поздними московскими вечерами, когда она одна возвращалась на Ордынку, — и его воображение рисовало мрачные подъезды и поджидающие на углах темные фигуры с жестким взглядом убийц, ее лицо, запрокинутое, мертвое, ее окровавленное тело, брошенное на цементный пол в закопченном, сыром подвале. Он так отчетливо чувствовал ее хрупкость рядом с грубой силой, что эти картонно-зловещие театральные картины возможной беды порой заставляли его звонить ей по вечерам, прибегая в то же время к привычной иронии: «Я хотел проверить, соблюдаете ли вы режим».

— А что? Мы еще повоюем, — сказал он и сел возле нее на диван. — А если уж, Ирина, так, то я делаю официальное предложение: я хотел, чтобы вы снялись у меня в фильме. Съёмки начнутся летом. Признаюсь: год назад я видел вас в «Жизели» и сделал выбор, от которого трудно отказаться. Давайте попробуем, а?

— Нет, — прошептала она. — Никогда. Я не хочу разучиться танцевать.

Ранней весной она согласилась. Это было за два месяца до ее гибели.

Глава четвертая

А тот летний день под Москвой был не совсем раскрытой тайной и для него.

Перед старым мостком, сделанным из шатких жердей, не способным выдержать «Волгу», шофер остановил машину, и отсюда, с берега, стали видны вдали низкие купола и белые стены Старого Спаса. Сначала они пошли тропкой мимо зарослей орешника, потом через зеленеющее кукурузное поле до опушки рощи, куда подымался горячий на взгорке древний проселок, должно быть помнивший лапти калик переходящих, покорную поступь молчаливых монахов, прикосновения босых ног разувшихся в пути дальних богомольцев, хозяйственную припечатку купеческих сапог и танец сапожек деревенских красавиц и смиренную притомленность грешниц, ходивших сюда из Москвы спасти душу. И Крымов, подходя к монастырю, вообразил пекущий июньский день, потные прекрасные лбы этих столичных грешниц, скромно опущенные ресницы, серо запыленные в покаянной дороге юбки, увидел до того реально, точно вчера сидел вот здесь, в тени придорожного вяза, на пахнущей влагой земле, слушая сонный плеск ручья под бугорком.

Проселок через рощу привел к невысокому храму, окруженному полуразрушенной стеной. Над разросшимися липами жарко горел в глубокой синеве золотой крест, и вместе с теплым воздухом, настоящим цветочной горьковатостью пересушенного сена, наносило

сыровато-березовой плесенью дров, уложенных штабелем в бывшем монастырском двореке.

Да, во всем был разгар лета, ослепительность, синева, зелень, радостная густота листвы, и Крымов особенно чувствовал молодой блеск ее глаз, ее особенно живую, необычную отзывчивость и позднее, восстанавливая весь день в памяти, почему-то хотел подробно вспомнить и ту минуту около церкви, когда она задержалась подле паперти, где стояла под навесом липы кем-то оставленная тут детская коляска со спящими младенцами-близнецами, распаренными зноем (кажется, тогда она сказала: «Какие у них чудесные носики, какие смешные рожицы!»), а он спустился по ступенькам из слепящего полдня в холодноватый полумрак церкви, где две старухи в платках шептались на лавке у стены, клоня головы, молясь и время от времени по-деревенски опрятно утирая края губ.

В церкви Старого Спаса вело студеностью каменного пола, тускло отблескивали фрески на стенах, под куполом, и было слышно, как в тишине летнего светоносного блаженства на заросшем монастырском двореке ворковали голуби. Крымов стоял у иконы богородицы, в озарении свечей взирающей неземными глазами на дела мирские, но заслышав стук каблуков по гулким ступеням, обернулся. Проем входа был ярко залит солнцем полного июньского дня, как-то сладостно ощутимого из каменного подвала церкви, и он увидел в проеме неистового солнечного сияния ее фигуру, ее легкую юбку, пронизанную сзади золотистым светом, и древние гранитные ступени, по которым гибко ступала она, чуть покачиваясь. Он заметил, что старухи перестали шептаться, осуждающе повернули в ее сторону головы, а она приблизилась к иконостасу, приветливым взглядом здороваясь с ними. И Крымову стало весело оттого, что старухи осуждали ее молодость, приветливую невинную прелесть, открытую этому дню, и взору святых, и скорбящей богородицы, и огонькам свечей. Он увидел поднятые глаза Ирины, отделенные от лица в полутемноте влажным блеском, и, сдерживая легкомысленное желание улыбнуться ей (святотатство в храме), сказал, указывая кивком на икону слева:

— Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.

— Да, да, удивительно, — сказала она шепотом.

Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские врата под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах, о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было свободно на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.

Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине, искрилась разбитыми зеркалами река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря, какие ходили люди вот по такой траве, догоряча обогретой солнцем...

— Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика, — сказала она и легла на холме, ласково погладила ладонью цветы в траве, затем повернулась на спину, говоря слабым голосом: — Вот так бы лежать и все время смотреть в небо. Неужели оно таким было всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней...

— Где-то я читал: по близости с полевой гвоздикой должна быть и ягода... — сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее колен.

Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом, сразу без труда нашел вблизи землянику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. Она сказала: «Благодарю, поделим поровну» — и, продолжая глядеть в небо, рассеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным путям памяти вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Иде-на, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах. Он усмехнулся своему невинному пороку, профессиональной привычке сопоставлений, и его опажнуло странной нежностью к тому, как она губами отъединила ягоду для себя, оставив другую ему, к лесному запаху разомлевшей земляники.

— Скажите, есть ли на свете человек, о свободный, как ветер? — спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у героини.

— Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения, — ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земли лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.

— Значит, мы с вами несчастливы, — сказала она разочарованно. — Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливицы...

— Почему несчастливы? И почему счастливицы?

— Я не о том, — поправила она и нахмурила брови. — Я не смогу сыграть женщину, которая проклинает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите — есть бог? Я спрашиваю серьезно.

— Есть мировая гармония, по-видимому.

— Тогда почему существует зло? Объясните.

— Дерево растет в высоту — чего оно хочет? Молнии?

— Конечно, нет...

— Тогда, значит, красота, — продолжал он с шутливой доказательностью. — Красота помогает подыматься в небо, к непостижимо-му. Или вернее — она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло вырастает в землю.

— Нет.

— Почему?

— Вы говорите — красота. Но что это такое, в конце концов? Совершенная греческая красота статуй — скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность — боже, какая мертвечина! Нет, это не безупречность, нет! — договорила она страстно. — Красота — в пластике движения. Вот смотрите... — И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.

— Красота — это западня, — сказал он по-прежнему шутливо. — Прикоснулся — и она захлопнулась, и нет выхода.

— Чепуха, неправда. Всегда есть выход.

— Из этой западни нет ни у кого. Но я рискованно обобщаю. Здесь спасает реализм и самоирония. И боязнь быть на чужом пиру.

Очнувшись, она перевела на него внимание (и он утонул в зеленой прозрачной глубине, задумчиво устремленной ему в глаза), тронула пальцем его брови, его виски, заговорила с непониманием:

— У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девчонку и говорите со мной, как со школьницей... с ученицей девятого класса? По-мое-

му, вот уже полгода вы меня изучаете как режиссер. Скажите искренне — я действительно бездарная?

— Ирина, отчего вы вдруг?

— Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?

— Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?

— Не важно. Почему скромность стала уже как порок?

— Да в чем дело? Я озадачен...

— Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде...

— С вами что-то случилось?

— Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины, или танцовщицы, почти все глупенькие...

— Не все, ясно же,— сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения.— Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головах... жалких два миллиметра отрывают нас от животного. А все остальные — пять миллиметров — инстинкты, инстинкты.

— Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.

— А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудно и хлопотно. Говорить друг другу правду — иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем...

Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.

— Меня сегодня судили... и очень жестоко,— тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания.— Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они...

— Кто?

— Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.

— Простите, Ирина. Так что было около гримерной?

— Я случайно услышала: одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не понимаю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого? И все-таки — гадость...

— О, завистливые страусихи! — выругался Крымов несдержанно.— Самыми грубыми комплиментами хвалят только бесталанного гения, который не способен соперничать с ними!

— Вы не любите актеров?

Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам счастья и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказанному чересчур успевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопят поздравить, толкаясь локтями в упоении («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности его и ее, презирающих и едва терпящих

друг друга, но вынужденных по воле режиссера изображать на съемочной площадке влюбленную пару,—привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно их разит яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших обойденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб следили за ней всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, ее полувиноватая, полупечальная улыбка, стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замеченное Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего среду неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждяемой славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта не позволяла перешагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отравля ревности прекращалась изливаться на счастливица, едва была утверждена роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время — неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой безвинной мечтой о возмездии, что обязано настигнуть заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис у гримерной, не без цели начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неумемной женской мстительностью.

— Пожалуй, вы должны были знать, что в искусстве властвуют в определенную пору две царицы,—сказал Крымов с досадой.— Это зависть к чужому успеху и ревность к чужой возможности. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все.

— Работать? Я согласна. Только работать. Но, пожалуйста, посмотрите, как работают ужасные люди. И все в одни сутки. Письмо получила вчера. Сначала не хотела говорить вам... Но кто-то на студии меня терпеть не может. А я была добра со всеми. Я не умею ссориться. За что же они? Ведь у меня горе. Я же восемь месяцев не танцую...

Она села, зубами покусывая травинку, прислонилась лбом к коленям, посидела так в задумчивости, потом, взглянув на Крымова вопросительно, достала из сумочки помятый конверт, сказала непрочным голосом:

— Вот это. Я была бы не права, если бы не показала. Мне стыдно, что письмо касается и вас.

В конверте лежала записка, состоящая из нечетких и неровных машинописных строк (видимо, человек не часто печатал на машинке), и Крымов прочитал:

«Многоуважаемая Ирина!

Извиняюсь перед Вами, не знаю, как по отчеству.

Ваша доброжелательница хочет предупредить Вас о том, что Вы поступаете, то есть ведете себя неосторожно, можно сказать, заносчиво и вызывающе. Мало того что вся студия знает о Вашей бесчестной связи с режиссером Крымовым (он Вам, милая девочка, в отцы годится!), но Вы использовали свои женские чары молодости и застави-

ли его дать Вам главную роль в фильме, к чему у Вас нет ни способности, ни призвания. Ведь Вы уже показали свою несостоятельность в балете. Поверьте, не Ваше дело искусство, а Ваше дело хорошо выйти замуж и быть красавицей для мужа.

Ирина! Умоляю Вас, будьте милосердны и разумны, оставьте в покое всеми уважаемого человека и не убивайте его жену, достойную женщину, которую Вы можете довести до гибели.

Умоляю, умоляю, опомнитесь!

Ваша доброжелательница, любящая Вас».

— Конечно, без подписи,— сказал Крымов сухо.— Скромный памятник зависти в эпистолярном жанре. Спаси меня, милосердный, от доброжелателей моих, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Послание почтенной корреспондентки выше всех похвал и требует самого искреннего ответа из двух слов: к чертовой матери!..

Он решительно разорвал письмо, отбросил клочки в сторону, но тон фальшивого соучастия и вождельного мучительства, исходивший от неумело напечатанных на машинке фраз, и эта лицемерная защита его семейной чести пакостно скользнули в душе.

«Так кто же они, друзья беспощадные, которые ничего не прощают: ни молодости, ни чужой радости?» — подумал он, уже не удерживаясь в том живом настроении, какое появилось в монастырском храме, когда Ирина из льющающегося солнечного потока сходила по ступеням в церковный полумрак.

— Как безжалостно они меня ненавидят,— проговорила Ирина.— И вас из-за меня.

— Я режиссер и привык ко всему.

— А я не хочу, чтобы ваши несчастья шли из-за меня.

— В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада,— заговорил он обыденно.— Представьте, что я ваш Вергилий и поведу по этим кругам сравнительно безопасно. И стены Иерихона падут. Я верю в вас. Признаюсь — я долго присматривался. Вы все сумеете.

— Нет,— сказала она.— Стены Иерихона не падут.

— Почему?

Она обхватила колени руками, положила на них подбородок, наблюдая горообразное облако с пепельными подпаленными краями, заходившее из-за леса на том берегу, где за огнистыми вспышками реки везде тоже жгуче сверкало, струилось в жару пестротой зелени, бликов, густой тенью орешника, дремотным покоем перегретых лугов.

— Нет,— проговорила она, и строгая морщинка пролегла у нее на лбу.— Вы мне ни разу не говорили — ваша жена знает, что я есть на свете?

— О вас она ничего не знает.

— Все в этом мире связано, Вячеслав Андреевич?

— Все. Или почти все.

— Хорошо.— Она протянула руку.— Помогите мне встать.

«Она боится неловко встать, вспомнила о травме связок? Именно сейчас она вспомнила об этом?»

И он стиснул ее хрупкие пальцы, аккуратно поднял ее с земли, она выпрямилась, задела его юбкой по ногам, но тотчас вслед затем отступила на шаг, страдальчески дрожа бровями, вскинула незнакомо улыбающиеся глаза.

— Что, Ирина?

— Простите меня... Я не буду играть в фильме,— сказала она.— Простите за то, что я подвожу вас и нарушаю планы. Я знала, что

со мной плохо кончится. Я виновата, виновата, виновата. Перед вашей святой женой. Перед этими дурами — актрисами. Перед вами. Перед фильмом. Я уеду в Ригу к отцу. И так будет лучше. Для всех. Нет, пожалуйста, ничего не говорите! — заторопилась она и тут же, видя, что он готов прервать ее, и почему-то с улыбкой, кокетливо делая ему большие умоляющие глаза, в которых стояли слезы, повторила: — Я знаю, что вы скажете! Но я не передумую. Так надо! Простите меня...

Порой чьи-то вскользь брошенные слова заставляли его бессонно ворочаться в постели, плохо спать ночью — он называл это сверхмнительностью, неврозом двадцатого века. Но то, что говорила она, не могло быть смягчено ни иронией, ни шуткой, этим утешающим оружием, с которым было легче жить. Он смотрел в ее кокетливо («Зачем?») увеличивающиеся глаза со стоящими слезами, и его охватывало такой давно не испытанной растерянностью, такой новой болью перед ее покорным отступлением, беззащитной наивностью, которых он не встречал последние годы, что ее насильственная сейчас и жалкая кокетливость, ее невыплаканные слезы показались ему мученическими. И Крымов, окончательно утратив благое настроение в этот погожий июньский день, понял, что все планы со съемками на август полетели в таргары. Он представил ее отъезд в Ригу как еще неподвластное состояние незаконченного действия и, хотя свободного выхода уже не было, наконец сказал единственную и вряд ли что спасающую фразу:

— Не делайте этого, Ирина.

— Спасибо. Я сделаю это. Я уже решила, — сказала она, глядя исподлобья с виноватой осторожностью, и пошла вниз по тропке к реке, чуть покачиваясь в талии, не разгаданное и не познанное им существо.

Позднее вспоминая, что произошло потом, он в бессилии думал, что был в тот день непростительно и эгоистически расчетлив, глуп, туп, а в это время безумие настигало их черным крылом на том холме неподалеку от монастыря Старого Спаса.

И ему чудилось, что когда они спустились к расплавленной зноем реке, некое бесцельное безумие было и в самом солнце, которое остро, паляще давило, угнетало, поднявшись в высоту, а туча, сгущенная до черноты, для чего-то заходила и заходила из-за леса, стремительно расширялась, клубилась краями, тянулась в зенит, совершенно черно сбоку загораживая солнце, отчего на вершине холма разительно вспыхнул какой-то девичьей белизной монастырь. Крымову стало душно, на берегу тянуло жарким, парным, затем пошли, побежали темные полосы по воде, резко потянуло свежестью, и Крымов даже задохнулся от орудийного раската в поднебесье, от застучавших по лицу крупных капель и неясно увидел, как тот берег, река, небо слились в мелькающий ливневый мрак.

— Ох, как хлещет, как он хлещет! — услышал Крымов сквозь шум дождя ее голос. — А как хорошо, как хорошо купаться сейчас!

Они стояли под мостом, окатываемым струями дождя, звеневшего над головой по железу пролетов, его удивило это «хлещет», слово, явно пришедшее к ней в тот миг из детства, но более удивило другое, тоже бессмысленное, ненужное, безумное. Она говорила быстро: «Отвернитесь, не смотрите» — и торопливо снимала с себя насквозь промокшую, потемневшую кофточку, юбку и, вышагнув из тувель, в купальнике побежала по откосу вверх, на мост, оглядываясь с уже спутанными на щеках волосами и маня его рукой: «За мной, за мной, за мной!..»

Почему он не сообразил, не понял тогда, зачем она подымается к мосту, и почему не остановил ее? («Да так вот и не смог предупре-

дить и остановить ее...») Раскаяние было запоздалым, отравляло его ядом, но оправдываться было не перед кем и изменить нельзя было ничего.

И все-таки последние ее минуты на земле, минуты ее отчаяния или радости перед тем неистовым дождем, когда она подымалась к мосту, ясно не представлялись его сознанию.

Ее голова лежала на его плече, и он проклинал каждый толчок машины, когда ее влажные, по-детски слипшиеся волосы касались его щеки. И так близко было ее лицо, уже источавшее земляной холод, уже неземное, с потеками краски под полуприкрытыми ресницами, и он так явственно сознавал, что никуда не уйти от всего этого ужаса, от всего этого невыносимого, час назад случившегося с ней (и вот теперь она в мокром купальнике лежала беспомощно качающейся от толчков головой на его плече, и это было последнее, связывающее их), что, казалось ему, в беспомысленности умолял кого-то пощадить, спасти ее, но после не помнил ни слова, лишь смутно видел, как оборачивался шофер — вдруг впереди него появлялись высосанные страхом глаза, по-рыбьи онемело раскрывающийся рот и струйки крови, текущие из ноздрей. И тенью проскальзывали те леденящие минуты, когда, вытащив Ирину из воды, он кинулся к оставленной за мостком машине и не нашел ее... В бессознании она еще дышала в те секунды, а он метался по берегу, кричал, звал, ругая сумасшедшими ругательствами с единственной надеждой, что шофер не мог уехать надолго. Но машина вернулась минут через сорок, и он, готовый к невозможному, увидев сытое, распаренное лицо шофера, не владея собой, не сдержал бешенства.

А больница была в районном городке, и пятьдесят километров проехали по тряскому проселку в предгигибельном адском бреду: вероятно, гроза проходила над дорогой, что-то горячее, намокшее в ливне, неприятно зеленое пронеслось в шуме, в гудении за стеклами, он стонал, стискивал зубы и снова чувствовал неживое прикосновение ее беспомощной головы на плече, ее безнадежное молчание...

Долго искали в городке больницу, вернее проезды в больницу, дороги повсюду были перекопаны газовыми траншеями, наконец и вся эта мука кончилась, они остановились под тополями парка, у самого подъезда. Как он вылез из машины, оставив ее одну на заднем сиденье, вошел в подъезд, в сумеречный провал, где замельтешили незнакомые лица, как поднялся на второй этаж, пропитанный нечистым человеческим запахом, заставленный по всему коридору койками, как раскрыл дверь в кабинет хирурга, он помнил туманно. В те минуты перед глазами повторялось одно, застрявшее в его сознании навсегда: вот она встала на перила моста, видимая сквозь дождь, облитая купальником, сложила руки над головой и, крикнув что-то ему, плавно изогнулась, прыгнула в воду.

Потом он ожидал, пока его позовут, стоял на крыльце, курил и не докуривал сигарету за сигаретой и тер сжимающееся горло, плохо понимая, для чего солнце с летней радостью горело в лужах, освеженно и радужно переливалось на отяжелевших листьях в мокром парке, на мокрых лопухах, на умытой чистой траве, почему тяжелые капли звучно падали с крыши в полное до края цинковое ведро, отчего зеркальные блики зыбко колебались, прыгали по навесу крыльца, а она была там, на втором этаже, лежала на каталке в своем купальнике, закинув голову с влажными светлыми волосами, с неподвижно полуприкрытыми ресницами, под которыми не просыхали потеки туши, лежала в комнате, стерильно белевшей кафелем, где не было надежды.

Глава пятая

В комнатах съемочной группы, куда заглянул Крымов, было безлюдно, предобеденное солнце накалило паркет, и пахло, как в музее, пыльной обивкой старых кресел. Из кабинета директора картины доносилось торопливое постукивание, и едва он открыл дверь, оглушило очередями пишущей машинки, понесло сквознячком, всколыхнулись листки на столе против раскрытого окна, где молоденькая машинистка зашлепала ладошками по кипам бумаг, оглядываясь на Крымова в замешательстве.

— Один? — спросил Крымов и толкнул дверь в смежную комнату, откуда ручейком пробивался журчащий голос.

Директор картины Терентий Семенович Молочков, маленький, сухощавый, с непременно бодрым и приятным лицом, распространяющим уважительное внимание ко всем, заканчивал деловой разговор по телефону, любезно договаривая: «Взаимно, взаимно», — и, положив трубку, проворно вскочил и бросился к Крымову, выражая озабоченность и немедленную готовность.

— Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С приездом, с победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем от всей души!..

И говоря это, он снизу ткнулся губами куда-то возле подбородка Крымова, яркие леденцовые глаза Молочкова засветились преданностью и счастьем поклонника и киномана, которому повезло приклониться к славе кумира.

— Привет, Терентий, — сказал невнимательно Крымов, подходя к тумбочке и наливая из сифона газированной воды, зашипевшей, застрелявшей пузырьками в стакане. — О льстец, запомни, прошу не в первый раз. Страшны не те стервятники, которые пожирают трупы, а те, которые лестью пожирают живо. Не сожрешь ты меня, Терентий, не клюю я на восклицательные знаки, черт тебя дер! Здравствуй, успокойся и рассказывай, как дела в съемочной группе.

— Господи Иисусе, да кто может вас сожрать, Вячеслав Андреевич! — И Молочков с восторженным возмущением воздел руки к потолку, отчего рукава его чесучовой куртки сползли до локтей. — Кто может вас пошатнуть, такую глыбу! Вас!.. Ах, Вячеслав Андреевич, плохо вы себя любите и цените!..

— Умерь пыл, пожалей слова, — прервал Крымов и отпил из стакана, брызжущего пузырьками, охлаждающими горло льдистыми иголочками. — Думаю, ты в курсе дела. Не так ли? По-видимому, не я буду снимать эту картину...

— Как? На каком основании? Как так? — изумленно вскричал Молочков и забегал по комнате, мотая полами широкой на его плечах куртки, мелькая узкими помятыми брюками. — Откуда вы принесли такую новость? Из самого Парижа? Вы меня режете без ножа!

— Сядь, Терентий, прекрати страусиную беготню. Это раздражает. Давай поговорим.

Молочков с послушным ожиданием опустился на диван и, заранее пугаясь, заморгал круглыми желтыми глазами.

— Убиваете без ножа. По первому разряду убиваете.

— Так вот, Терентий, — сказал Крымов и медленными глотками допил воду. — Снимать фильм я не буду. Впрочем, скажу тебе откровенно, — добавил он сдавленным от холода газировки голосом. — Я не должен был браться за эту картину. Просто я не понимаю, Терентий, что такое современная молодежь и что такое их современная любовь.

— Правду-матушку, Вячеслав Андреевич.

— Боюсь. Но это так. Каждый должен знать, на что он способен.

И он присел на подоконник, полувернулся к Молочкову — из окна наплывало листовым жаром тополей.

Молочков схватился за голову, воскликнул взвившимся тенором:

— Я догадываюсь, в чем ваша причина! Нет тут вашей вины, нет! А если кому не в разум, так это дело скоро пройдет, Вячеслав Андреевич! Меня неделю назад тоже вызывали в инстанцию... Или вроде приглашали для разговора... Задавали вопросы о ваших отношениях с артисткой Ириной Скворцовой. Им, стало быть, никто не запретит докапываться до середины, если дело о гибели человека при неизвестных обстоятельствах...

— При неизвестных обстоятельствах? — переспросил Крымов и, оттолкнувшись от подоконника, прошелся по комнате. — Кому неизвестных? Тебе или следователю, который тебя спрашивал? По просьбе следователя до своего отъезда на фестиваль я изложил все обстоятельства письменно. Я был единственным свидетелем... Единственным. И никто не может ничего добавить. Ни Балабанов, ни ты. Смысла не было вас вызывать — или как там? — приглашать для разговора.

— Не одних нас. Знаю, что и шофера Гулина. С ним-то вам не надо было связываться, темный он с ног до головы, — добавил Молочков не без негодования. — Никак я не возьму в толк: неужто не верят они вам?

— На этом свете все возможно.

— Шофер Гулин сейчас ко мне зайдет, — заговорил Молочков, понизив голос. — Вы поговорить с ним не хотите?

— Охоты нет.

— Настроен он весьма по-идиотски, агрессивно, можно сказать, и собирается в суд подавать. Ох не надо было вам, ох не надо с дураком было! Господи Иисусе, я вспомнил вас офицером, и страшно стало мне... А ведь тридцать пять лет прошло. И тут рискуете, Вячеслав Андреевич, опять рискуете смелостью.

— Что не надо, ты сказал?

— Избивать подонка такого, пьяницу, как стало известно, ловителя рублей... Беспokoюсь я за вас, Вячеслав Андреевич. Мне, может, ваше здоровье и нервы ваши дороже всего. Без вас мы все в съемочной группе ровно щенки слепые или сироты, можно сказать. И я без вас — нуль, никто, сопля воронежская, в чужих вроде санях. Потому на душе кошки скребут, Вячеслав Андреевич, нехорошо как-то чувствую себя, когда вас кто плечом задевает...

— Давно хотел тебе сказать, Терентий, — прервал недовольно Крымов. — Мужские сантименты в деловых отношениях давно бы пора бросить. Ну скажи мне, директор, почему, ради чего ты заискиваешь передо мной?

— Обижаете. Я очень уважаю вас, Вячеслав Андреевич... — сказал Молочков, влюбленно потупив взор. — До гроба не забуду, что сделали вы для меня. Я всем вам обязан, и жена моя Соня весьма вам благодарна...

— Ставишь меня в дурацкое положение! — раздраженно сказал Крымов, с отвращением понимая, что не сдерживается, позволяя себе прежнюю, осужденную им самим слабость молодости: вспыльчивость. — Роль благодетеля и благодарного — архаичное понятие в наше время! — заговорил он, не сумев подавить раздражение. — Мы с тобой хоть друзьями на войне не были, но какую-то пору воевали вместе. И наши отношения должны быть равными. Сними напряжение, Терентий, ты мне ничем не обязан! Тем более что и друзьями мы никогда не будем...

«К чему я так грубо и откровенно? Что меня заставляет говорить это?»

— Я хотел бы... мечтал, да только вы, Вячеслав Андреевич... да-лекий,— забормотал Молочков, и руки его кругообразно задвигались на коленях.— Да чего мечтать? Много вы для меня сделали, а благодарных свиней я весьма не люблю. Вы птица большого полета, а я кто ж такой... из сопливой деревни да из грязи болотной в князи выбился. Образовался на курсах. Считать я хорошо научился. А в сравнении с вами — необразованная балбешка.— Молочков стукнул жилистым кулачком себе в лоб.— Хоть курсы администраторов кончил. И на войне дурак дураком был и после войны. Пока вас не встретил, Вячеслав Андреевич...

— Самоуничтожение паче гордости,— сказал Крымов.— Я сделал для тебя не больше того, что мог и другой. Ну хорошо, Терентий. На всех парах изображай из себя благодарного раба, а я буду в позе благодетеля наслаждаться твоим гордым самоуничтожением.

«А ведь он похож на кузнечика. Сидит на диване, шея вытянута, напряжен, руки на коленях, глаза налиты умильной преданностью, вот-вот готов прыгнуть и задушить в объятиях, несмотря на мою грубоватую откровенность...»

— Боюсь, Терентий, тебе когда-нибудь надоест быть благодарным...

«Что толкает меня говорить подобную глупость?»

— Никогда. Крепко меня обижают,— искренне запротестовал Молочков и, сощурился в сладостном оцепенении, договорил горловым выдохом: — Меня бы Соня прокляла... и умер бы я.

«Умер за меня? Прокляла Соня? Или он безумец?» Крымов переспросил:

— Соня?

— Моя жена Соня, Софья Павловна,— скороговоркой пояснил Молочков.— Она прямо души в вас не чаает. Она все ваши фильмы наизусть помнит.

Да, Софья Павловна недавно стала женой долго жившего в одиночестве Молочкова, а накануне женитьбы, пьяный от счастья, он приводил ее сначала домой к Крымову, затем на студию, с гордостью знакомя и представляя съемочной группе будущую супругу. По профессии она была учительница пения, и Крымов поразился ее сильным толстым ногам, наводившим на мысль о хозяйственной склонности ума, мужской величине ее плеч, полноте бюста и басистому голосу, когда по просьбе ликующего жениха она нестеснительно пропела, мстиво притопывая ногой, арию Сольвейг под аккомпанемент звукооператора, приглашенного к пианино в актерскую комнату.

— Ах да,— сказал Крымов, вспоминая свою неловкость при этом знакомстве.— Да, интересная женщина, талант, лирическая натура, но не это я хотел сказать, Терентий.— оборвал он себя, чтобы не сбиться на привычный иронический тон, некстати высмеивающий, в сущности, малознакомую жену Молочкова.— Так вот что я хотел сказать, Терентий. И это серьезно,— добавил Крымов.— Картину я снимать не буду. Этого моего решения я не сказал Балабанову. Так что тебе, по всей видимости, придется работать с другим режиссером. Второй актрисы такой, как Скворцова, нет. И я не верю в удачу. Впрочем, удача или неудача — теперь не имеет значения. Так что, Терентий, вероятно, с год я побуду в простое, если, разумеется, не закончат в тюрьгу. Ибо все может быть в наши насыщенные создательными событиями будни...

— И вы так шутите? — зябко поежился Молочков.— Когда вы не будете смеяться над всем?

Крымов ответил полусерьезно:

— Не над всем. Над самим собою. В этом есть надежда, коли мы не исповедуемся в церквях. Высшая мудрость приходит тогда, когда начинаешь понимать, что все может быть.

— Ой-ёй-ёй! — покачался на диване Молочков, и леденцовые глаза его всполошились, замерцали. — Боязно мне за ваш язык, Вячеслав Андреевич, люди стали обидчивые очень, гордые, грамотные, не так поймут и мнение составят нехорошее.

— Ах, мой золотой Терентий! Вокруг столько фальшивых репутаций, неимоверно надутых пузырей, случайных известностей и неизвестных знаменитостей, что мое развенчание «нехорошим мнением» ничего не убавит, не прибавит в деталях моей биографии.

— Злые есть люди-то... Всё норовят съесть кого...

— Посмотрим на их аппетит. А я пока поехал на дачу. Ну будь...

Он сказал фамильярное «ну будь» и с неприязнью к этим кинематографически-богемным словам пошел к двери, на ходу потрепав по плечу Молочкова.

«Нет, обман! Независимо от воли я ничего не могу поделаться с собой, — подумал Крымов, мучаясь мерзким неудовлетворением. — С милым ерничеством развлекаю и его и себя. А на самом деле болен невробами двадцатого века, как и все в искусстве, которое не может насытиться ни тщеславием, ни славолюбием. Честолюбив и самолюбив, как вчера, как тридцать лет назад на войне. И вот совестно признаться, что совсем не безразлично, что подумают обо мне... Так, может быть, вся моя жизнь была трусостью, если я боялся за свою репутацию и хотел понравиться? Ради чего? На войне — ради орден? После войны — ради успеха? Кто я — лжец или лицедей?»

Выйдя в комнату, где на сквозняке работала машинистка, бегло бьющая по клавишам, Крымов задержался, внезапно столкнувшись с чем-то посторонним, мешающим, и не сразу сообразил, что ощущение возникло при виде парня, ссутуленно сидевшего на стуле сбоку шкафов, набитых сценарными папками. Сидел он, наклонив голову со свисающими черными волосами, и меж раздвинутых колен нервно тискал, мял кепку узловатыми руками — и нечто назойливое заставило Крымова внимательно взглянуть на парня, рывком вскинувшего голову. Он мигом узнал эти крепкие щеки, крепкий лоб, большие губы, на которых тогда, в тот день, была кровь, и тогда он, этот парень, оборачиваясь, дыша толстой шеей, слизывал ее языком... Это был шофер Гулин. Его воспаленные, с красными белками глаза злобно рыскнули мимо Крымова, желваки буграми затвердели на скулах. И Крымов, загораясь, вспомнил свое бессилие в ожидании машины и оправдательное бормотание шофера, его задушливый хрип, когда он, жалкий, не сопротивляясь, размазывая кровь по носу, отступал боком к раскрытой дверце, где виднелись в пепельнице окурки.

«Значит, он на прием к Молочкову?» — мимолетно определил Крымов.

И не справившись с соблазном бесовской игры, подмываемый темной, знакомой когда-то в молодости силой, вдруг взрывавшей иногда в нем послевоенное благоразумие, он взял за потный подбородок Гулина и, подняв его, с ледяным спокойствием, какое появлялось в момент крайней решимости, спросил негромко:

— Ну что, ненавидишь антиллегенцию, парень? Покрушил бы их, миллионщиков, бездельников, развратников, ежели бы твоя воля?

— А-а! — Гулин вырвал подбородок, вскинувшись, подобно взнузданной лошади, и выражение ненависти плеснулось в его зрачках, он выговорил осипло: — Не приставайте, свидетели есть! — И ткнул пальцем в сторону обомлевшей машинистки. — Обратно избить хотите?

— К сожалению, не могу позволить себе запретного детского возмездия, — сказал Крымов и вышел в коридор, пугаясь того возможного удовольствия, какое испытал бы, увидев следы справедливого наказания на этом крепкощекем лице.

За воротами студии он подошел к машине, необъяснимо почему думая о том, что при всех минусах, в общем-то, много лет был ба-ловнем судьбы, хотя сдавал каждую готовую картину с задержками, с длительными диалогами в кабинетах, вызывая время от времени тревожный переполох в Комитете по делам кинематографии, опасаясь принимать фильмы без уточняющих поправок. Вместе с тем его раздражали студийные мальчишки с медальонами на волосатых грудях, значительно и умно бормочущие в кулуарах о его новаторской левизне, и не менее раздражал ядовито доползавший шелестящей змейкой шепот о его взбалмошной неуправляемости. А он, в разнovidных общениях познавший и левое и правое лукавство, не желал слыть ни левым, ни правым, ни управляемым, стараясь оставаться, может быть, не в меру открытым и в меру нежным, особенно в прошлых картинах о юности своего поколения, о войне с ее огненной скорбью потерь и, наверное, в последних фильмах о семидесятих годах с их микробом потребления, вялого нравственного равнодушия, сиюминутных забот и безлюбивой любви к земле.

Но, слава богу, он должен был сейчас ехать на дачу, за шесть дней соскучившись за границей по детям, по Ольге, ее тихому взгляду снизу вверх, медлительному ровному голосу, который порой умилял его, по ее стыдливой близости, шутивому вопросу после первого поцелуя: «Ты все-таки не очень забыл меня?» И он тоже несколько шутивно отвечал ей, что погибал в ностальгии, тосковал по чадам и домочадцам, в первую очередь по Таньке, смешливой и озорной дочери, младшей в семье, откровенной его любимице. Он был спокоен в отцовском чувстве к сыну Валентину, студенту третьего курса Института кинематографии, не без его совета пошедшему по его стопам, однако малоразговорчивому, замкнутому, порой непримиримому по отношению к ностальгии «предков» и их искусству — то есть освобожденному от всякой сентиментальной чепухи, отжившей и устаревшей в век техники и прагматизма. Молчаливая отчужденность сына, его нелюдимость не сближали их и не создавали родственной взаимности, а Крымов из-за всегдашней загруженности работой и отсутствия воспитательных способностей не искал особо близких точек соприкосновения и считал сына чересчур современным парнем, но вполне заурядным будущим оператором, лишенным художественной жилки, исповедующим приемлемую разумом, достойную времени формулу: надежда мира в технологической цивилизации.

По дороге на дачу Крымов заехал на московскую квартиру, и, когда вошел в душную тишину и увидел столбики солнца сквозь шели штор в духоте комнат, летняя заброшенность квартиры повеяла сиротством, и уже не захотелось быть здесь одному, как вчера. Он выпил рюмку коньяка, чтобы снять головную боль, положил под язык валидол, чтобы отбить запах (на случай непредвиденной встречи с ГАИ), взял чемодан с сувенирами, которые за границей покупал «своим женщинам» всегда, и спустился к машине.

Глава шестая

В дачном поселке, скрытом в буйстве июльской зелени, он оставил машину возле калитки, затененной липами, вылез и тут же через штaketник увидел в саду между яблонями расставленные три шезлонга и свою дочь, свою любимицу Таню, девятиклассницу, коротко подстриженную под мальчика. В спортивной майке, открывавшей ее загорелые плечи, она лежала в траве на коврикe, грызла яблоко, болтала босыми ногами и читала. С засиявшим лицом Таня обернулась на скрип калитки, сейчас же гибко вскочила и, швырнув в кусты огрызок яблока, завизжала радостно:

— Папань, с приездом, ур-ра! Привет и салют!..

— Здравствуй, милая,— сказал Крымов и пошел в хлещущей по ногам траве навстречу дочери, бежавшей к нему.— Ну здравствуй, чертенок, пигалица моя,— проговорил он, целуя ее в волосы, пахнущие солнечным теплом.— Слушай, Татьяна-сан. я тебя вроде бы не видел целый год, и нос у тебя облупился до невозможности, и вся ты обгорела до негритосности! Что, целый день на солнце?

— Ах, папашка-букашка, я рада, рада, я по тебе соску-училась! — весело говорила Таня с той принятой между ними доверчивостью дружбы, которая более всего была ценима Крымовым.— А ты похудел в своих заграницах и стал какой-то очень изящный и бледный! А мы с мамой читали в «Советской культуре», что твой фильм получил приз и был показан в переполненном зале. Так, а? Ничего не приврали работники пера? А то они умеют так перестараться, что хоть караул кричи!..

— В данном случае — нет,— ответил Крымов, поймав в себе счастливую ироническую легкость под веселым взглядом дочери, наслаждаясь ее озорным голосом, ее задорным обгорелым носом.— Зал был набит, причем были поломаны кассы, поматы пожарники, сидели, лежали и стояли, кто-то висел на портъере, самые ловкие устроились на люстрах и во все горло кричали то ли «шайбу!», то ли «режиссера с поля!».

— Ну вот, начинается! — воскликнула Таня с осуждающим восторгом единомышленника, быстро уловившего знакомый прием.— Опять, папá? Не поймешь, где шутка. где серьезно. Подожди, мамы нет, она на Солнечной поляне работает. Садись в шезлонг, вот сюда садись!

Она потянула его за руку, посадила лицом к солнцу, сама села напротив, откинулась в шезлонге, таинственно взглядывая из-под мохнатых, белесо опаленных солнцем ресниц.

— Папа, я хочу у тебя спросить — правда или нет? Хотя я ни капли не верю...

— Чему, дочь, именно?

Таня наморщила нос.

— Ужасно глупые слухи, от которых уши вянут. Вчера на пляже ко мне подошла эта толстуха Симка Анисимова. ну, дочь бывшего твоего оператора, который сейчас дачу в нашем поселке купил, и ехидно говорит: «Ты знаешь, что с твоим отцом?» «Нет, а что ты знаешь?» «Значит, не знаешь, что уже все знают?» «А в чем дело, дуреха?» — я спрашиваю. А она: «Ну ничего, все узнаешь, когда надо будет!» Знаешь, не знаешь, крокодилица известная.— Таня хмыкнула.— А глазки блестят, как у ведьмочки. Потрясающе! Я, конечно, назвала ее кухонной скалкой, но кто-то глупые слухи выдумывает...

— Какие, дочь? По-моему, ты недоговорила.

— Будто у тебя в съемочной группе погибла молодая актриса... и будто ты к ней был равнодушен,— сказала Таня и покраснела, независимо тряхнула головой, протестуя и не соглашаясь.— Всем ясно: слухи распространяют кухонные скалки...

— Танька ты моя милая,— сказал Крымов, видя на лице дочери искренность, неумение лгать, озабоченность защитой семейной чести, которую он, ее отец, не способен был уронить.

— Вот уж, называется, наговорила! Да это же слухи, папа! — воскликнула озабоченно Таня и хлестко шлепнула себя по коленям.— Ты, папа, какой-то грустный стал! Ничего не слушай! Я тебя сейчас развеселю, папа! Потрясающе! Знаешь, у нас скоро свадьба — наш Валентин Вячеславович, студент третьего курса, знаешь что? Выходит замуж. То есть я всегда путаю... Ха-ха, просто женится. Это еще почти тайна, в газетах об этом еще не шумели, интервью не брали, но, но, но...

— И что но, Таня?

— Но все идет к этому. Мама в панике. Просто невероятно! Как только жених приезжает со своей избранницей, мама места не находит, берет свой мольберт — и целый день на этюдах. Не приходит на обед, наверно, в лесу питается ягодами. Ужасно переживает, а мне смешно, хотя виду не показываю. Нашел себе... «тысячу и одну ночь», Джульетту — утя, утя, утя!

Крымов уловил в ее голосе плохо скрытую ревность, но тотчас она засмеялась так звонко, так естественно, что, вся загорелая, с льняными волосами, заискрилась юностью, беззаботным здоровьем, а его на секунду сжало необъяснимое пронзительное чувство опасения за нее: случись что с Таней — и ничто не удержало бы его на земле.

— Утя? Ее звать Утя? — спросил он вполголоса, непроизвольно связывая это секундное чувство опасения с тем страшным июньским днем и холодом мокрых светлых волос на его щеке.

— Утя, утя, утя, — смешливо повторила Таня и показала поцарапанными пальцами, будто вытягивает свой облупившийся нос. — Непонятно? У нашей невесты утиный носик, такой остренький носик... и башмачком, его так и хочется потрогать, я прямо удержаться не могу, но она — знаешь? — с сомнением. Да ты ее увидишь. Студент с утра ее на пляж повел. К обеду придут.

— Ты не слишком к этой уте? А?

— Ни капли. Мне интересно за ней и Валентином наблюдать. Он просто спятил, изображает индюка, а она — павлиниху, даже мизинчик оттопыривает, когда стакан берет. Утю звать Людмила. Вот тебе — Руслан и Людмила. До невозможности юмористично! Ранние произведения Антона Павловича Чехова. А мама — в ужасе.

— Я соскучился по тебе, Танька, — сказал ласково Крымов и встал с шезлонга. — Что ж, ясно. Пойду к себе. А ты открой чемодан и выбери сувенир. По-моему, тебе понравятся вьетнамки на шнурках.

В кабинете были распахнуты окна, дверь на балкон и мягко ходил садовый воздух.

Он оглядел свою мансарду и сразу заметил постороннее вмешательство, чужое присутствие в ней.

На диване, где он любил лежать у раскрытого окна, глядя на закат, на тихое угасающее золото на березах, предаваясь томительной власти вечерних мыслей (как определяла это Ольга), сейчас белела подушка и простыня, наполовину прикрытая одеялом — наспех прибранная постель, — возле на спинку стула небрежно был повешен женский халатик; коричневая сумка с ремнем забыто брошена на коврик близ письменного стола. Ему непривычно было, что его приграватель раскрыт, книги на полках кем-то потревожены, на краю журнального столика отблескивало на подставке круглое зеркальце, а рядом лежали тюбик губной помады, плоская коробочка с пудрой, женская расческа. И то, что в его кабинете ночевала, по-видимому, невеста сына, задевало Крымова простодушным и бесцеремонным вторжением в его обжитые владения, где неизменно царствовал выбранный им и заведенный для работы порядок.

«Значит, так уже далеко зашло, если она ночует на даче?» Он снял пиджак, походил по кабинету, насквозь светлому, всегда покойному его убежищу, постоял против журнального столика, поглядывая на зеркальце, в которое утром, вероятно, смотрелась невеста сына, с ироническим удивлением отметил, что зеркальце ее поставлено на кипу вариантов режиссерского сценария, сказал вслух: «А это трогательно» — и вышел из кабинета.

Перед тем как спуститься вниз, Крымов заглянул в комнату же-

ны, маленькую, уютную, куда ему приятно было заходить, в мир ностальгии по прошлой Москве двадцатых и сороковых годов, ныне ставшей холодным многоэтажным городом, потерявшим прежнюю душу.

Здесь, в уголке Ольги, было то, что любила она: плавность линий и изгибов, стройность, округлость в архитектуре, распространяющей тепло, успокоение, радость силуэтов,— рисунки и фотографии Прецистенского бульвара, храм Христа Спасителя с видом на Замоскворечье, Сухарева башня с белыми узорами, ярусами и открытой галереей, весеннее Зарядье, его утренние переулки, вековые часовни и Ольгин московский пейзаж весь в ледяной розовости зари, с обросшим инеем первым трамваем на пустынной улице, а рядом пейзаж дачный, грустно влекущий настроением сумерек: за окном голубеет зимний воздух, синееет снег на покатых крышах меж черных елей, а кое-где уже теплятся огоньки в домах.

Всякий раз Крымова овеивало здесь нетронутой чистотой, исходящей от старых фотографий, пейзажей на стенах, от чертежного стола с лампой на гибкой ножке, от тюлевой занавески до пола, в слабых волнистых движениях которой было что-то женственное, опрятное, так же как в опрятно застеленной кровати Ольги.

Когда пятнадцать лет назад строили дачу, эту комнатку отделали первой и не в Москве, а на даче встречали Новый год, возбужденные строительными хлопотами, деловыми разговорами с плотниками, исполненные самых радужных надежд на будущее, уповая на то, чтобы летом жить, работать в саду, принимать гостей, разумеется, только за городом. Но та первая встреча Нового года на даче была случайной и особенной, потому что, задержанные обильной метелью, завалившей дороги, они не поехали в Москву и, отрезанные снегопадом, остались вдвоем в недостроенном доме, скипидарно пахнущем холодными стружками на лестнице и воском свечей, оттаявшей хвоей в Ольгиной натопленной комнате, сотрясаемой вьюгой целый вечер. И все, что тогда делала, говорила Ольга, было наполнено ее любовью к нему: в ее безобманных бархатных глазах, подставленных его взгляду, проходила то улыбка, то вырастала робкая нежность, когда он касался ее, своей жены, уже родившей двоих детей, но такой же нерешительной, как в девическую пору, отчего-то стеснявшейся его нетерпения.

Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев гирляндами. Он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал. Видел ее наклоненную гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, поворачивал к себе. А она, замороженно глядя ему в лицо, говорила растерянно:

— Это год лошади, поэтому тебе надо надеть коричневый костюм.

— Ах так, Оля? Обязательно коричневый? К несчастью, забыл свой гардероб из пятидесяти смокингов в Буэнос-Айресе в апартаментах отеля «Хилтон». Пустыня. Дам телеграмму.

— Какая забывчивость! Что же делать? Сбруя ведь коричневая, в общем-то. Знаешь, какой ритуал? Нужно, чтобы было надето на нас что-то кожаное. И чтобы висела на мужчине золотая цепочка. Нагни голову. Я надену тебе свою.— Она сняла с себя и застегнула на его шею крошечную цепочку, сказала озабоченно: — А мне дай твой коричневый ремень от брюк. Я подпояшусь. На столе должна стоять игрушечная лошадка. В блюде перед ней — овес и кусочек сахара. Еще что? Ровно в двенадцать шампанское пить нельзя. Да у нас и нет его. Как хорошо! Только коньяк или водку. Это, слава богу, у нас есть. За минуту до полночи открыть дверь и выпустить старый год.

Ровно в двенадцать войдет новый год. Закрыть дверь. И тогда надо выпить за него. Давай так встречать Новый год, по лунному календарю.

И он с великой охотой принял ритуал встречи Нового года по лунному календарю, не ведая до сих пор, есть ли год лошади в этом летосчислении, и Ольга, мягко светясь глазами, сидела за столом, подпоясанная мужским ремнем, у него же на шее висела Ольгина цепочка, сохранявшая, мнилось, ее телесное тепло, трогательная в женской невесомости на его грубом свитере, и стояла на середине стола игрушечная лошадка, и было блюдце с кусочком сахара. А ровно за минуту до полночи он предложил Ольге: «Пошли встречать конягу, только возьми свою рюмку» — и вышел в пропитанную смолистостью стружек темноту лестницы, где еще не было проведено электричество (как и во всем доме), спустился с мансарды в тамбур, распахнул входную дверь на ветер, несущий наискось сизые космы, гул метели, окатившей их обоих глухим волчьим холодом непроглядной ночи. И почувствовалось, что они несутся в потемках по краю вселенной, он и она, оторванные от земли, в соединенном счастливом одиночестве, как бывало в молодости, когда им не нужно было ничего, кроме старого, продавленного дивана в снимаемой за тридцать рублей комнатке в коммунальной квартире на Якиманке.

— Вот он идет, слышишь? Топают валенками между сугробами и крикает в усьици,— сказала Ольга, неумело шутя и вздрагивая.— Слышишь? Выпустил старый год и вошел. И холод внес с собой. Чувствуешь?

— И снегу натащил, старикашка.

Он захлопнул дверь (вьюгой успело нанести на пол белые холмики), обнял Ольгу, согревая, чокнулся с ее рюмкой и поцеловал в холодные, сладко-горькие от коньяка губы, сказал полусерьезно, скрывая захлестнувшее волнение:

— С Новым годом, моя любимая жена!

— Ты сказал так, как будто у тебя гарем. Любимая жена и нелюбимая жена,— ответила она и, вздохнув, тоже легонько поцеловала его.

А он опять поразился тому, что она поцеловала его не согревающимися от холодного вина губами так же наивно, неопытно, вызывая прежнюю неутоленность, как когда-то в целомудренной молодости после войны, не научившись тому, чему еще до встречи с ней научили его послевоенные знакомства, и, наслаждаясь ее неумением и неразвращенной чистотой, он сказал:

— Ты, чудесная моя женщина, опять целуешься, как галчонок, и все время закрываешь глаза и вздыхаешь.

В два часа ночи метель утихла, и, до глухоты окруженные безмолвием оцепеняющей стужи, они вышли в первозданную лесную пустыню, деревенскую, сугробную. Скрип снега под валенками был так пронзительно и остро звонок, что перехватывало дыхание. В оранжевых морозных кольцах светила луна, сыпалась изморозь, и Крымов видел в лунном дыму скольжение теней на свежем покрове снега, как отражение солнечных бликов на песчаном дне.

Ольга шла рядом, говорила о чем-то (он плохо слушал, думая о том, что никогда не переставал любить ее). Она иногда трогала его рукав, взглядывая снизу с кроткой улыбкой, а он, немного оглушенный своей повторной влюбленностью, глядел на ее приглашающее к спокойной радости лицо и тоже улыбался и ее взгляду, и этой новогодней ночи, и стреляющему треску деревьев в лесу, где изредка срывались текучей пылью снежные пласты с отяжеленных этажей елей.

Но Крымов помнил и солнечное серебристое утро первого дня Нового года, когда, проснувшись, увидел, что она, зажав ладонями

виски, смотрела на него неподвижно и задумчиво, точно хотела запомнить его, перед тем как расстаться надолго.

— Ты что? — спросил он встревоженно и обнял ее, опять загораясь желанием.

— Я проснулась и увидела, как ты спишь. И подумала, что наши дети не похожи на тебя. И тут мне стало так страшно. Неужели через десять или пятнадцать лет мы не увидим друг друга? Как мне жаль и тебя, и детей, и всю нашу короткую жизнь на земле.

— Почему жаль, Оленька?

— Мне показалось, что мы с тобой вдвоем на целом свете, но ты не любишь меня. Нет, мы все-таки одиноки. Ты и я...— Ее тихие бархатные глаза дрогнули, и, пряча лицо, она повернула голову к стене, а он с разрывающей душу горечью стал целовать ее слабые, ускользающие губы и шепотом говорил, переводя дыхание:

— Ты напрасно, Оля. Наверно, мы с тобой были иногда счастливы.

Он говорил это, опасаясь, что Ольга возразит и разрушит его новую влюбленность, ставшую за несколько часов их оторванности от Москвы смыслом его близости к ней, влюбленность в посланную ему благосклонной судьбой святую женщину, ни разу не обманувшую в чувстве, хотя сам бывал в молодости грешен не однажды.

— Какая несправедливость, — сказала она шепотом и прижалась, вдавила носом ему в грудь. — Я не хочу с тобой расставаться.

— Я знаю, тебя пугают сны, — проговорил он. — Забудь о том, что привиделось тебе.

Спускаясь по лестнице из мансарды, выйдя в теплынь сада, на посыпанную речным песком дорожку, исполосованную тенями, Крымов опять среди солнценосного июльского дня увидел ту пустынную зимнюю ночь, лунные сугробы и морозное утро в комнате Ольги с их счастливым одиночеством.

— Тебе помочь найти маменцию? — крикнула Таня издали, отрываясь от книги, и заболтала босыми ногами. — Мама на Солнечной поляне. Проводить?

— Не надо, дочь. Я найду.

«Да я и не переставал любить ее, — подумал он, направляясь по тропинке в конец сада, к калитке в лес. — А ей как будто не хватает моей искренности».

Он нашел Ольгу под березами на краю поляны. Она стояла перед утопавшим в траве мольбертом и чуть устало отклонялась от холста, приложив обратную сторону ладони ко лбу. И все было родное в ней: и этот мягкий жест усталости после долгой работы, и узел черных волос, и линия ее спины и плеч, еще молодых, девически крепких, видимо, благодаря занятиям гимнастикой и тибетской йогой, чему она отдавала ежедневно не меньше часа, поверив в этот восточный «секрет» здоровья и вечной молодости.

Она увидела его, опустила кисть, молча повернулась, в ожидании стояла так до тех пор, пока он не подошел быстрыми шагами.

— Здравствуй, ненаглядная жена моя...

«Откуда появилась во мне пошлость? Кто управляет мной?»

И он обнял ее так стесненно, неловко, словно не имел права на объятие и поэтому преодолевал, перебарывал запрет и недозволенное.

— Здравствуй, ненаглядный муж мой. — Она подставила ему не губы, а щеку, взглянула с насмешливым интересом из-под выгнутых бровей. — Разве я столб или дерево? Ты не считаешь свою силу, Вячеслав Андреевич.

От ее сдержанности исходил осенний ветерок, и он догадался о возможных причинах этого неприятного заморозка, но все же нашел мужество пошутить, смягчая ее холодноватость:

— Вероятно, Оля, за неделю, пока не видел тебя, я разучился обращаться с драгоценными вещами, старый осел.

«Опять пошлости! Что это я горожу? В самом деле — непроходимый глупец!»

— Тогда отпусти меня, свою драгоценную вещь.

Ее глаза заблестели тою же спокойной недоверчивостью, она осторожно высвободилась, он сказал виновато:

— Я соскучился, если ты можешь хоть капелючку поверить...

— Ты приехал вовремя. Мы сейчас идем обедать. Помоги мне собрать мольберт.

Она не попросила его по обыкновению «покоситься на этюды», на еще влажные, не просохшие акварели («Что ты скажешь — ничего это тебе?»), которые он оценивал довольно-таки снисходительно, ибо считал чистый пейзаж лишь зеркальным отражением изменчивой действительности, предпочитая ему портрет природы — пейзаж философский, с разумной, естественной красотой, противоречащей нещадно разрушительной человеческой силе, этому выражению современного урбанистического мира, порочного и заманчивого для многих, любимого бывшими сельскими людьми, составляющими большинство теперешних горожан, и вместе ненавидимого ими. Ольга не сердилась, не возражала, а Крымов заканчивал свою наполовину серьезную критическую проповедь добродушно («Ты у меня незаурядный пейзажист, хотя и архитектор») и целовал ее в загадочно прохладные губы, по-младенчески отвечающие и не отвечающие ему.

Но собрав мольберт и глянув на свежую акварель — поляну под палящим полуденным солнцем, — Крымов решил, — снисходительность или шутка сейчас обидят и оттолкнут Ольгу, поэтому сказал миролюбиво:

— В твоём пейзаже знойно и кажется, что из травы подымается дух переспелой земляники. Ты просто молодчина.

— О, наконец я дождалась твоей похвалы, — сказала она без выражения согласия. — Хорошо. Я благодарна тебе за то, что я тебе стала чуть-чуть нравиться... Но для чего вдруг ты говоришь неправду?

— Оля, могу узнать, в чем я провинился? В чем я виноват? — спросил он по-прежнему дружелюбно, ужасаясь тому, что неискренен с ней. — Ты, кажется, не рада, что я приехал? — продолжал он, взяв ее за плечи, нагретые солнцем. — А я действительно соскучился, до черта устал, соскучился по всем вам и вернулся раньше срока.

— Что на тебя нашло такое? — Ольга вздохнула с видом обреченности. — Мы сейчас утонем в океане жалких лирических слов. Оставим это. Умоляю тебя об одном: поговори сегодня с Валентином, по-моему, он делает непродуманный... безумный шаг. Ты знаешь, что он собрался жениться? Чудак, неопытный мальчик... Но он ничего не слушает, потому что не принимает меня всерьез. Как, впрочем, и ты.

— Черт возьми, хочешь, я встану на колени и в любви объяснюсь?

— Какая ты прелесть, Вячеслав, и всегда неотразим. Твой любимый черт, черт и черт. В тебе осталась солдатская жилка. Хочется ругнуться, а ты крепкие выражения заменяешь чертом. Просто рыцарь!

Она пошла по тропинке впереди него, и крепкая спина ее и бедра, еще молодо-тугие в брюках, которые она надевала для работы, испачканных краской, облепленных цветочной пылью, вдруг напомнили радостное, не забытое им долгое сумасшествие в невозвратимые годы надежды после войны и в ту новогоднюю глухую вьюгу на

даче, так остро позднее не повторявшееся, охлажденное по его ли, по ее ли вине. И Крымов едва не сказал: «Оля, милая, кто это с нами все делает?» — но безмолвно шел за ней к дачному поселку.

Глава седьмая

— Так что же нового у молодежи?

Солнце, с утра проламываясь сквозь листву, накалило на террасе и стол, и соломенные стулья, и деревенские половички, но открытые окна заслоняли березы, и все-таки тут не припекало так давяще и адски, как в этот час в саду.

За обедом хотелось пить, и Крымов время от времени подливал себе ледяную колодезную воду, тяжелую, искрящуюся в графине, мало ел, мечтая о том, как хорошо бы сейчас постоять под душем, затем полежать в тишине кабинета одному среди книжных полок, полистать журналы в бездумной расслабленности. Однако он считался хозяином дома (что в занятости своей никогда обремененно не сознавал и не помнил) и должен был по просьбе Ольги соблюсти в меру правила этикета для главы семейства при знакомстве с невестой сына.

Они, Валентин и его невеста, пришли к обеду с реки юные, дочер-на загорелые — он неуклюже рослый, в шортах и сандалиях, с мохнатым полотенцем на шее, она босиком, в красной майке, безмерно короткой, не заправленной в джинсы, открывавшей великолепно плоский живот, вся миниатюрно-маленькая, огромные противосолнечные очки затемняли половину лица. Она не сняла очки и после того, как Валентин, не выказывая чувств, бегом чмокнул отца в щеку, сказал: «Познакомься, прошу. Это моя невеста — Людмила». Она же, сделав гибкое полуприседание, протянула выпрямленную ладошку, пропела птичьим голоском: «Люся» — и заметил Крымов, что худое серьезное лицо сына напряглось, он явно ждал ответных слов отца, чтобы понять, какое впечатление произвел его выбор. Крымов с приветливым поклоном несильно пожал ее влажные пальчики, сказал, что очень приятно видеть невесту сына в этом доме, сказал, удивляясь Ольге и Тане, их вероятной ревности и неприятию этой девицы, ничем особо не отличавшейся от современных девиц-студенток.

«Что ж, у невесты все от времени... Но личико, личико показала бы на минутку, невестушка. А очки не снимаешь не из застенчивости ли?» — думал Крымов, украдкой наблюдая Людмилу, сидевшую напротив рядом с Валентином, и угадывая ее настороженные взгляды из синей темноты очков.

— Так что нового у молодежи? — повторил Крымов.

Он спросил это для того, чтобы прервать затянувшееся молчание, которое становилось уже тягостным, неудобным, ибо с начала обеда Ольга не промолвила ни слова, с воспитанной сдержанностью исполняла роль хозяйки, даже слабо улыбнулась Людмиле, подвигая хлебницу, когда та вилок потянулась к хлебу, и предупредительно посмотрела на Таню: она, косясь направо и налево, склонилась над тарелкой, готовая прыснуть смехом, и в серых глазах ее резвились бесенята.

— Папа, вопрос: ты считаешь меня молодежью? — спросила Таня, озорно сияя. — Или так себе — глупым подростком?

— Несомненно, разумным представителем передовой молодежи, — шуточно ответил Крымов. — Без предрассудков.

Таня почесала наморщенный нос.

— Тогда вот какие новости: в созвездии Персея в результате мощного взрыва вспыхнула сверхновая звезда. Расстояние от Земли — сто пятьдесят миллионов световых лет. Такое же явление в нашей галактике наблюдалось во втором веке нашей эры. Вот какая штука произошла, просто голова за голову заходит...

— Очень интересно,— сказал Крымов.— Слава богу, одной звездой стало больше.

— Это коллапс,— строгим голосом проговорил Валентин.

— Что-что? — воскликнула Таня, подпрыгивая на стуле.— Объясни, пожалуйста, что такое, в самом деле? Ты у нас все знаешь, что, куда, зачем и так далее.

— Не все,— поправил Валентин и покосился на Людмилу: она аккуратно отрезала от огурца колечки, макала в сметану и аккуратно ела, опустив остренький нос к тарелке.— Я знаю то, что знаю. Все знать нельзя, дорогая сестра. Что касается твоего рассказа о рождении новой звезды, то это результат коллапса, сжатия материи в космосе при термоядерных реакциях.

— Ай, как здорово! Потрясающе! — произнесла Таня и, тоже скосясь на Людмилу, с мальчишеской лихостью откусила половину огурца, захрустела им так аппетитно и звучно, что Ольга остановила ее с упреком:

— Таню-уша, ты всеж оглушаешь... В конце концов ты девочка, а не грузчик.

— Мамочка, я живу в демократической стране и могу жевать как хочу! Да здравствует свобода, ура и прочее!

«Эту молчаливую Люсю не приняли ни моя насмешливая Таня, ни сдержанная Ольга».— решил Крымов, почему-то жалея чужую, остроносенькую, в марсианских очках девушку, появившуюся в их семье, и, разряжая напряженность за столом, сказал:

— Знаешь, дочь, у Чехова в его прекрасной «Степи» есть место, где один персонаж, Дениска, ест огурец. Там приблизительно так: он отошел в сторону, сел и так стал грызть огурец, что лошади оглянулись на него.

— Вот какой молодец! — воскликнула Таня и захопала в ладоши.— Вот это я понимаю мужичок — перепугал насмерть лошадей. Но я не читала «Степь». Мы не проходили. Я только видела фильм. А мы вот что проходили: Ванька Жуков, пятидесятилетний мальчик, отданный в учение сапожнику Алехину, в ночь под рождество не ложился спать и так далее...

— Пятидесятилетний мальчик? — пожал плечами Валентин.— Что за глупость! Что за нелепица!

— А потому что чертовски надоело слушать на уроке литературы про Чехова — Ванька да Ванька, бедненький, забытый, без золотого детства, и еще: дети при царизме жили в невыносимых условиях, в лаптях, работали по четырнадцать часов в сутки и питались селедкой. А потом еще: сумерки человеческой жизни, все погрязли в пошлости, в разведении крыжовника, и только одна мечта — о небе в алмазах и садах через двести лет. Терпеть не могу нашу Маригенриховну... жердь, сухарь в юбке, старая дева, губы покрашены бледной краской, а говорит в нос: гу-гу-гу...

Таня, продолжая грызть огурец, изобразила выражением своего подвижного мальчишеского лица Маригенриховну, «сухаря в юбке», и это гудение под нос, потом вызывающе скорчила рожицу Валентину, глядевшему на нее суровым взором, заговорила, оживляясь:

— С ней с ума сойти можно! Однажды она вызвала к доске Кудинова, есть у нас в классе такой балбес с гиппопотамским басом, чтобы тот прочитал стихотворение Маяковского «Паспорт». Кудинов вышел, ногу отставил и начал буквально орать: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» — а Маригенриховна вдруг встала, зажала уши, зашла Кудинову со спины и оттуда как завизжит: «Что за безобразие!» Кудинов остолбенел, ничего не сечет, как корова перед фотоаппаратом, и никак не может рот закрыть от растерянности, а потом затоптался, как верблюд на сковородке, поворачивается к Маригенриховне, и мы тут чуть со смеху не умерли. Кто-то из наших остряков приколол ему на

спину листок бумаги, а там большими буквами: «Не хочу учиться, братцы! Хочу жениться!» Понимаешь, папа? Прелесть какая...

Таня захохотала неудержимо, не без лукавства оглядывая всех, сверкая юной чистотой зубов, льняными, сплошь выгоревшими на солнце волосами, и Крымов не смог удержаться при виде веселья своей любимицы. Он прикрыл лоб ладонью, затрясся в беззвучном смехе, казалось, вовсе некстати, и тут дошел до него укоряющий голос Ольги:

— Таню-уша, какая ты, право! Ты никому не даешь ничего сказать. И все употребляешь какие-то невероятные слова из школьного жаргона.

— Бред,— фыркнул Валентин.— Абракадабра.

— Не бред, а прелесть,— возразила Таня и с тем же лукавым вызовом мелькнула глазами в направлении молчаливой Люси. спросила неожиданно важно:— А вы, Людмила Васильевна, тоже, наверное, думаете, что это бред? А? Правда?

Людмила подняла марсианские очки от тарелки, старательно и опрятно вытерла губы бумажной салфеткой, выпрямилась за столом так, что ее жалкие в своей неприметности грудки обозначились под майкой гордыми бугорками, сказала тонким голосом совестливой девочки:

— Они хулиганы. Так нельзя издеваться над учительницей. Их надо исключить из школы.

— Не хулиганы, а хорошие ребята,— живо возразила Таня.— И не их надо исключить, а Маригенриховну. За то, что задушила нас скукой и всякой примитивной чепухой!

— Она несчастливая женщина..

— Счастливыми бывают только дураки!

— Значит, они не дураки, дочь.

— Не понимаю, папа...

Крымов вмешался в разговор с предосторожностью, какую всякий раз проявлял, когда начинала горячиться Таня, доказывая свою правоту, разрушая все на пути к собственной истине. и, заметив вишневый румянец на щеках дочери, этот первый признак несогласия, угрожающего перейти в бесполезную страстность истинноискания, договорил примирительно:

— Не дураки, дочь, потому что счастливы.— И, успокоив взглядом засмеявшуюся Таню, обратился к Людмиле давно выработанным тоном почтительной простоты, каким разговаривал с приглашенными на кинопробу молодыми актрисами:— А вы, Люся, на одном курсе с Валентином учитесь?

— Нет.

— А чем вы занимаетесь? Где учитесь?

— Я работаю.

— Где?

— Вячеслав Андреевич, вам не понравится моя профессия.

— Но раскройте секрет, если это в пределах возможного.

— Отец,— вмешался Валентин, насунив темные брови,— ты задаешь вопросы Людмиле, как на экзамене. Не все ли равно, в конце концов, чем занимается невеста твоего сына. Любят не профессию, а человека.

— Ты прав,— сказал Крымов.— Но профессия — половина человека.

— А другая половина?

— Это несовершенство, неудовлетворение, мечты, упование на жар-птицу, иллюзии.

— Все мы, отец, живем придуманной жизнью. Все дворники, все министры и все наполеоны от догматизма.

— Мы живем в неблагополучном мире. Так вернее,— поправил Крымов, пожалев о несокрушимом с детства упрямстве Валентина, и

вновь дружелюбно обратился к Людмиле: — И тем не менее я любопытен. Чем вы занимаетесь, Люся?

«В сущности, какое я имею право задавать ей вопросы? Задаю с настойчивостью начальника отдела кадров, что уже занято и неприлично во всех смыслах...»

— Я работаю, Вячеслав Андреевич.

— Наверное, в каком-нибудь НИИ лаборанткой? Ходите в белом халате и называете своего начальника шефом? Не угадал?

— Не угадали. Я работаю закройщицей в женском ателье.

— Ах вот как? Интересно.

«В связи с чем я так удивлен? Хотел для сына невесту иной профессии? Я ждал другое? Что именно я хотел?»

— Вячеслав Андреевич, вы как-то странно на меня посмотрели...

Ее голосок прозвучал с кокетливой обидой, но не голос покорибил его, а та противоестественная невероятность, что представилась в возможном соединении мудрствующего, углубленного в себя Валентина, студента Института кинематографии, с этой миниатюрной закройщицей в противосолнечных очках, с капельками пота на остром вздернутом носике. Ольга сидела молча, в скорбном безучастии, ложечкой чертила вензеля на скатерти.

— Странно посмотрел? Извините, Люся. И примите это за любопытство,— проговорил Крымов вежливо.— Меня попросту интересует ваша профессия. Что вы конкретно в ателье делаете? Как вы осуществляете какой-либо фасон, если не секрет? Я понимаю, как трудно бывает иногда угодить жрицам моды.

— Это вовсе не интересно, Вячеслав Андреевич,— сказала Людмила.— Моя профессия вовсе обычная. А вот я люблю ваши фильмы. Такие сильные, такие добрые люди — почему они у вас почти все погибают на войне? Так жалко их. Такие хорошие были мальчики. А последний ваш фильм, который сейчас в Париже премию получил... Как он называется? «Необъявленная война»... Вы там хотите сказать, что люди губят природу и губят землю и себя? Я запомнила: у вас там один герой, ученый, очень грустный, говорит своему другу: «И все-таки человек живет не для того, чтобы превратиться в пищу для шести пород могильных червей. Найти смысл жизни — счастье. А счастье — это то, чего мы сами не испытали...»

— У вас хорошая память, Люся.

— Людмила — киноман, отец,— сказал Валентин с ласковойнисходительностью.— Она не пропустила ни одного фильма.

— Я читала в интервью, Вячеслав Андреевич, что вы выбрали на роль молодую актрису из Большого театра, которая должна была сниматься.— тоненько проговорила Людмила, и голос ее запнулся.— Я слышала, что с ней произошло несчастье, и мне так жалко... В том интервью была ее фотография — чудо, какая красивая!

— Ты говоришь об актрисе, которая недавно погибла? — спросил Валентин, хмуро вглядываясь в противосолнечные очки Людмилы.

— Я запомнила ее фамилию — Ирина Скворцова. Я слышала, что у нее была травма, ей запретили танцевать, а вы ее взяли на роль, Вячеслав Андреевич. Какой вы добрый!..

— Она была одаренной актрисой.

«Как их соединить? Каким образом? Ольга, Люся, Валентин... Где связь? Где ниточка логики? Выдержанная Ольга, святая женщина, и рядом остроносенькая Люся, ограниченная девочка с глупенькой смелостью. Что сблизает ее и чересчур серьезного, погруженного в себя Валентина? Физическое влечение?»

— Мне так жалко ее,— повторила шепотом Людмила, клоня голову.— Ой, как мне жалко, Вячеслав Андреевич...

Валентин мрачновато сказал:

— Лю-уся, ну что за сантименты! Лишняя трата нервных клеток. Произошел несчастный случай, каких происходит каждый день в одной Москве сотни.

— Не командуй, жених, ты еще не муж! — вмешалась Таня задиристо. — Людмила Васильевна сама знает, когда ей тратить нервные клетки, а когда нет. Какой командир нашелся!

— Как непонятно, дико, нелепо... — одними губами выговорила Ольга, неслышно положив ложечку на скатерть, и Крымов почувствовал, что у него заболело сердце от ее скрытого страдания.

— Дорогая сестра, я с пеленок противник глупой дидактики, как тебе должно быть известно. Я за полную свободу личности, — возразил Валентин и, неуклюжий, длинношей, озабочиваясь лицом, сказал Людмиле: — Сними очки, они тебе мешают.

Она послушно сняла очки, а он, словно бы никого не стесняясь, тщательно вытер ей лоб и щеки, спрятал платок в карман и заговорил хладнокровно, глядя на ветви берез, ломящиеся в распахнутые окна террасы:

— Люся вспомнила о твоём последнем фильме, отец. Я тоже о нем думал. Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бесильные мурáвьишки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга. Верить в свою мысль до конца, отец? Ты всерьез думаешь, что нравственный прогресс сильнее технического?

— Ну, начинается собачья философия! — всплеснула руками Таня с возмущением. — Был молчун, а стал болтун невыносимый, спорщик и никому не дает слова сказать! Заговорил всех до потери сознания!

— Таня, не мешай. При чем здесь собачья философия? Я не видел отца долго.

— Никому не дано знать полную правду о себе, — сказал Крымов и встретился с умоляющими глазами Ольги. — Человек только потому человек, что живет среди людей.

Валентин спросил упрямо:

— Но добро или зло заложено в людях?

— Не жди банального восторга: добро и зло. Время безжалостней людей. Представь диалог с самим собою: «Я стал другим?» — «Нет, я остался прежним. Время изменилось — и я стал другим». Время изменяют люди, а людей время.

— Поэтому, отец, я убежден, что духовный прогресс бессилён перед техническим. И все судорожные попытки интеллектуалов внести в двадцатый технологический век нравственную сентиментальность прошлого — бессмысленны. Это не цинизм, отец. Человек должен пройти через испытание сытостью и комфортом. Такое совместить с духовностью жизни нельзя. Нужен бензин для машин и нужно вообще топливо — значит, надо качать нефть из земли, нужно для строительства дерево — значит, необходимо вырубать леса. Пиджак и брюки из духа не сошьешь...

— Твоя смелость, сын, — увидеть голого короля одетым.

— Имеешь в виду технологический прогресс?

— И еще маленькую деталь — смысл человеческой жизни, которую не хотелось бы видеть голым королем.

— Если бы человек был бессмертен, он не думал бы о смысле жизни, отец. А бессмертие ему может дать только технический прогресс, технологизация, а не евангелие нравственности и так называемый дух.

— Ты молод, Валентин. Человеку порой не хватает целой жизни, чтобы понять, что жизнь свою он прожил бессмысленно.

— Парадокс, парадокс.

— Парадокс — одна из форм истины. Очень не хотел бы, Валентин, чтобы ты прожил свою жизнь под знаком техники, которая яко-

бы все решит. Техника и, кстати сказать, твой киноаппарат ничего не решит, если не ты будешь ему служить, а он тебе разумно.

— Отец, я не проживу жизнь бессмысленно.

— Как непонятно... Как нелепо...— растерянно повторила Ольга и поймала взгляд Валентина, спросила еле слышно: — Расскажи лучше, Валя, как вы с Людмилой будете жить. На какие средства? Ты не кончил институт, тебе еще учиться два года...

Валентин замкнуто молчал, замолчала и Ольга.

— Я получаю сто сорок рублей, Ольга Евгеньевна,— проговорила внезапно Людмила обиженным голосом.— Потом я могу шить и на дому. Я сумею заработать гораздо больше. Пока нам хватит. Мы будем жить у моей матери... На троих у нас комната восемнадцать метров. Правда, в общей квартире. Ты ведь не против? Знаю, ты не против.

Она слегка погладила руку Валентину, и слишком согласный его кивок сказал Крымову, что незаметная воля остроносенькой девочки распространялась на сына осязательной властью, растапливая и подчиняя его упрямство, его способность к постоянному возражению.

— Не рано ли вы решаете свою судьбу?— сказала Ольга с тихим укором.— Ради чего вы так торопитесь? Я умоляю вас, подумайте оба. Валя, ты способный человек, и, наверное, тебе небезразлично будущее.

— Мама, надо жить и настоящим,— возразил Валентин.— Будущее за семью печатями.

— Но печати-то придется срывать тебе, сын,— сказал Крымов.

— Сорву, когда наступит время.

Парная неподвижность воздуха стояла на террасе, окруженной послеобеденным томлением в саду, и однотонно, дремотно звенели две осы вокруг блюдечка с горкой размякшей малины, мокрая от пота сорочка неопрятно прилипла к спине Крымова, и то и дело возникала мысль о дождевой благодати душа, смывающего вялость и какое-то недомогание, которое томило его весь день.

— Прошу меня извинить,— выговорил он наконец и сложил салфетку на столе.— Знаешь, Оля, еще чувствуется дорожная усталость, поэтому мечтаю только о душе и прохладной подушке под головой.

Он виновато поцеловал ее в висок и вышел с облегчением.

После освежающего душа в саду, железисто-дождевого вкуса нагретой солнцем воды, речной тепловатой сырости и влажных решеток дощатой кабинки, после всего этого удовольствия Крымов лежал на тахте в кабинете. Слабое дуновение воздуха входило из сада, где уже спадал зной— день надломился к вечеру, и здесь, в мансарде, вольно открытой воздуху, он в задумчивом одиночестве слушал таинственный свист иволги за дверью балкона.

— Отец, не спишь? Если я тебя разбудил, то прости. Мы уезжаем...

— Это ты, Валя? За что тебя простить, сын?

— Да нет, я хотел сказать тебе...

И Крымов мгновенно вернулся в реальность из того состояния полуотдыха, когда можно было, как в пустом кинозале, просматривать киноленту сегодняшнего дня, приподнялся на тахте, проговорил будничным голосом:

— Что ты хотел сказать? Говори, Валя, я не спал, и ты меня не разбудил, не извиняйся.

Весь кабинет был заполнен золотисто-медовым дымом предзакатного солнца, янтарно горели стекла книжных полок, тишина плыла из окон, и в этом светлом дыму стоял против тахты Валентин, держа **железку** и босоножки Людмилы (видно, пришел за ними), и с некоторым замешательством говорил баском:

— Мы уезжаем, отец, нам пора. Электричка через двадцать минут. Люся тебя стесняется, за вещами послала меня.

«Интересно, было ли у Валентина нечто похожее на то, что однажды я почувствовал в его годы, проснувшись после разведки на сеновале? Я тогда увидел синюю осеннюю звезду над собой и тогда подумал, что где-то в далеком мире меня ждет женщина, которую я буду любить всю жизнь».

— Понятно,— сказал Крымов, разглядывая худое лицо сына, пытаясь найти какие-то черты, похожие на него, молодого Крымова, и попросил: — Сядь на минуту. Что ты мне хотел сказать?

И Валентин не вполне смело присел на край тахты, скомкав халат на коленях, не выпуская босоножки, скосил боящиеся встречаться со взглядом отца глаза в сторону письменного стола, где на полу лежал дымящийся успокоенным золотом солнечный луч, заговорил с заминкой:

— Знаешь, отец, уже известно в нашем институте о твоих неприятностях на студии. В общем, да... И эта трагическая гибель актрисы... Я догадываюсь... я понимаю, что у тебя есть недоброжелатели.— Валентин нахмурился, все не выпуская из одной руки босоножки, а другой без всякой надобности продолжал комкать халат невесты на коленях.— Только бы до мамы слухи и сплетни не дошли...

— Слухи и сплетни? Таня мне сказала, какие слухи дошли до нее. Что имеешь в виду ты?

— Полнейшая чепуха,— сердито сказал Валентин.— Ересь и гнусность в цветной обертке злого мещанского восторга. Обыватели от родимого кино болтают о каком-то твоем особом отношении к погибшей актрисе. Грош цена сенсации. Для меня истина, что ты не донжуан, а любишь мать. Но ей услышать злорадный слухок будет больно.

И Крымов в желтом освещении кабинета увидел вблизи руку сына, большую, юношески неуклюжую, но чем-то до безысходности напоминающую вроде бы приснившуюся другую руку, отца Крымова, когда тот приехал домой в туманное, пропахшее паровозным углем февральское утро, руку, глядящую по плечу счастливую мать, а теперь вот мнущую этот модный нейлоновый халатик, и, пораженный силой дедовских генов, испытывая не частое любопытство к Валентину, отдалившемуся от всех в доме «скорпионистостью» упрямства, проговорил вполголоса:

— Спасибо, сын. Ты прав. А вот как у тебя? Скажи по-мужски: правильно ли ты сделал выбор? Не расстанетесь ли вы через год, когда ничего общего у вас не будет?

— Разве в этом дело, отец? Ну что ж, я пошел. До свидания, прости, если я...

— Насчет прости — лишнее, сын. Мало кто знает, кто и кого должен прощать... И за что и почему.

— Я знаю, что господствует случай.

Валентин натянуто закивал отцу, прощаясь (поцеловать не решил), и пошел к двери, как-то угловато, подчиненно неся халатик и босоножки, и узкими плечами, походкой своей, потертыми джинсами, весь родной и чужой, вдруг корябнул жалостью в душе Крымова. «Я не знаю своего родного сына. Да имею ли я право ему советовать?»

И опять погружаясь в пустой кинозал одиночества, он увидел сверху долину, солнечный туман садов, виноградников, черепичные крыши городка, и дуло весенним теплом из утренней долины, сладковато-легким воздухом... «А это где было? В сорок пятом году в Австрии?»

Потом послышались голоса из сада, и он с преодолением вышел на балкон. Солнце склонялось к закату, за сосны, везде в саду покой,

сонная лень, все пахуче, истомлено, смолкли разморенные за день птицы, протянулись тени на траве под яблонями. И в этом летнем, неподвижном затишье перед прохладой и сумерками стоял у калитки, едва видимой в зарослях сирени, Валентин, держа ловкий саквояжик, должно быть принадлежащий невесте. А она, стройно переступая тонкими ногами, вся выпрямленная, приближалась к нему по дорожке в сопровождении Ольги, слушая ее, и откидывала со щек длинные кофейные волосы.

— Пока, отец! — крикнул Валентин, небрежно помахал своей крупной рукой («Рука деда»), и тотчас оглянулась Людмила, мигом обрадовалась остроносеньким личиком, тоже помахала в сторону балкона, забыв про Ольгу, взглянувшую на мансарду тревожно.

«Ольга не приняла ее. Она испугана, расстроена решением Валентина», — подумал Крымов и зачем-то сравнил миниатюрно-игрушечную Людмилу с подтянутой, вышколенной аскетизмом йогов, еще молодой фигурой Ольги, старше невесты в два раза, с ее подчеркнута аккуратной прической, какую она начала носить в последние годы. И, сравнив, почувствовал, как остро вгрызается в душу жалость к Ольге, к Людмиле, к Валентину, что было и несколько минут назад, когда сын уходил из кабинета, жалость, смешанная с любовью, опасением, похожая на тоску, на вину перед ними всеми за то, что никто не знал ни самого себя, ни друг друга.

Крымов видел с балкона: Ольга проводила Валентина с невестой, возвращалась к дому торопливыми шагами, натягивающими юбку, шла, опустив голову, и он позвал, подхваченный порывом сострадания:

— Оля!

И сбегал по лестнице на террасу, куда она всходила из сада, обнял ее, покорно уткнувшись ему в плечо как за надежной защитой.

— Оля, здесь мы ничего не можем сделать. Они решат сами, как и мы когда-то.

— Я боюсь оставаться одна, когда ты уезжаешь, — прошептала Ольга и заглянула в глаза бархатной чернотой. — Я боюсь, когда детей нет дома. И мне становится не по себе, когда проходит день и начинается темнеть. Я не хочу, чтобы ты куда-то уезжал...

Он ответил, целуя ее в кончик носа:

— Глупенькая, суеверные люди боятся темноты, потому что у них в крови древняя боязнь ночи. Но ты-то просвещенная женщина.

— Вячеслав, это другое, — возразила Ольга. — Мы живем в каком-то тревожном благополучии. Что-то может произойти.

— Почему ты заговорила о страхе?

— Это больше чем страх. Ужас перед тем, что может случиться.

— Не понимаю.

— Я боюсь.

— Милая Оля... чего?

— Я боюсь всего: неправдоподобной жары, которой не было сто лет, ужасной темноты ночью и тишины в твоем кабинете. Такая жуткая бывает тишина на рассвете. Мы живем в каком-то нехорошем ожидании. У тебя, я знаю, неприятности. И Валентин приводит меня в отчаяние. О боже, чего только о тебе не говорят... И чего только я не передумала. Я боюсь, что все разрушается. И я уже не знаю, любить тебя или не любить, — сказала она с горькой полушуткой и провела пальцем по его губам. — Может быть, между нами все кончилось?

«Нет, лучезарного благополучия не было в нашей общей жизни. Она не верила мне. И был постоянно тлеющий след тревоги».

— Оля, я люблю тебя так, как в сорок шестом, — выговорил он хрипло. — Ты можешь в это поверить?

— С трудом.

— Напрасно, Оля.

Глава восьмая

Уснул он поздно.

С вечера и до глубокой ночи читал дневники Льва Толстого, которые были его отдушиной и его беспокойством, открытые им лет десять назад, когда он был наивен, дерзок, доверчив и бессмертен, ибо не предполагал в ту пору многого, что познал и понял после пятидесяти лет. Он не задумывался всерьез, что в неизбежный срок надо будет сходить на конечной станции и навечно оставить в уютном и грустном земном купе весь свой наработанный целой жизнью багаж, по-видимому ненужный безжалостному будущему с его рационализмом технологической и машинной эры, тем более что память людская — величина непостоянная.

Но всякий раз в дневниках он находил то, что успокаивало Толстого убеждением и возбуждало страждущей верой в усовершенствование мира посредством обращения к самому себе ради увеличения любви друг к другу, любви не плотской, не физической, а духовной. В ее обнаженной, даже насильственной разумности он видел ключ ко всей нравственной жизни великого человека в последние его годы, и, наткнувшись на следующей странице на сострадающую всему человечеству фразу: «Как же мы можем кого-нибудь не любить, когда знаем, что все приговорены», он снова возвращался к записи о науке и искусстве, которые — «только при братской жизни они будут другие».

«Что сказал бы он? — думал Крымов, положив книгу на грудь, глядя в потолок на зеленый круг настольной лампы, зажженной у изголовья.— К сожалению, не произошло увеличения любви, братская жизнь не наступила, а мы так неистово ждали ее после войны. Сытость и соблазн материальными благами не сделали многих из нас лучше. Кто виноват? Мы все. Мы слишком заботились о легкой жизни и забыли о главном — во имя чего дана жизнь. Да, вот здесь... на тридцатой странице... какие точные, какие современные слова: «Добро, обличающее людей в их зле, совершенно искренне принимается ими за зло. Так что милосердие, смирение, любовь даже представляется им чем-то противным, возмутительным». Почему все-таки не произошло совершенствование? Война? Выбита лучшая часть нации? Вернее всего: мы до сих пор не заделали бреши. Куда исчезли иные нравственные правила, без которых Россия неммыслима? Вот какие он пишет слова неуспокоения: «То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть — в нем жизнь. Как рост дерева. Но сук или силы жизни, растущие в суку, не правы, вредны, если они поглощают всю силу роста». И дальше еще отчаяннее: «Когда будет в людях то же, что в природе? Там борьба, но честная, простая, красивая. А тут подлая, я знаю — и ненавижу ее, потому что сам человек». А вот двадцать шестого июня девяносто шестого года еще безвыходнее: «И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь»...»

Эта ненависть к самому себе, резкое обнажение и неприятие дурного и ложного, когда «все нарядные, едят, пьют, требуют», не зная жертв народа ради этого, и сожаление об утрате молодых радостей, молодого веселья, боязнь «перехода» и спокойное ожидание смерти, ежедневное неустройство в семье («...нести пророк без чести»), возникшее из-за тяжелого непонимания между ним и сыновьями, смирение и вдруг восторг перед сущим («Жизнь, какая бы ни была, есть благо. выше которого нет никакого») — все это не было для Крымова чтением. А было особым наслаждением, болью, соучастием в том мучительном, до предела искреннем подвиге, земном и вместе поднебесном, когда все соединенные пороки, страсти, ложные пути и беды человеческие хотел великий добровольный мученик взять на свою душу, простить нелюбимых и, думая о них с любовью, спасти мир...

Вместе с болью наслаждения, упиваясь душевной обнаженностью чужой мысли, Крымов порой, не без всезнающего современного цинизма (который в те минуты постыдно жил в нем), споря с одержимой и противоречивой верой пророка, начинал ненавидеть и в чем-то прощать собственное честолюбие и неискренность. Он ненавидел взаимную фальшь вынужденного товарищества, взаимного восхищения коллег, что походило на выдуманный праздник постоянного успеха почти у каждого, снявшего мало-мальски сносную картину («О, родной, видел, видел, слов нет, сам платок доставал, когда у тебя сцена неудачной атаки... Какой ракурс, какая сила! Разреши, друг, от всей души обнять тебя и поздравить!»). И, ненавидя это притворное доброжелательство, артистично и не всегда артистично разыгранное, эту узаконенную форму безопасной лести, выражающей не любовь к таланту собрата, а закамouflированную гордыню, зависть и равнодушие, Крымов сознавал, что со многими что-то случилось лет пятнадцать—двадцать назад, нечто, разрушающее, пожалуй, самое главное в нем, Крымове («Мечтатель, идеалист!»),—надежду на братство, так всем необходимую надежду, родившуюся после войны и незаметно и постепенно замененную вожделенной заботой о материальном благе.

«Цивилизация достигла невиданного расцвета во второй половине двадцатого века...», «Человек надел узду на природу...», «Мы живем в разумный век небывалого технического прогресса» — морщась, Крымов вспоминал выступления оппонентов на парижской дискуссии о его фильме и, вспоминая, представлял прошлогоднюю киноэкспедицию на край света, на Север, на Печору, где он снимал последние кадры «Необъявленной войны»...

Баркас, постукивая мотором, подходил к кольям, вбитым, расставленным поперек Печоры, где четыре лодки, покачиваясь на темной волне, выбирали сеть, вытаскивали ее, тяжелую, намокшую. И жирно, скользко блестели желтые прорезиненные робы рыбаков, их наклоненные над бортами капюшоны, их руки в резиновых перчатках. Они работали споро, оцепливая и суживая кольцо вокруг кого-то, пока еще невидимого в воде, невозмутимо спокойной, черной. И внезапно меж лодок мощно брызнуло белым огнем — над сетью скрестилось несколько сверканий молний. Этот неожиданный взрыв воды вздыбил фонтаны брызг в середине пространства, окруженного лодками, и подхваченным сигналом ударил второй всплеск засверкавших молний, и разом вся вода у кольев зашумела, закипела, дико взбиваемая серебристыми зигзагами огромных мечущихся рыбин, охваченных паникой.

Они били хвостами, рвались, запутывались в сетях, судорожно стремясь выскользнуть, выпрыгнуть на волю из плена, из сжимающегося неумолимого кольца, эти красавицы самки, выкованные самой природой из чистейшего серебра, исполненные главного инстинкта жизни — продолжения рода и остановленные беспощадной силой на пути к воспроизведению жизни: сети перекрывали Печору от берега до берега. И Крымову тогда показалось, что он услышал вопли о помощи, рыдания, плач, стоны, мольбу о пощаде, что можно было, наверно, услышать возле газовых камер в немецких концлагерях, когда сгоняли к ним раздетых женщин и детей и ясно было зачем...

— Мы их в сетях током убиваем, — сказал Крымову бригадир, смуглый, тонкий в поясе, с синими туманными глазами женолюба. — Вон поглядите как. Два электрода — и готово. Так гуманнее. Раньше палками заканчивали это дело, но крови было много!

— Давай! — крикнул кто-то над ухом Крымова.

И через его голову полетели в воду, кишачую гибкими сильными телами семги, два металлических короба с проволокой. Крупнолицый парень, моторист баркаса, равнодушным взглядом поглядывал в пасмурное небо, включил мотор, и мгновенно все успокоилось, затихло в во-

де, плотно оцепленной лодками,— ни всплеска, ни шума, ни сверкания. Метровые рыбы неподвижно лежали, покачивались на сетях слитками серебра, круглыми янтарными глазами глядя в низкое, с ползущими тучами печорское небо, куда глядел и не улыбающийся моторист, равнодушный, невинный, только что совершивший умерщвление.

И железистым запахом смерти дохнуло на Крымова от этой покойницкой тишины меж лодок, и с томящей спазмой потянуло на тошноту при мысли, что сегодня утром он ел мясо убитой электричеством семги,— так же как в определенный срок нечто ожидающее с жадностью будет есть мясо всех вот этих убийц, кто был сейчас в лодках (и его тоже), ибо закон периодов для семги, червя и человека в природе один, с разницей в ступенях биологической лестницы, при общей равности перед вечностью. Однако призванный им на помощь жалкий, но порой и спасительный цинизм не давал разумного объяснения человеческой неумеренности.

Эти красавицы самки шли из Атлантического океана через Белое море, мимо Кольского полуострова, прорываясь сквозь первое окружение сетей, поставленных норвежцами, шли в Печору, к ее истокам, в маленькие реки, где на перекатах должны их ждать самцы, чтобы в момент встречи вырыть носом ямку в песке и оплодотворить в ней молокой вымеченную самкой икру, зарыть ямку и, уже обессиленными, едва шевелясь, вновь скатиться в море. Мальки же на следующий год должны были направиться вслед за ними, чтобы спустя семь-восемь лет вернуться, томимые любовью, и попасть в плен и на «электрический стул», изобретенный изощренным в способах убийств человеком не для избавления от голода, а для «высокого стола» городских ресторанов и банкетов.

«Напрасно я вспоминаю об этом. Нет ответа на запрограммированную неразумность, которая через двадцать лет умертвит все живое даже на Севере. Этот с женолюбивыми глазами бригадир сказал: «Через десяток лет тут ни одной рыбешки днем с огнем... Мы ее прогрессивным способом добываем. Как лес вроде — валим и валим».

Но больше всего поразила Крымова мертвенность, кладбищенский ветер над той землей, где было последнее прибежище несравненного Аввакума.

Он увидел это через час после Печоры.

... — Вниз посмотрите! Там Пустозерск!

— Где? Пока не вижу!

— Да внизу, внизу город Пустозерск!

Вертолет завис над землей, найдя нужную точку в высоте, но там, внизу, в солнечной пропасти, не было никакого города — там, среди унылой неоглядности равнинного единообразия блистали, вспыхивали бессмысленной игрой воды зеркала озер, вокруг которых лежала неживая, бурая степь, сжимающая душу безнадежностью дикого, какого-то вневременного пространства.

Повисев между солнцем и землей, сатанински взревев мотором, вертолет начал быстро снижаться, опускаться к земле, и в окно стало видно, как резко заколебались, легли окружем под ветром винта пересохшие травы, круто пошли волны по ближнему озеру. Мотор смолк. И в первобытной, ломающей уши тишине все точно очнулись, развязали ремни, поднялись с мест и нерешительно, нетвердо сошли по железной лесенке, приставленной пилотами к борту вертолета, на кочковатую землю. Ослепленный оголенным солнцем, объятый хлынувшей со всех сторон тишиной, сладким воздухом беспредельного горизонта, Крымов огляделся, отыскивая признаки человеческого жилья, еще не веря, что это место должно было быть городом Пустозерском.

— А где дома? Где тут жили? — спросил недоуменно оператор.— Вот грусть-то, а?..

Безлюдье, солнечный северный день и ветер над плоскими озерами, над всем этим первозданным, богом забытым в своей грубой простоте и древности простором. А там, где некогда стояли крепкие дома с широкими поветями, колодцы, прочные магазины, амбары, школа,— жестокое разрушение прошло нещадно, не оставляя никаких признаков живого. И печально было видеть заросшие бугры старых могил, останки полуистлевших крестов, и странно выделялись два новых, чрезвычайно крепких креста, недавно покрашенных голубой краской. Кто похоронен был здесь, как довели сюда за сотни километров по северной тундре тела умерших? И какая цель была в этом захоронении, где вокруг ни жилья, ни человеческого голоса? Лишь солнце, озера, глушь, ветер...

Спотыкаясь о кости в траве, Крымов следом за оператором подошел к высокому серому камню на бугорке погоста, сказал:

— Снимите здесь все.

— Значит, он? Огнепальный? — спросил оператор.

— Да, он.

Это был памятник протопопу Аввакуму, неистовому правдолюбцу, сожженному в Пустозерске царским повелением в семнадцатом веке, умерщвленному огнем в страдании за неистовый бунт против всемогущего патриарха Никона.

Подле камня Аввакума на высушенной солнцем, давно сбитой кем-то скамейке, потрескавшейся на дожде и ветру, кругло белели два маленьких черепа, по-видимому младенческих, и отмытые временем добела младенческие берцовые кости, зачем-то положенные здесь, вероятно, из разрушенных могил.

— Эткими мы тут кажемся жалкими,— сказал оператор и в нерешительности опустил киноаппарат, погладил шершавый камень.— Страдалец. А какая у него силуха была и убеждение!

— Нам всем не хватает убеждения,— сказал Крымов.— К сожалению.

— Мы просто не знаем, где истина,— усмехнулся оператор.— Променяли на модный галстук и модную юбочку с иностранной наклейкой на заднице.

Они стояли перед камнем, читая на нем слова о страсготерпце, непоколебимом, не сломленном, властью не наделенном, но поднявшем себя во имя своей правды и веры против царя всея Руси Федора Алексеевича и властолюбивого патриарха Никона, о не покоренном страданием и смертью протопопе. И Крымов вообразил, как он, прижатый к камню, горел вот здесь, в подоженной с четырех сторон палачами избе, проклятая изменников, предателей веры, уже вконец обесиленный, но неистощимый в духовной страсти,— и, сняв шапку, глядя на камень, мысленно просил у него сил, одержимости в режиссерском деле своем, зная, что других сил в помощь, кроме собственных, не будет.

Северное солнце пригревало, ветер обдувал Крымову голову на этой запущенной северной земле, где вместо старого русского городка, деревянных улиц, людских голосов, развешанных на кольях сетей, теперь было заброшенное среди озер кладбище, усыпанное костями в траве.

Летчики, двое серьезных парней, тоже постояли вместе с Крымвым в молчании, сняли голубые фуражки. потом подошел низенький рыжий радист, оживленно сказал, что отсюда недалеко нашел две могилы, не то людьми, не то зверями разрытые, в одной черепа, в другой кости рук и ног — видать, четвертовали кого-то,— и пригласил посмотреть.

— Нет,— отказался Крымов.— Хватит и этого.

Летчики с оператором ушли, а он присел на скамейку возле кам-

ня Аввакума, вблизи которого лежали выбеленные солнцем детские черепа, стараясь понять, почему они были положены рядом с ним, подвижником веры.

Когда вертолет, гудя мощным мотором, стал вертикально подыматься от земли Пустозерска, по-прежнему сияло оловянное предпольное солнце, по-прежнему оловянно отсвечивали озера, пустые, мертвые, никому не нужные сейчас, охраняемые жалкой толпой крестов и развороченных могил на покинутом погосте. По-прежнему онемело молчало безлюдье, а вертолет уносился в высоту от казенной и сожженной земли, на которой не было никого. И только на бугре серой свечой без огня торчал камень Аввакума, напоминая о яростной и святой убежденности страстотерпца, о ненасытной жестокости власти и о ничтожестве и равности всех перед единым небом и единым солнцем. И тогда Крымову подумалось, что если под этим небом уже нет такой энергии, нет духа, подобного несломленному протопопу Аввакуму, то цивилизация кончится тем, что над опустошенной землей, над круглой пустыней будет летать некто и видеть лишь черные пятна охладевшего человеческого жития.

Но что было общего между «электрическим стулом» на перекрытой сетями Печоре и Пустозерском? Почему он улетал с Севера подавленный, хотя тоненькая струйка сознания сопротивлялась в нем, пробивалась — весело и беззаботно — с надеждой на что-то нескончаемое, спасительно иное...

«Надежда? Что это — ложь или правда? На что мы надеемся? Нам не хватает веры в самих себя», — думал Крымов, повернув голову к раскрытому над тахой окну, откуда вливалась пахучая свежесть ночного сада. С края окна треугольно чернел силуэт чердака в чуть светлеющем над застывшими березами небе, где было покойно и мягко теплились звезды, а под низкой, предрассветной луной серебристыми переливами круглились купы сада, оглушаемого с близкой реки блаженным стоном лягушек.

Глава девятая

В десятом часу утра на студийной машине приехал директор картины Молочков, вместе с ним — режиссер Анатолий Петрович Стишов. Это был давний друг Крымова, человек с приятными, не вполне современными манерами, по-старомодному изысканно учтивый, неизменный кумир и любимец занятых в его картинах молодых актеров, зачарованных его благожелательной обходительностью, тонкими чертами лица патриция и его загадочной жизнью вдовца. Увидев Стишова, входившего в калитку, высокого, изящного, в облежавшем сухощавую фигуру светлом костюме, Крымов обрадованно кинулся навстречу, обнял его, пахнущего после педантичного бритья каким-то заморским одеколоном, заговорил с волнением:

— Какой же ты молодец, Толя, спасибо, что приехал! Мне тебя очень не хватало, друг мой!..

— Нечто напоминающее ничтожный комплимент презрительно пропускаю мимо ушей, — сказал Стишов невозмутимо и спросил совершенно другим, околдовывающим любезностью тоном: — А где твои милые женщины? Я хотел бы их увидеть. Хотя бы на миг. Такое в этом мире возможно?

— Ох, я тоже хотел бы увидеть ваших красавиц! — воскликнул Молочков, восторженно вращая глазами, и двумя руками потискал руку Крымова. — Ох, как я рад!..

— Ты безудержный льстец, Терентий, что известно, — сказал Крымов и взял под локоть Стишова. — Между тем одна очаровательная женщина занимается физическим трудом, перед тем как идти на

пляж. Другая, к сожалению, уже в Москве, в своем проектно-архитектурном институте.

Крымов ответил в тон Стишову, узнавая словесную манеру друга, в то же время откровенно озадаченный этим неожиданным, без телефонного звонка, объединенным приездом (Стишов обычно приезжал один на своей машине), однако вопроса не задал, повел Анатолия Петровича по дорожке в конец сада, где в утренней тени сосен, теплеющих стволами за крышей гаража, двигалась около машины Таня, немного заспанная, похожая на деревенского мальчишку в засученной по локти рубашке, в подвернутых старых брюках, и звонко била из шланга упругой, радугой пылящейся под солнцем струей в обтекающие ручьями стекла машины, что, по-видимому, приносило ей удовольствие: ее чуть-чуть припухшие от сна глаза задорно щурились.

— Дочь, к нам гости,— сказал Крымов, но тотчас Стишов опередил его и заговорил голосом неотразимой учтивости:

— Милая Таня, хотя разумом понимаю, что привозить из Москвы цветы — нонсенс, тем не менее не мог не вспомнить подле цветочного магазина, что вы и Ольга Евгеньевна любите гвоздики.

— Как хорошо, что вы приехали, здравствуйте! Вы давно у нас не были, Анатолий Петрович! Спасибо!

И Таня, сияя зубами, радостной юностью здоровья, неизбывным озорством, бросила в траву шипящий шланг, откинула волосы с неумелой кокетливостью женщины-девочки, ревниво удивившей Крымова, двумя мокрыми пальцами взяла букетик гвоздик, протянутых с поклоном Стишовым.

— Таня, кто ваш эксплуататор? Отец? А вы знаете, что такое прибавочная стоимость?

— Я положительный герой нашей действительности. Поэтому вам и папе советую заниматься физзарядкой по утрам,— сказала Таня, нюхая гвоздики.— Вы, понятно, не занимаетесь, Анатолий Петрович?

— Ах, Танечка! — вскричал Молочков, всплескивая руками.— Анатолий Петрович теннисист, вы видите, какая у него спортивная подтянутость!

— Клевета. Наговоры,— возразил Стишов.— Представьте, Таня, сердцу запрограммировано сделать за жизнь человеческую семьдесят миллионов ударов. С какой стати ему делать усилия сверх программы? Не лишняя ли нагрузка? Впрочем, лгу вам, это философия ленивцев. Кое-какие жесты делаю, разумеется, для поддержания формы и романтического настроения, ибо утром вставать и с оптимизмом смотреть на лучший из миров просто необходимо.

— Да, именно: романтического настроения,— проговорил Крымов с нажимом и повел Стишова в глубину сада, к столу под яблонями, взглядывая на него в некотором раздумье.— Что касается меня, то по утрам настроение еще в младенческой поре... Садись, будем пить кофе. Ты почувствуешь на свежем воздухе, что это за наслаждение. Терентий, ты ведь знаешь, где разогреть кофейник. Будь добр, если нетрудно...

Крымов уловил в своем приказывающем тоне нотку раздражения, точно после вчерашнего разговора в студии директор картины мешал сейчас и ему и Стишову, но Молочков, выказывая сухонькой фигуркой счастливую готовность, вскричал с охотой: «Один секунд, айн момент!» — и артистическим жестом официанта из детективного кинофильма подхватил со стола кофейник, легконого бросился по дорожке к террасе, мотая лапами чесучовой куртки.

Они сели за стол под ветвями яблони, сладко обдавшей запахом листвы, еще не совсем просохшей от росы. Здесь вкусно чувствовался на чистом воздухе аромат хлеба, аккуратно нарезанного в корзиночке Ольгой, пресный аромат сливочного масла, горькой белеющего в зеленой масленке, свежих ломтиков голландского сыра на та-

релке — и эти запахи, и волнистая солнечная сеть на клеенке, и звук осы над блюдцем с джемом были восприняты Стишовым с одобрением человека, понимающего толк в приятностях жизни.

— Давненько я не чувствовал запах хлеба на свежем воздухе.

Он освобожденно отклонился в полотняном кресле, расстегнул пуговицу на пиджаке и, нагнув к лицу ветку, отяжеленную краснеющими яблоками, потянул носом.

— Чудо. Сказка. Джем, осы, масло, созревающие яблоки... Буду приезжать к тебе завтракать, превращусь в нахлебника. Подходя к столу, буду гудеть утробно, с поясными поклонами: «Доброго здравьица...» — И, отпустив ветку, закинул ногу на ногу, взглянул голубыми глазами на Крымова. — А если серьезно, то, несмотря на всю эту прелесть, Вячеслав, вид у тебя не очень... Не будешь возражать, если я задам тебе два вопроса?

— Согласен, — сказал Крымов. — Но сначала скажи, что тебя объединило с Молочковым в этом приезде? Хотел сначала удивиться, но... Впрочем, могу догадаться. Дирекция студии, по-видимому, предлагает тебе поставить мою картину, которая, как известно, остановлена.

— Боже упаси! — сделал протестующий жест Стишов, и запонка на рукаве его белейшей сорочки просверкала кошачьим зрачком. — На это я бы не согласился никогда. Ни при каких условиях. Даже если бы мне обещали по сто тысяч за съемочный час и гарем падишаха каждое воскресенье. Я, знаешь ли, как-то в себе еще не почувствовал штрейкбрехера.

— А я был бы рад твоей кандидатуре. Именно твоей. Но для верности они будут искать ремесленника. Средний фильм, как ты знаешь, не вызывает у начальства неудовольствия. Равнобедренный треугольник середины устраивает многих.

— Вячеслав, все пройдет и минует. Фигурки студийного начальства займут на шахматной доске свои места в ожидании, когда их передвинут, и свой фильм будешь снимать ты, — сказал Стишов, со вкусом закуривая, гася спичку гибким помахиваньем кисти, со вкусом вдыхая дым, и Крымов улыбнулся с благодарностью к нему за воспитанное умение смягчать то, что едва поддавалось терпеливому уравниванию. — Теперь вопрос первый: почему не позвонил, прибыв из Парижа, легкомысленный ты человек?

— Хотелось прийти в себя. Самочувствие было там не вполне как надо.

— А что?

— Да как покороче тебе сказать... — Крымов помолчал, поглаживая небритую щеку. — Два месяца разбираюсь в самом себе. Очаровательная это штука — депрессия. Да и что другое может быть у современного русского интеллигента, когда ему кажется, что он виноват перед всем миром.

— Ищешь, стало быть, в этом спасение. Не ты первый. Все мы, Вячеслав, прожили жизнь не так, как хотели бы. Где она, долгоискомая, все примиряющая истина? Как только человек начал думать о себе и братьях своих, он ужаснулся несовершенству сущего и своим близким.

— Не удивляйся, Толя, сегодня ночью я думал о протопопе Аввакуме и о великом самообмане, которому мы все подвержены, — сказал Крымов, нахмуренно разминая сигарету. — Дело, вероятно, в том Толя, что каждому из нас при жизни не хватает воли быть самим собою. Мы играем заданную роль, а не живем естественно. Знаешь, в чем вина мировой интеллигенции, и в том числе наша с тобой? Сон, инерция разума и покорность обстоятельствам. Все мы пленники обстоятельств...

— А по-моему, твоя гордыня наживает тебе врагов и вызывает недовольное изумление начальства.

— Если бы гордыня, Толя! Игрушки. Я думаю все время об Ири-

не Скворцовой. Милая, чистая, талантливая. И именно она не выдержала грязи и лжи. Вот это и есть покорность.

— А может быть — наоборот. — С задумчивым лицом Стишов положил руку на колено Крымова. — Но тоже не уверен. Трудно вообразить, чтобы такая удивительная девочка, получив роль, вдруг решилась... Скорее всего несчастный, трагический случай.

— Ее смерть для меня загадка, Толя.

Стишов помедлил, осторожно высвободил чайной ложечкой осу, увязшую в блюде с клубничным джемом, сказал:

— Слышал ли ты, дружище, что есть на свете средство от бессонницы и для общего успокоения? Валиум. Испробовал на себе, поверь — сплю, как индюк, никаких вечных вопросов, просто в полнейшем недоумении. Отдыхаю, снятся молоденькие индюшки в каких-то коротких фартучках. Возникло игривое направление ума.

— Вот это и есть инерция разума, дорогой Толя.

— Сейчас ты меня будешь ругать еще крепче, — сказал Стишов сокрушенно. — Ругай коварную скотину. Прошу, ругай.

— Выругаю. Но за что?

— Слабым разумом я понимаю, что во всех глупостях мы должны винить самих себя. Позволь спросить: кому мстит неудачник? Самому себе. Неудачник насквозь нудила и себялюбец. Хочется хотя бы перед собственной персоной выглядеть поумнее. Неудачник этот — я. Ибо скот и тряпка. Не мог отказать. Наш турецкий балабан пригласил меня сегодня в восемь утра и в течение получаса багровел так, что от его ужасающей багровости можно было прикуривать — засучивал рукава, уговаривал, сопел, едва не рыдал...

— Да что такое?

— Чтобы быть мне поумней, сперва ответь на второй мой вопрос, а потом уж в шею, в шею, взашей меня, дурака... Скажи, Вячеслав, у тебя есть желание встретиться с Джоном Гричмаром? Имя это, конечно, тебе известно...

— Что значит «встретиться»? — раздраженно дернул плечами Крымов, не беря в толк, почему Стишов спрашивает его об этом и почему возникло имя американского режиссера и продюсера Джона Гричмара. — Я в Париже не раз встречался с ним, и, что называется, в кабаках было выпито много виски. Он в Москве, что ли?

— Он приехал вчера. По дороге из Парижа в Америку. И рвется к тебе, хочет встречи только с тобой. И никого другого не признает. Сперва ему говорили, что ты болен, то да се, а Гричмар заявил, что останется в Москве до тех пор, пока не увидит тебя. В общем, балабан в тихой панике, впал в полную багровость и, зная о наших с тобой отношениях, чуть не на коленях умолял уговорить тебя встретиться с Гричмаром. Кстати, вся студия говорит, что у тебя с балабаном был крупный диалог. О боже, нашла коса на камень! Представляю, как вы орали друг на друга и ломали в кабинете стулья.

— Был полукорректный разговор, но стульев никто не ломал. Хотя пора бы уже, — сказал Крымов. — Понимаешь, в чем мерзость? Некоторой студийной публике почему-то нравится, когда кто-нибудь из заметных попадает в сложное или неудобное положение. Откуда, скажи мне, злорадство? Может быть, это разряженная зависть, которая уже стала сильнее ненависти? Вон, видишь ты, такой известный человек, денег — куры не клюют, каждый день небось в ванне с шампанским купается, а че оказалось-то: развратник, пьяница подколодный, убийца, да к ногтю его, к ногтю, сволочь гордую, чтоб знал законы, как над людьми подыматься, чтоб знал, как жареный петух...

— Прискорбно, — сказал Стишов, следя, как меж ветвей яблонь в высокой синеве расходились, дымами таяя круглые облака. — К огорчению, испокон веку посредственность удобна, послушна и неопасна. Таланту же большей частью тайно завидуют, но его побаиваются и любить вынуждены. Ненавидя любить... Так ты будешь встре-

чаться, Вячеслав, или?.. Что мне прикажешь соврать балабану? — спросил Стишов и полулеж в кресле, будто бы нежась, подставляя лицо воздуху, лучам солнца, сквозившим через листву; его серебряная седина, хорошо повязанный галстук, беспечная поза говорили о благополучии, о безмятежном равновесии духа, но голос звучал неестественно спокойно. — Я бы тебе посоветовал не обострять отношения с Балабановым. Он чиновник опасный и хитрая большая дубина, причем мстительная, что хуже всего. Я не хотел бы, чтобы ты нажил на студии врага номер один. Зачем тебе эти радости?

— А! Пусть идет он, идет и идет... все дальше, как в том известном анекдоте, — сказал рассерженно Крымов и, увидев на дорожке летящего от террасы на легких ногах Молочкова с кофейником, даже щелкнул пальцами, наигранно восхищенный: — Ну что за воспитанный у меня директор картины! Появляется тогда, когда необходимо. Поразительная интуиция.

— Ты на него не сердчай, — проговорил Стишов миролюбиво. — Он человек подчиненный во всех смыслах.

Весь излучая бодрость, энергию, услужливое расположение, Молочков подлетел к столу, без стука поставил кофейник на подставку, поводит носом над кофейником, заговорил с блаженством влюбленного:

— Ах, какой аромат идет, прямо голова кружится, умереть можно! Сейчас мы кофейку выпьем на садовом воздухе, как давеча говорил Вячеслав Андреевич, и все будет чудненько, чудненько! — И, разливая в чашки дымящийся кофе, преданно скосил возбужденные глаза на Крымова, слабым голосом проговорил с задышкой: — Не погубите, Вячеслав Андреевич, американец, Гричмар-то, только вас требует, а сам Балабанов к вам не осмелится... А на меня так надавил, чтоб вас я нашел, аж не знаю, как мне на студию возвращаться. На колени перед вами встану... Поговорите с капиталистом... Прогонит он меня, Балабанов, ежели не удастся с американцем. Миллионер все же он, картину с нами совместную хочет...

— Ну хватит, хватит, Терентий, изображать бедненького! — прервал Крымов. — Видеть тебя на коленях безмерное удовольствие. Подзреваю: ты скоро начнешь писать сентиментально-трагические сценарии из жизни директоров картин...

Глава десятая

— Слушай, Джон, не будем говорить сейчас о мировом кинематографе. По-моему, в Париже мы с тобой перебрали косточки всех режиссеров мира, лучше скажи мне, как живет Америка. И говори по-русски как умеешь, хоть практика для тебя будет. Что трудно, переведет Анатолий Петрович Стишов, мой друг. Согласен? Есть у тебя другое предложение?

— О так, хо-ро-шо, я могу немного говорить. С Америкой все в порядке. То есть... Ничего не в порядке, но-о все-таки в порядке. Нью-Йорк на месте. Вашингтон на месте. Я вижу, и Москва стоит громко... Нет, нет, как это называется? Крепко. Правильно я сказал, Вячеслав?

— Пожалуй, правильно.

Они сидели на открытом воздухе в ресторане на последнем этаже знаменитой московской гостиницы, где обдувало то прохладным, то теплым ветерком; солнце уже напекло материю зонтиков, купола их над столиками становились все прозрачней, все тоньше. Но здесь, ближе к небу, было несколько свежее, чем на улицах, отдаленно и сложно шумевших внизу. Там в солнечном туманце, в знойном блеске, отлакированными пунктирами, расходясь по кругу площади и сходясь, скользили, ползли машины мимо Манежа, мимо Александровского парка. Там, далеко внизу, раскаленной пылью осыпались искры троллейбусов и, наверно, вонь выхлопных газов, жара на асфальте, где муравьиной густотой шевелились толпы людей, была невыносимой.

Джон Гричмар, пожилой человек крупного сложения, толстоватый в плечах, толстогрудый, как это бывает у тяжелоатлетов, ушедших из спорта (хотя спортом он никогда не занимался), чистоплотно обтирал носовым платком мясистое пылающее лицо, отпивал коньяк, курил одну сигарету за другой, жмурясь от дыма, от щекочущих виски капель пота, а маленькие умные глаза его, похожие на переспелые вишни, смотрели зорко и пытливо. Во всей его грузной фигуре не было особо заметно ни летней разморенности, ни вялости, ни лени, и это не удивляло Крымова, ибо после встреч в Париже он знал неутомимость Гричмара в питье, разговорах, сидении за стойкой в баре, знал его умение не спать ночь напролет, а утром быть свежим, выспавшимся, готовым к просмотру фильмов, к дискуссии, к крепким напиткам.

— Такая безбожная... Так я говорю?.. Фантастическая жара в Москве,— сказал Гричмар, обмахиваясь платком, и засмеялся, забелели одинаково ровные, подозрительно молодые зубы.— Такая духота бывает в Нью-Йорке... Ад с перевыполнением плана. Так у вас говорят? И днем и ночью. Апокалипсис идет... К нам и к вам. Так есть? Мы его увидим, Вячеслав. Евангелие от Иоанна.

— Вполне вероятно,— ответил Крымов с неполным расположением к шутке и вместе с тем помня, что Гричмар лишен вспльщивой обидчивости, этой неглубокой обороны самолюбия, с которой так часто приходилось встречаться в общении с американцами.— Я знаю, Джон, как ты умеешь жонглировать словами. Поэтому очень прошу тебя: злоостроумие — точнее. Тогда говори по-английски, где ты бог, а не по-русски, где ты кое-какие краски подзабыл. Иначе как я с тобой буду ругаться?

— О, мы начали ругаться в Париже, и где конец?

— Доругаемся здесь, в Москве, если повезет.

— По матушке?

— Можно и по матушке.

Тут Стишов, со сдержанным вниманием наблюдавший Гричмара, опустил глаза, явно осуждая грубоватость фраз обоих. Он молча рассматривал на столе свою изящную, выточенную самой породой белую тонкую кисть, затем потянулся к бокалу с боржомом, лишь непроницаемостью патрицианского лица выдавая непонятное Крымову напряжение. Молочков, только что вернувшись от метрдотеля, удовлетворенно посасывал через соломинку безалкогольный коктейль с растаившим в нем мороженым («Я, извините, при исполнении обязанностей, и крепкое пить мне нельзя») и всем своим скромным видом распространял успокаивающую деликатность маленького, сознающего соответствующее место человека, которому не по чину без надобности вмешиваться в разговоры крупных людей. Он знал, что в данных условиях обязанности всякого уважающего себя администратора определены: незамедлительно взбадривать подспудные ресторанные силы для необходимого порядка на столе ради высокого иностранного гостя, как издавна в России заведено.

«А на кой черт, собственно, со мной Молочков? — вскользь мелькнуло у Крымова.— Пожалуй, затем, чтобы сказать Балабанову, как прошла встреча».

— Терентий,— недовольно проговорил он, намеренный сказать, что не здесь, а в съемочной группе истосковались по его чуткому руководству, но тут же охладила мысль о зыбком положении, создавшемся на студии с картиной, и, увидев покорное лицо Молочкова, спсобное, казалось, к беспрекословному выполнению малейшего желания Крымова, ничего не сказал ему и полусутя обратился к Гричмару: — Не уходя от главного вопроса, Джон, давай восстановим правду современной истории, хотя я знаю, что история — это не биография правды... Или — ин вино веритас? Твое здоровье...

Гричмар поднял палец в знак понимания, отпил глоток коньяка,

вытер пот на толстых щеках и, не закусывая, затянулся и пыхнул сигаретным дымом, смешанным с добродушным смешком.

— Коньяк — тоже истина. Но-о... Опять история? Сказать по-русски? Нет, будет плохо. Нет слов. Скажу по-английски. Мистер Стишшов, переведите, пожалуйста. (Стишов вежливо кивнул.) История — это не биография правды, а биография лжи. Так? Нет? История Америки — это цепь вынужденных преступлений или просто преступлений — разницы нет. Как вся история всех. Я часто думаю, мой друг Вячеслав, что никто не ответит в современном мире, есть исторический отсчет дней или все обман. Неужели бог обманул человека, дав ему жизнь? По-русски это трудно сказать, — добавил Гричмар и изобразил языковую трудность кругообразным движением сигареты. — Я когда говорю по-русски, то могу врать смысл... А что ты скажешь об Америке?

— М-да! Ты быстро свернул на меня. Ну ладно. Не кажется ли тебе, Джон, что человек обманул бога, в которого ты веришь? — заговорил Крымов, подхваченный волной сопротивления и загораясь огоньком спора, который всегда приносил ему удовольствие азарта. — Не хочу обижать твои религиозные чувства, Джон, но неужто человека выдумал потерявший разум бог? Нравственности и духа он передал ему до невероятности мало, жадности и глупости — много. И в конце концов, в наш век дьявол взял да и посмеялся над богом и гомо сапиенсом: вынул, а может, купил у него душу и подменил ее, понимаешь, Джон? Вместо духа вложил роскошнейший телевизор и противозачаточные таблетки, гарантирующие девицам и добрым молодцам свободу...

— Но-но-но, дальше говори.

— Говорю дальше. Зависть и ложь, ничтожные рабыни, стали владыками. И почти всем миром управляет безличный рок: банки, мафия, политики-марионетки. И знаешь, что страшновато? Американское невежество и безумие денег стали непобедимыми законодателями мод, и произошла деградация мирового вкуса. И кто победил? И что победило? Дешевый блеск и чудосочные таланты на продажу. И возведены на пьедестал мишура, тупость и порнография. Черт знает что такое! Фильм о жрицах однополой любви смотрят миллионы людей, а интеллектуалы восторгаются смелостью вседозволенности. Виват содом и гоморра, господа Мазох и де Сад! Помнишь в Париже дансинг, где французские девочки в платьях моды Мэрилин Монро, а парни в майках с физиономией Элвина Пресли выделявали дьявольщину под тот же американский рок? Половина девиц мира носит негигиенические во всех смыслах джинсы, натирая задницу и нежные места. Мировая мода! Ей не до урологов и гинекологов.

— Не так грубо, Вячеслав, — сказал вполголоса Стишов. — Ты сердишься.

— А что, собственно, я должен делать — сюсюкать по протоколу? Меня интересует, что думает по этому поводу Джон, а не то, как ему приятно слушать меня.

— Ты говори. Я внимание. Я повесил уши. Так говорят?

— Да, Джон, после войны Америка навязала всему миру свой бешеный денежный ритм, а сейчас все чудеса своей американской цивилизации — бесцеремонную пошлость, рекламу, красивые этикетки и милую эстетику атомных бомб. Не думал ли ты, что Америка приучает мирового обывателя воспринимать войну как черту современной жизни? И знаешь почему? Ни хрена вы не прошли через страдания... Анатолий, переведи по-английски: ни хрена...

— Нет, ноу! — вскричал Гричмар, вздымая крупные руки. — Мой отец был русский, купец, я понимаю! Говори!..

— Вторая мировая война была для Америки веселой опереттой, военным шоу. Только, правда, голых девиц не было. Тогда вы были скромнее. Пришли к концу боев под звуки «Типперери». Триста пять-

десять тысяч убитыми, а не двадцать миллионов. В автомобильных катастрофах погибло у вас больше, чем в войну. А главное, Джон, Америка сейчас несет всему миру разврат духа и великую ложь, которая называется сверхцивилизацией и истиной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или все-таки перевести по-английски? Очень многие, Джон, живут под знаком крушения человека, которое несет эта ложная цивилизация, понимаешь? Наш век расшатался безнравственностью большинства ученых. Все бессмысленно, Джон, когда технический прогресс безнравствен. Он создает, чтобы разрушать... Он против человека и превращает человеческую душу в пустыню. Хочешь, скажу злее? Все эти американские моды в архитектуре, в музыке, в одежде... да во всем, даже в кока-коле,— это бытовой и интеллектуальный концлагерь, который распространяется по миру. Впрочем, многие хотят этого американского концлагеря. Мирового обывателя прельщает мишура, красивая упаковка, застежки, пуговицы, его легко обмануть... Вот видишь, Джон, как я сердито говорил о твоей стране. Но, черт возьми, мы с тобой не дипломаты, которые обязаны произносить «отнюдь», и мне интересно в конце концов, что ты об этом думаешь. Меня, по крайней мере, это мучит уже лет пятнадцать. Ну возражай, готов слушать...

И Крымов с дружеской усмешкой облокотился на стол, подпер кулаком подбородок, уже расположенный внимательно слушать, но тотчас по-хозяйски спохватился, сказал: «Это почему мы все неприлично трезвы? Где русское гостеприимство?» — и наполнил рюмки, шутиливо-хлебосольным жестом указал на стол, заставленный закусками, прозрачно покрытый светлой тенью от зонтика.

Но Гричмар — хорошо пьющий человек и поэтому, может быть, или по причине жары только раз без аппетита поковырял вилкой в блюде с кусочками семги и отодвинул тарелку. Он в молчании прижмуривал колючие вишневые глазки в одутловатых веках, не выпуская из большой, покрытой волосом руки рюмку с коньяком, и Крымов усмехнулся, заметив, что Стишов, потирая висок, из-за ладони украдкой наблюдал Гричмара с чутким ожиданием — в его взгляде сквозила извиняющаяся неловкость за эту излишнюю резкость в разговоре, которую не стоило бы Крымову применять.

«Как мы боимся обидеть гостя, особенно иностранца. Да, милый Толя, нашей интеллигентности предела нет. Но интеллигентность ли это, или мы еще не выдавили из себя раба?..» — подумал Крымов, сердясь, и посмотрел на Молочкова («Еще один застенчивый!»), скромно помешивающего соломинкой в коктейле, скулы его порозовели, и вроде бы виновато закруглялись улыбкой края узкого рта.

Гричмар отхлебнул из рюмки, со всхлипом затянулся сигаретой, медленно и хрипловато заговорил по-английски:

— Вся цивилизация — заговор против человека. Но никто из людей даже не вздрогнет, когда подумает, сколько сотен тысяч рабов должно было погибнуть в пустыне, для того чтобы построены были проклятые пирамиды. Для чего они? Могилы фараонов? Безумие. Всегда очень дешево стоил человек. Как это по-русски называется?.. — Гричмар в сосредоточенности пошевелил густыми бровями, вспоминая. — Малая цена... Мало денег... так? — И неторопливо и твердо продолжал по-английски: — Кто-то из власть имущих хочет, чтобы место всех народов было в операционном зале. Маленькая операция на мозге или инъекция. В первую очередь интеллектуалам. Кто-то хочет превратить человечество в дураков и роботов. Человек в современном мире — ничто, одно гордое звучание. А гордое звучание нужно сильным мира для одурачивания миллионов простаков. Поэтому ложь господствует в мире как никогда. Поэтому политика — вранье о свободе. Мода — вранье о красоте. Искусство — на две трети развлекательное дерьмо, бездумное умствование и секс. Правда — слуга сильных. Значит, она — ложь, которая раскрывает перед собой все двери

без стука и непрерывно говорит о свободе, чего жаждут посредственности. Я понятно говорю, мистер... мистер Стишов?

— Абсолютно. Я перевел вас почти через кальку, мистер Гричмар,— ответил Стишов с воспитанным наклоном хорошо причесанной на пробор седой головы и, явно заколебавшись, корректно прибавил: — Однако мне... лично мне не очень понятна ваша фраза о свободе, которую жаждут посредственности. Что это значит?

Гричмар внушительно постучал кулаком себе в лоб.

— Умный человек всегда свободен. Даже за решеткой. Мысль, мысль... Но свобода делает равными посредственность и мудреца, и возникает зависть и несправедливость во взаимоотношениях. Зависть производит ненависть, поэтому свобода ложна. Это ветхозаветная аксиома, мистер Стишов. Для меня. Я понял это лет тридцать назад.

— Вполне возможно,— вмешался Крымов.— Но свобода необходима для главного — для естественного состояния человека, чтобы найти дорогу друг к другу. Птица без воздуха летать не может.

— О, Вячеслав, сейчас мы начнем сильно ругаться. Ты заговорил, как поэт. Никакая свобода не поможет разрушить стены одиночества. И совсем импотентна. Не может остановить ползущую по миру чуму цивилизации. Есть Советский Союз и Соединенные Штаты. Древней Греции и Перикла нет. Нет и Иисуса Христа.

— Не думал ли ты, Джон, что Иисус Христос, может быть, исчерпал себя за две тысячи лет? Может быть, кто-то ждет нового архангела с огненным мечом? И жаждет библейского возмездия человечеству за все грехи? Кстати, насчет этого возмездия я слышал в Америке в шестьдесят шестом году в университете Бэркли от одного профессора философии.

— Блага нет в Штатах,— сказал сумрачно Гричмар.— Блага нет и в России, потому что нет пока искупления. История России — трагедия. Ничтожество уничтожало интеллект и талант. Разрушены храмы. Отец убивал сына, сын отца, жена предавала мужа в руки его врагов, сестра ненавидела сестру, брат брата. Уничтожен... почти уничтожен дух русского народа. Нет религии. Я православный, Вячеслав, ты знаешь. Мой отец — купец первой гильдии Гричмаров, выходец из России, он был чайным королем в Петербурге. Капиталист, а не пролетарият без средств производства. Он уехал из России в революцию. Моя мать — ирландка. Я считаю себя по происхождению американцем, по национальности русским. Парадокс? Нет! Русский дух царствовал в нашей семье до смерти отца. Я плохой хранитель традиции, но, кроме Иисуса, в моем детстве были еще два бога — Гоголь и Достоевский. Я люблю старую Россию. Я ищу в ней русскую цивилизацию, а чаще всего встречаю европейское. Но не очень хорошее, не первый сорт. Вы во многом подражаете Америке в погоне за богатством. У вас скоро появится лозунг: «Успех любой ценой». Но это попытка повторить чужой успех. Это летать на чужих крыльях, которые не очень надежны. У вас все меньше становится русского, Вячеслав.

— Что ты имеешь в виду?

— Англосаксы исповедуют кальвинистскую философию земной удачи, а Россия была сильна духовной жизнью...

— И ее нет, ты считаешь?

— Пока еще есть ты,— Гричмар сочно захохотал, поднял рюмку, пригубил ее и вновь заговорил: — И немного таких, как ты, которым больно за все. Но дух уже подменяется практицизмом. Как бы ни был невежествен человек, он хорошо чувствует, когда жмут ботинки. Ваши современные ботинки, которые вы предлагаете, жмут многим потому что у них смешанный размер: русско-европейско-американский. И практицизм советского производства...

— А я, Джон, думаю наоборот: всему свету жмут ботинки американской пошива. Прекрасная отделка. но внутри жесткая кожа, носить невозможно. Стопроцентный американец, как я понял в Шта-

тах, считает себя поборником и мучеником демократии: готов помочь всех спасти от коммунизма. Но мученики легко становятся палачами. Прости за резкость...

— Вьетнам? Проклятый Вьетнам!..

— Не только. Ну ладно, я не об этом хотел... Нет всеобъемлющей и вечной правды. Ум и знания относительны. Придет срок — и мы от многого откажемся, многое переделаем. Если, конечно, жизнь на земле сохранится... Но я не хочу ничего оправдывать. Оправдать можно все. Все свои ошибки. И найти тысячи доказательств ради оправданий. Это уж я знаю.

— Я сомневаюсь, Вячеслав, что сохранится жизнь. Но будет ли возрождение по Иисусу?

— Еще можно остановиться, Джон. Еще... Пора всем нам обожествлять природу, которую мы извратили, оболгали и изнасиловали во имя сиюминутных выгод. А спасти природу — значит, самих себя. И свою совесть.

— Как? Остановить технологический век? Остановиться Америке? Остановиться Советскому Союзу? Японии? Западным немцам? Невозможно, Вячеслав. Ты фантазируешь! Экспресс набрал скорость, в вагонах веселятся, пьют коньяк, как мы с тобой, а машинист сошел с ума, тормозов нет, мы с тобой пьем и знаем: впереди — гибель, проклясть...

— Не хотел бы гибели этой прекрасной земли. Впрочем, ты злоостроумный человек, Джон. Твое злоостроумие — евангелие ненависти к грешной цивилизации. Но мы с тобой... не имеем права ненавидеть даже священной ненавистью. Знаешь ли ты точно, имеет ли право художник выносить неоспоримые оценки... судить жизнь? Наверное, мы должны познавать и жалеть. Все люди чего-то ждут и вместе с тем больны неспособностью ждать. Мы должны искать в мире душу, которую человек потерял в нетерпении жить легкой жизнью. Именно — потерял душу. Но легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть...

— Вячеслав, давай отдохнем, я изнемог переводить. Разреши... Да и ты устал...

«Да, я устал. О чем мы говорим? Что даст нам это бесполезное умствование? Никому не нужное умствование двух режиссеров, соединенных неприятием безумия цивилизации и ее обмана, — решил Крымов, мимолетно заметив встревоженные голубые глаза Стишова, останавливающие нацеленные ему в лицо. — Опять смысл жизни? Смешно! Большинство живет, не решая этих вопросов. Нет единого смысла жизни: ведь люди не одинаковы по уму и чувству. Единомыслие невозможно. Но есть психоз единой глупости и жестокости. Так что же за страшное существо человек, если он мучает себе подобного? Я сказал — жалость? Познавать и жалеть? Не судить жизнь? А это уж похоже на предательство, уважаемый Вячеслав Андреевич. И противоречу самому себе? Где истина — в середине? Нет. Никогда. Кажется, это Стишов сказал однажды на художественном совете: «Вы котите единомыслия режиссеров? Пожалуйста. Одно в кулуарах, совсем другое на трибуне. Мы слишком воспитаны для того, чтобы говорить в глаза друг другу правду». Но почему Стишов, дорогой мой, воспитанный человек, так смотрит на меня и почему мне так нехорошо? Милый Анатолий, ты боишься моей искренности, что ли, перед иностранцем? А что, собственно, я сказал особенного? Да, мы слишком осторожны... до отвращения. Но почему мне так не по себе?..»

На открытой террасе ресторана все было уже догоряча накалено, все дышало неподвижной июльской ленью расплавленного дня, даже под тенью зонтика стоял жар. И неприятной сухостью пахла материя, пропеченная над головой солнцем. Крымову было душно, хотя он снял пиджак, расстегнул воротник, отпустил галстук, совершенно не понимая, для чего надел его сегодня. Он помнил по

приемам в Париже, что Гричмар не любил светскую чопорность и с богемной небрежностью мировой знаменитости приходил на коктейли в вольных мягких рубашках, не застегнутых на массивной шее.

А Гричмар слушал его внимательно, широкие брови его лохмато шевелились с выражением согласия или несогласия, его коричневые глазки поминутно прижмуривались, загораясь разъедающей насмешкой недоброго ума, порой, несколько раскачиваясь, светились почти нежностью, когда мысль Крымова угадывала его мысль. Но чем резче обострялся их разговор, чем дальше они уходили от простоты к неразрешимому, тем горше становилось Крымову — и печальная досада сдавливала ему горло. Он боялся твердо спросить себя: что же это случилось с ним, что стало повторяться после того душевного недомогания в парижском отеле? — боялся узнать о своем состоянии больше чем надо, ибо в последние годы ничем серьезно не болел. И снова возникло ознобное волнение безвыходности («Нервы, нервишки зашалили и сдали!») при воспоминании о том близко знакомом человеке в конце вестибюля отеля, который один среди всех этих празднично одетых, тщательно выбритых, беззаботно курящих и разговаривающих перед просмотром фильмов знаменитостей, — только он помнил и ощущал виском холодок слипшихся волос, пахнувших еще речной тиной, с уже примешанным миндальным запахом смерти, видел полусомкнутые мокрые ресницы, чуть пропускаявшие остывший блеск глаз, кхоты вытереть и не вытирал потекшую от ресниц краску на ее щеке, как следы черных слез, поразивших его какой-то детской беспомощностью...

Он старался не вспоминать подробности того дня, но недавнее вонзалось в него повторяющейся болью в сердце, виноватым бессилием и жалостью — и внезапное удушье не умеющих вылиться слез заслоняло дыхание. И тогда громкие слова, фильмы, разговоры о красоте казались бессмысленной, пустопорожней болтовней, не имеющей значения, и казалось, что к чистой и талантливой этой девочке мир не был справедлив. «Послушайте, Вячеслав Андреевич, какие прекрасные слова: „Дело жизни, назначение ее — радость“», — звучал ее протяжный голос, читающий эту фразу в один из вечеров, когда он пришел на Ордынку. И почему-то в такие минуты Крымов был уверен, что несчастье не было случайным, однако он не мог поверить, что она ушла из «назначения радости» своей волей.

Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспokoйный, предупреждающий взгляд Стишова, и от молчаливой озабоченности друга, аристократично холодноватого, вежливого со всеми, никогда ни с кем не конфликтовавшего, почувствовал беспричинное раздражение против него.

«Голубоглазый мой ангел-хранитель, что ты смотришь на меня с такой грустной тревогой?» — хотел иронически сказать Крымов, догадываясь, что тревожило Анатолия Петровича, но он так по-мужски вдруг испугался боли в сердце и поднявшихся и остановившихся в горле слез (чего никогда не бывало прежде), что с трудом сказал наконец фальшивым голосом:

— Ну все, международная дискуссия закончена, умные слова сказаны. Все истины-голубушки лежат у нас на ладонях, поэтому заканчиваем коньяк в данном заведении, берем крепкий кофе на хеппи энд и начинаем думать, как жить дальше в этой роскошной цивилизации, что предпринять...

Последняя его фраза прозвучала с невнятной хрипотцой, голос прервался, и он, поперхнувшись, весело откашлялся, потер грудь и поднял рюмку в сторону Гричмара, договорил чрезмерно громко:

— Ну, за тебя, Джон. Кстати, не сходить ли тебе сегодня в Большей? Как ты настроен?

Гричмар шумно засопел, выцеживая дым ноздрями крупного носа, с выпытывающей, мнилось, подозрительностью всматривался в глаза Крымова, в его руку, потирающую грудь, и после молчания спросил по-русски:

— Ты немножко плохо чувствуешь?.. Ты устал? Тебе сердце больно? Я помню, в Париже ты глотал таблетку...

— Жизнь — это борьба с неотвратимостью смерти. Библия говорит, что человек рождается для страданий. Но я себя чувствую прекрасно. А как ты насчет Большого театра?

— Зачем ты так шутишь? — проговорил с грустным упреком Стишов, умоляя Крымова взглядом, и хрустнул пальцами. — Ты не так-то уж много пил, но вид у тебя действительно усталый и... совсем уж не вполне...

— Ты прости меня великодушно, Анатолий, я пошутил не очень удачно, я еще в цепях пышных и высоких слов, — сказал, оживляясь, Крымов, сейчас же подмигнул, допил коньяк и поторопил Гричмара дружески бесцеремонно: — Ну заявляй, предлагай программу, сегодня я твой гид.

Закряхтев, Гричмар значительно помахал большим, как сарделька, пальцем, требуя внимания, выпил рюмку до дна, перевернул ее вверх дном, потряс над столом, доказывая, что в ней не осталось ни капли. старательно выговорил:

— Рюм-мочка р-родная... Благодар-ствуй за гост... гостеприимство. Так по-русски?

— Совершенно точно, Джон. Великолепное произношение. Мне бы так по-английски.

И, беззвучно посмеявшись, Гричмар снова помахал пальцем — это, по-видимому, была привычка его — и доверительно проговорил с недоумением человека, который не желал бы в этом кругу стесняться:

— Почему у вас говорят: иди в Большой театр? В Париже говорят: иди в Фоли-Бержер, Лидо. Там, правда, хорошо выпить можно. Я не люблю оперный театр. Нельзя петь и танцевать мысли. Я сижу, смотрю, и меня берет глупый смех, когда они страдают. Но иностранцу неудобно хохотать. А ты любишь, Вячеслав?

— Не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. Моя забота — обеспечить тебя билетом, но в театр я с тобой не пошел бы, и ты бы меня понял. Мне плохо, когда шатаются декорации и отрывается ус у дона Базилио в патетический момент.

«К чему, зачем я говорю это? Да, да, сейчас все пройдет и будет лучше. Какая тоска!.. Еще выпить коньяку? Вспомнить какой-нибудь анекдот? Странное дело — у меня нет памяти на анекдоты. Да, любопытный мужик этот Гричмар, Гричмар... Но, черт его дери, почему он так серьезно и так упорно смотрит на меня?»

— Вячеслав, я приехал не в театр и не туристом. У меня к тебе большой дело. Мне есть необходимость с тобой решить один идея. Я имею цель... Хочу тебя пригласить... по-русски — пригласить, да?.. Пригласить сделать режиссуру... Нет, позвать на постановку фильма. У меня есть хороший сценарий, нужен твоя голова.

— Вот так да, Джон! — воскликнул Крымов с преувеличенным изумлением. — Ты приглашаешь меня в Голливуд? Почему об этом не сказал мне в Париже? Там легче было решать в беспечном настроении.

— Я продюсер и не могу выбросить несколько миллионов в унитаз. Я прилетел в Москву официально.

«Ах, какие чудеса происходят на свете! Этого я, конечно, не ожидал. Джон увидел мою «Необъявленную войну» и, подумав, поставил на меня, как говорят американцы».

— Вячеслав Андреевич, талантище вы, — вкрадчиво проговорил тихонько жующий бутерброд Молочков, и лиловые пятна проступи-

ли у него на скулах. — Как интересно поставить фильм в Америке. Тут же мировая известность...

— К хренам с твоей мировой известностью! — грубо сказал Крымов и неожиданно развеселился. — Я люблю сказки, Джон, но не верю в них.

— В Голливуде не только дерьмо и сказки. Четыре фильма я снимал там. Я не последний режиссер...

— Я и хотел сказать, что у вас до черта своих режиссеров, которые сожрут меня, конкурента, с потрохами, стоит мне появиться там — со своим уставом в чужом монастыре.

— Для этой картины нужен русский Крымов, ты, ты, Крымов, — настойчиво повторил Гричмар. — Мне есть необходимость с тобой поговорить по-русски. Тет-а-тет. Поедем из этот очень вкусный ресторан. Погуляем ножками. Ножками, да? Поговорим о сценарии. Мистер Стишов уже не будет трудиться. Я буду трудиться сам. Бла-го-дарю покорно. Так есть?

— Взаимно, — ответил Стишов и поблагодарил улыбкой.

— Ну что ж, встали, — сказал Крымов и подал деньги Молочкову, неизвестно зачем деликатно и ловко прикрывшего их ладонью на столе, как неприличную карту. — Расплатись, пожалуйста, Терентий. Ты что, кузнечиков ловишь? — Он усмехнулся. — Машину оставь нам. Анатолия Петровича доведи домой на такси.

Они поднялись и пошли к лифту мимо зонтика совершенно пустого ресторана, по раскаленным солнечным полосам меж столиков, кое-где накрытых белоснежными скатертями, спящих серебром приборов. А снизу доносился сложный перекаत्याющийся шум улиц, и Крымову сейчас было неприятно видеть замутненную испарениями большого города синеву над крышами, строгий черный костюм метрдотеля и цепочку молодых, аккуратно причесанных официантов у бара, почтительно провожающих глазами солидного, похожего на глыбу иностранца.

Глава одиннадцатая

Солнце еще стояло высоко, но уже склонялось к закату, когда они после длительной поездки по Москве, легкого коктейля в Доме кино и мороженого на улице Горького вылезли из машины на Ленинских горах и подошли к смотровой площадке, куда его просил привезти Гричмар.

Здесь крикливой группой стояли и сидели на гранитном парапете, бросив под ноги дорожные сумки, какие-то иностранные туристы в шортах. Рядом с ними так же шумно фотографировались молодожены в беспечном окружении высыпавших из машин друзей, жених и невеста смеялись и разом застывали с вечной и тщеславной надеждой сохранить на мертвом глянце исчезающую минуту. Невеста поспешно оправляла складки на полной талии, глядя на кончики тужелек, едва видных из-под белого платья, вскидывала по команде фотографа простенькое, испорченное ненужным смехом лицо, просовывала руку под локоть жениха, смуглого парня с щегольскими усиками. И Крымов подумал, как далеки эти молодожены, ждущие чуда собственной красоты на фотографии, и эти туристы, по купленной программе ждущие в чужой стране визуальных удовольствий, — как далеки они от всего того, о чем спорил он с Гричмаром, что не имело ни малейшего значения для других, для большинства бесхитростно работающих в поте лица людей, живущих просто, без всяких там лишних мыслей и мук, живущих, может быть, счастливо, подобно здоровому растению под небом.

«В самом деле, можно спокойно жить, не задавая никаких вопросов, заботясь только о хлебе насущном. Так, как живут сотни миллионов людей», — стал внушать себе Крымов и, досадуя на себя,

сказал Гричмару, не без любопытства скашивающему глаза на молодёженов:

— Когда я вернулся из Америки, мне без конца задавали вопрос: что больше всего понравилось там? Я мычал, соображая, что же, действительно. А дошлые ребята журналисты, знающие, что надо, сами подсказывали: народ, как отвечают вернувшиеся из поездок поголовно все. Нет, Джон, народа американского я не почувствовал, а ведь пытался говорить с каждым встречным, кроме одной его черты — наивности... Джон, ты талантлив, как дьявол, но, прости, ты наивен, хотя наполовину и русский.

Гричмар, косолапо загребая по асфальту ногами, подошел к папегу, тяжело сопя, упал локтями на гранит, затем потащил из кармана пиджака сигареты, пробормотал сипло:

— А вот ты знаешь русских... русский народ?

— Немного. Потому что воевал. Но это были сороковые годы. Никто не знает до конца свой народ. Не знал ни Сократ, ни Толстой, как нельзя знать вселенную. Только вот наивность русским не свойственна. Доверчивость — да. Но не наивность. Я говорю о тебе, Джон, и о сценарии, который ты мне рассказал. Я не смогу снять такой фильм.

— Почему, скажи?

— Ты выбрал не того режиссера. Хочешь, чтобы я снял фильм об апокалипсисе? Я не смогу.

Гричмар пожевывал сигарету, взгляд его мрачно и жадно скользил по размытым силуэтам лежащей внизу в предзакатном туманце Москвы, по храмовидным шпилям дальних высотных зданий, несущих нечто запоздалое, готическое, по серой булаве Останкинской башни за горизонтом крыш, по желтым и бледным пятнам небоскребов, однообразных прямоугольников, издали жестко блещущих против солнца стеклами, по золотым маковкам Новодевичьего монастыря с игрушечными башенками по ту сторону пологого изгиба Москвы-реки, уже прохладно потемневшей перед приближающимся вечером, где вблизи кольца стадиона белым жучком, распуская по воде усы, полз к железной арке моста речной трамвай. От скопища крыш, от доносившегося дрожащего гудения метромата, пропускающего поезда, мутного туманца, поднявшегося над перегретым за день асфальтом, от сгущенности выхлопных газов почудилось Крымову: снизу наплывало от этого огромного и живого тела теплым маслянистым запахом машинного пота, усталостью и теснотой перенаселенного многомиллионного города, который он любил с детства, а в последние годы почти не узнавал.

— Мой отец говорил — сорок сороков,— пробормотал Гричмар и сумрачно подвигал кустистыми бровями. — Где сорок сороков? Небоскребы... Двадцатизэтажные зажигалки. Как в Филадельфии. Зачем разрушили русские храмы? Нельзя смеяться, где есть тайна... Не делай так, Вячеслав,— с неудовольствием заговорил он, подбирая слова и прихлопывая кулаком по граниту. — Надо тебе делать фильм. На весь мир сказать глупым самоубийцам, самонадеянным ослам. Сюжет — гибель планеты. Жалкие люди устроили ядерную войну. Вся земля горит. Огонь, везде огонь, потом вся земля — обугленный камень. Осталась живой одна черепаха. Одна, бедная... одна, одна ползет к берегу океана. Видит гигантское красное солнце... впереди, в дыму. Солнце как разбухший клоп. А она ползет. Подползает к океану, а он... высох, пустой. Мертвый... Так по-русски? Гигантская яма, кости рыб. Черепаха смотрит, смотрит на мертвый океан, на солнце. И умирает на краю ямы. Глаз застывает, и солнце тухнет.

— Невесело,— сказал задумчиво Крымов, ясно вообразив этот конец фильма: траурно угольный берег выпаренного ядерным огнем океана, уже подернутый пленкой стеклянный глаз неподвижной че-

репах с постепенно тускнеющей красной точкой солнца в нем. — Страшновато, страшновато. Какая безысходность во всем этом!

— Фильм должен иметь такое название: «Последняя черепаха». — Гричмар закричал, обтер носовым платком насуленные брови, влажные глаза, затем страдальчески дернувшиеся щеки, трубно высморкался. — Это апокалипсис... Страшный суд без Иисуса. Фильм должен быть... как крик перед смертью. Наказание лжи, пороков... легкомысленного человечества. Твой фильм «Необъявленная война» был очень беспокойный. Это страшная проблема экологии. «Черепаша» — это должен быть ужас ада. У всех должно быть перевернуто сердце... Шок... Смерть, гибель цивилизации, бедной Земли... и всей грязной дерьмовой политики...

Гричмар с задержками, прерывающимся голосом выговаривал найденные слова и продолжал неторопливо вытирать лицо платком, словно этим жестом придавая непоколебимую будничность разговору. Но Крымов видел его неуклюжее возбуждение, влагу на припухлых веках — и явственно вспомнил его новый фильм, показанный на парижском фестивале. Картина потрясла Крымова трагической безысходностью человеческой личности в современном мироустройстве, до предела осознанной героем фильма, после автомобильной катастрофы попавшим по ошибке в сумасшедший дом, где в комфортабельных палатах и операционных правят власть имущие, лживо ласковые хирурги, делая из больных людей смертельно больных, из незаурядных талантов — безвольных ничтожеств, из ничтожеств — властителей. Фильм кончался тем, что героя положили на операционный стол под шепот безумного хирурга, жреца лжи: «Кто простит, кто спасет, кто излечит цивилизацию? Мы...»

— Благодарю за предложение, Джон, — сказал Крымов, содрогаюсь от представленных пепелищ разрушенного мира, наказывающих живое человечество. — Ты затеял жуткий фильм. Без надежды. Я все-таки люблю Землю, поэтому не смогу быть архангелом с огненным мечом.

— Страшно, Вячеслав... страшно. Зло остается... безнаказанным... — глухо и сожалеюще проговорил Гричмар и в поисках нужных слов сморщил лоб. — А ты очень уверен, что можно достигнуть... нет, достичь... Так?.. Да? Достичь идеала человеческого братства? Нету. Даже хуже.

— Да, хуже, — подтвердил Крымов. — Но я уверен вот в чем: сейчас нужен герой, который задавал бы людям вечные вопросы по каждому поводу. Многие его сначала будут принимать за идиота, но это не беда. Дон Кихот бессмертен. Развелось слишком много тупых, хитрых, самонадеянных разрушителей, чиновных людишек — от управдома до министра, которые исповедуют один принцип: живи сладко сегодня, а после нас хоть потоп. Леса беспощадно вырубают, реки превращают в сточные канавы, небо — в мусорную свалку. Убийцы Земли и всего сущего. Заметил ли ты, Джон, что у всех мировых обывателей — у ваших и у наших — одинаковое выражение в глазах? Равнодушие ко всему на свете, кроме удобства для своего зада. Ради этого он продаст и предаст не только родную землю и свою нацию, но и весь мир.

— Донкихот... Ты да... Ты мечтаешь, что можно... изменить человеческую природу.

— Огорчу тебя, я не донкихот. Я знаю вопросы, которые мучают меня. Но не знаю точных ответов, Джон. Понимаешь? Вот от этого и тоска.

— Что есть тоска?

— Тоска? Это боль, которая не имеет определенного места. Понимаешь?

— Я знаю... Это очень плохо.

С полчаса они постояли на смотровой площадке немного поодаль от туристов, то и дело прибывавших и отбывавших на пропахших асфальтовой пылью автобусах, потом спустились по гранитной лестнице к Троицкой церкви, пошли в сторону новых липовых аллей. И тут неподалеку от церкви, за оградой старого, закрытого погоста Крымов не без удивления увидел среди заросших травой памятников бородатого мужчину в рубахе навыпуск, босого, который шагал по тропке, изрезанной солнечными просеками, пьяно пошатываясь в затаженной зевоте, а следом за ним, тоже судорожно зевая, с подушкой под мышкой рыхло переваливалась толстоногая женщина в ситцевом платке и мелко, торопливо крестила рот. Они шли к дому в конце этого давно не действующего кладбища, вероятно (как подумалось Крымову) церковный сторож с женой, отдыхавшие где-то здесь в тени под деревьями. И сразу ощутив холодок подушки и пресное тепло травы, Крымов невольно позавидовал чужому безобидному удовольствию, сказал:

— Ты знаешь, Джон, что за наслаждение поваляться и поспать в траве? Не испытывал ни разу?

— Русь, да? Это Русь...— проговорил Гричмар и приостановился у ограды, впиваясь острыми вишневыми глазками в бородатого, изнывающего в судорогах зевоты мужчину. — Мой отец мне рассказывал... Он имел очень не маленькое имение... на Урале,— заговорил он замедленно.— Под городом Екатеринослав... у вас Свердловск, да? Там было имение. Гигантский сад. Он... мой отец и дед... любили там спать на сене. Он говорил, что на Руси спали под глазами бога. Он говорил... когда ночная звезда заглядывает в окно... в дом, то моя душа становится богаче.— Гричмар пальцем постучал себя в грудь.— Он идеально... много... знал Россию...

— Прости, Джон,— сказал Крымов с несдержанной решительностью.— Русь и Россию идеально не знал и не знает никто. Даже Лев Толстой. Руси уже нет. А Россия — самая неожиданная страна. И такой второй нет в природе. Если уж кто спасет заблудшую цивилизацию, так это опять же Россия. Как во вторую мировую войну. Как? Не знаю. И через сколько лет — не знаю. И какими жертвами — не знаю. Но, может быть, в ней запрограммирована совесть есего мира. Может быть... Америке этого не дано. Там разврат духа уже произошел. И заключено полное соглашение с дьяволом...

Он замолчал, затем раздосадованно сказал: «А!» — и взял Гричмара под руку, приглашая этим «а!» просто молча пройти в аллее, подышать воздухом.

Но Гричмар в замешательстве стоял у ограды погоста, глядя на просвечивающие сквозь листву зеленые купола близкой церкви, где в пролете колокольни порхали воробьи и по карнизу, постукивая когтями, ходили голуби.

— Хочу сюда,— пробормотал Гричмар.

Они вошли в церковь, маленькую, тихую, пахнущую теплым воском, освещенную сверху наклонными столбами солнца, отчего огоньки свечей, зажженных у темных икон, горели бледными островками. И как только вошли, Гричмар робко воздел глаза к куполу, истово перекрестился, и Крымова поразило мгновенное изменение, происшедшее в его мясистом лице, в его ссутулившись тяжелых плечах, крупной спине. Это было непривычное, новое выражение покорной, смиренной виноватости, вроде бы нарочитой, противоестественной в глыбообразном облике Гричмара. А он, сдерживая дыхание, бесшумно прошел куда-то в угол левее алтаря, в разжиженную свечами полутьму, и там неуклюже, по-бычьему стал перед иконой на одно колено, потом на другое, правая рука его задвигалась, широко крестя грудь, массивная голова опускалась и подымалась в поклонах, и Крымов, не ожидая этого от ничего не прощающего в своих жестоких

фильмах Гричмара, отвернулся, покоробленный неестественностью, точно случайно вынужден был присутствовать при действии близко знакомого человека, обманывающего в глаза.

«И что это я? — возмутился вдруг Крымов едкому чувству. — Да почему я должен сомневаться в искренности его веры? Кем дано мне такое право? Не вяжется с его фильмами? С его суждениями? Так в чем, собственно, я вижу обман и противоречия? И где оно, мое высшее право судить его? Как мы привыкли чувствовать себя идеальными для всего мира, беспорочными особами! А он сделал два сильнейших фильма, в которых такая человеческая боль. Вряд ли ее смог бы так сильно выразить кто-либо другой...»

И с неприязнью к какому-то горделивому второму человечку в самом себе, воспитанному с детства в сознании уверенного нравственного превосходства, живущему в ангельской, конечно, безгрешности, знающему и четко понимающему, конечно, абсолютно все, он, передергиваясь от стыда, издали взглянул на Гричмара, покаянно стоявшего на коленях, и быстро вышел из церкви, убегая от этого жалкого второго человечка в себе.

Он задержался около выхода, где в оранжевом ореоле мирно горела лампада и озаренный морщинистый лик старушки, обмотанный черным платком, торгующей здесь свечами, был наклонен к столу, казалось, скорбно, безнадежно. И со знакомым пронзающим его чувством толкнувшегося удушья в гортань Крымов лихорадочно нащупал в кармане брюк купюру покрупнее и как бы с тайной мыслью возможного избавления от тоски, с надеждой на облегчение и без веры в это облегчение бросил деньги на стол и вышел на воздух.

В ожидании Гричмара он ходил взад и вперед по тротуару мимо паперти, курил, повторяя одну и ту же всегда успокаивающую его мысль: «Сейчас все пройдет, как проходит все». И постепенно горькое удушье отпустило, испарина выступила на лбу, ему действительно стало немного легче, а когда Гричмар, насупленный, с воспаленными глазами, показался на паперти и сказал осипло: «Это... настоящая русская церковь», Крымов лишь спросил будничным голосом:

— О чем ты молился, если не секрет?

— Не надо говорить.

— Извини, коли так.

— Тебе скажу. О спасении мира... — Гричмар утомленно сбавил дыхание, копаясь пальцами в пачке сигарет, и тут лицо его стало прежним, деловым, будто ни на секунду не прерывался разговор между ними. — Я хочу дать тебе контракт. Я хочу такой фильм, Вячеслав. Ты можешь... И пойдем еще выпьем...

— Эх, дорогой Джон, это не мой фильм, — сказал Крымов с необижающей твердостью. — Мне лестно твое предложение, но это не мой... Как говорят, надежда умирает последней. Кто из поэтов сказал, что жаворонок на ниточке своей песни держит всю землю? Или я это придумал?

— Это сантименты... Бывший ваш советский романтизм.

— Нет, ниточка — это надежда.

— Я еще хочу выпить, Вячеслав. И еще хочу с тобой говорить.

(Окончание следует)

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

Через сорок лет

Приближеньё Дня Победы
В чем-то даже как тогда:
Наши радости и беды
Сквозь прошедшие года.

Давней жизни продолженьё,
Повторение пути.
Дня Победы приближеньё
Осязаемо почти.

Телевизоры врубаем,
Поднимаем зоркий взгляд:
Что там было, наблюдаем,
Сорок лет тому назад.

И вздохнет солдат запаса,
Как подумает, что вот
И до нынешнего часа
Кое-кто не доживет.

.

Вставал над холодной травой
Вечерний туманец.
Был в первой войне мировой
Противник — г е р м а н е ц.

А в этой? Под лязги команд,
Нам виден поныне,
Пер
немец, фашист, оккупант
По нашей равнине.

И вспять эта серая мразь,
Жестоко-тупая,
Низвергнута в снег или в грязь,
Ползла, отступая.

Уже не твердя без конца
Свое «...über alles»¹,
А силясь уйти из кольца,
Они убирались.

Баллада о черноземе

Во время войны немецко-фашистские захватчики предпринимали попытки вывозить в Германию украинский чернозем.

Лежащий тяжелым слоем,
Реликтовый чернозем.
Пришли оккупанты:

«Сроем,

Отгрузим и увезем.

Не есть большевицким массам
Ватрушки и кренделя.
А мы этим черным маслом
Покроем свои поля.
И множество белых булок
На наши придут столы»...

¹ Имеется в виду «Deutschland, Deutschland über alles» — «Германия, Германия пре-
выше всего».

Но ветер с востока гулок.
Стальные ревут стволы.

На стыках состав бросало.
Охранник не зря понур —
Ведь бьет по кремню кресало
И тлеет бикфордов шнур.

Под Мюнхеном дремлет ферма,
Приснившиеся места.
Но вздыблена взрывом ферма
Поверженного моста.

...Росинка сползла по стеблю.
Их каски побиты ржой...
Рассветную эту землю
Не вывезти в край чужой.

В чистом поле

Выраженье в чистом поле
Задевает до сих пор.
И глаза слепит до боли
Нашей юности простор.

В этом словосочетанье,
Существующем давно,
Места нет особой тайне.
А тревожит все равно.

Вновь окопчик в поле белом,
Отдаленные кусты.
Тишина. И первым делом —
Наши помыслы чисты.

Пара

У окна, в коридорчике тесном,
Где закат отражался в полях,
Познакомились в первом протезном,
Как знакомятся в госпиталях.

Прибывало кино на телеге.
Обдавало дыханьем весны.
Оба молодые, оба калеки
Отшумевшей великой войны.

В тишине или в гуле обвальном,
Дальше — вместе при свете и мгле —
Помогая друг другу в буквальном
Смысле жить и стоять на земле.

Дети, внуки, забота и ласка,
Дом стандартный и рядышком с ним
Инвалидная эта коляска,
«Москвичок» с управлением ручным.

Воспоминание о кардиологическом центре

Вдруг жизнь самую
Стал связан с новым риском.
Давнишнею зимой
Лежал в Петроверигском.

Жар кости не ломил.
При жуткой холодине
Переносной камин
Стоял посередине

Палаты, где со мной
Декабрьскою порою
Как бы судьбы одной
Еще лежали трое.

Все сплошь директора.
Заводов, а не школы.
Врывалась к ним сестра —
Спасали их уколы.

От бега рдела кровь
На девичьих ланитах.
А эти вновь и вновь
О планах и лимитах.

...Наука на коне,
Идет вперед наука!
И можно жить вполне,
Коли такая штука.

Я разделял их пыл,
Был счастлив их удачей.
Из всей палаты был
Лишь я вполне ходячий.

...По переулку след
Зимы и отзвук гула...
Через двенадцать лет
Всерьез меня трянуло.

* * *

Сохранившееся качество —
Радоваться за других.
Стариковское чудачество
Жить при свете дел благих.

И ведь впрямь сквозь эти заросли
Бесконечной душевной зависти,
Разрываемые вкось,
Проходить не довелось.

Замечательное качество —
Радоваться за других.
Вы не верите, но, кажется,
Вы задумались на миг.

Любовь

Все бы меж дел,
Щурясь счастливо,
В очи глядел
Ей без отрыва.

Вот и гляди!..
Мало денечка.
Но впереди
Вечер да ночь.

* * *

Изменила — простил.
Основание: дети.
Но лишь стал ей постыл
Еще больше на свете.

Вроде все ничего,
Да не то, что сначала,

И на ласки его
Кое-как отвечала.

Изменила опять,
Хоть и месяц не прожит...
А детей отобрать —
Даже суд не поможет.

* * *

Боже, как он исхудал!
А совсем еще недавно
Был он ладен и удал
И посмеивался славно.

Отчего он похудел?
Я смотрю: причина, где ты?

От своих сердечных дел?
От умышленной диеты?

От болезни роковой
Или только от испуга
Перед крышкой гробовой
И землю как из пуха?

Качество

Был он вроде ничего,
Добрый, ласковым.

Стерла запросто его,
Будто ластиком.

Не осталось ни следа
В чистой памяти.
Может, вы, придя сюда,
Так же канете.

Он ушел в небытие
И не значитя.
Вот какое у нее
Было качество.

Утренняя песенка

Пока вы там, в тиши квартир,
А время близко к трем,
Мы подметаем этот мир
И мокрой щеткой трем.

Еще висит туманов дым,
Еще листва в росе.
Мы приготовить вам хотим
Его во всей красе.

Мы этот ранний мир трясем,
Совсем как половик.
Согласен с нами он во всем,
Он к этому привык.

Прошедших лет широкий бег
И быстрых дней полет...
Мы отгребаем мягкий снег
И скалываем лед.

Фургоны с хлебом. Тишина.
Еще совсем темно.
За светом первого окна
Зажглось еще окно.

Ведь кто-то должен раньше встать —
Так вечно будет впредь,
И так всю жизнь вставала мать,
Чтоб завтрак вам согреть.



.

Тщеславно решил:
я еще молодой
И мне далеко до заката,
Сумею на гребень вершины седой
Взойти, как всходил я когда-то.

Но выдохся вскоре на третьей версте.
Воздушный почувствовав голод,
Зазывно висела тропа в высоте
Для тех, кто и вправду был молод.

Решил через реку пуститься я вплавь,
Казалось, былое под боком,
Но зарокотало ущелье:
«Оставь
Надежду сразиться с потоком!»

«Мне смолоду норов потока знаком
И волн его памятен холод!»
«Ушло твое время. Не будь дураком,
Давно как пловец ты не молод!»

Весельем бесовским наполненный рог
Вздывают мужчины по кругу.
Когда-то три рога осилить я мог,
Не прятанный сердца в кольчугу.

«Налей, виночерпий, и рог поднеси,
Как будто в пустыне оазис!»
Но вздрогнуло сердце:
«Помилуй! Спаси!
Давно ты не молод, кавказец!»

Еще я, влюбившись, седлаю коня,
Скакать на свиданье готовый,
Но смотрит из зеркала вновь на меня
Не кровник ли седоголовый?

Вершат еще, кажется, круговорот
По жилам и пламень и солод,
А юная женщина с грустью вздохнет
И скажет:
«Уже ты не молод»..

Но молодо слились перо и рука,
И впору рискнуть головою.
Ах, только б звенела, как раньше, строка
Натянутою тетивою!

.

Приветствую тебя, рассветный час,
Снега вершин багрит восток ко благу,
Всю ночь сегодня не смыкал я глаз,
И вот стихи ложатся на бумагу.

Еще вчера,
как будто бы в чадре,

Стояли розы вроде жен владыки,
И, кажется, свобода на заре
Открыла их пленительные лики.

Еще вершины ярче, чем зенит,
Огонь очажный вновь почуял тягу,
И колокольчик над дверьми звенит.
Звени, звени:

приходит гость ко благу.

Любимая мыть начала окно,
Которое пред солнцем распахнула,
Ее лицо в стекле отражено,
Сливаясь с отражением аула.

И для меня прекрасней в мире нет
Их образов.

Они слились ко благу!

И превратил в сокровища рассвет
На листьях и траве ночную влагу.

Приветствую тебя, рассветный час,
Я нынче потрудился под луною
И совершаю утренний намаз:
Читаю стих, что был написан мною.

Кинжал и пандур

Верен каменным громадам
Дом отцовский в вышине,
Где кинжал с пандуром рядом
Пребывают на стене.

Не обойденный судьбою,
Я, седой,
как выси гор,
Зимней ночью над собою
Их услышал разговор.

Обнажив свою натуру,
Виды видевший кинжал
Молвил с гордостью пандуру:
— В схватках честь я защищал!

И немало пролил крови,
Наводя смертельный страх,
Чтобы грязь лежать на слове
Не могла в родных горах.

Отвечал пандур кинжалу:
— Крови я не проливал,
Но любовь,
познав опалу,
Словно в битвах, защищал.

— Всех не счесть, кого со света
Я списал, — сказал кинжал.
Отвечал пандур на это:
— Я убитых воскрешал.

Твой хозяин хмурил брови,
Опершись на стремяна,
Ты в горах пьянел от крови,
Я — от красного вина.

Говорит кинжал:
— Проклятья
Должен был я изрекать!
Говорит пандур:
— В объятья
Звал я ближних заключать!

— Я утес, вознесший тура,
Почитаем до сих пор.
И звучит ответ пандура:
— Я долина среди гор.

— Я булат — боец исконный!
— Я пандур — души прелюд!
— Я имам, в Гимри
рожденный!
— Я — певец любви Махмуд.

— Мне, булату, постоянно
О минувшем снятся сны!
— Мы с тобой для
Дагестана —
Словно две моих струны!..

Встал над гребнем перевала
Месяц в звездной вышине.
Мне пандура и кинжала
Слышен говор в тишине.

Подумав:

«Экая беда!» —
Я, из людского выйдя круга,
В больницу кинулся, куда
Свезли сородича и друга.

В бинтах и гриме он лежал,
Но не стонал при посторонних
И не мою уже держал
Шальную голову в ладонях.

Стихи читая сорок лет,
Ценя комедию и драму,
Еще на людях как поэт
Я не проваливался в яму.

Вздыхнув печально и светло,
В бинтах, как будто в белой пене,
Махмуд сказал:

«Мне повезло,
Что я играл тебя на сцене.
Подумай, дорогой, о том,
Какой скандал бы получился,
Когда бы в образе твоём
Я в пропасть пред людьми свалился!»

И вспомнив зала сладкий гул
И звездность своего успеха,
Он мне победно подмигнул
И громко застонал от смеха.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

СПЯЩИЙ

Ему снилась яхта. Она стояла с убранными парусами, потемневшими от предрассветной росы, возле причала яхт-клуба. Ее стройная мачта покачивалась, как метроном.

Спящий видел всю нашу компанию, которая гуськом, один за другим, балансируя пробиралась по ненадежной дощечке на сырую палубу.

В предрассветной темноте кое-где еще горели портовые фонари и виднелись топовые огни на мачтах пароходов.

Все это виделось так отчетливо, материально, что сон был мучителен. Спящий понимал, что он спит, но у него не хватало сил прервать сон и заставить себя проснуться — выплыть из неизмеримой глубины сновидения. Он сделал отчаянное усилие, чтобы разорвать сон, и ему даже показалось, что он проснулся. Но это был всего лишь сон во сне. Он видел себя на обочине знакомого ему тротуара возле привокзальной площади, заполненной австрийскими солдатами, только что высадившимися из воинского эшелона.

Город был сдан без боя, по какому-то мирному договору или перемирию.

Жители города с любопытством смотрели на своих завоевателей в серо-зеленых мундирах и стальных касках. Тут же на привокзальной площади дымили походные кухни. Возле них повара в белых колпаках не спеша орудовали черпаками.

Больше всего горожан увлекало зрелище приготовления иностранными солдатами похлебки из фасоли с маргарином и тушеной свининой. Завоеватели совершенно не обращали внимания на горожан, разглядывавших иностранных солдат с любопытством, как редких животных.

Картина, в общем, была вполне мирная.

Скоро завоеватели пообедали, построились в колонны и были куда-то уведены с площади, а горожане рассеялись, и площадь опустела.

Так началась новая, странная жизнь в городе.

Опустевшая привокзальная площадь каким-то образом превратилась в игровой дом, куда вдруг ворвался налетчик с наганом в руке. Это был Ленька Грек. В его полудетском лице с короткими черными бровями, в его средиземноморской улыбке было несомненно нечто греческое. В порту его называли «грек Пиндос на паре колес».

Короткие кривоватые ноги в задрипанных брюках, кепка блином, неопределенного цвета куртка, застиранная тельняшка.

Его театральное появление в дверях с красными плюшевыми портьерами, обшитыми золотым позументом с кистями, придававшими залу оттенок если не кабаре, то, во всяком случае, публичного дома средней руки, вызвало оцепенение. Ленька Грек почему-то считал, что большинство игроков иностранцы, главным образом французы. Поэтому он заранее приготовил французскую фразу, которой его научил на яхте некто Манфред, образованный молодой человек. Фраза эта должна была представлять нечто вроде русского «соблюдайте спокойствие». Эта фраза, произнесенная Ленькой Греком якобы по-французски, но с ужасающим черноморским акцентом, ошеломила не только всех присутствующих, но даже и самого налетчика, пораженного собственной наглостью, когда он с усилием выдавил из себя хриплым голосом: «Суээ транкиль!» Сначала все окаменели. Но потом что-то произошло непредвиденное. Один из игроков рассмеялся, и налет не получился.

Не успел Ленька Грек подойти к зеленому столу и хапнуть кучку золотых десятков царской чеканки, как кто-то неожиданно вырвал у него из рук наган и дал ему крепко по шее.

Это было естественно: все поняли, что налетчик одиночка, работает без товарищей и справиться с ним нетрудно.

— Что ж вы деретесь! — плаксиво, с обидой в голосе проныл Ленька Грек и, вырвавшись из чьих-то рук в твердых крахмальных манжетах с золотыми запонками, кинулся вперед, опрокинул стол и, отбиваясь руками и ногами, бросился вон из зала. И как раз вовремя: уже посылались свистки Державной Варты.

Сильно потрепанный, он выскочил на улицу, юркнул в переулок, добрался через несколько проходных дворов до городского сквера, пустынного в этот ночной час, и, как ящерица, скрылся в щели между стеной оперного театра и кафе-кондитерской, известной своими меренгами со взбитыми сливками и пуншем глянсе с настоящим ямайским ромом «Голова негра».

Тем временем в помещении игорного дома два лакея в ливреях, взятых напрокат в костюмерной театра оперетты, ползали по ковру, подбирая золотые десятки и заграничную валюту, а также бумажные карбованцы с красивым парубком, подстриженным под горшок.

И вдруг все это пришло в порядок и накрылось длинной морской волной с косо летящим надутым парусом яхты, на палубе которой разместилась вся молодая компания, в том числе, как это ни странно, Ленька Грек: его частенько прихватывали в качестве матроса.

Яхта круто огибала маяк, имевший форму удлинненного колокола, где на кронштейне висел уже настоящий небольшой сигнальный колокол. Сверху вниз по белому туловищу маяка тянулся ряд иллюминаторов, так что маяк снился в виде господина в однобортном пальто, застегнутом на все пуговицы. Чайки летали вокруг его хрустальной шляпы.

Чем дальше от берега, тем море становилось малахитовее, более так сказать, «айвазовское».

Боже мой, какое это было блаженство!

«Нелюдимо наше море,— звучал сильный голос Манфреда, перекрывая посвистывающий в вантах ветерок, особенно заметный в минуты крена, когда мачта склонялась и длинный бушприт с треугольником вздувшегося кливера возносился над гребнями волн, с которых ветер срывал пену, бросая брызги в лицо певца, продолжающего свой

поединок с бризом, — день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено!»

Спящий знал, что в роковом просторе погребено не только много бед, но также и тайн. Кроме того, море не было нелюдимо. В открытом море виднелись два удаляющихся пассажирских парохода: один дымивший на горизонте, а другой только что вышедший за пенную полосу брекватера.

Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обреченного города.

Значит, море было уж не столь нелюдимым, если считать, что, кроме яхты, еще дальше, за горизонтом, угадывалась тень французского броненосца «Эрнест Ренан», а может быть, и английского дрейноута «Карадог».

Кроме того, море не шумело день и ночь. Иногда оно отдыхало. Тогда его простор не казался роковым. Но все равно спящего тревожило, что где-то в глубине «много бед погребено». Много бед и много тайн.

Солнечные лучи уходили в пучину, озаряя постепенно убывающим светом бутылочно-зеленую воду и киль яхты, от которого шарахались стайки рыбешек.

Подводное течение медленно несло оторванный куст водорослей, еще более темно-зеленых, чем вода. Шарообразный куст водорослей.

Беды и тайны угадывались в темной глубине моря, куда почти не проникал солнечный свет. Там во мраке мерцала гранитная мостовая привокзальной площади, давно уже опустевшей, после того как по ней прошагали сапоги победителей, прокатились колеса походных кухонь и рассеялся табачный дым фарфоровых курительных трубок с черешневыми чубуками и кисточками.

Мы никогда не узнаем, кто был тот молодой человек с темным лицом, который снился спящему под именем Манфреда. Может, он был демобилизованный мичман гвардейского экипажа, бежавший от матросов из Кронштадта в штатском платье и каким-то образом оказавшийся на юге, в городе трех маяков, в компании на яхте.

Он всегда появлялся неожиданно и так же неожиданно исчезал. Где он жил — неизвестно. Вероятно, в каком-нибудь общежитии бывших офицеров.

Он не носил галстука. В повороте его головы, в белой аристократической шее девушки находили нечто байроническое.

Девушек было несколько, все в цветных шелковых платочках, завязанных на голове. Среди них снились две сестры и одна их подруга, случайно попавшая в компанию. Впрочем, в компанию все попали случайно. Она все время сидела в маленькой каюте на узком кожаном диванчике и делала себе маникюр: натирала ногти розовым камнем, а потом до зеркального блеска шлифовала замшевой подушечкой. При этом она говорила, что если яхта потерпит аварию и все они утонут, то по ее ногтям люди узнают, что перед ними труп элегантной утопленницы из хорошего общества.

Добрый малый Вася, сидевший за рулем, повернул яхту еще круче в открытое море, и на дальнем берегу открылся второй маяк, старый, уже не работающий, — остатки каменной башни. А через некоторое время показался третий маяк, новый, белоснежный, металлический, как бы в рыцарском шлеме с опущенным забралом, состоящим из хрустальных рубчатых линз, откуда по ночам в былые времена вырывались два резких луча электрического гелиотропового света —

один строго-строго горизонтальный, а другой строго вертикальный, упирающийся в звездное небо мирного времени.

Гик грота перешел справа налево под ветер, и парус надулся еще круче. Маленький ялик, так называемый тузик, привязанный за кормой, запрыгал по волнам, как ореховая скорлупа.

Вася был сыном миллионера — бывшего, а впрочем, кто его знает, может быть, и будущего. Незадолго до войны он выписал из Англии, из Гринвича, небольшую яхту и подарил ее сыну. Теперь эта яхта, в сущности, была единственное, что осталось от прежних миллионов. Так что Васина невеста Нелли, старшая из двух сестер, дочерей бывшего прокурора палаты по гражданским делам, осталась ни при чем, хотя и продолжала надеяться на лучшие времена и возвращение Васиных миллионов.

Что касается самого прокурора, то он почти что остался не у дел. Все жители города трех маяков остались не у дел.

В городе царило божественное безделье, как говорилось по-итальянски, «дольче фар ниенте».

А как жили?

Жили прекрасно, продавая фамильные драгоценности и домашние вещи, которые охотно обменивались пригородными крестьянами на муку, масло и свиное сало. Каждое утро пригородные крестьяне приезжали на привоз, а иногда попросту заворачивали со своими подводами и бричками во дворы, где шла меновая торговля. Драгоценности же — изделия Фаберже, бриллианты, сапфиры, высокопробное золото — по дешевке скупались таинственными ювелирами. Несметные богатства время от времени переправлялись за границу.

О том, что случится завтра, никто не думал. Мечтали, что так будет продолжаться вечно. Конечно, это было приятное заблуждение. Приятному заблуждению поддался даже сам прокурор, которому, в сущности, нечего было делать: некого судить. И он по целым дням шлепал в своем домашнем шлафроке и в разношенных туфлях по квартире из комнаты в комнату.

...Густые поседевшие усы, столь же традиционно густые прокурорские брови, истощенное бездельем лицо оливкового цвета и на носу пенсне, верой и правдой служившее ему при рассмотрении судебных дел. Теперь оно служило ему при рассматривании через биоскоп двойных картинок швейцарских видов с Шильонским замком и двойными парусами над Женевским озером. Через это же пенсне прокурор любил рассматривать журнал «Нива» за 1897 год с портретами адмиралов, генералов, сенаторов и архиереев...

Что же касается прокурорши, то она была милая, совсем седая, серебряная, маленькая, худенькая старушка, соблюдавшая в доме революционный порядок: завтрак, обед, пятичасовой чай, фэйф о'клок, и вечером горячий ужин с рублеными котлетами.

Кухарка и горничная давно уже сгинули, увлеченные матросами с посыльного судна «Алмаз», так что прокурорше приходилось все делать самой, в том числе ходить на базар менять вещи на продукты питания. Вещей для обмена оставалось все меньше, хотя еще вполне достаточно. С этим дело обстояло благополучно, если не считать огорчений, причиняемых ей непониманием приезжими крестьянами истинной ценности обмениваемых предметов.

Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и со-

вершенно не обращали внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придирчиво рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це реденько!»

Но что было с них взять! Простота! Народ!

Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь — уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.

Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом — таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.

Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.

Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? — снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.

«Я б тебя поцеловала, да, боюсь, увидит месяц... В небе звездочка скатилась...»

Или нечто подобное.

Оно и сейчас звучало во сне.

У Нелли было сильное, хотя еще неотработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже неподвижная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.

А голос все звучал, звучал: «...в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы...»

Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек — красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы — эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая — красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлиненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.

Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с маркой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если

не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхты: «Нелли».

Как счастливый невольник, он нес за своей госпожой сеточку с шершавыми теннисными мячами.

И в это же время откуда ни возьмись появился еще один юноша, с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами,— Басин товарищ по гимназии. Это был я.

Мимо меня как-то незаметно прошла красота старшей, но с первого взгляда до самого сердца дошла прелесть младшей. Я еще не понял, что уже влюблен, но мне уже хотелось идти рядом с младшей, болтать всякий вздор и читать стихи Фета.

Спящий видел на шоссе две парочки, идущие к теннисным кортам.

Но когда все это было? Весной? Летом? Осенью? Во всяком случае, не зимой.

Во сне все времена года происходили одновременно.

Чудо совместимости.

Кажется, было грифельно-темное, почти черное небо, обещавшее майскую грозу, томительно назревавшую, как первая любовь. На фоне грозового неба отчетливо рисовались крупные почки конских каштанов, как бы вымазанные столярным клеем, готовые вот-вот лопнуть,— ...вот они уже лопнули — и выпустили на волю еще бессильно повисшие, как тряпки, новорожденные пятипалые волосатые листья с крошечными восковыми елочками еще не родившихся соцветий.

Каштаны уже распустились и даже бросали тень.

В то же время светилось акварельное осеннее небо с треугольником журавлей над кострами листопада, а ночью серебрилось звездное небо, отраженное в заливе, и, как это ни странно, степная вечерняя заря угасала над белокаменной стеной монастыря и над полуразрушенной башней старого маяка, а в монастыре звонили к вечерне — ...вечерний звон, вечерний звон... — и над обрывом в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город, с тем чтобы, едва дождавшись рассвета, отправиться по улицам еще по-ночному безлюдного города в порт, где возле причала покачивалась яхта. А вечером опять в столовую вошла из кухни прокурорша с блюдом, и вся компания навалилась на котлеты.

Компания представлялась спящему чем-то единым, плохо разборчивым, кроме нескольких знакомых лиц. Остальные были просто каким-то сборищем случайно сблизившихся молодых людей, которые даже не вполне хорошо знали друг друга.

Иные из них возникали неожиданно и были безличны. Иные вовсе не появлялись, а потом опять вдруг начинали один за другим появляться, и все это было в духе того странного времени беспечности и свободы.

После котлет красавица Нелли снова пела. У нее были холодные глаза. А Вася стоял рядом с раскрытым роялем и с обожанием смотрел на свою нареченную.

Потом младшая сестра вышла из душной комнаты на балкон и положила на железные перила руки, уставшие от клавишей. За нею как намагниченный вышел на балкон и я. Маша и я стояли рядом как бы висящие над колодцем двора, положив руки на перила,

и молча смотрели на зеленое вечернее небо, уже почти ночное, с первыми звездами над черепичными крышами.

Преодолевая несвойственную робость, я очень медленно, почти незаметно придвинул по железным перилам свою руку к Машинной руке. Я думал, что она отодвинет свою руку, но она не отодвинула. Ее мизинчик вздрогнул, но не отодвинулся. Может быть, даже еще ближе придвинулся. Тогда я как бы случайно, бессознательно положил свою ладонь на Машину руку, прижатую к перилам. Маша стояла неподвижно, как будто бы ничего не произошло особенно, но я чувствовал, что сердце ее бьется, а рука, покрытая моей ладонью, притаилась и замерла, как небольшая птица, например голубь, и так продолжалось довольно долго в полуобморочном безмолвии сновидения. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не настала пора расстаться: не стоять же всю ночь на балконе в чужом доме.

На другой день, все еще не говоря друг другу ни слова о любви, мы вдвоем сидели в ее комнатке, где на письменном столике были аккуратно разложены прошлогодние гимназические учебники и откуда-то вдруг появились два небольших зеркала, поставленные друг против друга, а между ними горела стеариновая свеча.

Что это было? Физический опыт или сон во сне?

Меж двух зеркал острей кинжала язык свечи. Сбегают струйка-ми в зеркала ее лучи. Глаза зеркал глядят друг в друга, как два лица. Одна свеча над бездной млечной белым-бела. И, озаренной, бесконечной, ей нет числа.

Очарованные, мы заглядывали в этот зеркальный, бесконечно уходящий в вечность зеркальный коридор взаимных отражений.

Спящий пребывал в перспективе этого бесконечного зеркального коридора, и сон его стал еще более глубок, чем прежде, но ненадолго.

В природе что-то изменилось. Может быть, прошла ночная гроза, которую он не услышал.

Малахитовые волны почернели. Пена на них стала еще белее. Тень Манфреда упала на далекое побережье, где назревал шквал.

Яхта уже ушла далеко в открытое море, и Вася переложил руль вправо, желая поскорее, пока не поздно, изменить галс. Это был поворот оверштаг. Грот и кливер на некоторое время перестали ловить ветер, затрепетали и безжизненно повисли, но почти в тот же миг гик грота медленно и тяжело перешел справа налево, едва не ударив по голове Леньку Грека, крепившего шкот вырывавшегося из рук кливера. Паруса уже ловили ветер, как бы подувший с другой стороны.

Яхта уходила от шквала, который уже покрывал море черной дробью своих порывов. Черная дробь шквала догоняла яхту, ставшую глубоко нырять в рассерженных волнах. Ореховая скорлупка маленького тузика как бешеная запрыгала за кормой, стараясь сорваться с привязи.

«Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней», — пел Манфред своим сильным голосом, стараясь перекрычать шум шквала.

Конечно, он не был Манфредом. Это было всего лишь его прозвище. Как было его настоящее имя, никто не знал. И это беспокоило спящего.

Манфред стоял во весь рост, расставив ноги на качающейся палубе, и не спускал слишком светлых влюбленных глаз с Нелли. Она сидела на палубе возле спуска в каюту, обхватив колени руками и положив на них подбородок.

Между Нелли и Манфредом что-то происходило. Какой-то молчаливый спор, в котором Нелли уже готова была сдаться.

Шквалистый ветер порывами клал яхту на бок. Если бы не ее киль со свинцовой сигарой на конце, служившей противовесом всему волшебному инструменту яхты, то яхта, конечно, легла бы плашмя всеми своими парусами на волны — как бабочка, неосторожно попавшая в бассейн.

Яхта звенела под ветром, как мандолина.

Небо стало совсем черное. Всех охватил страх. Девушки вскрикивали, как чайки. Чайки носились над яхтой — белые на черном фоне. Кто-то кинулся в каюту. Кто-то лег плашмя на палубу, схватившись руками за медные утки с намотанными концами шкотов. Кто-то прижался к мачте.

Я обнял Машу за плечи, и ее яркий шелковый платок вдруг развязался и улетел в море, обнажив растрепавшиеся льняные легкие волосы. На ее щеках блестели, как слезы, капли морской воды, даже на вид горько-соленые.

Яркий платок еще некоторое время летал над волнами, как бы желая унести за черный горизонт, пока не скрылся из глаз, поглощенный грозовой тучей.

Только Манфред и Нелли оставались спокойными, неподвижными, и в их неподвижности было нечто зловещее. Они были как Демон и Тамара. Если бы кто-нибудь обратил на них внимание, то понял бы, что в этот миг решается их судьба.

Добрый милый Вася всем своим крепким телом налег на румпель, изо всех сил заставляя яхту повернуть к берегу, до которого было не так-то близко.

Дельфины, спутники шторма, сопровождали яхту. Их черные горбатые спины то и дело показывались из волн и снова погружались в недра разгневанного моря. Спинные треугольные плавники выскакивали из пены и снова исчезали, не успев поймать отражения далеких молний.

Казалось, неминуемая гибель грозит яхте.

Но Вася, одной рукой навалившись на румпель, а другой изо всех сил сдерживая вырывающийся шкот грота, с лицом, покрытым потом и морскими брызгами, все-таки сумел довести яхту до берега и поставить ее в дрейф в маленькой бухточке, где царило затишье.

Ленька Грек швырнул якорь в воду. Яхта остановилась, кружа возле якорной цепи, вертикально ушедшей в глубину.

Вася вместе с Ленкой Греком, оба мокрые с головы до ног, убрали грот и кливер, после чего стали перевозить на тузике, на веслах, всю компанию — по двое, по трое зараз — к прибрежным скалам, обросшим тинной и мидиями.

За грядой скал открылась прелестная картина: берег и камышовый рыбачий курень, утонувший в зарослях диких трав, прыный за-

пах которых доносился до белой полосы приборья... и сети, развешанные для сушки на скрещенных веслах, врытых в глину.

Рыбацкая шаланда, вытащенная на берег, лежала вверх плоским просмоленным днищем, на котором сидели рыбаки, наблюдая за тузиком, перевозившим нашу компанию с яхты на берег.

Под высоким рыхим глинистым обрывом со светлыми дождевыми потеками царила божественная тишина.

Пахло дикими травами.

Босоногие рыбаки с засученными штанами оказались людьми гостеприимными, и вскоре затрещал костер, сложенный из щепок и камыша, выброшенных приборьем и высушенных на солнце.

В чайнике закипела вода, в которую тут же была брошена заварка: горсть трав и диких цветов, собранных еще в мае. Запах мяты и еще чего-то ромашкового распространился в воздухе, смешиваясь с йодистым запахом водорослей.

Прекрасная заварка, ничем не хуже, а может быть, даже лучше, во всяком случае полезнее китайского чая фирмы «Высоцкий и К°».

Сушившаяся возле костра компания с наслаждением пила лекарственный напиток, обжигая губы и пальцы о жестяные кружки, сделанные из консервных банок. Сахара, конечно, не было. Но это и не требовалось. Чай, настоящий на диких травах, обладал свойством возбуждать воображение: небольшой кусочек прибрежной земли, с одной стороны отгороженный от остального мира высоким обрывом, а с другой — утихающим шквалом, представлялся чем-то подобным блаженной стране, где «не темнеют небосводы, не проходит тишина».

Камышовый курень, костер, запах душистого чая, дымок махорки, которую покуривали рыбаки, добрые друзья — чего еще надо человеку для счастья?

Райское местечко, что-то вроде модели того странного мира, в котором мы жили, отгороженные от всего остального, бушующего где-то вокруг мирового пожара. Чудо тайфуна или циклона, в центре которого образуется труба неподвижного воздуха, ласкового солнца, ясного неба, любви, дружбы, безделья, полной свободы. А рядом взволнованное море, из которого выскакивают дельфины с человеческими глазами, а над ними носятся буревестники и чайки, и в темных глубинах моря извиваются осьминоги тоже с человеческими глазами, проплывают тени субмарин, и у скал, как гейзеры, взрываются сорванные с якорей мины — остатки минувшей войны.

Но все это как бы не имело отношения к тишайшему миру, в котором не жили, а всего лишь временно существовали жители нашего города трех маяков, его окрестные деревни и хутора.

Вскоре мы простились с гостеприимными рыбаками, и наша яхта отправилась в обратный путь. Волны улеглись, пошла гладкая мертвая зыбь. Вечерний бриз мягко надувал грот и кливер. Все опасности остались позади. Дельфины уже не сопровождали нас. Можно было подумать, что больше ничего опасного не происходит.

Но спящий испытывал тревогу, как будто бы в глубине сна проник в какую-то чужую опасную тайну, грозящую неизбежной бедой.

Так оно и было.

Он бессознательно проник в тайну Манфреда и Нелли, в их душевную связь, в их молчаливый диалог, который начался уже давно.

Невозможно было предсказать, когда уйдет циклон. И нужно ли было, чтобы он ушел?

Трудно было себе представить иную жизнь. Впрочем, никто не думал о будущем. Один лишь Манфред со своими плотно сжатыми губами страстно мечтал о чем-то другом, о какой-то воистину блаженной стране, куда «выносят волны только сильного душой». Он считал себя сильным душой. Он давно уже тайно звал Нелли в ту страну, куда он ее повезет и где они оба будут богаты и счастливы. Он был уверен, что за морем есть «та, другая», блаженная страна, куда время от времени уходят из города трех маяков пароходы, увозя богачей, спасающихся от надвигающейся с севера бури. Они увозят туда свои сокровища, свои жизни, свои мечты.

Манфред был сам из семейства богачей — наследником громадного имения в Смоленской губернии, столбовой дворянин, офицер флота, а может быть, и всего лишь гардемарин гвардейского экипажа. Но все это осталось позади, в невозвратимом прошлом. Все надо было начинать сначала.

Он стоял, скрестивши на груди руки, прислонясь к мачте, верхушка которой скользила по розовым вечерним облакам, как бы написанным итальянским пейзажистом. Можно было представить себе Манфреда не в потертом штатском костюме, а в морской форме, с кортиком, выглядывающим из-под мундира с золотыми погонами.

Таким его представляла себе Нелли.

Манфред влюбился в нее с первого взгляда, но был осторожен. Она поняла это сразу и вдруг посмотрела на своего жениха Васю совсем другими глазами. Когда она успела договориться с Манфредом? Никто этого не знал, даже не подозревал. Женщины это хорошо умеют делать.

Он обещал ей райскую жизнь в Италии. Уроки пения. Ей поставят голос. Дебют в театре Ла Скала. Мировая слава. Любовь до гроба. Богатство. Счастье. Но для начала всего этого нужны были большие деньги. Он поклялся их достать любой ценой. Он говорил, что это не так уж и трудно в городе, где промышляют скупщики бриллиантов. Нужно только договориться кое с кем и сделать кое-что.

Яхта приближалась к портовому маяку. Солнце зашло, кануло в розовую пыль новороссийской степи, скрылось за скифскими курганами. Закатный свет мерк. Звездная ночь поднималась с востока. Красный глаз маяка вращался впереди. Он то гас, то вспыхивал через ровные промежутки времени. Когда он вспыхивал, у подножия его в гладких складках мертвой зыби извивалась светящаяся красная змея — отражение рубинового глаза господина Маяка.

Яхта вошла в порт. Путешествие закончилось. Паруса были убраны. Голая мачта покачивалась у причала, едва ли не задевая верхушкой дубль-вэ Кассиопеи.

Однако на этот раз Ленька Грек и Манфред не присоединились к компании, весело идущей есть котлеты и пить крепкий чай с сахаром. Не выходя из порта, их тени растворились в вечерней темноте, в неверном свете портовых фонарей. А потом к ним присоединился еще кто-то, третья тень. И они исчезли. Но на это никто не обратил внимания. Каждый поступал по своему желанию, не давал отчета в своих поступках: полная свобода!

Впрочем, может быть, эта мнимая свобода была только плодом воображения, неспособного видеть истину.

Воображение казалось могущественнее действительности. А может быть, действительность подчинялась воображению спящего, который в эти глубокие ночные часы был в одно и то же время самим собой, и всеми нами, и яхтой, и мигающим маяком, и созвездием Касиопеи, и мною.

Я лежал в полосатых купальных штанишках на горячей гальке так называемого австрийского пляжа. Рядом со мной лежала Маша. Между нами все было сказано. Слова уже не имели значения.

Девушка-подросток в мокром купальнике, высыхающем на жгучем полуденном солнце, лежала на махровой простыне лицом вверх, с полузакрытыми глазами, с полуулыбкой на мягких губах, отдаваясь лучам солнца. На ее голых ногах с короткими пальчиками высыхал крупный морской песок, похожий на перловую крупу. Мы лежали несколько поодаль друг от друга, на расстоянии наших протянутых рук, едва касавшихся друг друга. Эти легкие, неощутимые касания как бы вливали в нас тепло молодой крови. Это уже была телесная близость, заставлявшая нас замирать от смущения.

Я искоса смотрел на ее почти прозрачные, просвеченные солнцем малиновые уши под белокурыми прядями волос, выбивавшихся из-под купального чепчика. На ее сливочно-белой, не поддающейся загару руке блестел небольшой золотой браслетик в виде цепочки — последняя оставшаяся у нее драгоценность. Она сняла его с запястья и положила в мою протянутую руку, как бы отдавая мне всю себя.

Я подбросил золотой комочек на ладони и вернул его в ее протянутую руку, как бы в свою очередь отдавая ей всего себя.

Она опять бросила мне браслетик, и я снова подбросил его на ладони и снова вернул ей.

Это было похоже на какую-то детскую игру.

Золотой комочек передавал от нее ко мне и от меня к ней жар молчаливой, целомудренной, но жгучей любви.

Мы улыбались друг другу.

А вокруг кипела пляжная жизнь. Неторопливо колыхались мутноватые прибрежные волны, лениво ложась на кромку пляжа, где высыхала на солнце каемка тины, выброшенной прибоем. Море было чем дальше к горизонту, тем синее, но возле берега вода была мутной от взбаламученной глины, похожей на суп, заправленный сметаной. На волнах покачивались плоскодонные шаланды, выкрашенные в разные цвета. Они проезжали туда и обратно вдоль берега, где пестрели купальные чепчики, полотенца, бутылки с водой, зарытые в песок. Голые мальчики из предместий, с животами, крепко перевязанными тряпками, с разбегу бросались в воду. Женщины, надув рубахи пузырем, плавали по-собачьи, болтая руками и ногами. Раздавался булькающий смех и восклицания, звучавшие в нагретом воздухе особенно резко, почти как хищные крики чаек.

Кто-то пришел купаться, неся с собой два надутых бычьих пузыря, скрепленных веревочкой.

Мутные, полупрозрачные пузыри заменяли дорогостоящие пробковые спасательные пояса. На таких пузырях обычно плавали старухи и маленькие дети, выплевывая изо рта соленую воду.

Кто-то ухватился загоревшими руками за корму проплывавшей шаланды, где стоя греб веслами голый по пояс весельчак с волосатой грудью. Его голова была обвязана цветной тряпкой, как у пирата.

Голые маленькие дети ползали по мокрому песку вдоль кромки прибрежья, строя города и проводя каналы, где суетились в воде крошечные морские блошки.

Несколько австрийских солдат пришли на пляж купаться. Они сбросили на гальку свои серо-зеленые мундиры, пропотевшие под мышками, и добротные короткие сапоги с двумя толстыми швами на голенищах. Они аккуратно уложили сверх своей снятой одежды брезентовые пояса с цинковыми пряжками.

Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей, не затрагивали купальщиц и, осторожно вступив по пояс в воду, мылили подмышки казенным мылом. Они тоже находились в состоянии блаженства, не предчувствуя, что через некоторое время их райская жизнь победителей кончится и они принуждены будут сломя голову вместе с немецкими солдатами бежать из завоеванной стороны, где им так прекрасно жилось под властью какого-то странного украинского гетмана, посаженного на престол немецким генеральным штабом, разогнанным революцией.

Спящий видел их бегство по степи под холодным осенним дождем. Они бежали, бросая по дороге зарядные ящики, пушки и походные кухни, и штурмовали на станциях поезда, уходившие на запад, «нах фатерланд».

Тень чайки пронеслась по пляжу.

— Что же все-таки в конце концов с нами будет? — сказала она, не размыкая век, опущенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

— А ничего не будет, — с бесшабашной улыбкой сказал я.

— Почему?

— Потому что мы нищие духом. Мы блаженные.

— Да, мы блаженные, — сказала она, вздохнув.

— Мы только кому-то снямся, — сказал я.

— Да, мы только снямся, — сказала она.

— На самом деле нас нет, — сказал я.

— На самом деле... — сказала она.

Мы лежали под жгучими лучами солнца, слушая крики купальщиков, и визги купальщиц, и шлепанье по воде весел, и басовые гудки пароходов, увозящих кого-то куда-то вместе с их сокровищами, тех, для кого не существовало ни родины, ни прошлого, ни будущего, а только настоящее, длительное, как бесконечное сновидение.

А в то самое время, когда по пляжу пролетали тени чаек и австрийцы мылили себе головы казенным мылом, напуская вокруг себя в воду серую пену, в то самое время, а может быть, позже или раньше в центре знакомого и незнакомого города происходило нечто ужасное, отчего спящий тяжело стонал, обливаясь потом, и сердце его сжималось и трепетало.

...Три человека стояли на площадке маленькой мраморной лестницы, ведущей с тротуара к дверям углового входа в магазин резиновой мануфактуры, над которым висела большая рекламная калоша с красным фирменным клеймом. Все трое были прижаты толпой к

тяжелой входной двери магазина, но не могли в нее вбежать, так как она была крепко заперта изнутри на замок. Им не повезло. Случайно запертая дверь их погубила. Если бы дверь не была заперта, они еще могли бы спастись: пройти через магазин и через заднюю дверь выбежать во двор, а оттуда как-нибудь скрыться от толпы через вторые ворота, выходящие в переулок. Но дверь, к которой они были прижаты, была намертво заперта. Может быть, это был обеденный пере-рыв.

Им некуда было деваться.

Все трое были окружены густой черной толпой, которая с каждой минутой все увеличивалась и уже вселяла ужас.

— Что такое? Что случилось? — спрашивали прохожие, присоединяясь к толпе возле углового дома резиновой мануфактуры на перекрестке двух знакомых и незнакомых улиц.

— Поймали налетчиков, ворвавшихся в квартиру хозяина ювелирного магазина. Они унесли в несгораемой шкатулке на миллион бриллиантов.

Несгораемая шкатулка из числа тех, что сверху выкрашены коричневой краской под дуб, а внутри красной краской, стояла в ногах у налетчиков, как бы излучая из себя снопы бриллиантовых лучей.

С двух сторон уже бежали, расталкивая толпу, чины гетманской Державной Варты и агенты уголовного розыска.

Налетчики возвышались над ревущей толпой, размахивая оружием.

Спящему были знакомы два налетчика. Третий не был знаком. Он впервые появился в сновидении.

Ленька Грек держал в руках направленную в толпу трехлинейную винтовку казенного образца с отпиленным до половины стволом, так называемый обрез. Манфред, высокий, с непокрытой головой и разлетающимися волосами, стройный, как гранитная статуя, держал в поднятой руке тяжелый американский полуавтоматический пистолет из числа тех, которые в конце войны поступили из-за океана на вооружение офицеров армии и флота, — десятизарядный кольт, в рукоятку которого была вставлена обойма с толстенькими патронами. Третий налетчик, совсем незнакомый, в застиранной летней солдатской гимнастерке, без пояса и погон, — дезертир из бывшего запасного батальона — размахивал ручной гранатой лимонкой, и это удерживало толпу на некотором расстоянии.

Противостояние трех против разъяренной толпы продолжалось невероятно долго: может быть, час, может быть, два или три, если не все сутки, и это неестественно неподвижное противостояние смерти против смерти, свойственное бесконечно длительному сновидению, изнуряло спящего невозможностью проснуться.

...Солдат-дезертир размахнулся и швырнул лимонку в толпу. Лимонка не разорвалась. В ту же минуту чины Державной Варты и агенты уголовного розыска с разных сторон открыли огонь по налетчикам и убили всех троих наповал. При налетчиках никаких документов не оказалось, и их, неопознанных, отвезли на грузовике в морг. Они были покрыты брезентом и подпрыгивали на поворотах. Из-под брезента высунулась голова Манфреда: растрепавшиеся волосы и открытые остекленевшие глаза, полные ненависти и страсти.

Перекресток странного города опустел, и цветочницы опять расставили на перекрестке двух самых нарядных улиц свои зеленые табуретки с ведрами и синими эмалированными мисками, где плавали розы, мучившие спящего своей невероятной красотой и яркостью, способной убить его во сне, если бы длинная морская волна, гладкая и прохладная, не успокоила спящего.

...Он снова увидел яхту, обходящую известково-белую башню портового маяка.

Яхта вышла в открытое море. Погода была чудесная. То, что на очередную морскую прогулку не явились Ленка Грек и Манфред, никого не удивило. Все привыкли к неограниченной свободе поступков: не захотели и не пришли. Одна только Нелли была неприятно удивлена отсутствием Манфреда. Впрочем, она ничего другого от него и не ожидала: обыкновенный фат, фразер и хвастун, не привыкший держать слово. Относительно Италии и Ла Скала, богатства и всемирной славы — были пустые слова. Он просто ее обманул и скрылся. Тем лучше. Ее Вася был куда более надежен. Она его почти любила.

Она сидела рядом с ним на корме. Одной рукой он бережно обнимал ее за плечи, а другой рукой держал румпель, все дальше и дальше уводя яхту в открытое море, где на горизонте дымили уходящие пароходы.

Остальная компания вела себя обычно, наслаждаясь дыханием легкого бриза и божественной свободой. У всех на лицах, как всегда, блестели капли морской воды, и это было приятно. Особенно мне и Маше.

И, как всегда, одна из девушек, имя которой спящий не знал, сидела в каюте на узком кожаном диванчике и полировала ногти.

1984. 21 августа. Переделкино.



ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ



РАЗДУМЬЯ

Нам удивительно повезло

Десятилетия позади...
Виден предел.
Ограничен срок.
К Вечному огню подойди,
Личный свой возложи цветок.
Сколько б ресницы ни вытирал,
Ни закрывал ладонью лица,
Ясно проходим, что ветеран.
Люди поймут и простят бойца.

Годы безжалостно рассечены
На «до войны»
И «после войны»,
А посередке — сама она:
Жизнь-то одна,
А смерть не одна —
С фронта, с фланга, над головой...
Как получилось, что ты живой?
Новая юность, не обессудь,
Что продолжаем на свете быть.
Как соль,
Как боль
Проступает суть.
Память донине — как кровь сквозь бинт.

Но нас, пожалуйста, не жалея —
Мы возвратились с минных полей.
Нам удивительно повезло,
Как бы ни было тяжело,
Мы победители всех невзгод.
Но убывает друзей число,
В грозной прогрессии — каждый год.

Отдано пламени столько сил...
Ну, отчитайся, как после жил.
Как убеждался, что в мирном дне
Мужество требуется вдвойне:
Встречный, и часто неравный, бой,
Чтоб оставаться самим собой.
Не отступая свой бой веди,
Верь, что победа — не позади.
Жизнь продолжается,
И она
Не только тебе самому нужна:

Юноша с девушкой
 Ветреным днем,
 Когда изготовились петь соловьи,
 Держат над Вечным нашим огнем
 Чистые, нежные руки свои.

Хранить вечно

Очень долгую жизнь очень быстро прожив,
 Сквозь огонь пробежав без оглядки,
 Прихожу я впервые в архив
 И теряюсь в его распорядке.
 Тишина — как в Осеннем лесу,
 Запах листьев опалых.
 Паутинка приникла к лицу,
 На ресницы росинка попала.
 Одинаковые этажи,
 Полумрак стеллажей одинаков.
 В ровном ритме течет эта жизнь
 Под охраною шифров и знаков.
 Здесь и старых товарищей строй,
 Тех, чья память развеяна ветром,
 И не ведает каждый второй,
 Что героем он был беззаветным.
 Открывается тут наконец,
 Кто и кем был когда-то оболган,
 В ком под маской таился подлец,
 Кто был верен опасному долгу.
 Степень влажности,
 Норма тепла,
 Нелюдима даль коридора.
 Электронная память сюда не дошла,
 Но дойдет,
 И, наверное, скоро.
 А пока —
 Фонд, и дело, и лист,
 Век проходит по ветхим страницам.
 Не рассчитывал протоколист
 Стать историком и летописцем.
 Но и ты, вероятно, не знал,
 Что в картоне тугих переплетов
 Зафиксирована крутизна
 И твоих колебаний и взлетов.
 Думал — мелочь, проскочит, пройдет,
 Нет душе никакого убытка,
 Но и мелочь взята в переплет
 И прошита суровой ниткой.
 Надо жить с ощущеньем, что есть
 Фонд, и папка, и лист,
 И, конечно,
 В документах бесчестье и честь
 Остаются в архиве навечно.

Бермудский треугольник

Район, который знает каждый школьник,
 На карту глянь — в момент его найдешь.
 Под нами, там, внизу,
 Бермудский треугольник,
 Чье прозвище и то бросает в дрожь.

Тут наши жизни не в руках пилота —
 В ладонях бури...
 Чувствую в тоске,
 Как рейсовый корабль Аэрофлота
 Трепещет, словно рыбка на крючке.
 Под нами, там, внизу,
 Циклон, наверно, спятил,
 Расколошматил в прах маячные огни,
 А наверху остались мы одни,
 И на табло зажглась не клинопись-зажлятье,
 А «Не курить и пристегнуть ремни».
 Срываются с высокой полки вещи,
 В салоне в полдень — грифельная тьма.
 Подписывают молнии зловеще
 Сертификат, что мир сошел с ума.
 Перекосились пассажиров лица,
 Чугунно тяжелеет голова.
 Молись!
 Но не умею я молиться!
 Пора простаться с жизнью?
 Черта с два!
 Как в песне, «помирать нам рановато»,
 Вписаться в треугольник недосуг.
 Подобной геометрией когда-то
 Я был испытан.
 Вспоминаю вдруг
 Дорогу меж пристрелянных квадратов
 В долине смерти.
 И Полярный круг.
 Бермудский ураган, захлебываясь злобой,
 Чертежной работой особой
 Сопровождает свой органной гул.
 Не нужен параллелепипед гроба
 Тому, кто станет лакомством акул.
 А может, над Бермудами — скрещенье
 Вчерашнего и завтрашнего дня?
 И если дикой музыки крещендо
 Уже готово оглушить меня,
 Так я как раз из этой крутоверти
 Всегда — без отпусков и выходных,
 До самой смерти не хочу, поверьте,
 Чтоб вихрь судьбы смирился и утих.
 ...Вошел пилот, отжавший еле-еле
 Дрожащую двустворчатую дверь.
 — Ну, кажется, Бермуды пролетели! —
 Табло погасло.
 Что нас ждет теперь?

Раздумье о подвиге

Ты заметил, что почти всегда
 Неритмично вертится наш
 глобус,
 Подвигу предшествует беда,
 Та, которой и не быть могло бы.

Безусловно, я не про войну —
 Всенародный подвиг воспевая,
 Славлю всю геройскую страну,
 Так сказать, от края и до края.

Я про подвиги любого дня,
 Скажем, про отвагу на пожаре.
 Не возникло б дыма и огня,
 Если б спички близко не лежали.

Должен бы неопытный пловец
 Бултыхаться у причала близко,
 Но в такие волны он полез,
 Что спасали на пределе риска.

УИЛЬЯМ СТАЙРОН

★

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ

Роман

Уильям Стайрон родился в 1925 году в Ньюпорт-Ньюзе, Виргиния. Три года служил в морской пехоте. После войны демобилизовался в звании лейтенанта и окончил университет Дьюка в Северной Каролине.

Мы знаем прозу Стайрона только по повести «Долгий марш» («Иностранная литература», 1967, № 7; и в сборнике «Современная американская повесть», «Прогресс», 1980) и по главам из романа «Выбор Софи», опубликованным в «Иностранной литературе» (1981, № 1).

По проблематике, трагичности сюжетов, изоэтрности композиции Стайрон — писатель XX века; реализм психологического письма и пластическая добротность прозы позволяют видеть в нем наследника классических традиций XIX века.

Роман «И поджег этот дом» был опубликован в 1960 году.

L'ambizione del mio compito non mi
impedi di fare molti sbagli¹.

С любовью и благодарностью
моей жене Роз,
моему отцу
и
Уильяму Блекбёрну
посвящается эта книга.

Если от Провидения Божия, которое печется о жизни всякой былинки, и червя, и муравья, и паука, и жабы, и гада, ни единый луч никогда не упадет на меня; если Бог, который зрел меня, когда я был ничто, и призвал меня, когда меня не было, как будто я был, из чрева и тьмы глубокой, не посмотрит на меня ныне, хотя я, убогая, и отверженная, и проклятая тварь, все равно его тварь и, даже проклятый, прибавляю толику к его славе; если Бог, который взирал на меня в мерзостной моей грязи и, когда я застил око дня, Солнце, и око ночи, Свечу, и очи всего света занавесями, и окнами, и дверями, все равно видел меня, и видел милостиво, показавши, что видит меня, и приведши меня некогда к нынешнему раскаянию и воздержанию (до поры) от греха, так отворотился от меня к своим славным Святым и Ангелам, что ни Святой, ни Ангел, ни сам Иисус Христос не умолят его посмотреть на меня и вспомнить, что есть такая душа; если Бог, который многожды говорил моей душе: *Quare morieris?* Зачем тебе умирать? — и многожды обещал моей душе: *Vivit Dominus*, жив Господь, и ты не умрешь, а будешь жива, — не даст мне умереть и не даст мне жить, а оставил умирать вечной жизнью и жить вечной смертью; если Бог, который не мог

Журнальный вариант.

¹ Честолобивый замысел моего труда не уберет меня от множества ошибок (итал.). (В дальнейшем перевод итальянских выражений не будет снабжаться такой пометой.)

войти в меня, когда стоял и стучался, войти путем обычным, Словом своим, милостями своими, рассудил иначе, и потряс этот дом, мое тело, судорогами и корчами, и поджег этот дом лихорадками и горячками, и устрасил Хозяина дома, мою душу, ужасами и опасениями тяжкими, и так вошел в меня; если Бог, увидя, что тщетно его попечение и намерение обо мне, отверг меня и покинул, будто я ничего не стоил для него; если Бог наконец дал душе моей изойти, как дыму, как пару, как пузырьку пены, и если душа эта не может быть ни дымом, ни паром, ни пеной, но должна лежать во мраке, доколе Господь света есть сам свет и ни единая искра его света не достигнет моей души, — какой Тофет не Рай, какая Сера не Амбра, какая грызь не услада, какое червя точение не щекотка, какая казнь не ложе свадебное перед проклятием этим: быть отлученну навеки, навеки, навеки от взора Божия?

Джон Донн, настоятель собора святого Павла.
«Графу Карлайлу и его обществу, в Сионе».

Часть первая

I

Самбуко.

О поездке из Салерно в Самбуко «Италия» Нэйджела говорит следующее: «Дорога почти на всем протяжении пробита в береговых скалах. Нашим глазам открывается непрестанно меняющаяся панорама лазурного моря, величественных утесов и глубоких ущелий. Из Салерно мы выезжаем по виа Индепенденца. Дорога сворачивает к морю, оставляя внизу Марина-ди-Вьетри. Вновь выехав на побережье, мы любуемся роскошными видами Салерно, Марина-ди-Вьетри, двух скал («Дуэ Фрателли»²) и Райто. За поворотом перед нами внезапно возникает живописный городок Четара (7 км). Мы возвращаемся к морю, затем огибаем сумрачное ущелье Эркье и вновь приближаемся к морю у мыса Томоло. Выехав из теснины с высокими каменистыми стенами, мы видим Минори и Атрани и высоко над ними — Самбуко. За Атрани дорога уходит в сторону и поднимается по долине Дракона».

О самом Самбуко путеводитель Нэйджела рассказывает в свойственном ему лирическом тоне: «(311 м над ур. моря), городок своеобразного вида и очень красиво расположенный: контраст между его уединенностью и очаровательным пейзажем вокруг, между развалинами его древних дворцов и веселыми садами производит большое впечатление. Основанный в 9 веке при правлении Амальфи, Самбуко в 13 веке переживал расцвет».

Самбуко действительно уже не процветает, но из-за своего географического положения живет благополучнее большинства итальянских городков. В прекрасном одиночестве раскинувшийся над кручей, обособленный и труднодоступный, Самбуко являет собой образец неуязвимости — во всяком случае, это один из немногих итальянских городков, не пострадавших от бомбежек и нашествий последней войны. Если бы Самбуко лежал на каком-нибудь важном стратегическом направлении, ему бы не так повезло и раньше или позже он, как Монте Кассино, подвергся бы безобразным разрушениям. Но война не затронула его, почти не заметила, и его дома, дворики, церкви, пусть обглоданные нищетой, по сравнению с другими городами этой области пребывают в гордой, даже несправедливой сохранности — подобно здоровому и бодрому человеку в толпе изувеченных, недужных ветеранов. И может быть, как раз из-за его обособленности, из-за того, что там не косила война и не всходила отава послевоенных печальных жестокостей, события недавнего лета показались всем вдвойне ужасными и отвратительными.

Чтобы меня сразу не обвинили в напыщенности, скажу, что этими событиями были убийство, изнасилование, тоже повлекшее смерть, и ряд других инцидентов не таких страшных, но мрачных и угнетающих. Произошли они — по крайней мере, завязались — в палатце д'Аффито («...любопытном ансамбле ара-

² Два Брата. (Здесь и далее примечания переводчика.)

бо-норманнских строений, живописно обрамленном пышной растительностью. Из сада, разбитого террасами, открывается чудесный вид»), а участниками были многие местные жители и по меньшей мере трое американцев. Один из американцев, Мейсон Флагг, погиб. Другой, Касс Кинсолвинг, живет и здравствует, и если в моем рассказе есть герой, то лучше всего для этой роли годится он. Во всяком случае, не я.

Меня зовут Питер Леверетт. Я белый, протестант, англосакс, вырос в Виргинии, разменял четвертый десяток; здоров, внешности пристойной, хотя без романтического налета; склонен к упорядоченной жизни, любопытен более обычного и особый интерес питаю к лицам другого пола — впрочем, этой мыслью тешит свое тщеславие всякий нормальный молодой человек. Последние несколько лет я жил и работал в Нью-Йорке. Без гордости и огорчения признаюсь, что я человек не современный в нынешнем, расхожем значении слова. По профессии юрист. Я достаточно честолюбив и хочу преуспеть в своем деле, но пробивным назвать себя не могу, быть, когда нужно, покладистым, когда нужно, ухватистым не умею и боюсь, что не превзойду того сносного, посредственного уровня достижений, на котором застревали все мои предки как по отцовской линии, так и по материнской. Это не цинизм и не самоуничижение. Я реалист и на основании кое-какого опыта хочу сказать вам, что право — даже в моей тускловатой области, где на карту ставятся только гражданские иски, да завещания, да договоры, — требует такой же юркости и оттирания добрых приятелей, как всякое другое дело. Нет, это не для меня. Я поладил со своей, так сказать, судьбой и стараюсь ей радоваться. Может быть, радости моя работа приносит меньше, чем сочинение музыки — к чему я тоже в свое время примеривался, — зато она в несколько раз прибыльнее; притом композиторов в Америке не слушает никто, а закон под сурдинку, но завораживающе и властно наигрывает свою музыку в душах людей. По крайней мере, мне бы хотелось так думать.

Несколько лет назад, когда я вернулся из Италии, из Самбуко, и поступил в нью-йоркскую фирму (второразрядную, что греха таить, и не на Уолл-стрит, а в нерасторопной близости от нее, в связи с чем наши конторские остряки предлагали лозунг: «Пройдешь квартал — сбережешь капитал»), — несколько лет назад я был в очень тяжелом состоянии. Смерть приятеля — особенно такая, какая выпала Мейсону Флаггу, особенно когда тебе пришлось быть ее свидетелем, самому видеть кровь, месиво, суматоху, — от этого так просто не отделаешься. Даже если — а считал я именно так — тебе чужд и сам приятель, и все, что за ним стоит. До смерти Мейсона я еще дойду и, надеюсь, опишу ее со всей необходимой правдивостью; сейчас скажу только, что она основательно меня ушибла.

В то время меня преследовали сны о предательстве, измене — такие сны омрачают потом весь день. Один я особенно запомнил: как большинство свирепых кошмаров, он имел обыкновение повторяться снова и снова. Мне снилось, что я в каком-то доме, ложусь спать; глухая ночь, ледяная, бурная. Вдруг я слышу шум за окном, зловещий звук, не похожий на шум дождя и ветра. Вижу там тень, кто-то шевелится, неясная фигура, зловещий ночной гость подкрадывается ко мне. В страхе хватаюсь за телефон позвонить соседу-другу (моему лучшему, последнему, ближайшему другу — кошмар изъясняется только превосходными степенями): он, он один, близкий, хороший, поможет мне. Но никто не отвечает на мои захлебывающиеся звонки. И, бросив трубку, слышу — тук-тук-тук в окно, поворачиваюсь, и за рыбьим дождевым стеклом — заголившаяся в адской злобе, кровожадная, страшная харя этого самого друга...

Кто предал меня? Кого я предал? Я не знал, но был уверен, что это как-то связано с Самбуко. И хотя я не очень горевал по Мейсону — пусть это будет ясно сразу, — я был подавлен, страшно подавлен тем, что произошло в итальянском городке. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мучило меня вот какое подозрение: конечно, я не виноват в смерти Мейсона, но что, если я мог ее предотвратить?

Однако природа умеет сладить с самым черным нашим унынием. Постепенно, потихоньку, незаметно для меня самого мои воспоминания бледнели и расплывались, и спустя недолгое время я почти успокоился. А через несколько месяцев даже обручился. Ее звали Анеттой, она была красива и вдобавок богата.

Уныние мое рассеялось, а любопытство и недоумение — нет. Я узнал, что останки Мейсона через много месяцев были вывезены из Италии, которую он терпеть не мог, покоятся теперь — если о Мейсоне, даже мертвом, можно сказать «покоится» — где-то в американской земле. Кажется, в штате Нью-Йорк, а город называется Рай, но это не так важно. Я узнал, что девушка-итальянка, которую он, по-видимому, изнасиловал и избил, тоже умерла (в ту ночь я видел ее несколько секунд, девушка была редкой, удивительной красоты, и из-за этого, наверно, несчастье подействовало на меня еще тяжелее). Я узнал также, что дело — *tragedia*, как именовали его неаполитанские газеты, — было закрыто: оба главных действующих лица решительно и бесповоротно скрылись под землей и для ищеек, сплетников и просто любопытных поживы почти не осталось. Хотя имя Флагга было окружено светским ореолом, даже нью-йоркские газеты, как выяснилось, не мусолили эту историю: Самбуко не ближний свет, а главное — не нашлось человека, который выставил бы его вину и позор на обозрение стервозным. И если не считать того, что я был тогда в Самбуко, я знал об этом кровавом происшествии не больше рядового пассажира метро.

С одной только разницей: кое-что я знал, и это не давало мне покоя, хотя сама похоронная хандра давно прошла. Кое-что я знал, и пусть я знал немного и не так даже знал, как подозревал, мое любопытство и недоумение питались этим еще целый год. Но и любопытство наверняка прошло бы, если бы я не наткнулся однажды в воскресенье на карикатуру в «Нью-Йорк таймс»...

Всякому, кто жил один в нью-йоркской квартире, знакома эта особая воскресная атмосфера. Позднее медленное пробуждение в неожиданном тихом городе, чашки кофе, многотонные вороха газет, ощущение вялости и скуки, залитые солнцем дворы, где жмурятся и потягиваются кошки под заборами, да кружат голуби, да церковный колокол грустно и безнадежно роняет в тишину удары. Это время настоящего оцепенения и вместе с тем смутного, но неумного душевного зуда и беспокойства: причину его я так и не смог ухватить, но не в том ли она, что среди этого самого публичного из городов ты вдруг остался наедине с собой и вечные вопросы: что я делаю? к чему иду? — насаждают на тебя так, как не могли бы насесть в понедельник? То воскресенье, о котором идет речь, было в конце весны — неподходящая пора для самосозерцания. Моя девушка поехала к родителям в Паунд-Ридж, друзья были одни в отлучке, другие нездоровы, и я, уже застегнув воротник, чтобы прогуляться в одиночестве по Вашингтон-сквер, просто от нечего делать взял в руки первую тетрадь «Таймс». Очень может быть, что и в этот день я думал о Самбуко, перебирал старые огорчения и сожаления и даже корил себя без толку. Не помню точно, но знаю, что, когда я увидел карикатуру и ясную подпись в нижнем углу — К. Кинсолвинг, сердце у меня заколотилось, память выхватила меня из настоящего и легко, как пушинку, вынесла в Самбуко. Все те дела нахлынули на меня снова, но без жути теперь, без мурашек. Из дому я так и не вышел. Я разглядывал рисунок — это была перепечатка из газеты города Чарлстона, Южная Каролина. Я разглядывал рисунок и подпись, я ходил по комнате, курил сигарету за сигаретой так, что щипало десны, я смотрел в окно на тихие воскресные садики (скоро их не останется в Гринич-Вилледже), на голубей, смотрел, как пьют пиво люди в рубашках навыпуск, как шныряют коты. Когда стало смеркаться и через дорогу долетел стук тарелок — там собирались ужинать, — я сел и написал Кассу письмо. Кончил я в полночь. Я ничего не ел и падал от усталости. Во втором часу ночи я пошел в «Белую башню» на Гринич-авеню и съел две булки с котлетами. На обратном пути бросил в ящик письмо — вернее, не столько письмо, сколько документ — в адрес чарлстонской газеты для К. Кинсолвинга.

Он не спешил с ответом. Я подождал месяц, потом еще несколько недель, и наконец в июле, когда я уже собирался с духом, чтобы написать второе письмо, ответ пришел:

«Дорогой Питер, конечно, я Вас помню и рад, что Вы объявились. Вы правы, я думаю, К. Кинсолвингов не так уж много. Рад, что Вам понравилась карикатура, и очень удачно, что Вы наткнулись на нее в «Таймс», — хотя бы потому, что благодаря ей Вы разыскали меня и прислали такое приятное письмо. Я тоже доволен

карикатурой и, хотя вообще политику презираю, считаю, что хорошо вмазал вашингтонским лицемерам. Что касается Вашего вопроса, карикатуры для меня — приварок, а не главная работа, я получаю полставки на здешней сигарной фабрике и веду класс живописи, хотя сейчас, под конец лета, и там и там затишье. Но к карикатуре свысока не отношусь, кто знает, может, это и есть Истинно Американский Жанр (кроме шуток), а свою родословную веду по прямой от Домье и Роулэндсона, кроме того, за штуку платят \$ 35 и больше, а они, как говорится, на улице не валяются. Поппи тоже работает, бухгалтершей на военной верфи, а за детьми, когда они не в школе, смотрит очень хорошая цветная женщина, так что, может, мы и кусаем от оковалка пониже, чем другой знаменитый каролинец, Б. Барух³, жаловаться нам грех. Все свободное время я пишу, и весь этот столбняк и угасание души, которые Вы наблюдали, более или менее прошли.

Питер, всегда хотел поблагодарить Вас за то, что Вы сделали в Самбуко для Поппи и всех нас. Она рассказала мне обо всем, что Вы сделали, и теперь я должен был бы просить прощения и неубедительно оправдываться тем, что не знал, как Вас разыскать в Н.-Й. Но это будет неправдой, поэтому я просто говорю еще раз спасибо и надеюсь, что Вы поймете.

Я тоже хорошо понимаю Ваш интерес к М. и Ваше желание побольше узнать о делах в Самбуко. Но мне ужасно трудно говорить и даже думать о М. и о том, что там было, а писать тем более. А все-таки, знаете, странно — вот и Вы не возьмете в толк, что произошло в Самбуко, и я тоже иногда спрашиваю себя, кто такой был М., то есть именно КТО, и что его грызло, и почему он так кончил. Думаю, этого никому не понять, и, наверно, это все к лучшему, как ни смотри. Вы правильно «предполагаете», что меня там припекло. Кажется, я довольно близко подошел, что называется, к краю, но сейчас, по-моему, все ничего. Кстати, за 2 года капли пива в рот не взял. Это очень облегчает чтение Софокла, а сейчас я уже начал продираться через Шекспира, заполняя в моем преклонном возрасте пробелы американского всеобщего образования.

Если будете в наших краях, Питер, непременно дайте о себе знать. Мы живем у Батарей, в 200-летнем доме, платим за него недорого, и для гостя места у нас сколько угодно. Поппи вспоминает Вас с нежностью, ребята тоже.

Molti auguri⁴.
Касс».

Я никогда не верил этой фразе: «Если будете в наших краях» — и сам несколько раз отделялся ею в скользких положениях, сознавая, что чувства, скрытые за словами, слишком очевидны. Фраза вежливая, дружелюбная, но она определенно не упрашивает и не умоляет. Это совсем не «Рад буду видеть Вас» и так же далеко от «Приезжайте, пожалуйста, я по Вас соскучился», как простая любезность от любви. Однако по письму Касса я почувствовал, что его не так уж удручил бы мой приезд — наоборот, коль скоро речь зашла о Мейсоне, ему, пожалуй, хочется увидеть меня не меньше, чем мне его. В сентябре мне предстоял трехнедельный отпуск. Первую неделю я собирался провести с моей девушкой Анеттой (есть что-то необратимое и предрешенное в слове «невеста») в Белых горах. А на оставшиеся две хотел поехать к родителям в Виргинию: между нами, правда, никогда не было особенной близости, какая бывает в других семьях, но оба, и отец и мать, состарились, прихварывали, и в их письмах сквозила такая усталость и грусть, что я затосковал по ним. И намерения у меня — я сразу сообщил о них Кассу — были вот какие. Пока я гощу у родителей, слетать из Норфолка в Чарлстон и на два выходных дня обременить Касса своим обществом. Я не рассчитывал остановиться у него, несмотря на подразумеваемое приглашение. Удобны ему такие-то числа? Не закажет ли он мне номер в гостинице? Удивляться мне, конечно, не следовало, однако я был удивлен: Касс не ответил вообще.

Наше — мое и моей ослепительной Анетты — пребывание в Нью-Гемпшире было полной и окончательной катастрофой. Не буду углубляться в это и скажу

³ Барух Бернард (1870—1965) — американский финансист и государственный деятель.

⁴ Всего наилучшего.

только, что шел дождь, что мы протянули два дня и что покидали под ливнем нашу горную хижину, уже разорвав помолвку. Физиология тут была ни при чем. Мы просто решили, что не созданы друг для друга. При расставании оба храбрились, но роман, как некое чудо пластической хирургии, — это живая ткань, приживленная к другой ткани, и кончать с ним значит отрывать от себя большие куски и клочья. Я отправился в Виргинию в угрюмом, траурном настроении, с чувством невыносимой утраты.

О поездке в Виргинию, пожалуй, стоит сказать чуть больше. В Америке ничто не остается постоянным надолго, но я никогда не думал, что приличный южный город может стать таким огромным, зализанным и похожим на шута, как мой родной Порт-Уорик. Конечно, он всегда был городом верфей и портом (представьте себе Тампу, Пенсаколу или ржавые пирсы Галвестона; если вы их не видели, сойдет Перт-Амбой) и в официальной пропаганде никогда не значился украшением Матери Штатов; но в детстве я узнал тихое обаяние взморья, услышал запах океанских ветров, вволю посидел под гигантскими магнолиями, нагледелся на то, как уходят в море чумазые грузовые суда, — короче, окунулся в самобытную романтику города. Теперь магнолии вырублены, и там проходит приморское шоссе: всюду торговые площади, сизые от выхлопного дыма и оцепленные универсами, гектары и гектары телевизионных антенн над ступенчатыми крышами, и — может быть, самое худшее — исчезли паромы до Норфолка, эти низкие дымящие корыта, в которых был свой неповторимый грузный шик, а вместо них янки соорудили трехкилометровый автомобильный тоннель, просунувший смрадным белым рылом под илистое дно пролива Хэмптон-Родс. Прыткий и воспаленный, хмельной от собственного преуспеяния, запруженный кочевниками, людьми без роду и племени («Высочки, — сказал отец. — Мальчик, ты наблюдаешь гибель Запада»), город показался мне чужим и вместе с тем до оскомины знакомым — близнецом какого-нибудь Бриджпорта или Йонкерса. Оторопь, тревога, невыносимое ощущение сдвинутости мира, которое мне редко приходилось испытывать с такой остротой и до этого и после, — все говорило о том, что я не смогу остаться здесь надолго; и в самом деле, я чуть не уехал в первый же день, когда в смутной панике, разыскивая хоть какое-нибудь знакомое место, брел в мягких сентябрьских сумерках берегом реки и вместо широкого зеленого луга, исхоженного вдоль и поперек (он назывался «Казино», и под вечер его обступали тени шелестящих платанов; там была эстрада для оркестра, а мимо текла широкая теплая Джемс-ривер, и в ней купались звезды; там мы до темноты играли в бейсбол, а негры без пиджаков продавали арахис и вареных крабов, пока не смолкал шепет последнего кларнета и все замирало, кончалось, только пары гуляли под деревьями, да сыпались в тишине шарики платанов, да свистел пароход, выходя в море), — вместо луга я увидел рычащий автовокзал и диковинное приземистое ромбовидное здание все в зеленой плитке, где обосновались мольный оператор, психоаналитик без степени и — что еще сказать об угасании Юга? — целая контора консультантов не то контрагентов по информации и рекламе.

Но все это слишком известно, и нет надобности распространяться дальше. У нас в Америке не уследишь, как быстро меняются, сдвигаются и пропадают наши межи и вехи. Только что ты прочно стоял на земле и дорожка опыта была изучена до последней ворсинки; вдруг словно фокусник выдернул ее из-под ног, а когда ты опять приземлился, ты оказываешься — где? Да конечно на той же самой улице. Только теперь у нее не раскатистое звучное название Банкхед Магрудер авеню, дорогое всем, кто помнит этого солдата, связавшего по рукам Макклеллана⁵, а Буэна Виста Террас («Калифорнийское поветрие, — пожаловался отец, — подожди, оно нас всех доконает»); через дорогу необъятный зев афиши (законы о границах застройки смяты; здесь, бывало, перистым утром мы качались на виноградных лозах) велит нам «слушать Джека Эйвери, любимого диск-жокея Виргинского взморья», и хотя нас смутно трогают эти признаки роста, прогресса, мы ощущаем пустоту и уныние. Ностальгия наша не беспредметна.

⁵ Магрудер Джон Банкхед (1810—1871) — полковник, затем генерал армии конфедератов во время Гражданской войны. Макклеллан Джордж Бринтон (1826—1885) — генерал (в 1861 году — главнокомандующий) федеральной армии.

Только дураки сокрушаются о переменах как таковых; но в этом «разграбленном городе», по выражению отца, немало найдется дураков, которые на смертном одре будут стонать о своей непричастности к всеобщему осквернению. «„Верните зелень, верните листья!“ — вот что они запоют,— сказал отец.— Вот что они запоют, когда станет меркнуть свет. А получают они — вот этого вот Эйвери».

На четвертый или пятый день после моего приезда отец, ушедший с верфи на пенсию, долго катал меня по городу на своей машине. Мы ездили по всем старым улицам, часто неузнаваемым (самые большие и древние деревья, как видно, становятся первыми жертвами градостроительного восторга: не только магнолии, но и дубы и вязы пали, уступая место, например, первой на Юге церкви Пятидесятницы, вдохновленной Баухаузом), мы запивали свинные ножки пивом в засиженном мухами ресторанчике Джека Эйзенмана, который посреди самостиров и скоропитов одиноко противился переменам, противился неону, пластику и хрому, новой гигиене и новой клиентуре (старая молодая братия, пожелтевшая и польсевшая, до сих пор терлась здесь между биллиардных киев и зацветших ярь-медянок плевательниц, до сих пор трепалась про баб, белых и черненьких, но теперь вдобавок и про другую акробатику, законодательную, гордость виргинских ликургов — интерпозицию⁶, которая поставит нашего негра на место), а после, слегка разомлев от пива и жаркого сентябрьского солнца, полюбовались из машины на порт и медленно покатали по берегу картинно-голубого залива. Был ясный день с легкой дымкой вдали, где стояли на якоре гигантские серые крейсера и танкеры, но все равно прозрачный, волшебный, пропахший солью, искрящийся белыми чайками. Мы проехали мимо пляжа, где мальчишки с грязными ногами собирали ракушки, а малыши рылись в песке под надзором мам, и пухлые мамы в косынках лоснились от крема, как тюлени. Вдалеке катер беззвучно резал воду на две серебряные арки брызг. В коротком забытии меня обступили впечатления давних лет: хлопанье паруса, запах смолы, прохладная шершавость ракушек с песком на ладони, — и этот неизменный мир приморского детства вот здесь, вот сейчас словно отводил от себя мародерскую лапу прогресса. Мы остановились перед светофором — с визгом; это было в духе отца — тормознуть так, чтобы мурашки по спине, чтобы ни сантиметра в запасе, на волосок от вечности.

Когда мы остановились, он сказал:

— Питер, ты как приехал сюда — все время киснешь. Неприятности? По женской линии?

Что я мог ему ответить? И да и нет: конечно, по женской и вместе с этим кое-что другое, поглубже и поядовитее, — но про Самбуку я еще никому не рассказывал и сейчас тоже не смог. Я промямлил что-то насчет влажности.

Тогда (чутье ему не изменило) он сказал:

— Я знаю. Знаю, Питер. В жалкое время живем. — Зажегся зеленый свет, и мы рванули с места. — Жалкое время. Пустое время. Серое время. В воздухе прямо пахнет гнилью. А главное, будет еще хуже. Это ты понимаешь? Почитай Карлейля. Почитай Гиббона. Возьми время вроде нашего, когда люди блудят с фальшивыми богами, когда второй от конца — это уже первая, когда кидаются на все, лишь бы было новым, гладким, забористым, — и к чему ты в конце концов приходишь? К моральной и духовной анархии — вот к чему. Потом — к политической анархии. А потом? К диктатуре! У нас в штате мы ее получили, — добавил он и выплюнул имя здешнего проконсула, чьи дела питали его возмущение вот уже тридцать лет.

Редкий и удивительный человек мой отец. Родись он на Севере, он мог бы, я думаю, стать радикалом старой закваски. А так — добрый англиканец, волей обстоятельство очутившийся в самом жестоковыйном приходе по сю сторону Кентерберри⁷, — он умудрился поддерживать шаткое равновесие между своей искренней набожностью, с одной стороны, и широкими человеческими взглядами — с другой, и эта трудная работа сделала его, наверно, единственным подлинным

⁶ Интерпозиция — политическая доктрина в США, согласно которой штат может сопротивляться действиям федеральных властей, если они ущемляют его суверенные права.

⁷ Протестантская епископальная церковь США — самостоятельная ветвь англиканской церкви, духовным главой которой является архиепископ Кентерберийский.

либералом из всех, кого я знал. Быть таким в Нью-Йорке проще простого, но на Юге это не всякому крепкому человеку по плечу. Он жаждал мудрости, понимания, как другие жаждут известности и денег, и думаю, что в большой мере достиг и того и другого. Он был одним из немногих в Порт-Уорике, кто прочел на своем веку книгу. Возраст чуть согнул и подсушил его — но не жизнь, и в моих глазах он вырастал все больше. Я никогда не встречал более порядочного человека, и если в последние годы речи его иногда бывали раздраженными, нравуучительными и многословными, то я могу это понять, ибо предмет его гнева — низость и лицемерие — стал непомерным даже для человека его стати. «Сын, жизнь есть поиски справедливости», — сказал мне этот старый чертежник и даже не подумал смутиться перед огромностью своего изречения. Теперь я знаю: он ее так и не нашел, но гораздо важнее, наверно, то, что в своих одиноких поисках он шел через погибели любви, через скорби радости.

— Кажется, Питер, я становлюсь парией в этом городе, — продолжал он (мы уже два квартала ехали на второй скорости, и мне пришлось напомнить ему, чтобы он переключил), — кажется, я привык давать волю языку, но вот уже скоро сорок лет как я пытаюсь сказать им правду. И что получается? А вот что получается. Является этот невежда генерал с младенческой улыбкой, который приобретает веру и читает книжки про ковбоев, и они выбирают его президентом. А между тем кому они раньше всего обязаны своими красивенькими домиками, своими «бьюнками»? Никакому не генералу. Франклину Рузвельту — вот кому, и они тут же отрекаются от его принципов, от его стараний сделать жизнь лучше, стоило только появиться этой широкой улыбке с пятью звездочками и пообещать им, что с ними ничего не будет, что у них никто не отнимет их побрякушки и безделушки, к которым они приросли словно пуповиной, что они вечно будут сытыми баловнями и чем старше, тем дряблее, глупее, тупее. Но им, видишь ли, и этого мало. Им подавай все. И вот в штате они раз за разом выбирают этого яблочника-миллионера, который обещает им хорошие дороги и паршивые школы, а главное — что негр никогда не получит того же, что они. Мм-м. — Он угрюмо сжал губы и помотал головой. — Иногда я думаю, что стойки были правы. Хороший выход — перерезать себе горло, коли иначе нельзя.

Я отвел глаза от залива и повернулся к нему. Было в этом что-то здоровое, очищающее: в нашу эпоху наевшихся и молчаливых послушать, как мечет грома старый отступник.

— Нет, больше я с ними не разговариваю, — заключил он. — Пошли они к такой-то матери на легком катере — от Альфреда Леверетта они не услышат больше ни слова. У меня с ними — все! — Он сделался красным, как рак, оглушительно рыгнул, и я испугался за его сердце.

Некоторое время мы ехали молча. На горизонте высоко над восточным берегом набухли грозовые тучи, и седая спутанная борода ливня, свесившись с них, дымными клочьями мела море. Вдалеке наклонился белый парус, почти лег на воду и медленно выпрямился: порыв ветра пролетел дальше, стаскивая за собой синюю рябь. Тут в потрохах нашей машины, «гудзон-хорнета» выпуска 1948 года, ковылявшего к ветхому возрасту, возникло нехорошее чириканье (я краем уха услышал его еще накануне), но отец в глубокой задумчивости, словно какой-нибудь Иеремия над пепелищем своего бессилия и мрака, щурился на закат и не обращал на шум внимания. Он был членом приходского управления. Он горбился. Он носил бифокальные очки, нос у него был костистый и крючковатый. Я увидел, как он зашевелил губами, беззвучно складывая слово. Оно стусилилось в слабый неоперенный шепот: с б р о д.

— Иногда мне кажется, что мы страна детей, — сказал он, — детских маленьких умишек. То, что сделал Верховный суд... у него на это было столько же права, сколько у меня — учить жить араба или китайца. Да и само решение — какая бездарность и убожество! Мы еще будем страдать и страдать от этого. Ведь люди здесь — они не понимают, что негр должен получить справедливую плату хотя бы за столько лет рабства. Погляди, Питер. — Он показал на искрящуюся воду. — Вот куда их привезли в тысяча шестьсот девятнадцатом году. Как раз сюда. Это один из самых печальных дней в истории человека — и черного и белого.

Мы еще платим за этот день и будем платить дальше. И кровью и слезами. — Он отер лоб.

Я посмотрел на восток. Солнце спряталось за облаком, опять выглянуло, и мне вдруг померещилось, что я вижу, как те голландские галеоны с черным товаром валят к мутному устью реки Джемс.

— Куда! — вырвалось у меня. Он чуть не завез нас в канаву. Струи горячей пыли хлынули в кабину, и щебет под капотом стал сбивчивым и недужным.

— А надо стране, — продолжал он, снова овладев машиной, — этой большой стране надо, чтобы с ней что-нибудь случилось. Буря, трагедия, как с Иерихоном и городами Ханаана, что-нибудь ужасное, понимаешь, Питер? — когда люди пройдут через огонь, через пекло, когда отведают муки и хватят горя, они снова станут людьми, человеками, а не стадом благополучных, довольных свиней у корыта. Не шушерой без разума, без духа, без сердца. Торговцы мылом! Жалкое время — все прошло на моих глазах. Мы продали свое первородство, и старик Том Джефферсон вертится в гробу. Продались с потрохами — а за что продались, я спрашиваю? За кучу никелированного детройтского хлама, склеенного жвачкой и слюнями! — Красный и потный, он топнул по полу. — Ты только послушай — скрипучая жестянка! Совершенно косный и непотребный хлам. — Он снова топнул по полу. — Что же, по-твоему, разладилось? — спросил он ворчливым голосом.

— По-моему, тебе пора сменить кольца. — сказал я с видом знатока.

— Да ничего подобного, нам надо все начать сначала, строить заново, с первого этажа. То, что творится с этой страной, было бы позором для Римской империи в эпоху самого глубокого упадка. У наших отцов-основателей были благородные мечты, и поначалу, мне кажется, они сбывались. За исключением разве негра простые люди получили свободу, какая им и не снилась, — свободу, сытое брюхо, право искать такого счастья, какого ты хочешь. Может быть, это была самая большая, самая благородная мечта, какую знало человечество. Но где-то по пути все пошло вкривь и вкось. Черт возьми! — сказал он и наклонился вперед, навострив уши. — Что-то испортилось. Простой человек набил брюхо, но кем он стал? Он перестал быть благородным божьим созданием — он просто простой, и все тут. Мудрости и достоинства он не нажил. Нажил только пузо и кошелек. Он отрекся от своего создателя — в воскресение подмазался к истинному богу, отбубнил что положено, а душой служит одному только всемогущему доллару. Он обобрал целый континент, выкачал недра, извел все живое, всю красоту. Мудрость всех веков, все, чему учили предки, для него — пустой звук. Он плел на своего черного брата, он испортил глаза, сидя перед телевизором, он спал с женой лучшего друга в загородном клубе. Он напридумывал чудодейственных лекарств, чтобы продлить жизнь, — и что же? В семьдесят лет от него осталась пустая шелуха, начиненная нечестным барышом и мусором грехов, он боится смерти, он лежит и жалеет себя на каком-нибудь пляже в Майами. Шелуха, Питер! Я знаю, о чем говорю! И знаешь что? Наступит Судный день... наступит Страшный суд, и всеблагий господь взглянет на эту шелуху и скажет: «И ты еще требуешь спасения, мой друг?» И спустит его с крыльца и крикнет вдогонку: «За то, что продался мамоне! За то, что душу на мощну променял и от моей любви отрекся!»

Его грустные дряблые щеки дрожали от гнева, и слезы негодования застлали глаза. Я успокоительно похлопал его по руке и попросил не волноваться; потом возле нового жилого квартала заставил его свернуть к заправочной станции, и там, щебеча и чиркая, как целый птичник, мы остановились.

Дело было не в кольцах, а в масле — масла у него не осталось совсем. «Машина без масла не ходит. мистер Леверетт», — подмигнув мне, сказал механик, когда отец вылез; а меня обожгло воспоминание об этом месте, и я откинулся на спинку. От слов отца меня взяла тоска. Я ощущал себя усталым, вымотанным — прежде времени стариком, — и чувство полного отчуждения накатило, как внезапная острая боль: я словно потерял самого себя и не понимал, кто я. где я был раньше, куда иду. Настроение было не мимолетным: усталость, досада, апатия охватили меня. А час, оказывается, был поздний, день гас, смеркался, и сырная корка молодого месяца плыла в вышине над заливом, над Норфолком, а над спадавшей водой мигали бакены и стояночные огни больших кораблей,

Я слышал свистки буксиров, а позади — глухое громахание и возню разросшегося города, который раньше даже в такой час, когда все расходятся по домам, не терял спокойствия и безмятежности. Я сидел в машине, смотрел, как отец болтает с механиком («Родственники? — говорил он с добрым старческим воодушевлением. — Вы тоже из Нансемонда? Так как же нам быть не родственниками!»), и память вдруг крикнула мне, где мы находимся. Потому что здесь задолго до того, как были осушены эти гектары соленой болотистой низины, до появления алебастрово-белых бульваров без единого деревца, пригородных домиков и зеленых лужаек, где играют дети, — прямо здесь, на глубине нескольких метров под фундаментом вот этой самой станции обслуживания, я когда-то стоял по колено в прохладной песочно-серой соленой воде, ловил раков, и здесь же в возрасте двенадцати лет я тонул.

На этом месте я пошел ко дну в сумятице пузырей, со шлейфом водорослей, которые судорожно зажал в руках, и выбрался на поверхность посреди приливной бухточки, извергая воду, как кит. барахтаясь и задыхаясь от внезапной бурной любви к ускользающей жизни, и негр-краболов, вставший над водой черным милосердным и потным Христом, втащил меня за волосы в свою лодку. Меня выпороли: несколько дней у меня из ушей вытекала вода; отец вознаградил рыбака деревенским окороком и пятью серебряными долларами — в те кризисные годы такая плата, даже спасителю, превышала его возможности, — и хотя мне запретили приближаться к этому месту, я все лето украдкой бегал сюда, один.

Потому что все здесь — бухточка и торопыги раки, топкий берег, солнечный свет, мелькание чаек и раскоряченная над осокой трамвайная эстакада, трезвон и лязг трамвая, который вдруг вылетал на болото, громахал по эстакаде, уносился под осыпью трескучих искр, и его электрическое завывание втягивалось будто в бесконечность или в нутро самого времени, чтобы оставить после себя только берег, полдень, желтое, сонное, с треньканьем насекомых безлюдье, — все это было одушевлено таинственным ощущением бренности. Бывает, что давно знакомый отрывок музыки ты вдруг услышишь новым ухом, и он врывается в тебя уже не мотивчиком, не мелодией, а чистым бессловесным изъяснением переполненного сердца — вот так же и это место открылось мне в светах и тенях, о каких я прежде и не подозревал, в новых титанических измерениях, и я убежал к нему, дрожа и обмирая. Здесь было отнято у меня детское представление, что я буду жить вечно; здесь я узнал о непрочности — не столько своего даже, а всякого — бытия, и по этой причине место, хотя и страшное, зловещее, облеклось новой необъяснимой красотой. И, тайком захватив завтрак, я приходил сюда изо дня в день. Я лежал ничком в осоке под жарким солнцем, трогал раков палкой, смотрел, как они удирают, мечтал и думал. С железным жужжанием и звяканьем проезжал трамвай и пропадал в полуденной тишине. Белые чайки мелькали в небе. Черные рыбаки в лодках кликали ветер голосами псалмопевцев — и вдруг все затихало. И в этой тишине, перед новым желтым миром, раздувшись от ситро и бутербродов с майонезом, я содрогался оттого, что узнал о тленности жизни.

И все-таки на том же месте много лет спустя я подумал: нст, ничто не может быть так стерто с лица земли. В правнуках моих самый даровитый археолог будет биться понапрасну, чтобы прозреть то нагретое солнцем болото, тот ручеек, тех раков, тот звонкий трамвай. Исчезло все. Не то чтобы изменилось, преобразовалось, преобразилось, поступило границами или очертаниями (новая поросль здесь, лысина вместо поросли там, ива раскинулась пошире, заливчик врезается поглубже), но осталось узнаваемым, устойчивым, подобным себе — мое болото исчезло, растаяло, как дым, от него не осталось и следа. Сколько тонн земли, песка, камня, щебня, шлака и доброго порт-уорикского мусора понадобилось для этого изумительного уничтожения, сказать трудно, но работа была сделана на совесть и до конца. Под всем этим — один приморский пейзаж, погребенный навеки. Вокруг нас — затейливые шоссеиные развязки; на лужайках-ступеньках, присевши в полутьме, шеренга над шеренгой — полк карликовых домиков, именуемый (почему?) «Усадьба Глендора»⁸. Машины с хвостовыми плавниками, каждая больше домика, тяжеловесно плывут по крохотным улицам, распугивая

⁸ Глендора — городок в Калифорнии.

коккер-спаниелей, и причаливают к газонам, где вертятся разбрызгиватели, и в зеленых тарахтящих сумерках бензиновые газонокосилки тащат на буксире своих хозяев, и фонари на столбах напоминают серебряные баскетбольные мячи. Деревья пока еще были маленькие, но видно было, что и они стараются. А теперь, прикинул я, если опустить отвес в том месте, где колонка «Эссо-экстра», как раз попадешь туда, где я погрузался в морскую пучину.

Но хватит про мое детство. Во времена напряжения и опасности, как я слышал, во времена тревог и ужаса, когда люди молчат и жмутся друг к другу, они склонны хвататься за прошлое, даже подражать ему: воскрешают старые моды, напевают старые песни, разыскивают исторические места, заново переживают войны предков — только бы забыть тусклое настоящее, только бы не задуматься о жуткой сказке будущего. Может быть, мы, американцы, оттого такие нервные и замотанные, что наше прошлое стирается, даже не успев побыть настоящим; хотим лицезреть прошлые воплощения — находим только призраков, тени, шепотки: почти не осталось пищи зрению, чувствам, не на что излить свою тоску об ином. В тот вечер меня проняло не на шутку: и старинная мягкость отца, его порядочность и гнев, и сознание того, что часть меня самого, вернее самой жизни — так была ярка эта часть, — безвозвратно потеряна. Чужой самому себе и своему времени, не в силах обосноваться ни в истребленном прошлом, ни в фантастическом, непостижимом настоящем, я понимал, что должен найти ответы по крайней мере на несколько вопросов, если хочу опять овладеть собой и чего-то добиться в работе. «Вы о мисс Минни Морхаус из Уэйливилла? — восклицал отец, по-виргински глотая согласные, как делал когда-то и я. — Ну конечно я был! А как же. И принес цветы на ее могилу!»

Тут я зажмурился, потом открыл глаза — надеюсь, наверно, что при помощи такого шаманства я снова окажусь среди осоки, у места, где жизнь ошарашила меня, лишила заблуждений невинности. Но тут, в переменчивом настоящем, все было мглой, я ничего не видел, ничего не слышал, только по-прежнему мелькали чайки перед глазами да с трезвоном вылетал трамвай — словно через просвет в столетиях, подобно привидению...

В тот вечер я протелеграфировал Кассу Кинсолвингу в Чарлстон, что завтра приезжаю. Вообще такая опрометчивость не в моем характере, и я сознавал, что могу только надеяться на доброжелательный прием. Но не узнав про Кассу, я не мог выяснить, что же произошло в Самбуку с Мейсоном и какую роль сыграл в этом я.

Два года назад я понятия не имел о Кассе. Наше знакомство я бы не назвал многообещающим, хотя он сразу показался мне непростым человеком, и он, пожалуй, так и скользнул бы мимо моей жизни, если бы всего через несколько часов я не очутился на периферии тех событий, в фокусе которых был он. Надо описать обстоятельства нашей встречи — хотя бы для того, чтобы вы поняли, почему я приехал в Самбуку и оказался свидетелем этой злополучной истории.

Когда Мейсон Флагг написал мне в Рим и пригласил погостить в Самбуку, я счел, что это как нельзя лучше отвечает моим планам. Я прожил в Европе четыре года — три из них в Риме — и почувствовал, что корням моим, какие они ни есть, пора в родную почву, или они засохнут окончательно. Вот почему письмо Мейсона прекрасно согласовалось с моим желанием кинуть «прощальный взгляд» на страну, перед тем как вернуться в Америку.

Как я очутился в Европе и что там делал, объяснить недолго и несложно. На войну (ту, что до корейской) я не попал, зато прошел поистине ужасающее обучение под эгидой флота в одном иллинойском колледже и был произведен в лейтенанты ровно за два дня до того, как упала бомба на Хирсиму. Потом я закончил юридическое образование и недолго поработал в Нью-Йорке. Потом, решив, что судьба поскупилась на приключения и путешествия, отправился в Европу — шаг вполне обычный для вяловатого молодого человека без ясных перспектив. Я поступил в юридический отдел большого правительственного агентства для экономической помощи и переехал в Париж, намереваясь протянуть щедрую демократическую руку растоптанным и разоренным войной, — а вместо этого должен был выслушивать жалобы разочарованных чиновников, своих коллег из Луисвилла и Де-Мойна. Из моего окна открывался сказочный вид на площадь

Согласия, а я занимался отчетами о командировках и накладными, которые были произведениями искусства.

Через год меня перевели в Рим, в еще более красивый кабинет с видом на зеленый простор Чирко Массимо: здесь почти во всякое время года шел карнавал, и мои дни оживлялись визгом труб и сумасшедшей музыкой каллиопа. Рим мне нравился, хотя моя работа — выслушивать сетования служащих агентства — почти не изменилась: таков, видно, климат Италии, что средний американский бюрократ, и без того чуждый всяческим механизмам прогресса, становится здесь еще более брюзгливым и недовольным; а молочные коктейли в столовой — из-за скверного качества молока — не могли сравниться с парижскими, хотя к концу моей службы мне сообщили, что молоко теперь будут возить самолетом с голландских ферм. Платили, однако, неплохо (на удивление неплохо, если сравнить с моими итальянскими сотрудниками, которые, кажется, работали вдвое за половинное жалование), и я купил маленький щеголеватенький спортивный «остин», чтобы ездить на нем вверх и вниз по длинному склону холма Джаниколо. Там у меня была квартира в запущенном доме и ревматическая старуха Энрика, которая стряпала мне ужин и заполняла мои вечера своими неустанными стенаниями. Кроме того, у меня был проигрыватель, скрипучая машина, доставшаяся мне от прежнего жильца-американца, со всеми какие только есть на свете пластинками Вагнера, Листа и Чайковского. Вид с моей террасы был роскошный, особенно в летние сумерки, когда я ставил концерт Листа, пил виски из нашей американской лавки, и весь город расстилался внизу светящейся рыже-золотой парчой. За это время у меня было несколько девушек — одна по имени Джиневра, другая Анна Мария, а под конец (возможно, как предзнаменование скорой репатриации) старшекурсница из колледжа Смита с чудесными черными глазами, — так что обычно мы сидели вдвоем, всем довольные, слушали злодейскую музыку, а заходящее солнце трогало последним зыбким лучом валы Форума, и тень моего холма шагала на восток, упрятывая город в темноту.

В общем, это были хорошие три года. Я всюду ездил, знакомился со страшной и, наверно, от сознания того, что духовно обогащаюсь, смотрел несколько свысока на приятелей из агентства, чьи приключения в Италии (не считая ежегодных летних полетов на Капри) ограничивались стенами их квартир в пригородах и баром в гостинице «Флора», где мартини подавали сухой и охлажденный и делали его с лучшим английским джином. По совести, я мало чем одарил Италию, зато она отблагодарила меня самым фактом своего теплого и щедрого бытия, а поскольку давать радостнее, чем брать, я полагал, что, может быть, хотя бы этим осчастливил Италию, раз уж не мог осчастливить своей нелепой «помощью» и «содействием». Так или иначе, к концу третьего года я решил вернуться в Америку. Как ни прекрасен город Рим, председателем Верховного суда Соединенных Штатов в нем не станешь. Я уже успел накопить немного денег и в ответ на мои витиеватые письма получил несколько приглашений, пока предварительных, на службу в Нью-Йорке. И, пожалуй, упорхнул бы из Италии беспечно, как воробей, и без особых сожалений, если бы Мейсон Флагг не зазвал меня в Самбуку.

Письмо от него пришло в начале июля, через неделю после того, как я уволился. Я знал, что Мейсон живет в Самбуку с весны. В мае я получил от него болтливую записку (первую за несколько лет): он узнал мой адрес у общего нью-йоркского приятеля, в Италии расположился основательно — «как следует пописать», и хорошо бы я к нему приехал. Письмо это по причинам, которые, надеюсь, станут потом ясны, я оставил без внимания. Но повторное приглашение меня поколебало: теперь я ничем не был связан, ощутил бродяжнический зуд, и глазу хотелось новых впечатлений. Письмо было резвое по тону, но конкретное: «Можешь жить у нас сколько хочешь» — и вполне в духе Мейсона, который никогда не скромничал в рассказах о своей широкой жизни: «Не представляешь себе, в какой сказке мы живем». Я никогда не видел Самбуку, но Мейсон своими описаниями солнца и моря и, если верить его словам, целого батальона слуг («50 долл. в месяц на всю шатию, и они едят тебя глазами и перешестерят любого папашиного негра в Виргинии») создал картину прямо восточной неги, и я решил: чем досиживать в Риме, завтра же поеду туда. Я протелеграфировал ему, что выезжаю. От Рима до Самбуку шесть часов на машине; от Самбуку до

Неаполя — час. Билет на пароход из Неаполя в Америку уже был заказан, так что не составляло никаких хлопот отложить отплытие на неделю-другую. Не то с моими документами на машину (срок их действия истек) и с самой машиной — я уже договорился о продаже ее через «Автомобил клуб италяно», но если я хочу поплавать в прохладной голубой воде под крутыми склонами Самбуко, то расставаться с ней сейчас нельзя. Так что последний день в Риме я провел не в приятной ностальгии за столиком обсаженного цветами кафе, как намеревался, а в обществе функционерки автоклуба, демонической женщины с лунообразным лицом и голубыми полумесяцами пота под мышками, которая клялась, что надеяться в последнюю минуту изменить предначертанный ход событий — с моей стороны преступная мечта. «Questa non è l'America, signore, — загадочно пропыхтела она, — qui siamo in Italia»⁹. Документы просрочены, и все тут. То же самое машина — передана безвозвратно. В доказательство были принесены какие-то бумаги, громадное уложение и несколько папок; но в Италии я уже усвоил, что чем решительнее официальное «нет», тем больше у тебя вероятность успеха. Так что к вечеру, вопреку, я все же вырвал продление и злосчастное право на машину — в единственной стране на свете, где после такой победы чувствуешь себя разбитым в пух и в прах.

В потемках я ехал домой и радовался, что машина у меня и что в Неаполе перед отплытием я от нее избавлюсь. Но жара и спор измочили меня, женщина меня затиранила; в мрачном забытьи я ехал с черепашьей скоростью мимо сомлевающих римлян, по улицам, где даже ветви деревьев поникли от зноя. На площади Святого Петра не было ни души, только две влажные монашенки поспешали куда-то, а над огромным куполом сам воздух как будто вздымался и пламенел после ужасного дневного пекла. «Ну и жара... Господи!» — услышал я чей-то возглас, когда полз в гору; зато раз в кои веки город притих, смолк даже треск мотороллеров — в задохшемся затишье все как будто ждало огненной геенны на земле.

Позже, когда совсем стемнело, жара чуть отлегла, и я смог закончить сборы. В квартире был кавардак — и слава богу: стены без фотографий, опрокинутые стулья, сундуки и коробки на самом ходу — все это не располагало к чувствительным воспоминаниям, а я их и не жаждал. Моя девушка из Смита уехала несколько дней назад, вернее ее увезла первым же авиарейсом на Запад мать (угловатый образчик детройтской готики), у которой были свои разумные планы насчет ее будущего в Мичигане. И опять же слава богу, потому что ядрешко нашего романа — любовь в Вечном городе — порядком сморщилось от времени и привычки, а сама она стала выключивать банки с арахисовым маслом у приятелей из посольства и вообще тосковать по родине, сидя на американских кинофильмах. А я этой практике, как я понял с опозданием, тупо потворствовал. Однако радости и даже удовлетворения я в последний вечер отнюдь не испытывал — и не мог понять, что тут причиной. Возможно, все-таки — квартира, оголившаяся в том едва ли не мистическом вдохновленном безобразии, которое привнес Муссолини во все творения своей эры: жилье из фанеры, хромированных труб, ледерина, потеков, с единственной шестидесятисвечевой лампочкой, безжизненно помаргивающей над всем этим, и «Патетическая» из проигрывателя — расплывчатая вялая судорога. Я огорчился, что столько времени прожил в таком логове, но все равно было обидно, что оно как будто провожает меня с тем же безразличием, с каким приняло три года назад.

Укладываться я кончил поздно, почти в девять, и старая Энрика в последний раз подала мне ужин. Она была сама скорбь, она хлюпала над блюдом, причитала на непостижимом сицилийском диалекте, украдкой бросала на меня из кухни печальные взгляды. Никогда еще, взревывала она, тербя свои редкие усы, никогда у нее не было такого доброго хозяина, такого gentile — милого, — и, увы, теперь ей придется вернуться в Мессину, больше ни у кого в Риме она работать не сможет. Она бормотала над плитой, горестно гремела сковородками и кастрюлями. Кусок не шел в горло; пельмени — с восьми часов на столе — схватились, как штукатурка; вино было противное, вязкое, парное. Но город под террасой рассыпался миллионом глаз мерцающего света. Вдалеке был виден Колизей

⁹ Здесь не Америка, синьор, мы в Италии.

в огне прожекторов и инвалидная сходка белых колонн, где лежал Форум. Далеко за ними две дрожащих искры, красная и зеленая, — самолет — взбирались по пологому тьмы над Албанскими холмами. К югу и востоку, куда мне предстояло ехать, висели сочные грозди римских созвездий, огненный хвост неона тянулся от окраин, разбредавшихся по склонам в непроглядном мраке, — и от этого Рим вдруг показался громаднее любого города на свете. И у меня — может быть, от вина — появилось чувство, что Рим только теперь стал мне понятен: на прощание он не корил меня, а снисходительно и многооко подмигивал — притерпевшийся за века к варварам всей земли, среди которых я был лишь новейшим. Но это чувство прошло, я просто слишком много выпил, отчаянно пытаюсь развеселиться, и примерно через час Энрика со мной распрощалась. «Addio, — всхлинула она, — buon viaggio¹⁰. Энрика будет скучать по вас, синьор». И заковыляла в ночь, обливаясь слезами, впрочем не такими уж горькими: после я обнаружил, что она прихватила наряду с другими вещами (авторучкой, золотой булавкой для галстука и т. д.) мою электробритву, которая ей хотя бы пригодится.

Позже, часам к одиннадцати, в этой комнате, напоминавшей развороченный склад, мне стало страшновато и захотелось поскорее в Самбуко. Я подхватился уехать сейчас же, ночью. Я загрузил «остин», сунул в ящик на приборной доске бутылку виски и тронулся под гору, причем все время серой тяжестью в голове сидело: я что-то оставил. Но теннисные мячи были со мной, гитара и паспорт тоже и порнографические этюды, артистично замаскированные под том Петрарки, которые Мейсон в постскриптуме велел раздобыть для него на виа Систина. Все было на месте, я тщетно ломал голову, и только когда перед глазами выгнулся Тибр, я понял, что оставляю — с нежностью и совершенно особого рода злостью — не более и не менее как Рим. И решил, что после трех лет жизни такое прощание было бы чересчур отрывистым, грубым. Поэтому я в последний раз поехал на площадь Санта Мария в Трастевере и взял там пиво.

Вокруг кафе было темно и тихо. Американцы из ресторанов ушли, оставив площадь ватаге ребят, нищему, который скреб скрипку, и молодым священникам с программками в руках, возвращавшимся из-за реки с концерта, куда были отпущены, наверно, по особому разрешению. Была еще Ава Гарднер — с лохматой доски для афиш, пузырясь, она устремляла безучастный взгляд на фонтан, где многовековое истечение отложилось не красотой, а замечательной невозмутимостью ветерана. Фонтан был чудесный, и я долго смотрел на него. За ним в крыльях церкви завозились и заклохтали спросонок голуби, синеватые в потемках, и все стихло. Я сидел и старался проникнуться чувством, что это — для меня — торжественный вечер, но никакой приподнятости не испытывал, мысли копошились мелкие, дряблые. Я смутно ощущал, что переживаю какие-то поворотные минуты, что самая волнующая часть молодости осталась позади, но и это меня не трогало. Еще немного, и я, чего доброго, начал бы жалеть себя; я чувствовал себя так, как будто сижу на пышном прощальном пиру в мою честь — только на пир никто не явился.

Пиво было хорошее, теплый воздух приносил сперва запахи кофе, потом цветов, и на меня вдруг накатила волной тоскливая козлиная похоть. Потом словно замороженное серебро с колокольни оборвался один звон — половина часа. Мимо пробежала ватага ребят, и площадь на миг ожила в шорохе шагов, в мелькании голых пяток. С грохотом опускаемых ставень закрылся на ночь ресторан, и кто-то вдалеке позвал: «Томмазино!» — летний возглас, замирающий в проулках, с налетом жары, усталости, сна.

Площадь опять стала пустынной. Один раз перед глазами у меня промелькнула кошка — прищуренный пиратский взгляд, вкрадчивая улыбка. Налаживаясь на бог знает какое темное дело, она желтой тенью взлетела по ступенькам фонтана и отважно нырнула во тьму. И опять все чинно, спокойно, ясное небо, звезды, пахнет цветами, и фонтан выкатывает медленные чмокающие нотки как заметки на память. Я продолжал сидеть; потом колокол снова ударил, и официант подошел поближе, зевком намекая, что час поздний. Я расплатился с ним и сидел еще минуту напоследок, вдыхая запах цветов. Потом встал и в последний раз взглянул на Рим: на фонтаны, на голубей, кошек, на священников, которые

¹⁰ Прощайте, счастливого пути.

появились толпой, как раз когда я поднялся, — двое лизали мороженое в вафельных рожках, двое судачили по-ирландски: «Мне их дала старушка мама», двое держали молитвенники и жужжащим шепотом бормотали молитвы; сутаны их волновались, как траурные флаги, и уплывали, черные, в еще более черную черноту — вверх по безлунному склону Джаниколо, к какой-то тихой обители...

Потом я ехал на юг по темной Кампании с чувством легкости и свободы — и откуда мне было знать, как скажется вчерашний изнурительный торг. Он сказался позже, а первый час после Рима я пребывал в буйной эйфории и упивался неожиданной любовью к итальянской ночи: к замечательным звездам, к городкам, едва обозначившимся на возвышенностях, к ветру, который пах деревней, землей, навозом, зеленью, и остужал меня, и трепал, как вымпелы, рукава моей одежды, сваленной сзади. Верх машины был опущен, я гнал восток — шоссе было свободное и прямое — и орал ветру песни. В огне моих фар вспыхивали пожаром длинные улицы тополей, пересыпалась драгоценным серебром изнанка их листьев, зажигались сонные городки с названиями из латинских учебников — Априлия, Понтиния, — белые и безмолвные, как гробницы, и населенные одними собаками. Надо мной кружили по небу яркие звезды, но на юге в открытом поле все было черно, как гибель, — ни домов, ни понятных очертаний, только мрак простирался во все стороны. Где-то тут мое приподнятое настроение стало падать. На протяжении целых километров я не видел совсем ничего — ни жилья, ни людей, ни растительности, — ничего, кроме обложившей меня ночи. Я почувствовал себя в полном смысле одиноким, и, если бы не шум мотора, легко было бы подумать, что я в лодке, без руля и меня несет неведомо куда — по черному ночному океану. Вдруг я очутился в скалистой местности, машина ехала по склонам мрачных израненных холмов — русла высохших рек, прокаленные ущелья, пустыня, где ничего не росло и никто не жил, убежище воров. Я включил радио, но и от него удовольствия было мало: женский голос объявил: «Un po di allegria negli Spikes Jones»¹¹; потом из Монте-Карло долетел невнятный, одышливый обрывок Бетховена и вскоре совсем ослаб и заглох. Станция американских войск в Германии, пробиваясь сквозь мешанину шумов, заканчивала свои передачи программой «Хиллбилли Гастхаус»¹². От этого смещения языков, от жалобной музыки гитар, банджо и скрипок среди заброшенных холмов меня охватила тревога; но впереди блеснул желтоватый свет, я понесся под гору, к берегу и скоро был в городе Формия, куда прикатываются теплые волны от Сардинии.

Усталость обрушилась на меня внезапно — ударом кулака. Я остановился как вкопанный.

События в Самбуко — для меня — начинаются с этого момента. Если бы мне удалось спокойно выспаться в эту ночь, может быть, я не попал бы в беду на другой день. А не будь ее, я прибыл бы в Самбуко свеженьким, как огурчик, — не замученным, расстроенным, жалким, потерявшим самообладание, с тяжелой душой и в нервном раздражении, от которого мне так и не удалось оправиться. Но что рассуждать задним числом? В Формию я приехал без сил — лицо было как чужое, глаза резало, ныл каждый сустав. Все гостиницы либо заперлись на ночь, либо вывесили табличку «Мест нет». Поэтому я выехал на мол над гаванью, поднял верх машины и устроился спать сидя. Комары не давали мне покоя. Курортные завсегдатаи, большие июльские комары, толстые и влажные от летней привольной жизни, они налетали на меня с ночным бризом, возбужденно гудели, вились возле ушей. Провоевав час, я сдался и закрыл окна. Машина скоро превратилась в духовку, дышать стало нечем, и я едва дремал, перебираясь из кошмара в кошмар, как бывает в полусне. Раз пять я просыпался, видел стаи звезд, утекающие за горизонт, снова проваливался в липкое забытие, и странные запахи, дуновения прошлого вторгались в мои сны — отлив в Виргинии, ил и водоросли, рыбацьи сети, сохнувшие на солнце.

Наконец я проснулся окончательно, разлепил один воспаленный глаз, и яркий утренний свет ударил в него со всей силы. Где-то в стороне кричали и пле-

¹¹ Повеселимся со Спайком Джонсом. (Спайк Джонс — руководитель американского эстрадного оркестра.)

¹² Музыка «хиллбилли» — разновидность американской деревенской музыки. Гастхаус — гостиница (нем.).

скались в море; сверху сквозь ветровое стекло на меня смотрели два печальных бородатых лица.

— E morto? — спросил один другого.

— Un inglese. Soffocato¹³.

Когда я зашевелился, старики медленно отошли по песку в глубокой озадаченности. Был десятый час; я купался в поту; голова трещала, в мышцах затаилась противная дрожь, как с похмелья. Я знал, что надо двигаться дальше, и двинулся после кофе и черствой булочки в пляжном буфете, забитом стрекочущими итальянцами в купальных костюмах — все наливались кока-колой.

Такова власть некоторых несчастий над умом, что после того, как пройдет первое потрясение, ты можешь ярко и отчетливо восстановить всю цепь событий, приведших к удару. Атмосфере, настроению, характеру всего предшествующего передается серая окраска самой беды, и они бальзамируются в памяти ужасным чувством предопределенности. Именно так мне запомнилась дорога из Формини в Неаполь и дальше. Отвернув от берега, шоссе опять стало прямым и широким. Но была суббота, базарный день, и дорогу заполнил транспорт; телеги и повозки, заваленные продуктами и фуражом, все были запряжены ослами и двигались так лениво, что казались зловещими неподвижными препятствиями у меня на пути. Солнце поднималось все выше и выше над пыльной местностью. Жар его прочно сел на холмы; у дороги чахли поля кукурузы, вяли в безветренном зное деревья. Горячий воздух вздымался над шоссе маслянистыми волнами, и сквозь эти волны с ревом и злобным сверканьем мчалась навстречу, а порою прямо в лоб адская вереница машин — мотороллеров, автобусов с отпускниками, караваны легковых. Огромные бензовозы пронеслись мимо меня со скоростью сто десять километров и оставляли за собой хвост раскаленного голубого газа. У Капуи, перед Неаполем, была эпидемия овец, в которую я чуть не въехал юзом, и потом робко протискивался между их печальных, выразительно виляющих задов. Не смотря на солнце, я опять опустил крышу — так хотя бы обдувало. Помню даже, что еще раз включил радио — теперь чтобы немного отвлечься. Когда я въехал в предместья Неаполя, баранка была скользкой от пота. С отвращением я поймал себя на том, что совсем раскис от усталости и напряжения и вслух себя подбадриваю.

А доконала меня «альфа-ромео» на помпейской автостраде. Я уже проехал Неаполь и немного успокоился: еще час — и шабаш, я в Самбуко. Машин стало меньше, дело шло к полудню, обеденному времени, и итальянцы уступили шоссе целеустремленным англосаксам. Мне даже показалось, что жара спала — конечно, только показалось, — и я впервые расслабился, разглядывая окранный города с сотнями фабричных труб, извергавших черный дым. Шум, который раздался позади, был внезапным и оглушительным: в нем как будто слились залп многих ракетниц и рев самолета на взлетной полосе, и над всем этим, вернее пронизывая все это, — тонкий, злой, нетерпеливый вой словно пчелиной или осинной армии; глаза мои обратились к зеркальцу и увидели там надвигающуюся свирепую морду большого черного автомобиля. В предчувствии конца, угасания прекрасной жизни я собрался, чтобы принять удар сзади, и внутри у меня все стянуло от странного беспокойного чувства — наполовину отчаяния, наполовину голодной жадности, — а машина все росла, росла, безжалостно настигала. В пяти метрах она взяла в сторону, поравнялась со мной, сбавила ход; я увидел толстого молодого неаполитанца: одна его согнутая рука лениво лежала на руле, подруга сидела чуть ли не у него на коленях, и оба улыбались, как акулы. Несколько секунд мы ехали бок о бок, опасно рыская, потом с ракетным треском он умчался вперед, выставив средний палец над сжатым кулаком в спелом фаллическом салюте. Я рванул было за ним, бросил погоню и впал в тяжелую болезненную мечтательность. Сердце мое полно было черной злобы. Я грезил только о мести, когда за Помпеями на скорости сто километров врезался в мотороллер...

Лючиано ди Лието — лукавое, льющееся имя, имя, которое подошло бы воздушному гимнасту, автору сонетов, исследователю Антильских островов, во всяком случае заслуживало большего в смысле талантов, чем его обладатель.

* — Умер?

— Англичанин. Задохнулся.

Поочередно подручный каменщика, дорожный рабочий, торговец эротическими безделушками на местных руинах, карманник настолько неумелый, что получил в местной полиции кличку *Fessacchiotto* — Обалдуй, — этот ди Лието был гений бесталанности. Однажды в возрасте двенадцати лет он залез неугомонной своей рукой в автомобильный мотор, и вентилятор отхватил ему два пальца. Через несколько лет в приливе юношеской мечтательности он задумался на пути у трамвая, получил перелом обеих ног и навсегда повредил локоть. Еще через несколько месяцев, только-только освободившись от гипса, он решил заняться фейерверком на приморской *fiesta*¹⁴ и, обратя свой темный безумный взор в жерло «римской свечи», выжег себе правый глаз. Когда я сбил его, ему шел двадцать четвертый год и он был в самой горячке возмужания. Все эти сведения я получил до прихода санитарной машины, может быть, через какой-нибудь час после того как Лието выскочил передо мной с поперечного проселка на своем трескучем мотороллере, пригнувшись к рулю, как наездник на скачках, — колени растопырены, всклокоченные волосы треплются перед выбитым глазом, рот разинут в радостном вопле, — и я, отчаянно тормозя на визжащих шинах, врезался ему в бок. Казалось, этот радостный крик был частью самого столкновения — предупредил о нем за какую-то леденящую секунду, еще до того как я увидел ди Лието, и продолжался после громкого удара, когда мотороллер у меня на глазах отлетел метров на десять по шоссе, и я, все еще беспомощно двигаясь юзом, увидел, как серое пятно комбинезона и всклокоченные черные волосы поднялись в воздух над радиатором. Цепляясь за воздух, он словно завис там на мгновение, а потом, загребая белыми ногами и руками, скользнул навстречу мне по капоту, и ветровое стекло разлетелось в ледяном взрыве. Как повисшая на веревочках марионетка, он проплыл мимо меня и исчез. Наконец машина остановилась на левой стороне дороги под градом прыгающих теннисных мячей; приемник испортился от удара, но продолжал трещать и пищать.

Опомнившись, я сбросил с колен осколки и на ватных ногах вышел из машины. Я был наедине с ди Лието, а он лежал навзничь, кровь тихо текла у него из носа и ушей, и на лице его, слегка перекошенном, застыло мечтательное выражение, отчасти гримаса муки, отчасти улыбка, как будто в беспомощности сбывалось то, о чем он тосковал, и его несло к шлюзам судьбы. Я смотрел на него, оцепенев от ужаса. Он еще дышал, но как-то неуверенно, одна глазница была пустая и розовая — я думал, это моих рук дело, и с замиранием в груди оглядывался вокруг, искал выбитый глаз. Долго — так мне показалось — никто не появлялся, никто не ехал ни по шоссе, ни по проселку; был знойный летний полдень, гудели насекомые, пахла трава, ястребы, похожие на грифов, кружили в вышине над раскаленным полем. Я без конца топтался вокруг распростертого ди Лието; меня шатало и приступами била мучительная дрожь.

То, что последовало дальше, казалось фантастическим, нелепым нагромождением событий, лишенных порядка и связи, и у меня остались от них лишь какие-то случайные впечатления, как от забытого кинофильма. Вспоминаю все же, как от горизонта приближалась машина — пыльный драндулет, сонно вливающий, я его остановил, и две помпейские дамы, очень эмансипированные и сильно навеселе, в оборках шуршащего блестящего черного шелка, с грехом пополам выбрались на дорогу и бессмысленно моргали под ярким солнцем. «Это что тут такое?» — пролепетали они, наклонившись к ди Лието, а потом увидели кровь, прижали руки к груди и разразились пьяными мольбами к помпейской мадонне. «*Santa Maria del Rosario! Povero ragazzo!*¹⁵ Что с ним случилось?» — кричали они. Одна спросила меня: он упал с дерева? — и от этого нелепого вопроса адская сцена стала еще невыносимее; они сразу захотели облить его водой, перевернуть, перенести. Я пытался сказать им, что его нельзя трогать, и только когда мой голос сорвался на хриплый надтреснутый крик, они перестали причитать и затахтели обратно в город за помощью.

Потом было долгое ожидание, и все время я ощущал за спиной давящую громаду Везувия. Я сидел на бампере и смотрел на ди Лието; он мужественно дышал, слегка подергивался и ждал помощи — и она наконец явилась, хлынула потоком. Останавливались легковые машины, грузовики и повозки; будто по жад-

¹⁴ Празднике.

¹⁵ Святая Мария! Бедный мальчик!

ному наитию на место катастрофы прибыла деревня в полном составе — кто в пешеходных колоннах, кто вскачь по пыльному полю, они стекались со всех четырех сторон света. Пустынное место сразу наполнилось шумной жизнью, люди со всей округи явились сюда, словно повинувшись тому же инстинкту, который приводит к дому перелетных птиц. Я помню, как сидел на бампере, подперев голову руками, а они толклись вокруг, наклонялись к ди Лието, прикладывались ушами к его груди и объявляли о своих выводах. «Сотрясение мозга, и все», — сказал один. «Нет, — возразил другой, голый до пояса старик крестьянин, коричневый, как мумия, — спина сломана. Поэтому трогать его нельзя. Смотри, как ноги дергаются. Первая примета, что сломана спина». Толпа шаркала ногами и гудела — важно, но при этом восторженно; многие пришли с недоеденными завтраками; вид у них был удовлетворенный, они жевали хлеб с сыром и передавали друг другу бутылки с вином. Кто-то мягко спросил меня, как я себя чувствую, не ушибся ли; еще кто-то дал глотнуть коньяку, от которого меня тут же стало выворачивать. «Fessacchiotto, — донесся до меня сквозь собственное кряхтение и из вертящейся синевы угрюмый голос, — донгрался-таки Обалдуй». Потом я увидел, что у перекрестка затормозили двое полицейских на мотоциклах, в каких-то космических шлемах. Они шуганули толпу к кюветам, словно кур, и тотчас же расположились лагерем; они величественно измеряли мой тормозной путь, ходили вокруг машины и выясняли разные подробности.

— Пожалуйста. Вы ездите эту машину? — уважительно спросил один.

— Я говорю по-итальянски.

— Allora, va bene¹⁶. Когда произошло столкновение, мотороллер выезжал на шоссе справа или слева? — Полицейский, очень вежливый и, видимо, добросовестный человек в тесном поплينه, начал заносить сведения в блокнот величественной с амбарную книгу.

— Он выехал слева, — ответил я, — мне кажется, это нетрудно понять по положению мотороллера. Я не мог не сбить его. Но это не моя вина. Между прочим, человек умирает. Вы не могли бы сказать, где скорая помощь?

— Nome?¹⁷ — благодушно спросил он, оставив мой вопрос без внимания.

— Питер Чарльз Леверетт, — раздельно произнес я.

— Nato dove e quando?¹⁸

— В Порт-Уорике, Виргиния, четырнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать пятого года.

— Dove Порт-Уорик, Виргиния? Inghilterra?¹⁹

— США, — сказал я.

— Ah, bene. Allora vostro padre? Nome?²⁰

— Альфред Леверетт.

— Nato dove e quando?

— В Саффолке, Виргиния, США. Год точно не помню. Поставьте тысяча восемьсот восемьдесят шестой.

— Vostra madre?²¹

— О господи боже мой, — сказал я.

— Che?²²

— Флора Маргарет Макки. Сан-Франциско, Калифорния, США. Напишите тысяча девятисотый. Вы можете мне сказать, когда придет скорая помощь, а если не придет, нельзя ли положить его в какую-нибудь из этих машин или в грузовик и отвезти в Неаполь? Мне кажется, он в тяжелом состоянии.

Договариваться с ним было все равно что бросать в океан бутылки с письмами. Добродушный, вежливый, невозмутимый, он продолжал писать в книге, проверять мой паспорт и документы, а солнце палило безжалостно, толпа на обочинах шаркала, колыхалась, гудела, словно перед ней совершался какой-то языческий ритуал. Центром его был ди Лието: раскинувшись в жертвенном по-

¹⁶ Ну хорошо.

¹⁷ Имя?

¹⁸ Где и когда родились?

¹⁹ Англия?

²⁰ Хорошо. Так, ваш отец? Имя?

²¹ Ваша мать?

²² Что?

кое, он лежал с мечтательно полуоткрытым глазом и сложным выражением на лице — мученического восторга и освобожденности, — и к нему слетались мухи. А в Калифорнии, жизнерадостно продолжал полицейский, дядя его жены живет, кажется, в Калифорнии, место называется Вилькис Бари, и он хорошо зарабатывает в шахте. Знаю я это место? А далеко оно от Голливуда? А что касается этого человека, который лежит, продолжал он, пытаюсь меня успокоить, я и сам, наверно, понимаю, что у меня были бы очень большие неприятности в суде, если бы мотороллер выскочил справа, а не слева, а по всем признакам — и по следу моих шин, и по положению пострадавшего и самого мотороллера — выскочил он именно слева; так что я свободен и могу уехать когда угодно при условии, что мне удастся завести машину, и при условии, что я дам ему мой следующий адрес в Италии (это формальность, и в суд меня определенно не вызовут, поскольку все данные решительно говорят в мою пользу), а что самого ди Лието — Fessacchiotto. — он десять лет на это напрашивался (мне еще не успели рассказать про незадачливого воришку — про пальцы, про трамвай, про глаз), и если умрет на месте, пусть пеняет на себя, хотя человек он, по правде говоря, не злой и смерть горька *in verità*²³ даже идиоту.

— *Basta, Sergente!* — Я почти плакал. — *L'ambulanza*²⁴.

Тут на углу произошло какое-то волнение, и мы повернулись в ту сторону. Под деревом остановился дряхлый грузовик. С него ссыпалась целая толпа мужчин и мальчиков во главе с согнутой старой ведьмой; как раненая птица, она проковыляла по солнечному месту, повалилась около ди Лието и заголосила:

— Лючиано! Лючиано! Лючиано-о-о! *Che t'hanno fatto? Povero figlio mio!*²⁵ Лючиано-о-о! Очнись, мой золотой, очнись, очнись! Опять эти изверги хотели тебя погубить! Погляди на мамочку, золотой мой. Ну только разок, Лючиано! Не поддавайся им, извергам! Дай мамочке поглядеть в твои золотые глазки!

— *È mezza matta*²⁶, — шепнул сержант. — Она всегда была того. Она ему бабка, но растила его как сына. — Он был смущен, эта сцена, как видно, внушала ему суеверный страх. — А все остальные — его братья.

Зараженная этим страшным горем толпа притихла, замерла у дороги. Минуту старуха стояла на камнях, держась рукой за подбородок, и молчала. Откуда ни возьмись налетел холодный ветер, грязным вихрем завертелись пыль и листья и пронеслись мимо нас, вздымаясь все выше, вспугнули целую стаю скворцов из травы, птицы загалдели и закружились вместе с пыльным столбом. Старухины волосы растрепались белыми клоچьями, черный платок поплыл за плечами, и мятая газета закувыркалась по арене, где двое — старуха и внук — превратились в пару актеров, застигнутых маленькой сказочной бурей; потом ветер стих, старуха поправила платок, птицы со щебетом разлетелись над полем.

— *Luciano, angelo mio*, — тихо застонала она, — *perchè non dici niente, perchè non mi guardi?*²⁷ Скажи что-нибудь. Посмотри на маму. Лючиано, у тебя дергаются ножки. Встань на ножки и иди, мой ангел, не лежи на дороге.

Вдруг причитания смолкли, по-прежнему стоя на коленях, она подняла голову и, задерживаясь на каждом лице, обвела толпу бешеным, кровожадным, тигриным взглядом — и раньше чем он остановился на мне, внутри у меня все сжалось от страха. Яростью ее повеяло еще до того, как она на меня обрушилась: в своем летнем костюме, туристских сандалиях и темных очках, с короткой стрижкой и клеймом, печатью северного варварства на лице, я напрасно старался спрятаться за сержантом — она углядела меня, вскочила с неправдоподобным проворством и кинулась через дорогу черным хромым карающим смерчем.

— *Svedese! Farabutto!*²⁸ — завопила она. — Это ты погубил моего мальчика! Это ты задавил его машиной, изверг! Чтобы тебе в пекле гореть! — Она послала небу короткий виноватый вздох: — Прости, господи! — но продолжала неудержимую атаку с новыми силами, новыми проклятиями и, устремившись мимо расстерянного сержанта, обличительно наставила дрожащий, похожий на обглодан-

²³ Поистине.

²⁴ Хватит, сержант! Скорую помощь!

²⁵ Что с тобой сделали? Бедный мой сынок!

²⁶ Полоумная.

²⁷ Лючиано, ангел мой, почему не говоришь ничего, почему на меня не смотришь?

²⁸ Швед! Негодай!

ную хворостинку палец мне под нос. — Швед! — кричала она. — Злодей! Я знаю вашу породу. Нечего прятать от меня лицо. Поглядите на него! — крикнула она толпе. — Поглядите на этого человека! Поглядите, как он дрожит и трясется от страха. Ага! Понял теперь, что не спрятать концов в воду? Носится по нашему городу, ни за что ни про что давит людей машиной. — Она снова оборотилась ко мне, и вся ее голова — запавшие глаза, бородавки, морщинистые щеки, даже встрепанные седые волосы — дрожала от устрашающего гнева. — Я знаю вашу породу! Или не вы переехали жену бедного Луиджи Лукатуарто в прошлую пасху, четыре года назад? Женщина в цвете лет, сильная, красивая, а на ней больной отец и четверо детей. Здоровая женщина, интересная, самостоятельная — и как собаку задавил, проклятый изверг. Про это ты знаешь? Говори! Знаешь? И ни гроша не смогла с них получить — а ведь ключицу сломали, спину на всю жизнь изуродовали! — Она замолчала, повернулась к ди Лието и опять заплакала. — Посмотри сюда. Что ты с ним будешь делать? Что ты будешь делать с Лючиано? Кровью исходит, умирает! Ни в чем не повинный мальчик, никому не мешал, мухи сроду не обидел. — В черной ярости она снова набросилась на меня. — Дитя невинное — слышишь ты? Всю жизнь страдает через вас, извергов! Что ты стоишь и смотришь, как жердь бессмысленная? Что ты будешь с ним делать? Что ты будешь делать с Лючиано?

— Я не знаю, синьора, — начал я. — Ужасная беда...

— Да замолчи ты, шведский изверг!

Сержант хотел успокоить ее, положил ей на плечо руку.

— Senta, nonna. Non è svedese. È americano ²⁹.

— И ты замолчи, Бруно Феррагамо! — закричала она. — Знаю я тебя! Они все шведы! Они пришли сюда в войну, когда Лючиано был маленький. Помнишь их бомбы? Или у тебя память отшибло? Забыл, как они пришли, как они бомбили, громили, насильничали? Не хуже моего помнишь, сержант Феррагамо, — еще бы ты не помнил, коммунист! Как Лючиано лежал на дороге после бомбежки, бедные ножки переломанные, как комочек лежал, весь растерзанный, кровью исходил, слезами обливался, и ручка вывернутая под ним, так навсегда и осталась увечная. Какой печальный день! — Воспоминания на минуту приглушили ее резкий голос. Мы смотрели на нее, переминались, и в это время на шоссе послышался трубный звук, донеслось фырчание шин стремительно приближавшегося автомобиля. — Черный день. Бомбежка, все в дыму, кирпичи вокруг валяются. Ужасный день. Когда первые бомбы упали, я была на кухне. Не стала выходить. Слышите, не стала. Хоть и упрасивали меня, и уговаривали. Не вышла. Стою и готовлю. И тут — бомбы. Кирпичи вокруг валяются, дымится, Анна Тереза кричит. Ох, какой день! Потом выбегаю на дорогу. Лежит мой Лючиано комочком, бедное дитя, кровью исходит. Ножки сломаны! Ручка подвернута! Плачет, стонет! Плачет: «Nonna, nonna ³⁰. Больно мне! Ножкам больно!»

— Послушайте, синьора, — мягко вставил сержант, — это был трамвай... И я не коммунист. (Реплика в сторону — мне.)

Старуха вдруг очнулась, как будто ее разбудили:

— Какой трамвай? Молчи, Бруно Феррагамо! Не смей раскрывать рот, коммунист-антихрист. Я вам не позволю, полицейские, возводить напраслину на Лючиано — в тюрьму хотите его упечь? А эти изверги пускай давят неповинных людей на дорогах? Как этот вот? Скоро же ты забыл их бомбы! А как они нагрянули из Салерно, стреляли, грабили, насильничали, когда мы жили в Торредель-Греко. Скоро же ты забыл! Капустные рыла! Пивные бочки! Не помнишь того англичанина, как он поймал в развалинах жену бедняги Лукатуарто, и надругался, и бросил там помирать всю в крови, а на ней четверо детей голодных и отец немощный. Память у тебя отшибло, сержант Феррагамо? Лючиано сроду мухи не обидел. Лючиано самый ласковый, самый добрый мальчик: воробья подобрал со сломанным крылом — воробья, слышите? — сам его выходил, вырастил. И ты оставишь его, допустишь, чтобы Лючиано принял муку от таких извергов? — Кипя от ярости, она поднялась на цыпочки и затрясла руками в каком-нибудь сантиметре от моего подбородка. — Ты! Забыл бомбы? Забыл, в чем я поклялась,

²⁹ Послушайте, бабушка. Он не швед. Он американец.

³⁰ Вабушка, бабушка.

когда нашла бедняжку Лючиано на дороге? «Будь мне свидетельницей на небе, пресвятая дева, — я сказала, — они заплатят и будут наказаны за свои грехи перед господом!» Разбомбили, разорили наш дом в Торре-дель-Греко. Насильничали! Воровали! Поймали жену бедняги Лукатуарто в развалинах и надругались над ней, а на ней отец больной и четверо детей голодных! *Invasato! Mascalcone!*³¹ Изверг безжалостный! Швед! Чтобы тебе в пекле гореть! Прости, господи.

Вдруг оказалось, что я тоже кричу, отрывисто и надсадно, чуть не со слезами; весь мой итальянский язык куда-то подевался, я издавал странные звуки и сам с трудом угадывал в них родную речь:

— Я виноват! Виноват! Виноват! Но я не бомбил ваш дом! Я не бомбил ваш дом!

Трубный звук на дороге раздавался все ближе, все громче и громче — словно труба архангела Гавриила извергала эти неверные отрывистые ноты торжества, — в клубах пыли и гравия подлетела скорая помощь и бессмысленно продолжала трубить, уже стоя на месте, а я напрасно напрягал охрипший и сорванный голос, состязаясь с этим чудовищным ревом. Я пытался сказать: «Я не бомбил ваш дом! Я не бомбил ваш дом!» — но с моих губ срывались только бессильные струйки воздуха, и их тут же сметал громовый одурачивающий звук трубы.

А потом все кончилось. Сцена исчезла у меня на глазах, словно ее милосердно утопили. Старуху подхватили внуки, и ее не стало; людей, легковых автомобилей, грузовиков, полицейских — не стало; многие умчались гурьбой за санитарной машиной с ди Лието, изувеченным, умирающим, мертвым — не знаю, но наконец-то увезенным под залиvistый трагический хор гудков, который удалялся, оглашая солнечные поля мощными аккордами торжества и горя.

На прибрежном шоссе между Салерно и Амальфи, перед тем как дорога свернет на крутой и длинный подъем к Самбуко, есть стена с большой надписью. Написано по-английски, жирными буквами, черным по белому:

СМОТРИ, НАД ТОБОЙ
ВИЛЛА — ДВОРЕЦ
ЭМИЛИО НАРДУЦЦО

ИЗ УЭСТ-ЭНГЛВУДА, НЬЮ-ДЖЕРСИ, США —

и глаз, невольно подчинившись приказу, в поисках чертога взбегает к небу по круче виноградников, апельсиновых садов, ослепительно-красных маков и натывается на каменный выступ, вонзившийся в небо, как томагавк: там, на скале, строение, размером и формой напоминающее заправочную станцию компании «Эссо», шеголяет бойницами вместо окон, взрывчатым синим колером стен и целым пуком американских флагов над крышей с башенкой. В «Италии» Нэйджела вилла Нардуццо не упомянута, но в своем роде она одно из чудес побережья. После дороги с грубыми зелеными утесами и обрывами, падающими с головокругительной высоты в тихое кобальтовое море, вилла Нардуццо ошарашивает так, как будто вы по ошибке угодили в сам этот Уэст-Энглвуд.

А заговорил я о ней только потому, что сейчас, пытаясь восстановить в памяти остаток дня, не могу вспомнить ничего до той минуты, когда дикое видение дома Нардуццо более или менее привело меня в чувство. О своем отъезде с места катастрофы помню только, как подавал машину задом из канавы да столбиком дорожного указателя поддевал крыло, крепко обнявшее переднюю шину. Помню еще нос машины: развороченный хром, смятая сталь, фары, окосевшие от удара, и посреди этой разрухи — слабый силуэт, призрак бедного ди Лието, чья задняя часть так и отпечаталась на металле полусогнутой, как у наездника. И откуда-то снизу все еще выбивались тонкие струйки воды, грязи, масла. Машина как будто работала, и я поехал дальше — со скоростью пятнадцать километров в час, — но конец пути остался в моей памяти тенью, тенью небывалых мучений. Лишь надпись на стене и сама вилла вернули меня к действительности. Я резко затормозил в клубах пара, и все огорчения отступили перед красотой, открывшейся моим глазам, стоило только отвернуться от страшной звездно-полосатойвиллы.

Было часа четыре, но высокая гора, на которой стоит Самбуко, уже заслонила солнце, и на море легла ее громадная синяя тень. За ее краями, где солнце

³¹ Негодяй! Мерзавец!

еще светило, вода была зеленая, как клевер, а здесь, у берега, прозрачно-голубая, озерная, и пяток лодок словно не плавал в ней, а висел высоко над чистым песчаным дном, на невидимых нитях. Где-то сзади, в лимонной роще, еле слышно пела женщина. Плеск весел долетал по воде, а внизу играло радио в каком-то рыбацьем поселке — теновом поселке, для которого нет ни сумерек, ни вечера, а в три часа дня наступает затмение и погружает его в хмурую полутьму. Минут пятнадцать сидел я в машине, слушал, как поет женщина в лимонной роще, слушал радио и плеск весел и глядел на сияющий зазубренный берег, в сторону Сицилии — я не видел ее, но знал, что она где-то там, за триста километров от дымчатого горизонта. Я был измучен, при мысли о ди Лието мной овладевало отчаяние, но пейзаж на время отвлек меня. Тут не ревел прибой, не вилял чайки крик, и зрелище было утешительное — бальзам для перекрученных нервов.

Я тронулся дальше и уже хотел свернуть в гору, к Самбуко, как вдруг увидел молодую женщину: она стояла, подняв большой палец — ловила попутную машину.

С ней были дети — ее, судя по сходству. Они собирали цветы. Когда я подъехал и затормозил, трио приветствовало меня шумными криками, над капотом поднялся пар и дым, и в пару перед окнами выросли охапки васильков, шиповника и маков.

— Привет! — сказала женщина. — Вы, конечно, американец. Я Поппи Кинсолвинг.

— Я попал в аварию. Я Леверетт.

— Какая странная машина!

— Я попал в аварию!

— Ой-ой-ой! Вы не ранены?

Облако пара отплыло в сторону, и у моего окна возникло лицо Поппи. Ростом Поппи была чуть больше своих маленьких детей и настолько похожа на них, что ее можно было принять за старшую сестру. Она положила грязные ручки на дверь и с любопытством заглянула в кабину.

— Какой кавардак.

— Авария, — стал объяснять я. — Я ехал по шоссе и возле Помпей сбил парня на мотороллере, и от удара все...

— Неужели люди не могут ездить осторожнее?

— Все понятно! — Меня взяла досада. — Да парень-то слепой на один глаз, вот в чем дело. Он уже и ноги ломал, и локоть изуродовал, и двух пальцев лишился...

— Ой, бедняга! Бедняжечка! — Глаза у нее стали круглыми от ужаса. — Про что я и говорю. Неужели нельзя ездить осторожнее, мистер Левенсон? Как ни возмешь газету, каждый раз читаешь: американец сбил итальянца машиной. На этих наглых американских машинах некоторые ездят так, что просто стыдно. Он еще жив? Неужели вы...

— Леверетт, — поправил я. — А машина английская — «остин». Поймите вы — он уже был кривой до того, как я его сбил. Он выезжал на шоссе слепым глазом ко мне — с л е в а. А когда я...

— Бедняжечка. Бедняжечка! Что с ним сейчас? Его отвезли в больницу? А священник там был? Он хоть причастился?

— Я сам мог разбиться, — сказал я слабым голосом.

— Хорошо, если он причастился. Но он не умрет, скажите? Ники, перестань! — Она шлепнула младшего сына, русого мальчика лет двух, который пищал и дергал ее за юбку. Потом опустила на колени и стала тихо и мягко ему выговаривать; в это время остальные двое положили цветы на дорогу и вплотную занялись машиной: они влезали на капот и на багажник, ходили около меня кругами, треща без умолку, обследовали повреждения, потом мой багаж. А я глядел на Поппи. Несмотря на отчаяние, на то, что она мне сказала, ее личико, громадные голубые глаза, встрепанные влажные волосы безнадежно спутали все мои мысли. Солнечный свет лился на нее через листву лимонных деревьев. На ней было что-то вроде мучного мешка, хотя я понимал, что это, конечно, платье. Она стояла в пятнистом свете, с легкой испариной на лбу, и в ней было что-то очаровательно и неистребимо детское — но женское тоже, — и уж не знаю, сорванец ли, нимфа ли, невероятное это создание действовало на нервы. — Понимаешь,

Ники, — внушала она младшему, — у взрослых серьезный разговор, а мама ничего не может сказать, если ты все время теребишь ее красивую чистую юбку. Миленький, веди себя тихо и поздоровайся с мистером Левенсоном. Фелиция! Тимоти! Закройте чемодан!

— Не знаю, умрет или нет, — сказал я. — Надо позвонить в Неаполь, узнать. В Самбуко есть телефон?

— Кажется, есть в кафе. И в гостинице. В «Белла висте». А знаете, кто там живет? Киноартисты! Снимают кино. Тут и в Амальфи. Тут Карлтон Бёрнс, Алиса Адэр и Алонзо Крипс — знаменитый режиссер, слышали? — и Глория Манджиаэле. Бёрнс этот противный, Алиса Адэр тоже, а мистера Крипса я обожаю. Я со всеми поговорила. Ну конечно, немножко. Мейсон Флагг их всех знает — с мистером Крипсом они старинные знакомые, — и все пьют у Мейсона, нам от них некуда деться, живем на первом этаже и все время видимся с Мейсоном. Вы приятель Мейсона? — Она оглядела меня серьезно, внимательно и, кажется, с некоторым подозрением.

— Кто, я?..

— Вы не похожи на его приятеля.

— Как это понимать?

— А, неважно. Ну, в том смысле, что вид у вас очень обыкновенный, понимаете?

— Большое спасибо, — сказал я.

— Да нет. — Она слегка покраснела. — Нет, я хотела сказать, вид у вас очень приятный. Просто у него такой блестящий круг знакомых, больше ничего. Понимаете, они все имеют отношение к кино, а вы... — Она замолчала. На лице ее вдруг появилось беспокойство, испуг. — Ух, мне кажется, Мейсон Флагг ужасный человек, — выпалила она. — Ужасный, испорченный. Испорченный и ужасный, фальшивая гадина!

— Это почему же? — спросил я. Но в ее речи послышалось что-то неприятно знакомое. Четыре года я не видел Мейсона; но — одного несчастья мало — я вдруг сообразил: пределом глупости было думать, что Мейсон станет другим. — А что он теперь выкинул?

— Нет, я вам не скажу, вы с ним близкие приятели и вообще... — Она брезгливо сморщила нос. — Но если бы вы только видели, как он подчинил Касса и пользуется его состоянием... иногда я просто схожу с ума...

Я ничего не понял.

— Что это значит? И кто такой Касс?

Однако огорчение — беглая тень — тут же исчезло с ее лица, и она опять перескочила на киноартистов.

— По-моему, Касс их всех не переносит — может быть, кроме Алонзо Крипса. Хотя и про него говорит, что у него странный вид. Могу понять, почему он не любит Карлтона Бёрнса. Жаба! А мистер Алонзо Крипс такой симпатичный и, правда, такой странный. На днях подарил Ники коробку dolci³². Умница! И замечательный режиссер. Зато уж Алиса Адэр! Ломается, воображает. Может, она и не нарочно — ну и что из того? Фу, да что я о ней!

Она продолжала болтать, а у меня голова пошла кругом. Я крепко зажмурил глаза, жалкая усталость пробирала меня, как малярийный озноб. Трещотка у меня над ухом словно отплыла в сторону, и вдруг я услышал запах лимонов, мерный плеск весел вдали.

— А Глория Манджиаэле, скажу вам, та еще штучка. Идет по площади — и вы бы видели, как разгораются глаза у парней. Мистер Крипс говорит, что она зарабатывает больше всех кинозвезд на свете благодаря итальянским налогам. А вы, конечно, и есть тот, кого ждал Мейсон! Вы со всеми познакомитесь! Мистер Левенсон, что с вами? Проснитесь! Тимоти, не лезь в лицо мистеру Левенсону!

Я открыл глаза и в сантиметре от себя увидел два глаза, белых и круглых, как шарики для пинг-понга, и вымазанную в шоколаде улыбку.

— Как тебя звать? — спросил Тимоти.

— К черту. — Я завел мотор. — Кыш отсюда, ребята.

³² Конфет.

— А вон Касс! — услышал я Поппи. — Дети, вон идут папа и Пегги. Они нас догнали.

Я остановился, повернул голову. По дороге, ведя за руку еще одного ребенка, шел Касс Кинсолвинг и пел такую песню:

Гуляли мы возле вольер,
Видали волков и пантер,
А Кардтон Вёрнс хлебнул сверх норм-с,
Равно как Алиса Адэр.

Хотя он пел, изо рта у него торчала черная вонючая сигара; в свободной руке была полупустая бутылка вина, раскупоренная, готовая к делу. На плече висел рюкзак, набитый, похоже, мокрыми купальниками; с рюкзака капало. В бумажных брюках, невзрачной пестрой рубашке и грязном берете набекрень он шел к нам размашистой, бодрой, моряцкой походкой и продолжал петь:

Манджиаделе, как водится, в теле...³³ —

и уже около нас, увидев изуродованную машину, оборвал песню и медленно, с удивлением то ли проговорил, то ли прошептал:

— Ничего себе!

— Мистер Левенсон сбил человека на мотороллере, — сказала Поппи.

— Ого! Вот это да!

— Выбил ему глаза, сломал ноги, оторвал два пальца, и неизвестно еще, будет он жить или нет.

— Одну минуточку... — вскинулся я. — И фамилия моя Л е в е р е т т.

— Да-а. Бедняга, — сказал мне Касс.

Это было сочувствие, которого мне так не хватало, — я благодарно повернулся к нему и представился как приятель Мейсона. Он глотнул из бутылки, упер руки в бока и окинул автомобиль печальным, скорбным взглядом. Солнце заблело стекла его очков, которые казались на нем чужеродным предметом: он производил впечатление человека, живущего деятельной физической жизнью на воздухе, сильного, даже задубелого. Роста он был невысокого, но мускулистый, весь литой, и сейчас, когда он чуть наклонился и внимательно, заботливо глядел на меня через окно, его можно было принять за портового грузчика, ставшего профессором, либо наоборот. Ему было лет тридцать, может, немного больше, но морщины — следы тяжелого труда или невзгод — напоминали маленькие глубокие порезы.

— Представляю, как вы его уработали, — сказал он. — Вот его зад отпечатался у вас на радиаторе. Потрясающий барельеф. Чудо еще, что вам удалось въехать в гору. А все-таки что с ним?

Я кратко рассказал ему, что произошло; он хмуро кивал, посасывая сигару, сочувственно хмыкал — и мне это было как маслом по сердцу. Младший мальчик, Ники, играл рядом на обочине, а Поппи с остальными детьми уже поднималась по склону через лимонную рощу. «Вот она! Вот еще», — чирикали они в восторге от своих находок.

— Эх, горе луковое, надо же, угораздило, — вполголоса сказал он, когда я закончил свой рассказ. Произнес он это с таким дружелюбным сочувствием, что мне захотелось тут же его обнять.

— Просто невероятно. — Я не мог успокоиться. — Понимаете, у этих балбесов не требуют прав. Позволяют такому полоумному, да еще полуслепому, сесть на машину — и привет. Все они не застрахованы, и случись что, даже по их вине, — ты горишь. Ей-богу, я жалею его от всей души, и мне не больше, чем этой ненормальной старой бабке, хочется, чтобы он мучился, но я же не миллионер, и как подумаешь, что этот крестьянин разворотил мне весь нос — а я на такой случай не застрахован, и один бог знает, во что мне это обойдется, — как подумаешь, хочется реветь белугой!

В том, что он мне ответил, было если и не ханжество, то, во всяком случае, милосердная беспристрастность, несозвучная моему возмущению. Мне показалось, что меня как бы предали.

³³ Перевод Андрея Сергеева.

Он потер затылок и вздохнул.

— Понимаю,— сказал он,— хорошего мало.— И, помолчав, добавил: — Не знаю. Эти, на равнине,— такая голь, права им вряд ли по карману, даже если бы они и были, такие права. В песнях, конечно, насчет *bella Napoli, bella campagna*³⁴ — все не так, но мне кажется, что жизнь у них не очень веселая. Прокатиться на чужом мотороллере для них, наверно, целый праздник. Ну и распадаются, понятно, и, бывает, кончается вот так.— Тут, словно догадавшись, о чем я думаю (ишь сердобольный), он поправился: — Ну да, понимаю, для вас это сейчас большое утешение. Натек-ка, глоток *sambuco rosso*³⁵ вам очень кстати.

От вина я отказался и коротко ответил:

— Надо еще доехать до Мейсона. Извините, но всех вас посадить не смогу.

Поппи, усевшись на ветке лимонного дерева, крикнула сверху, из сада:

— Мистер Левенсон! Мистер Левенсон!

— Да?

— Он Л е в е р е т т, Поппи, умоляю тебя! — крикнул Касс.

— Что ты сказал, милый?

— Леверетт! Леверетт! Л е в е р е т т!

— Ага, мистер Леверетт! — крикнула она. — Когда вы увидите Розмари де Лафрамбуаз! Вы слышите, мистер Леверетт? Когда увидите Розмари! Ну! Подругу Мейсона! Когда подниметесь в Самбуко, когда увидите Розмари, можете ее попросить?

Ее пронзительный голосок стал тише; мы едва слышали ее.

— Вы меня поняли, мистер Леверетт?

— Ни черта мы не поняли! — заревел Касс. — Мы тебя не слышим. Спустись, Поппи!

— Парасити ать наческу! — И что-то еще весело, нараспев: — Лица растудила!

— О чем она говорит? — спросил я у Касса. — Кто эта Розмари де Лафрамбуаз?

Он расплылся в странной улыбке — не то чтобы совсем сальной, но, в общем, из этой области.

— *Vimbo*³⁶ Мейсона, — сказал он. — Познакомитесь.

— Розмари де Лафрамбуаз?

Тут я вдруг понял, почему «мы», не объясненное в письме Мейсона, вовсе меня не озадачило: я всегда знал, что Мейсон, где бы он ни был, непременно должен жить с какой-нибудь женщиной, зовись она хоть Розмари де Лафрамбуаз.

— Роз-мари де Ла-фрам-буаз, — отдельно и смачно произнес Касс. — Обалдеть.

Я заметил, что на пределе изнурения — у меня это, по крайней мере, так — наступает минута, когда дух делает последний рывок к сознанию и рассудку, прежде чем разлететься дикими осколками или угаснуть во сне. Натруженные чувства в этот миг необычайно обостряются и воспринимают легчайшее раздражение, как свежая кожа, затянувшая рану. И наверно, из-за этого, пока Касс говорил, меня захлестнуло сложное двойственное ощущение — дикой роскошной красоты вокруг и в то же время чего-то зловещего, отдаленного, словно в мои барабанные перепонки уже стучал звук катастрофы, не внятный простому уху. Солнце завалилось далеко за холмы, и вся роща вокруг — лозы, каменные стенки, деревья — стала тусклой, синей, утонула в необычном раннем сумраке. Младший мальчик играл рядом с нами в канаве, хлестал по камням веткой и тихонько сосредоточенно взвизгивал. Высоко на склоне по-прежнему щебетала Поппи — теперь ее было не только едва слышно, но и едва видно в полумраке: сидя на ветке лимонного дерева, она будто парила среди листвы. Музыка долетала снизу, плеск весел разносился над водой, кругом все затоплял сочный летний запах — земли, лимонов, цветов, — и меня пробрала сладкая тоска, призрачные видения прекрасного понеслись в голове, и томительно захотелось чего-то, только я сам не мог понять чего.

³⁴ Прекрасного Неаполя, прекрасного края.

³⁵ Самбукского красного.

³⁶ Малышна.

Во время этого приступа до меня вдруг дошло, что Касс, несмотря на внешнее самообладание, совсем пьян, что он размахивает бутылкой и продолжает говорить — не мне, а этому спокойно оседающему сумраку, разрывая его протуберанцами своего красноречия, отдающего чертовщиной.

— А лица! Бог мой, видали вы что-нибудь подобное? Это прямо из Гойи, самого желчного, самого черного, ядовитого Гойи! Гойя! Он ногу бы отдал за такую натуру. Один там — самый старый у них — точно говорю, допотопная тварь. На нем изначальное проклятье, если такое бывает. А эта пьянь, как его — Бёрнс. Ну принц, ей-богу! Я бы греб золото лопатой, будь он из Медичи. Тосканская внешность — глазки-щели, как у затруханных непутевых брательников Лоренцо, которых тащили в город повеселиться в бардаках. Клянусь — единственный человек на свете с чисто зелеными белками. Проверьте, Леверетт, — захихикал он, — и убедитесь, что это святая правда. А дама? Проверьте. Дама потрясающая. Но нежить. Вчера на солнце она повернулась передо мной — был ясный полдень, когда все залито страшным резким светом, — и клянусь, из-под кожи проступила мертвая голова, четко, словно из мрамора вытесана. Потом я увидел ее глаза, и, честное слово, они тут же испарились, как студень, растеклись на жарком солнце...

Раздался недовольный сердитый голос Поппи уже не так высоко, где-то рядом с нами:

— Ну что ты разошелся, Касс Кинсолвинг? Нашел кого ненавидеть — артистов. Мистер Леверетт расстроен. Он устал и хочет наконец доехать до верха. Говорила я тебе, нельзя пить столько вина в такую жару...

— Слушайте, Леверетт, — не умолкал Касс, — я вам надоед? Хотите увидеть лица, настоящие лица? Вы здесь побудете? Давайте я как-нибудь сведу вас в Трамонти. Вот где лица прямо из двенадцатого века. Я покажу вам лицо такое гордое, трагическое, исполненное такого смертного величия, — вы решите, что перед вами Исайя. Мало этого! Там...

— Хватит! — сказала Поппи и топнула ногой. — Не понимаю, что на тебя нашло в последнее время, Касс Кинсолвинг. Почему ты себя так ведешь.

— ...там есть старая ведьма, она таскает на горбу колья для виноградника и зарабатывает этим девяносто лир в день. Девяносто лир! Пятнадцать центов! На горбу! Вы должны увидеть ее лицо. Лицо из Грюневальда — эти губы, искривленные постоянной мукой, серые и жалкие, как оживший стон...

— Перестань наконец! — крикнула Поппи. — Ты таким становишься нудным от вина! И язву свою ты доконаешь! Не слушайте его, мистер Леверетт. А я вам вот что кричала: пожалуйста, попросите Розмари де Лафрамбуаз отдать нам на вечер Франческу. Фелиция простудилась, я хочу ее сразу уложить, и чтобы Франческа помогла.

— Да... — начал я, но тут все мое расслабленное умиление от окружающей красоты исчезло, а нахлынул — тошнотворный страх. «О господи, опять? — подумал я. — Неужели опять?» Ибо оказалось, что торопливый злоедающий треск у меня в ушах — не обман чувств: треск был настоящим, он нес опасность и раздавался совсем рядом. Оглушительные выстрелы разрывали сумрак.

— Осторожно! — завопил я. — С дороги!

Но было поздно. Ревущая серо-зеленая тень и верхом на ней две фигуры — брюнет и прильнувшая к нему сзади девица в красных штанах, которые трепало ветром, — мотороллер был уже между нами, — и Поппи с Кассом испуганно отскочили к крылу «остина», а дети разлетелись во все стороны, как клочки бумаги на ветру. «Идиот!» — крикнул Касс, но тоже поздно. Мотороллер пронесся мимо на полном газу, неприлично стреляя из-под хвоста дымом, и шелковистые красные бедра девушки мерно вздрагивали, как у наездницы, в такт толчкам машины; потом все это исчезло за поворотом. Мы с тревогой повернулись к обочине: Ники еще вертелся волчком, словно его ударило или зацепило, потом растянулся в канаве. Поппи подлетела к нему.

— Ники! Ники! — закричала она. — Посмотри на маму!

Все это сегодня уже было; тут впервые в жизни, честное слово, я поверил, что ад существует.

— Скажи мне что-нибудь! — заплакала она.

И сразу отозвался веселый голос:

— Я не ушибся, мамочка. Я просто упал.

Потом я услышал, как всхлипывает с облегчением Поппи, и свой голос:

— Вы поняли, Касс, что я говорил про итальянцев? Они больные. Они...

Касс остановил меня повелительным жестом, взмахнул бутылкой.

— Не надо конвульсий, мой друг, — спокойно сказал он. — Никакой это не итальянец. Наш киношничек. Откуда-нибудь из Айовы.

II

— Это был кошмарный день, — сказал Касс. — Не день, а сволочь.

Я согласился. Только что я рассказал ему — первый раз во всех подробностях — о моем столкновении с ди Лието и обо всем остальном. А он, потя под каролинским солнцем, то и дело отирал лоб. Потом он вспомнил, какой у меня был вид, и звонко, оглушительно захохотал, хлопая себя по коленям; он хохотал так громко и так долго, что я тоже рассмеялся, впервые, наверно, разглядев смешное в моем сумбурном приезде; когда мы вдоволь насмеялись и последние веселые смешки сменились тихой задумчивостью, он сказал:

— Понимаю, тогда это было не смешно. Совсем не смешно. Но поглядели бы вы на себя. Вы были похожи на большую испуганную птицу.

— Но вы-то... — начал я и остановился, не зная, что еще сказать.

Вот уже третий день мы выезжали в лодке на середину реки Ашли и ловили крупных окуней. И если он, знавший большинство ответов, не рассказывал мне почти ничего, я рассказывал ему без конца — хотя мне и рассказать-то было нечего. Стояла жара, над нами вились комары; вместо всегдашнего берета, который сделался в моих глазах неперенной и даже карикатурной принадлежностью американца за границей, голову его прикрывала от солнца соломенная шляпа. Она да старые саржевые брюки морского пехотинца, выгоревшие до сеного цвета, составляли его рыбацкий наряд. Касс был босиком, и на очках его оседала испарина. Он жевал толстую сигару, недокуренную, погасшую.

— Рыба-жаба, — фыркнул он, выдернув в лодку пучеглазую рыбу, которая билась и глотала воздух. — Другой такой подлой твари бог не создавал. За две секунды заглотает два метра лески. Руку заглотает, если зазеваешься. — Он выбросил живую рыбу за борт. — И больше тут не побирайся, жаба. Лучше уж подцепить гадюку, — продолжал он, — да что угодно. Посмотрите туда. Видите, вода кипит? Рыба — лейостомус. Вы, случайно, не любитель? А то закиньте там и будете таскать хоть шесть часов подряд. И наживки не надо. Правда, и азарта никакого. Прошлый год в июле мы поехали с Поппи и могли бы натаскать за полчаса три ведра. Только рыба — сплошные кости, кости и больше ничего, да и тех с гулькин нос. — Он снова наживил и забросил крючок, щурясь от солнца. Берега реки были необъятными тенями — черный дуб, кипарис, кедр; жара и тишь дурманили, как наркотик. — В сентябре хорошо клеет, — сказал он после долгого молчания. — Посмотрите туда, за деревья. Посмотрите на небо. Видели вы когда-нибудь такую чистоту и прелесть? — Я никогда не слышал, чтобы в слово «чистота» вкладывали столько страсти; голос звучал почти молитвенно. Он, должно быть, почувствовал это и поскорее переменял тему: — Хм, так, говорите, смешного было мало? А парень? Ди Лието — так его звали? Говорите, он до сих пор... без сознания?

— Лежит пластом, — сказал я. — Кома. По крайней мере, полгода назад было так. Время от времени мне пишут из больницы в Неаполе. Одна монахиня.

— Боже милостивый, — пробормотал он. — Так это сколько уже? Два года лежит, бедняга. Как вы думаете, выкарабкается?

— Не знаю. Бывает, люди лежат так по пять и десять лет и больше. Я спрашивал врачей, знакомых — говорят, это вполне возможно, но особенно не надейтесь. Время от времени я посылаю туда немного денег.

— Значит, не вы виноваты. — Он опять умолк, и по лицу его пробежала мимолетная печальная тень, которую я уже не раз замечал, находясь с ним рядом; промелькнула, не больше, — тень утраты, сожаления и бесконечной, не забывшей боли. Тень исчезла так же быстро, как появилась, лицо стало спокойным, остались лишь терпеливые морщины. — Значит, вы не виноваты, — повторил он. — Но мучаетесь из-за этого. Иначе и быть не может. Мучаетесь и можете грозить

кулаком всей вселенной как ненормальный, требовать ответа — и слышите такой вот смешок. Это бог или кто-то велит вам не вешать носа. Dio Buonò! ³⁷ Нет там... Эй, эй! Глядите! У вас взяла!

Но рыба уже сорвалась у меня с крючка.

— Может, краб,— сказал Касс,— или угорь.— Он поглядел на небо.— Полпервого, наверно,— пробормотал он.— У Поппи небось завтрак готов.

— Но я вот чего не возьму в толк,— сказал я, возвращаясь к главной теме.— невероятным мне показалось не то, что он сделал сперва. Изнасилование. Это как раз по его части.— Я загнулся.— Хотя такое, пожалуй, нет. Не представляю, чтобы он до такого дошел. То есть до садизма. До убийства и прочего. Что изнасиловал — поверить по крайней мере можно. Но не в его природе эти... угрызения совести — так ведь получается? Угрызения, а после — что там было? Храбрость, мужество напоследок? Покончить с собой как бы во искупление? Понимаете, для этого требуется...

— Для самоубийства? — перебил Касс. Он вынул изо рта сигару и, прищурясь, глядел на меня с невеселой улыбкой.— Ничего для этого не требуется, дорогой мой. Разве что отчаяние. А храбрости требуется меньше всего.— Он глядел на меня без улыбки, хитро, слегка подергивая леску.— Ни храбрости не требуется, ни мужества, ничего. Это вам говорит знающий человек. Черт бы побрал комаров.— Он шлепнул себя.

Нечто подобное он внушал мне накануне; меня это озадачило так же, как сейчас, но он не дал мне времени подумать: будто спохватившись, что проговорился, круто повернул разговор с Мейсона на меня и спросил:

— Кстати, что стало с вашей машиной? Это была сплюснутая жестянка. Вам ее починили?

— Нет. У меня не было времени. Помните... вы же помните, не прошло и нескольких часов как началась вистопляска. Какой-то кошмар. Понимаете, я приезжаю в таком состоянии, просто разбитый. А на другой день — Мейсон мертв. Мне уже было все равно. Я продал ее Ветергазу как лом. Перед отлетом в Нью-Йорк. Кажется, он дал мне за нее долларов сто.

— А-а, наш любезный *padron di casa* ³⁸ Фаусто? — Он усмехнулся.— Вы его не знаете. Клянусь богом, этот будет барышничать билетами на Страшный суд — в партер и бельэтаж, включая свое собственное место. Он ее, конечно, починил и заработал шестьсот процентов.— Касс опять усмехнулся и замолчал. Немного погодя спросил: — Скажите мне вот что, старик. В тот день на дороге — я очень был пьян? Ну, когда мы с вами познакомились.

Он смотрел на меня так пристально, что я заерзал. Потом начал что-то говорить, но он перебил:

— Понимаете, я почему спрашиваю — потому что с какого-то момента у меня провал в памяти. Полный. А потом уже — поздняя ночь. я в душе, и вы стараетесь привести меня в чувство. Все, что между этим, как корова языком слизнула. Я хочу сообразить, когда именно я выключился.

— Не знаю,— сказал я, стараясь припомнить.— Черт, да вроде не так уж вы были пьяны. Ну, и — я говорил уже — потом вы завелись, стали разоблачать кого-то из киноартистов, но, ей-богу, вы и тут не показались мне...

— *Mama mi!* ³⁹ — Он закатился смехом.— Самовлюбленные голливудские павлины! Я и забыл про них. За каким чертом они-то туда приехали? Ах да, ну как же! Этот Хамфри Богарт для бедных... Фу ты, как его? Бёрнс! И девушка нашей мечты Алиса Адэр с куриным мозгом. И Крипс... да, вспоминаю его.— Он повернулся с улыбкой, его мятое, морщинистое лицо повесело и прояснилось.— Знаете, чем больше думаю об этом, тем больше радуюсь вашему приезду. Я был пьян до безобразия. И вот вы, как проводник, ведете меня по белым пятнам. Серьезно.

— А режиссер,— сказал я,— Крипс. Знаете, он был на вашей стороне. Целиком.

— Знаю,— задумчиво ответил он, почесывая подбородок.— Я бы...— Но опять словно от приступа тайной печали лицо его потемнело, и он умолк.— Лу-

³⁷ Боже милостивый!

³⁸ Хозяин дома.

³⁹ Надо же!

фарей,— тоскливо сказал он немного погодя,— вот бы кого половить. В Северной Каролине они с ваше бедро величиной. Есть такая бухта Орегон — они там кишат. И знаете, пока его вытащишь — наломаешься. Помню, мальчишкой мы с дядей поехали туда на выходные, достали лодку и таскали их, пока я руки до крови не стер, честное слово...

— Но знаете, когда я вас в первый раз увидел, на дороге,— сказал я уже с настойчивостью,— мне чуть ли не больше всего запомнились слова Поппи. Что, ну...— Я запнулся.— Поправьте меня, если перепутал. Понимаете, она была по-настоящему расстроена и обмолвилась, что Мейсон подчинил вас, так, кажется...

И в который раз (мне надо было это предвидеть) получилось так, как будто я радиоприемник, который он выключил мягко, вежливо, но без малейших колебаний: про Мейсона из него нельзя было вытянуть ни слова.

— Ну не знаю,— сказал он,— это я не знаю. Пожалуй, все было не так погано, как могло показаться.— Он поднял глаза к небу.— А поздновато уже.

После этого мы смотали лески и затарактели к берегу завтракать.

Я рассчитывал на два выходных дня, самое большее. Но рискуя местом из-за чрезмерно затянувшегося отпуска (позже в Нью-Йорк полетели телеграммы о внезапной болезни), я пробыл здесь больше двух недель. Конечно, только душевная широта, гостеприимство и учтивое долготерпение южанина позволили Кассу вынести мои расспросы и приставания, да еще, пожалуй, то, что я раза два все-таки выручил его в Самбуку. Хотя я оплаты не требовал. Щедрость, гостеприимство, доброта — они были в его характере, и, конечно, мы питали друг к другу симпатию; но понимание и согласие, которые соединили нас, родились из чего-то другого. Я быстро это почувствовал: втихомолку и по неизвестным мне причинам он тоже бился над какими-то своими загадками, что-то пытался понять. И точно так же как я надеялся с его помощью рассеять угнетавшие меня тайны, он видел во мне ключ к своим.

Я думал остановиться в гостинице. Касс и слышать об этом не захотел. «Пузатыми капиталистами мы еще не стали,— сказал он,— но тьюфчок для вас как-нибудь найдется». За мою долю продуктов, однако, он разрешил мне платить. Я спал в пропахшем плесенью мезонине под самым коньком крыши его нескладного, отчаянно ветхого, скрипучего дома возле Батарей и каждое утро просыпался от топота его детишек и пронзительных криков Поппи, провожавшей их в школу; для холостяка это были приятные домашние звуки, я лежал и слушал, и постепенно они утихали, смешивались с напевными негритянскими выкриками цветочниц в мощеных переулках. В комнате подо мной топал Касс — в этой комнате он по утрам писал. В окно лился густой запах жасмина, в саду весело пел пересмешник, и, опершись на локоть — сна уже ни в одном глазу,— я смотрел на зеленые, в лиственной и кружевной тени улицы одного из самых красивых городков западного мира.

— Это точно,— сказал однажды Касс.— Странное дело: знаете, там, в Европе, когда бывало тошно, хуже некуда, и я ненавидел Америку так, что уже не мог сдерживаться,— даже тогда я думал о Чарлстоне. Как я вернусь и буду здесь жить. Почти никогда о местах, где прошло детство,— о Северной Каролине, сосновых лесах в округе Колумбус. Ни туда мне не хотелось, ни, упаси бог, в Нью-Йорк. Я только Чарлстон вспоминал и только таким, каким запомнил его в детстве. И вот я здесь.— Он показал на просторную гавань, сияющую, зелено-голубую, гладкую, как стекло, и, описав рукой дугу,— на южный край города, где в глубокой тени среди алтея, граммофончиков и жужжания шмелей стояли старые дома, не оскверненные капризными переделками и модными новшествами.— Такую чистоту где еще найдешь? — сказал он.— Посмотрите, какая кладка. Да один такой дом стоит всех конур в Нью-Джерси с их стеклами и консолями.

Мы удили и купались. Плавание у Касса было страстью — он резвился, как дельфин, и надолго исчезал под водой, давая знать о себе только редкими взрывами пузырьков. Мы часто катались на ялике вместе с его светловолосыми, глазастыми ребятами. Но больше всего — разговаривали. Спешить нам было некуда. Занятия в его рисовальном классе («Держать акции «Дженерал электрик», конечно, выгоднее, но вы бы удивились, как прилично на это можно жить, если

взяться всерьез») прервались на лето, половина ставки на сигарной фабрике тоже временно закрылась — и на эти каникулы я как раз угодил.

— Я и поступил-то туда только ради бесплатных сигар, — сказал он, — они мне необходимы, раз я завязал с питьем. Но знаете, это просто подлость. Сигары у нас гомогенизированные. Это как делается: берут хороший табак, ямнут его, как вяленую дыню, запускают в большую машину — и выходит он такой же ароматный, как жевательная резинка. Здоровые, полновесные пласты собачьего дерьма. Кто это выдумал, что машина — помощница человека? Я сам на ней работаю. Скучища такая, что чуть не отбило на всю жизнь охоту курить. А мне это было бы — зарез. Художники, почти все, принадлежат к оральному типу — мне психиатр сказал, — им просто надо что-нибудь мусолить во рту.

Вдобавок нас объединяла любовь к музыке. Он собственноручно собрал классный приемник. Сейчас, по его словам, он отключался на Букстехуде, и мы с ним прослушали «Alles was ihr tut»⁴⁰ раз, наверно, пятьдесят.

И почти каждый день ездили в полуразвалившийся, с дырявой крышей рыбацкий домик на реке — иногда вдвоем, иногда с Поппи, по субботам и воскресеньям всей семьей — на подержанном, купленном за сотню «джипе» из армейских излишков, в который мы погружались всемером (вернее, ввосемьмером, считая цветную прислугу Дору) и потом тряслись — живым клубком отдавленных ног, липких коленок и взвизгов. Домик стоял в дубраве, синеватой от мха. И здесь — на берегу или в лодке, — разомлев от жары, тишины, полуденного сияния, мы пытались разобраться в недавнем прошлом.

— А Розмари? — однажды спросил я. — Его большая блондинка. Она-то что же? — Мне уже было ясно, что Мейсон — тема запретная, но я рискнул закинуть удочку в надежде, что Касс клюнет на самого юркого из живцов — секс. — Я не маленький. Я понимаю: ее присутствие не означало, что он не полез бы к первой попавшейся женщине. Хотя, казалось бы, такой и одной довольно. Даже ему. По крайней мере, чтобы не спать, если его отошьет, например, — а так оно, похоже, и было — эта девушка, Франческа. — Я помолчал. — Тут что-то не сходится. Я знаю, кто такой был Мейсон. Но то, что он сделал... ну просто невысказано. Ходок, понимаете, это одно, а насильник — совсем другое. Не был Мейсон половым психопатом...

— А она была ничего, Розмари, — сонно протянул Касс. — Замечательная гидравлическая кувыркательная машина. Господи боже. Чего человеку... — Голос его затих. — Я вообще ничего не знаю о Розмари, — уклончиво пояснил он немного погодя. — Ничего. — Он облокотился на колено и посмотрел на меня ясным, внимательным взглядом. — В том-то и беда. Пока я был в Европе, я вообще ничего не соображал. Я был половиной человека — увяз в пьянке, увяз в страхе, увяз в самом себе. Ходячая биологическая авария, сплошное разложение, повязанное одной ядовитой мыслью — уничтожить себя самым мучительным способом.

Он сидел, привалившись к дереву, а теперь встал — напряженный, добродушный и насмешливости как не бывало — и начал расхаживать. Я пригнулся. Такое превращение в нем я уже наблюдал: беспечный, мирный Касс вдруг исчезал, появлялся напряженный, возмущенный, мрачный. Даже дикция у него менялась. Станным образом в такие минуты он напоминал мне захолустного баптистского проповедника: на улице балагур, начиненный прибаутками, с кафедры он мечет громы и прожигает тебя глазами. Любопытнее всего, что в Кассе это уживалось естественно. Сейчас, в выгоревших плавках, с ключьями мха, прилипшими к толстым ногам, он остановился и, скривив лицо, постучал себя по виску, чтобы выбить из уха воду.

— Человек не может жить без какого-то стержня в душе, — сказал он. — Без веры, если хотите. Веры у меня было не больше, чем у котофея. Пусто. Пусто! Что я могу вам рассказать о Мейсоне, или о Розмари, или о ком угодно? Две трети времени я был пьян до беспамятства, до бесчувствия и сам этого добивался, потным, отчаянным трудом, — только бы выбраться из жизни, запереться от нее, найти такое уютное, пушистое тепло, где можно лежать и не думать ни о себе, ни о детях, ни о ком на свете. Посмотрите на мои руки, на пальцы. Посмотрите, старик! Видите, как держу? Не дрогнут, не шелохнутся, видите? Потре-

⁴⁰ «Все, что вы делаете» (нем.).

нироваться — и я смогу вроде того хирурга двумя пальцами вязать узлы из кетгута в спичечном коробке. Да, хвастаюсь: руки — самое ценное мое имущество. А было время, я наливал себе вина в стакан только до половины — остальное все равно выплескивалось. Было время, я смотрел на свои руки, и они тряслись и дергались так, что казалось, это не мои руки, а какого-то старого паралитика; я молился, чтобы они перестали трястись, молился и плакал. — Он замолчал и кивнул. — Что я распричитался? Не на поминках.

— Нет, рассказывайте. Я слушаю.

Касс сел рядом со мной.

— Но дело было не в этом, — продолжал он. — Не в пьянстве. Корень зла сидел глубже. Я был душевно болен и хоть убей не мог понять, откуда эта болезнь. Я вам на днях рассказывал про свое детство: округ Колумбус, нищета, сиротство и так далее. Мне долго казалось, что все от этого. От сиротства, беспорточного сиротства! Оттого, что кончил я всего восемь классов. Темнота, темнота беспросветная. Помню, в Париже, когда я пробовал стать художником, да и в Риме, мне все время вспоминался припев одной чудесной старой песни. — Он помолчал. — Как-нибудь расскажу вам про Париж. Со мной там случилась самая потрясающая штука за всю мою жизнь. В общем, — продолжал он, — песня эта называется «Умирает мальчишка-газетчик», а припев такой: «Мне хуже всех с начала до конца, мне не хватает матери-отца». Не хватает матери-отца, — повторил он со смешком. — Я ее все время пел. И слез над собой пролил — хоть шлюпку спускай... Потом война, — продолжал он. — На нее тоже удобно было валить. Неизгладимые ужасы войны в свинцовых тихоокеанских просторах. Ха! И что женился на католичке, вдобавок с Севера, что она облапошила меня и посадила мне на шею целую стаю горластых поносных головастиков, которые бухгалтеру допекут, галантерейщика, искусствоведа, а не то что клубок издерганных нервов вроде меня. Или... — Он опять замолчал, и слабая улыбка еще кривила ему губы.

— Хорошо, — сказал я. — Итак...

— Итак, я без памяти мотался по континенту, не просыхал, света божьего не видел, плевал на семью, плевал на себя, ходил по грани между жизнью и смертью, а грань эта, можно сказать, была не толще волоса — и вот приехал в Самбуку. Я думал, что, может быть, здесь опомнюсь, но я себя обманывал. В тот день, когда вы меня увидели, я был в таком беспамятстве, как ни разу в жизни ни до, ни после. В полном обалдении, в нокауте, за горизонтом — и хоть убейте не смогу рассказать вам, что там творилось. Разве только...

Поппи позвала из домика:

— Касс! Питер! Бобы осты-ынут!

— Что — разве? — спросил я.

— Без паники, детка! — крикнул он. — Разве только вы мне расскажете.

Вы, наверно, могли бы.

— Что рассказать?

— Расскажите мне весь тот день. Припомните, поднатужтесь. Кое-что и так уже...

— Касс!

— Да, да! Скачем, японский бог!

Так что мне пришлось рассказывать первым...

Я еле-еле въехал по склону в Самбуку, после того как расстался на дороге с Кассом и Поппи. Для моего покалеченного «остина» это было смертельное восхождение. Через полчаса и раз десять остановившись, чтобы остудить мотор, я увидел старинные ворота Самбуку; тут мой автомобиль окончательно взбунтовался, стал дрожать, стрелять и вовсе замер как раз тогда, когда все украшения первобытной долины, из которой я выбрался, — скалы, утесы, стенки, по которым шмыгали ящерицы, — остались позади и метрах в трехстах подо мной открылось море. Мне не верилось, что я доехал.

Сквозь арку я увидел городскую площадь, захлестнутую арканом ослепительного солнечного света, но вид моря с высоты был настолько театральным и романтическим, что я не сразу обратил внимание на странную тишину, безлюдность города и площади. Вид с высоты был поразительный. Несколько минут

я стоял не двигаясь, и у меня даже от души отлегло. По ту сторону долины на немислимой высоте и круче паслась горстка жалких, несчастных овец: казалось, легчайшее дуновение ветра снесет их вниз, как бумажные фигурки, вырезанные из детского календаря. Потом, музыкальные и почти красивые, из долины вылетели два сытых крика автобусного рожка; они, а за ними церковный колокол где-то далеко позади, за низкорослой чащей, заставили меня опять удивиться неестественной тишине у городских ворот. Я ползлся под заплесневелую арку искать телефон и, вновь углубившись в свои тягостные мысли, как-то не придавал значения тому, что меня пытается удержать за рукав чья-то рука; это была рука карабинера, и в потемках я услышал его лихорадочный, хотя и запоздалый шепот: «Signore, aspett! C'è il film!»⁴¹

Да и услышал, наверно, вполуха. Во всяком случае, мне и сейчас тяжело рассказывать, что произошло, когда я машинально освободился от цапучей руки и вышел из-под затхлой арки на солнечную площадь. Наверное, я так был поглощен своими неприятностями и так погружен в себя, что не обратил внимания на суету и возню вокруг столика кафе, который очутился у меня на дороге: за столиком сидели мужчина и женщина и увлеченно болтали. Тут, рассеянно смутившись, я тронул за плечо насупленного официанта, парившего над ними, разлепил губы и даже произнес первые слова вопроса:

— Cameriere, per favore, c'è un telefono...⁴²

За спиной у меня раздался вопль:

— Стоп! Стоп, черт подери! Стоп!

Я обернулся: на меня была наставлена целая батарея кинокамер, дуговых ламп, рефлекторов и яростно выпученные глаза шаровидного человечка в цветастых шортах, с окурком сигары во рту. Он наступал на меня с криком:

— Эй, paesan!⁴³ Вались отсюда! Уйди к чертовой матери! Умберто, скажи ему, чтобы убрался! Он загубил нам тридцать метров пленки! Вались отсюда, paesan!

На меня смотрело множество глаз: местные зеваки, столпившиеся за веревочным ограждением, киношники у прожекторов и в особенности двое, на чей столик я налетел. Один из них был Карлтон Бёрнс, который обдал меня всемирно известным взглядом скучающего органического отвращения. Никто не засмеялся. Все это было как в чрезвычайно дурном сне. Сперва, как под атакой бабки ди Лието, меня пронял тошнотворный нутряной ужас — ужас мальчишки, застигнутого за стыдным делом: я похолодел, обмяк, ослаб, в висках застучала не кровь, а само унижение; но вдруг — то ли от жары, то ли от окончательной растерянности или же оттого, что после расправы, которую весь день творила над мной Италия, меня облял соотечественник, пузатый и коротенький, но все равно соотечественник, — я закипел.

— Умберто! — крикнул он мне в лицо, но не мне. — Скажи своему карабинеру, чтобы он их не пускал. А этому — чтобы убрался. Вал...

— Сам вались, урод несчастный! — взвыл я. — Как ты со мной разговариваешь? Я что тебе — итальянец? У меня столько же прав на эту площадь, сколько у тебя! Кто ты такой, чтобы мне приказывать? — В удушливом зное перед глазами у меня лопались оранжевые шарики истерии, я сам слышал, что мой захлебывающийся голос звучит все надрывнее, набирает опасную высоту, но при этом у меня возникло чувство собственного могущества, ибо толстячок замер как вкопанный, сигара у него во рту нерешительно опустилась наподобие семафора, а глаза — от удивления, надо думать, — выкатились, словно он заболел зобом. Из двух моих заключительных фраз первая — «Не смей шпынять итальянцев!» — показала мне ненаучной и театральной, зато, выкрикнув: «Я усталый, измотанный человек!» — я впервые за день ощутил противенькое торжество и с этими словами, содрогаясь, как рассерженный и темпераментный актер, повернулся кругом и покинул место происшествия, в котором только сейчас распознал съёмочную площадку.

Обида жгла меня так, что я мог бы уйти и с площади и из города и пешком вернуться в Рим, если бы не столкнулся с Мейсоном Флагом. Он стоял пе-

⁴¹ Синьор, стойте! Здесь фильм!

⁴² Официант, будьте добры, есть у вас телефон...

⁴³ Земляк.

ред аркой, все видел и веселился до упаду. Рубашка на нем была в серебряных цветах, белая кепка сдвинута набекрень, и он покатывался от хохота; при моем приближении хохот сменился беззвучными судорожными смешками, а плечо его нервно дернулось кверху: по этому тикю я узнал бы Мейсона с любого расстояния и в любом ракурсе, хоть в Самбуко, хоть в Париже, хоть в Перу.

— Питси, старичок,— хихикнул он, пожимая мне руку,— махнем туда, где вечно пляшут и поют.

Это была только нам двоим понятная ссылка на годы совместного учения в частной школе. Мейсон неизменно приветствовал меня таким манером, когда мы встречались после долгого перерыва, и я отвечал ему в тон, со школярской удалю, хотя всякий раз чувствовал себя ослом.

— А махнем, старик,— подхватил я.— Что это за тип на меня налетел? Ух и разозлился я...

— Да ну, ассистент режиссера. Раппапорт, кажется, его фамилия. Не расстраивайся из-за него. Он тут всем на нервы действует. Алонзо должен занять тебя в картине. Ты был великолепен.

— Очень неприятно, что испортил им сцену. Чудовищный день. По дороге сюда возле Помпей я врезался в...

— Питси, ты роскошно выглядишь,— перебил он.— Молодец, что приехал. Сколько мы не виделись? Три года? Четыре? По-моему, ты ни капли не изменился. Пожалуй, щечки раздались и вид менее озабоченный, я бы даже сказал — в окрестности гланд более удовлетворенный. Как тебе итальянское мяско, старик? Некоторые утверждают, что ты до тех пор не отведал вкуса жизни, пока хоть одна туземочка не простонала тебе в ухо *mamma mia*⁴⁴. Питси, ты в изумительной форме.

— Благодарю,— вяло отозвался я.

Вероятно, я погубил весь съёмочный день: возле камер устало принялись за разборку, а местные хлынули за ограду и вновь завладели своей красивой площадью.

— Не расстраивайся из-за них,— утешил меня Мейсон, когда мы шли через площадь к кафе.— У них тут не съёмки, а какой-то карнавал. С ума сойти. Этой сцены, в которую ты затесался, три часа назад еще не было в сценарии. Такого дикого производства ты в жизни не видел. Сценаристы отпадают, как мухи.

— Сколько они тут пробудут? — спросил я, ощутив приятный укол ожидания. Через родителей Мейсон всегда соприкасался с миром кино, и хотя со времен детства жизнь сводила нас с ним неоднократно, мои отношения со светилами этого мира были менее близкими, чем хотелось бы. Во мне долго жило чисто подростковое благоговение перед этим народом, и сейчас надежда на настоящее знакомство — пусть мимолетное — заиграла в моем воображении неожиданно живыми красками.— Они здесь надолго?

— Вот твоя каракатица Раппапорт,— сказал Мейсон, словно не слыша вопроса.— Не расстраивайся из-за него. Знаешь, какое у него имя? Угадай.

— Откуда мне знать?

— Ван Ренслер. Они зовут его Ренс. С ума сойти.— Он резко дернул плечом, как будто хотел выдернуть его из сустава.

Посреди площади мы попали в гомонящую толпу статистов, от которой отделились две молоденькие красивые итальянки в очень условных пляжных костюмах и скользящим шагом, с особенным оживлением в области таза прошли перед нами. Мейсон схватил меня за руку.

— Нет, ты посмотри, Питси, тут, на горе, столько товару, сколько разумному человеку не осилить. Ты только посмотри. Если бы мне предстоял полный сеанс с чем-нибудь таким, я бы застраховал свою жизнь еще раз. Боже мой,— вздохнул он, размахисто ступая сухими длинными ногами.— до чего же я рад тебя видеть, Питси. Так как тебе итальянский товар? Ты уж небось ветеран.

— Видишь ли...— начал я, но он уже кричал: «Пока, Сеймур!» — и махал рукой молодому человеку, который пригнулся к рулю открытого «ягуара» на обрывистом краю площади, словно готовясь к прыжку в космос. «Встренемся в кинеле!»

⁴⁴ Мамочка.

— Прощай, последний сценарист, — сказал он мне. — Славный малый. Когда-то писал романы... А бог их ведаёт, сколько они тут пробудут. Два дня, неделю — разве можно загадывать при такой безалаберщине? Приехали сюда несколько дней назад — сразу после того как я тебе написал. Не знаю точно, какой у них расклад в смысле финансов — что-то там с замороженными лирами, примерно на миллион долларов, и компании надо с этим извернуться, и вот они откопали ужасный костюмный роман про Беатриче Ченчи⁴⁵, набрали полугитальянскую-полуамериканскую группу, потом выяснили, что гардероб и реквизит не лезут в смету, и тогда решили переиграть все на фарс в современных костюмах. Короче говоря, колдовали над этим добром по всей Италии, нанимали, увольняли сценаристов — или те сами уходили, потому что лепить уже надо совершенную дичь, — и в конце концов получилась такая каша, что продюсер Киршорн — он сидит в Риме, не может оторвать от кресла свою толстую задницу — велел им убираться с глаз долой и как угодно, но кончить это дело. И Алонзо — да ты, наверно, встречал его у нас, когда мы учились, он был близкий папашин приятель, — так вот, Алонзо уже бывал в Самбуко и решил, что тут и выпить можно славно, и природой полюбоваться, пока кончают с этим абортотом. Мы с ним столкнулись прямо в утро их приезда. А вот и Розмари! Детка! — закричал он, ухватившись за мою руку и показывая на меня. — Смотри, Питер уже здесь.

Из-под арки возле кафе вышла в шафрановых брюках — такая высокая, каких я в жизни не видел, и встала, как сторожевая башня, загордив ладонью глаза от солнца. Потом вдруг со скукой сморщила губы и двинулась дальше — жирафьим парадом громоздкой северной красоты, с огромной мотающейся сумкой под локтем. Я замер, ошеломленный и ее великолепием и ее ростом.

— Это твоя? — спросил я.

— Она? Да, — ответил Мейсон почти величественно. — А что?

— Роскошная. Но... но в ней, наверно, три метра.

— Спокойно, Питси, — снисходительно засмеялся он. — Всего метр восемьдесят шесть. Она меньше меня. — Несколько шагов мы сделали молча, потом он добавил: — В первый раз мне тоже показалось, что я взбираюсь на Канченджангу...

Отчего я немного поежился, однако промямлил нечто одобрительное.

— Фамилия — де Лафрамбуаз, — хмыкнув, сказал он. — Не смейся. Фамилия настоящая. Она из очень хорошей и денежной лонг-айлендской семьи, и ей всего двадцать два года. Из французских гугенотов. Воспитания наилучшего: школа мисс Хьюитт, колледж — Финч, все как полагается. — По его деловитому голосу я не мог понять, шутит он или нет. — Когда мы познакомились, она была манекенщицей и зарабатывала достаточно, чтобы показать родителям нос и умотать с одним твоим знакомым. А вообще, — добавил он почему-то слегка извиняющимся тоном, — она хорошая девочка. Никаких предрассудков и золотое сердце. И, кстати, не дура.

А сама Розмари уже цвела, как исполинский нарцисс, за столиком в тени зонта, склонив золотую голову над «Нью-Йоркером». Когда мы подошли, она взглянула на меня с таким невозмутимым безразличием, как будто оно было нанесено на ее крупное, изысканной лепки лицо вместе с толстым слоем косметики.

— Здравствуйте, Питер Леверетт, — произнесла она грудным голосом. — Булка столько о вас рассказывал...

— Булка?

У нее вырвался звонкий смешок.

— Ох, извините. Это я Мейсона так зову. Мейсон, дорогой, тебе неприятно? В первый раз я тебя выдала. — И оборотись ко мне: — Но вы ведь старые друзья, правда, Питер Леверетт? У меня такое чувство, как будто я вас знаю много лет.

Лицо ее по-прежнему оставалось прекрасной маской, но в голосе — несмотря на северную манеру разговаривать со стиснутыми зубами, которая мне всегда казалась не просто соседкой, а родственницей бруклинского говорка, — слышалось

⁴⁵ Ченчи Беатриче (1577—1599) принадлежала к знаменитой римской семье. Вместе с мачехой и братьями организовала убийство своего растленного отца и была казнена за это. События послужили сюжетом для многих драм и романов.

тепло и благожелательность; я сел рядом с ней на стул, ощущая, что сильно сократился, и заказал пиво.

— Алонзо сказал, что им надо снять еще один эпизод на горе, — сообщила она Мейсону. — Бёрнс и Алиса обещали заглянуть к нам вечером.

— А Глория?

— У нее понос, но она лежать не намерена. Знаешь, что она мне сказала? Она сказала: «Милая, от этой итальянской еды у меня кишечные огорчения». Мейсон затрясся от хохота.

— Какая прелесть! Почти поэзия! Шекспир, а? Клеопатра! Эта девушка — сон. Подожди, познакомишься. Надо услышать своими ушами, как она говорит по-английски, иначе не поверишь. Официант, джентльмену — пиво. Я просил двойной бурбон с содовой.

— Come, signore? ⁴⁶ — Официант, грустный человечек с покатыми плечами, стоял над нами в полном недоумении.

— Двойной бурбон с содовой.

— Non capisco ⁴⁷.

— О боже мой, Питер, скажи ему...

— C'è del bourbon whiskey? ⁴⁸ — спросил я.

— Whiskey? — повторил официант. — Sì, ma solo il "Vaht Sessantatove". Skosh. È molto caro ⁴⁹.

— Господи боже, — заворчал Мейсон. — Какие же они бывают непрошибаемые. Скажи, ну зачем он заказ-то принял, если ни бе ни ме...

— «Ват-69» тебя устроит? Он говорит, очень дорогое. Va bene, — сказал я официанту, — un doppio whiskey ⁵⁰.

— Какие тупицы... не все, конечно, — сказал Мейсон, когда официант зашлепал прочь. — Только, пожалуйста, не смотри на меня таким стеклянным осуждающим взглядом. Ясно, ясно: беспардонный янки вещает обветшалую ерунду из прошлого века, но, ей-богу, некоторые люди здесь — это что-то непостижимое. И я имею в виду не...

За журналом, скрывавшим от нас лицо Розмари, раздался взрыв смеха, усиленный могучим грудным резонатором.

— Нет, честное слово, — воскликнула она, — иногда мне кажется, что Уолкотт Гиббс ⁵¹ — самый потешный.

— Да перестань ты, Розмари, — оборвал ее Мейсон. — Неужели нельзя на секунду с этим расстаться? Питер здесь ровным счетом три минуты, а ты слюнявишь этот журнал, как пудель...

Губы ее сложились в смущенное «извините», и журнал, листаясь, упал на землю; когда Мейсон опять заговорил, она была вся — внимание, вся — большие голубые глаза и подбородок на ладонях, в букете алых ногтей.

— Я имею в виду не только пресловутый языковой барьер, — говорил он. — Я не настолько наивен, туп, чванлив — называй как хочешь, — чтобы требовать от всех знания английского. И говорю сейчас не об этом официанте — бог с ним, он, кажется, приличный мальчик, и ничего в нем нет такого, чего не вылечила бы пара литров пенициллина. Я говорю о глупости — точнее, об экономической глупости хозяина кафе в курортном городке, где по крайней мере половина клиентов — из стран с английским языком, а он не может или не хочет нанять официанта, говорящего по-английски. В конце концов — не будем закрывать на это глаза — английский язык в сегодняшнем мире это преобладающий язык. Так или нет?

— Конечно, так, — сказал я. — Безусловно, так. — Три глотка пива трянули меня, как динамит, и моей усталости придали черты сумасшествия; сквозь резь в глазах вглядываясь в Мейсона, я все старался понять, из-за него это или просто из-за всех сегодняшних мучений напала на меня такая цепенящая тоска. Внешне он почти не изменился. Долговязым его уже нельзя было назвать; за те годы, что мы не виделись, он прибавил в весе и еще больше похорошел: щечи

⁴⁶ Что, синьор?

⁴⁷ Не понимаю.

⁴⁸ Есть виски бурбон?

⁴⁹ Виски? Да, но только «Ват-69». Шотландское. Очень дорогое.

⁵⁰ Хорошо, двойную порцию.

⁵¹ Г и б б с Уолкотт — американский критик.

жиром не налились, зато в облике стройненького, холеного смазливового мальчишки — а это, я знаю, всегда приводило его в отчаяние — появилась мужественная определенность черт. Тряпичником он как был, так и остался: парчовая рубашка, поблескивающая золотой нитью, подошла бы принцу; она стоила, наверно, как целый костюм, но я не знаю, кто еще, кроме Мейсона, мог бы носить ее с такой небрежностью, по-пляжному навывпуск и не выглядеть клоуном. Мейсон был на редкость красивый молодой человек, и годы, минувшие с нашей последней встречи, навели на его красоту светский лоск.

И при всем этом я впал в самую тяжелую, самую черную тоску. Но вот жужжание Мейсона опять распалось на слова.

— Я вижу, Питси, ты вполне бойко болтаешь по-итальянски.— Тон был такой игривый, что я даже не понял, хвалит он меня или осуждает.

— Кажется, Италия тяжело на тебя подействовала,— устало ответил я.— Как же мне не болтать? Ведь я тут три года.

— А знаете, Питер Леверетт...— вступила Розмари.

— Розмари, Христа ради, зови его Питером, Питси, киской, дорожкой. Только не Питером Левереттом. Что еще за новости — звать по фамилии? Это что, последний крик?

— Извини, дорогой. Знаете, Питер — так можно? — мне кажется, я понимаю, о чем говорит Мейсон. Ты не возражаешь, Мейсон? — Она оглянулась на него, но то ли не заметила его укоризненного взгляда, то ли не захотела заметить. — Мне кажется, он подраزمевал, что переезд в чужую страну сопряжен со своего рода... ну, травмой. Даже если ты бывал за границей. Не знаю, когда сходишь с парохода в Неаполе... Эта страшная жара, какие-то маленькие смуглые люди, чудовищный шум, суматоха... А в мае прошлого года, когда мы попали сюда в первый раз, Мейсон свалился с кошмарной психосоматической простудой.

— Прошу тебя, детка,— скривился Мейсон,— довольно психосоматических баек. Я простудился. Точка.

— Ничего позорного в этом нет, даже если она психосоматическая. Просто это лишнее подтверждение тому, что я говорю: переезд в такую страну, как Италия, настолько нарушает телесно-психическое равновесие, что простудиться, например, очень легко. И только. Я же помню, как по пути из Неаполя сюда — помнишь, первый день ты еще глотал антигистаминные таблетки? — ты сам сказал: голова кружится, ни слова не понимаю, что говорят эти макаронники...

— Детка,— раздраженно перебил он,— поскольку шовинистическим выпадом по адресу хозяина кофейни я уже разоблачил свою обывательскую сущность, я хочу заверить тебя, детка, что ни разу в жизни не употребил слово «макаронник» и что ты бессовестно врешь.

— Прости, дорогой.— Ее рука порхнула к руке Мейсона, спеша восстановить мир.— Правда, прости. Я вовсе не хотела сказать...

— Нет, ты просто сказала,— кисло вставил он.

— Я совсем не то имела в виду. Я только хотела объяснить Питеру твою мысль: после приезда можно почувствовать себя не в своей тарелке — тут и язык, тут и обычаи...

— И таблетки были не антигистаминные. Обыкновенный аспирин. Пускай я чурбан и реакционер, ипохондрик я никогда не был, видит бог.

— Хорошо, аспирин так аспирин. Все равно, мне кажется, ты хотел объяснить Питеру...

Не помню другого такого случая в моей жизни, когда бы я, сидя за столом, провалился в забытьё; а тут я, должно быть, еще раз задремал: Розмари продолжала говорить, но речь ее утратила и смысл и звук, за краем сонной площадки исполинская панорама неба и моря будто подернулась пеленой желтоватой пыли, потеряла протяженность, и, роняя голову, я уже видел во сне — где это происходило? — себя в другом месте, снова мальчишкой, в низовье реки, где отдели отзвывались возбужденным эхом на гудение миллионов насекомых и паруса ослепительными воздушными змеями стояли в разрывах океанских облаков, несшихся стремительно и иступленно, как чайки... Но миг разбилась вдребезги, как стекло, меня выкинуло из сна так же внезапно, как перед этим кинуло в сон, что-то влажное и теплое стало вываливаться из моей руки, глаза у меня открылись, и бутылка пива разлетелась у моих ног в фонтане пены.

— Питер! — вскрикнула Розмари.— Бедненький. Вы совершенно у г а с а е т е. Вам, наверно, надо прилечь.

— Да, я бы пошел к вам... проспать бы после этого... — Язык у меня заплетался.— Падаю с ног... Если вы объясните мне, как дойти...

В эту секунду лицо Розмари элегантно и трогательно бездумностью напомнило мне погребальные изображения древнеегипетских цариц. Однако ее слова согрели меня — столько в них слышалось ласкового, инстинктивного, почти провидческого понимания. И лишь позже, вечером, увидев в зеркале поврежденную личность, красные глаза, разводы грязи на щеках, бродяжью щетину, я понял, что скорее всего этими любезными словами она просто пыталась загладить свою первоначальную грубость.

— Боже, вы, по-моему, совершенно измучены. С вами что-то случилось по дороге?

— Кошмар.— Я судорожно вздохнул.— Возле Помпей у меня перед носом выскочил с проселка парень на мотороллере...

— Питси, старичок, я вот что хотел тебе сказать... — вмешался Мейсон.

— Я на него налетел.

— Боже мой! — сказала Розмари.

— Питси, детка, извини, что перебиваю...

— Трах! — прохрипел я ей.— И все.

— Боже!

— Его повезли в Неаполь в больницу. Мне надо туда позвонить.

— Питер, какой ужас!

— Питер... — нудил Мейсон.

— Я не виноват. Парень был...

— Питер, я хотел тебя предупредить...

— ...одноглазый. Ну что, Мейсон?

— Слушай, Питер, мне страшно неприятно это говорить, но, видишь ли, тут произошли небольшие изменения. Ведь я тебе написал, что ты остановишься у нас на вилле? Так вот, для тебя снят потрясающий номер в «Белла висте».

— Да ты что, Мейсон? — вырвалось у меня. От этого нового разочарования у меня встал ком в горле, и мне был неприятен собственный голос, хнычущий и сварливый.— Что за новости?

— Не сердись, Питси,— примирительно сказал Мейсон.— Дай объяснить, кукленок.

— Поди ты со своим кукленком,— по-школьному огрызнулся я.— Я еду к тебе в гости и по дороге чуть не разбиваюсь насмерть! Слова об этом не могу вставить за твоей болтовней про антигистаминные таблетки. Сперва приглашаешь, а потом сплавляешь в какой-то клоповник.

— Питси, Питси, Питси,— помурлыкал он, качая головой.— Позволь мне, пожалуйста, объяснить.

— Ну ладно,— с ожесточением ответил я.— Давай объясняй.

— Во-первых, это не клоповник. Это роскошная гостиница. Держит ее наш хозяин, замечательный дядька. Я снял тебе самый лучший номер — я снял. Я за него плачу. И не только потому, что считаю это своим долгом, а потому, что мне это приятно, понял? А почему так получилось — да не хмурься, в самом деле,— вот почему: когда приехала съемочная группа, Алонзо расселил людей по разным гостиницам и пансионам, а для себя подыскать место — старый медведь, это в его духе — конечно, забыл. Поэтому я отдал ему твою комнату...

— Почему же он не вселился в этот, как ты говоришь, потрясающий номер, который снят для меня? Ты же м е н я, черт возьми, пригласил.

— Питси, кукленок,— терпеливо и мирно объяснял он,— Питси, послушай! Этот номер освободили — какой-то турист освободил — только вчера; Алонзо уже был здесь.

— Надо понимать, что, если бы его не освободили, я ночевал бы в машине. Бывшей.

— Не смейся меня. Ты же знаешь, я бы тебя устроил. Ты что, не веришь дяде?

Так мирен и мягок был его баюкающий голос, что струны старой привязанности все же отозвались на него, и злость моя улетучилась и, покидая меня, извлекла из груди протяжный вздох.

— Извини, Мейсон. Наверное, ты прав.

— Номер чудесный, — вступила Розмари. — Я еще днем заставила Фаусто — это хозяин — убрать его для вас. Вид оттуда волшебный. Когда сюда приехали Кинсолвинги — это люди, которые живут под нами, — когда они приехали, то несколько дней прожили в нем и были в восторге.

Мейсон фыркнул:

— Все пятьдесят семь человек.

Я поднялся уже не возмущаясь, но все-таки с глухим остервенением в душе, поднялся мрачно и разочарованно.

— Я их встретил по дороге. Женщина... забыл, как ее... Поппи — велела спросить у вас, Розмари, не уступите ли вы им на вечер... как же ее... словом, прислугу. Кажется, кто-то из детей простудился.

— Ты куда? — спросил Мейсон.

— Мейсон, — угрюмо ответил я, — по-моему, я сегодня прикончил италяшку, но надо еще пойти убедиться. А потом, — я повернулся к нему спиной, — пойду спать в потрясающий номер.

Уже войдя в кафе, я услышал его обиженный голос:

— Питси, Питер, ну зачем ты так? Учти, сегодня тебя ждут к обеду!

От стакана пива я совсем опьянел, тело превратилось в кисель, в ушах раздавалось злое тиканье, на ходу меня бросало из стороны в сторону, как тяжелого диабетика, и в этом сонме напастей я его едва ли даже услышал; состояние мое было таким растрепанным, что конец дня память сохранила в виде фантастических клочков и обрывков, словно выхваченных из сплошного мрака фотовспышками. Звонок в Неаполь помню ясно: бесплодные прения с сумасшедшими женщинами в кабине-душегубке, которую делила со мной стая зловонных мух. «*Macché, signore! Chi desidera all' ospedale?*»⁵². В разговор врывался пронзительный педантический французский голос: «*Ici Marseille, Naples!*»⁵³ — и следовали гневные отповеди на неаполитанском диалекте; минут через десять я сдался, покинув телефонисток в безнадежной двуязычной схватке. В отчаянии я бросил думать о ди Лието, решил, что он окоченелый труп, шатаясь, вышел из дукowego шкафа и через террасу направился обратно на площадь. Посреди площади затормозил автобус; из него высыпала толпа немолодых альбиносов, повороньи переругиваясь на немецком. Пока я стоял, они выстроились в шеренгу и, в кожаных трусах и безвкусовых цветастых платьях, каркая над своими бедкерами, затопали через площадь и сквозь голубиный вихрь к церкви. Я отвернулся от них и опять увидел Мейсона. Он встал из-за стола.

— Пьер, ты не злишься на меня? Если да, я скажу Алонзо, чтобы он с тобой поменялся.

В общем, я не злился на него — я в самом деле так думаю, — а просто устал. Так я ему и сказал.

— Молодец, Питси. Так иди в гостиницу вздремни, а в половине восьмого мы ждем тебя к обеду. Договорились?

— Хорошо, Мейсон. *Ciao*⁵⁴. *Ciao*, Розмари.

Пробел. Мне надо было взять в машине вещи, но как я добрался до нее, припомнить не могу. Во всяком случае, за рулем уже кто-то отдыхал — здоровенный малый моих лет с плоским землистым лицом, и приветствием мне была широкая улыбка, уснащенная кривыми зубами и черноватыми деснами, — что-то вроде подопревшей зари.

— Скажи мне, что ты делаешь в машине?

— *Sto attento alla macchina*, — сияя, ответил он. — Я караю вашу машину.

— Вылезай. Нечего тебе тут делать.

— *Sissignote! Subito!*⁵⁵ — Он вылез. — Если бы не я, ребята бы еще хуже ее попортили. Видите, и так разбили стекло и сделали большую дырку спереди.

⁵² Да, что там, синьор? Кто просил больницу?

⁵³ Неаполь, говорит Марсели!

⁵⁴ Пока.

⁵⁵ Слушаюсь! Сию минуту.

— Что ты выдумываешь?

— Это ребята из Скалы. Очень плохие. Пришли с большой палкой и били по вашей машине.

При этих словах боль, не отпускавшая меня весь день, стала почти невыносимой; будто призрак ди Лието настиг меня здесь, на горе: по задумчивому шарообразному черепу, пустому взгляду, по вислогубой, кроткой и бессмысленной улыбке, так схожей с гримасой ди Лието, забывшегося в порожнем и безысходном сне, я понял, что передо мной еще один дурачок, и мучительное чувство, обостренное усталостью, — не ужас и не сострадание, а что-то среднее — пронзило меня, как электрический удар, и шевельнулась где-то в суеверных допотопных глубинах мыслишка: то, что я зрю, хоть и в густых помарках, завизировано на Небе.

— Io mi occupavo dell' automobile ⁵⁶, — лопотал он. — Я прогнал ребят. У вас есть американские сигареты?

— Полон карман. Как тебя зовут?

В долине под нами настаивалась ранняя мгла. Мы сели на смятый буфер и закурили по «честерфилду». Пропахший козлом, одетый в тряпье какой-то десятой носки, он выдувал облака сизого дыма и размышлял над моим вопросом. Наконец он сказал:

— Меня зовут Саверио. Хорошо знаю по-вашему. Мой дядя много лет назад жил в la citta di ⁵⁷ Бруклин. Он мне говорил. Слушайте. Кони-Айленд. Скалисты горы. Канай. Оттолкнемся?

— Bene ⁵⁸, — сказал я.

— Канай — это значит натянуть на лысого.

— Что?

— Натянуть на лысого, — повторил он. — Вы из кино? Вы Манджиамеле натягивали? Как бы сладко бы ей натянуть. Вам хоть разок удалось? У ней красивые большие сиськи.

— Мне — нет, — сказал я. — А тебе?

— Ни разу, — грустно булькнул он. — Мне только раз за всю жизнь удалось, много лет назад, с пастушкой Анджелиной в Трамонти. Только она умерла от черной желчи. Вы миллионер?

Я встал; мне почудилось, что в воздухе еще висит игрушечный слабый звук дудки, печальное шлепанье босых ног, давно забывших о погоне, давно затихших навсегда.

— Vieni ⁵⁹, Саверио. Разбогатеи немного. Вон чемоданы, вон коробки. Andiamo! ⁶⁰ В гостиницу!

Взвалив на себя целую гору — чемоданы, одеяла, портплед, приемник, книги, теннисную ракетку, гитару, обвешанный ими со всех сторон, как вьючная лошадь, и, как вьючная лошадь, устойчивый, сильный и безропотный, он вел меня по городу, все время что-то пел и болтал. «С дороги! — гаркнул он любопытно-му псу. — Via, via ⁶¹, сукин сын! Дорогу американцам!» Безумный голос его, резкий, как грохот камней, разносился под арками и над коньками крыш; он пел дикие песни, выкрикивал непонятные слова, воздух празднично искрился брызгами его слюны. Потом я велел ему остановиться и замолчать: в конце какого-то темного проулка стоял Мейсон с Розмари, откуда-то слышался механический рев, бас профундо (передвижной генератор, сообразил я потом, один из тех, что таскали за собой по всему итальянскому ландшафту киношники), и два голоса — мужской хриплый и злой и женский тревожный, умоляющий — надрывались, чтобы перекрыть этот рев.

— Я не говорила, Булка, — оправдывалась она.

— Врешь! Врешь! — кричал он. — Ты намекала, сука.

— Это нечаянно, дорогой. Я только хотела...

— Намекала!

⁵⁶ Занимался машиной.

⁵⁷ В городе.

⁵⁸ Хорошо.

⁵⁹ Поди сюда.

⁶⁰ Пошли!

⁶¹ Пошел, пошел.

— Булка, дорогой, выслушай, пожалуйста... — умоляла она.

— Нет, ты выслушаешь! Моя половая жизнь тебя не касается! Хочешь, пой, хочешь, вой, понятно? — Несколько слов утонуло в железном реве машины. — ...запомни раз и навсегда: если я захочу с кем-нибудь... (ррах-ррах-ррах) ...я буду спать, с кем...

— Дорогой!

Слов я больше не услышал. В тот самый миг, когда его длинная рука в парче взлетела к ее лицу, машинный рев как отрезало, и во внезапной пустоте раздался мясной шлепок, рассыпался по проулку множеством больших отголосков, которые, мне показалось, долго не могли затихнуть и улечься.

Я быстро отступил, ожидая плача, хныканья, но не услышал ни звука. И тогда, как соглядатай, незаметно, со стыдом заторопился дальше, а за мной вприпрыжку рвань-Саверио, мой порченный, похотливый, даровитый Папагено⁶².

В «Белла висте», не раздевшись и не умывшись, я повалился на кровать, но мне мешала уснуть картина, под которой скрылась целая панель стены. Ее мне указал Ветергаз, хозяин гостиницы, итальянский швейцарец, моложавый румяный господин с мягкой ладошкой и двойным подбородком, медоточивый, надутый, как его фамилия, и по первому впечатлению совершенно невыносимый, — он встретил меня в дверях напевными английскими восклицаниями, а затем грозным взглядом и итальянским ругательством, обнаружив шепелявость на обоих языках, прогнал Саверио и повел меня наверх, рассыпаясь в бонсуарах и гутенабендах⁶³ перед жильцами и в подобострастных загадочных извинениях передо мной.

— Если бы я знал. Если бы я только знал. О, но этот номер будет весьма привлекательным. Видите? Этой гостиницей владел мой отец, а до него — его отец. Но я разорен. Друг мистера Флагга всегда будет самым почетным гостем у Фаусто Ветергаза. А это, сэр, — распахнув шторы и указывая на картину, — это произведение Уго Анджелуччи, умершего — не знаю, известно ли вам, — двадцать лет назад в нашей гостинице.

— Благодарю вас. И будьте добры, закройте шторы.

После его ухода, в душевном упадке настолько глубоком, что это угрожало бессонницей, ворочаясь на кровати, я вдруг заметил, что красная дама с бездумным лицом на картине Анджелуччи разглядывает меня полуприкрытыми глазами. Это была пресная блондинка с тяжелыми веками, тоже, очевидно, лежащая на кровати, но едва ли соблазнительная: нижняя ее часть была герметически запелената во что-то вроде ковра, и метр щепетильных кружев тянулся ниоткуда, чтобы прикрыть ей грудь. Однако, когда глаза привыкли к потемкам, я разобрал — не знаю, известно ли это было Ветергазу, — что произведение задумано в игривом духе; на это намекала валкая подпись по-итальянски: «Потребованный сон» — и я с дремотным удивлением обнаружил, что над плечом женщины в хитросплетении светотени старый проказник Уго искусно и незаметно очертил голодный мужской профиль, а к голому животу ее из путаницы, как на загадочной картинке, где ты непременно должен отыскать телегу, дудку или утку, тянутся две призрачные алчные руки. В самой женщине с ее губами-бутонами, деревянной шеей и общим выражением арктического целомудрия было не больше жара и притягательности, чем в старых мутных портретах мадам дю Барри⁶⁴, — кукла, фальшивка, разочарование — и я помню, как отвалился на подушки, думая об Анджелуччи и сквозь пунктирную дремоту прислушиваясь к невидимым колоколам и лодкам внизу, под горой, в спокойном море. Кто был Анджелуччи? — думал я, засыпая. Что за человек? Без всякой на то причины фантазия, зачавшая в сумрачных, камчатных эдвардианских покоях первого этажа, по которым меня провел Ветергаз, — в салоне со слоновьими диванами, желтыми кипами «Иллюстрейтед Лондон Ньюз», полками пыльного Бульвер-Литтона, Фенимора Купера и габсбургских мемуаров, пятнистыми и волглými от старости фотографиями

⁶² Папагено — человек в птичьем оперении, персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта».

⁶³ Bon soir, guten Abend — добрый вечер (фр., нем.).

⁶⁴ Дю Барри — французская куртизанка, любовница Людовика XV.

царственных постояльцев (Умберто I, пожилого и нездорового, герцога Аоста с миловидной семьей в древнем угластом «даймлере», королевы Маргериты в шляпе колокольчиком, Эллен Терри, Эриха фон Штрогейма, кинокоролев и киношейхов двадцатых годов, умерших или заживо забытых), — разрешилась в дремоте нафталиновым коллажем: салфетки-подголовники на спинках кресел, двуколки, наполненные детьми в передничках, *croissants, gouvernantes*⁶⁵, элегантные выезды к синему морю, где загорали господа с эспаньолками и воздух гудел от вавилонского смещения языков. О, благоуханная, былая, небывалая жизни! И снова через прозрачную кайму истомы и желания, отделяющую бодрствование от сна, прошелся колесом ерник Анджелуччи — какой-нибудь неаполитанский потаскун с липкими пальцами и ван-дейковской бородкой, мазилка в стране гигантов, — каждое лето он приезжал в «Белла висту» порисовать немного, натруженную печень облегчить, покупаться в савойском, габсбургском неземном сиянии. «*Vostra Maestà!* — уже доносился до меня сквозь десятилетия его просительный голос. — Ваше Величество, если мне будет дозволено написать...» И, получив от ворот поворот, бочком, бочком к розовоцекокой английской барышне (ох и богата, видно!): «Извините, синьора, но цвет ваших волос...» В этой комнате он умер? Не на этой ли кровати? Смутный и отдаленный, пробился в мое забытье звон колокола из долины, снова возникли эти бессмысленные глаза, эти призрачные жадные руки, — и с тяжелой мыслью, что девица на кого-то похожа... похожа... я стал засыпать.

Но не уснул — не совсем. Я только дремал, и вновь вырисовывался передо мной береговой пейзаж детства, тихая голубая река, море, лодки, чайки. И Венди, хорошенькая и бездумная, облокотясь на пробковое сиденье, шепчет над пенной виргинской водой, лениво лепечет: «Какое солнце, какой божественный день». А с кормы, от румпеля — веселый голос Мейсона: «К повороту готовиться!» И опять крахмальный дамский голос: «Мейсон, милый! Ты всегда меня обдаешь!» — а лодка грузно рыскнула и утыкается в ветер, замирает на миг, вздрагивает под хлопающими парусами, но вот они наполнились ветром, и она поворачивает... чайки, деревья, небо, далекий речной берег тоже поворачивают, кружатся в медленном и томном хороводе, уплывают из виду.

— Мейсон, милый, — весело дразнит голос, — я всегда промокаю. Пусть Питер правит, *chéri*⁶⁶.

— Венди, дорогая, ты глупышка, — слышится его ответ. — Питер не отличает шверт от швартова.

— Милый, красиво ли так — о госте?

— Замолчи. Я люблю тебя, ангел.

— Радость моя. Мое ненаглядное, мое семнадцатилетнее сокровище. С днем рождения тебя. И вас, милый Питер. С днем рождения.

День моего рождения был тут совсем ни при чем, но полдюжины коктейлей несколько спутали хронологию; когда мы причаливали, она чуть не опрокинулась в воду, но на ногах все же удержалась — в брюках, легкая и стройная, она стояла на носу, радостно простирала руки к абрикосовому закату и шептала ему: «Юность, юность». Именно в этот день Мейсона вышибли из школы, и я навсегда его запомнил: удары, посыпавшиеся на Венди-дорогую (при мне он редко обращался к ней иначе) начиная с той минуты, когда она сама, по-моему, начала обо всем догадываться (а Мейсон и дожидался удобной минуты — когда при помощи спиртного, не переставая льстиво щебетать и увешивать его гирляндами «моих сокровищ» и «радостей», она наилучшим образом подготовится к удару), врезались в мою память картиной такого жестокого терзания, что я до сих пор дивлюсь, как сумел пережить это в моем тогдашнем нежном возрасте.

Школа святого Андрея, как я понимаю, была не бог весть что за школа. Созданная для сыновей обедневших виргинских англиканцев, исшарканная, скрипячая, выстывавшая в декабре прямо по-диккенсовски, она постоянно нуждалась в деньгах, зато изобиловала неудачниками и недотепами и была тихой пристанью для преподавателей, выброшенных академическим морем. Один год, я

⁶⁵ Булки наподобие рогаликов; гувернантки (фр.).

⁶⁶ Милый (фр.).

номню, английскому нас обучал знаменитый молодой футболист из какого-то сельскохозяйственного колледжа — и без конца читал нам стихи Грантленда Райса⁶⁷; в другой год несчастного старого бродягу, учителя французского, нашли в кровати мертвым, с бутылкой. То, чего недобирали в учености и науках, восполнялось так называемым духом «святого Андрея»; нашу команду в бросовых, изъеденных молью футболках разносило каждое учебное заведение штата, но болельщики буйно ее подбадривали; в общем же обстановка была буколическая — безлюдные отмели Виргинии, синева и задумчивый простор речного устья и залива, кивающие кедры за окнами наших спален, сосновые леса, прибрежные кусты, выбрасывавшие под утренний колокольный звон радостные стаи птиц навстречу солнцу, — жить и расти мальчишке в такой обстановке было неплохо. К тому же школа была крохотная, училось нас там человек сорок, редко когда больше, и, наверное, мы чувствовали себя — хотя и не думали об этом — скорее семьей, чем школой; а доктор Томас Джефферсон Марстон, благочестивый старейший священник и до того виргинец, что слеза прошибала, когда он произносил: «Генерал Ли», казался нам скорее отцом, чем директором. Голос у него был серафимский — почтовый рожок, виолончель, псалтериум, на котором каждый вечер с великолепной безыскусностью он исполнял песнопение из литургии; теперь, когда я вспоминаю этот затхлый сумрак в церкви и сладкий голос старика, воспарявший над нашими склоненными и всклокоченными головами — «Темноту нашу освети, умоляем, Господи», — а потом мысли бредут дальше, куда-нибудь на реку, синюю, чисто синюю, где мы плавали под парусами в худых лодках, в населенный сверчками и лягушками ночной лес, освещавшийся только нашими потайными, разбойничьими лампами, на травяной и нетоптанный склон холма, сбегавший к заливу, где мы собирали устриц, а вечерние чайки стремглав уносились на восток, в море, — так вот, я говорю, в неверии и томлении, когда опрометью кидаешься за какой-то утраченной тишиной и невинностью, я вспоминаю эти места, и над ними в памяти моей разносится праведный стариковский голос вроде ангельской трубы: «О Господи, моя крепость, мой спаситель!»

В это христианское благочиние Мейсон ворвался как неприличный выкрик в обедню, смутив и поразив нас всех. Он прибыл с Севера (земли для всех нас твинтвенной; город Рай в штате Нью-Йорк называлось место, где он прожил до двенадцати лет) с не по-нашему броским, протяжным «р», в кашемировом блейзере, навьюченный шоколадными батончиками, клюшками для гольфа и противозачаточными средствами. С гордостью сообщил нам, что его выперли уже из двух школ. Он не лез за словом в карман, был боек на зависть, красив и неотразим. И поначалу обворожил всех.

Однажды он рассказал нам, что потерял невинность в тринадцать лет — было это летом, в воскресенье, в имени на Йорк-Ривер, недавно купленном отцом, и с немолодой уже, но все еще красивой и все еще знаменитой голливудской актрисой. Рассказ был диковинный, но почему-то правдоподобный. Мы знали, что семья Мейсона вращается в кинематографических кругах. И, вспоминая другие рассказы об этой даме (один, касавшийся скандальных занятий под столом в ночном клубе, был настолько силен, что воспламенил фантазию целого поколения школьников), мы сперва поверили. Мейсону было тогда шестнадцать лет, а он живописал историю во всех сказочных подробностях, как старый, прогорклый распутник. Но, как уже тогда было свойственно Мейсону, он перетрудил нашу доверчивость и сам испортил песню: потом это соблазнение стало лишь первой из многих подобных схваток, а ненасытная артистка сделалась его любовницей на три года подряд. Жаркие сеансы происходили в Ричмонде и Вашингтоне, единоборства завязывались на задних сиденьях машин, в бассейнах, в лодках, а одно, по его словам, даже в гамаке; хотя возраст наш был самый доверчивый и сладострастный, эти художества не лезли ни в какие ворота, и в конце концов все прекрасное эротическое здание рухнуло под грузом его нелепой ленины. Кажется, наше недоверие глубоко задело Мейсона; после я узнал от его матери, что актриса действительно гостила у них один раз в Рае, когда Мейсон был маленьким, — она качала его на коленях и подарила ему плюшевого медвежонка.

⁶⁷ Райс Грантленд (1880—1954) — американский журналист.

Его богатство, его блестящие знакомые, его не по годам свободное отношение к плотским делам — все это сильно меня поразило. Почему он ко мне привязался, я никогда не мог понять. Родители мои, например, принадлежали к самым что ни на есть средним слоям. Мне кажется, Мейсон подружился со мной потому, что я — тогда по крайней мере — безотказно смеялся его шуткам, с готовностью кивал его небылицам и в качестве приспешника олицетворял собой до зарезу нужную поддержку его похотливым мечтам. Честно говоря, я всегда чувствовал, что он меня уважает — наверно, за какое-то расслабленное человеколюбие, которое позволяло мне сносить его выходки. У меня годы ушли на то, чтобы научиться упрекнуть человека в лицо.

В шестнадцать лет Мейсон ладил с жизнью — или делал вид, что ладит, — лучше, чем многие молодые мужчины, которые в тридцать лет выглядят потухшими. Он носил отличные костюмы от нью-йоркского портного, курил английские сигареты, и, хотя ни разу на выезжал из Америки, в голосе его слышалось утомленное вибрато, как у человека, налюбовавшегося не одним десятком заморских стран. Он обогнал свой возраст, стал худощавым, интересным юношей с зачаточными усиками, которые ему очень шли, и ужасающим складом ума, таким, что во время утренней службы он мог шепнуть мне: «Я пробую молиться, но в голове у меня одно — с кем бы переспать». Эти слова меня потрясли: вера в бога, хотя и слабевшая, еще жила во мне, и плотское покушалось на нее редко. Однако бастиины мои начали крошиться. Я по-прежнему был очарован Мейсоном, а остальные ребята к нему охладели. Их не так взораживало его богатство, им надоели его бесконечные рассказы, а когда Мейсон, от природы одаренный спортсмен, симулировал какое-то растяжение и весь футбольный сезон просидел на скамейке, они возмутились. Из всех ребят, кажется, я один расценил его поступок не как трусость. Под конец я остался единственным его приятелем — что, как я теперь понимаю, показывает, насколько я был подвержен дурным влияниям.

Кроме Флаггов, я лично не знал других миллионеров. Отец Мейсона, нью-йоркский капиталист, баснословно заработал на кинопрокате («Чуть ли не единственный в этой промышленности, — гордо замечал Мейсон, — не еврей и не грек») и переехал в фешенебельную часть округа Глостер, чтобы сделаться виргинским джентльменом. И преуспел в этом: купил громадное, колониальных времен плантаторское имение «Веселые дубы», подлинное до последнего гвоздя, за исключением новшеств вроде плавательного бассейна, теннисных кортов и эллинга из нержавеющей стали. В тот год я гостил там с Мейсоном много раз — был в часе езды от школы. В начале осени у них часто устраивали вечера для взрослых; нью-йоркские знаменитости приезжали и отъезжали на «кадиллаках», в сумерках на лужайке вспыхивали бумажные фонарики. Однажды шарикоподшипниковый король из Швеции Орволд посадил свой самолет на лугу, заменявшем у них задний двор. Для довоенных лет такой номер был замечательным удальством и произвел на меня сильное впечатление. Помню, в ту же субботу мистер Флагг нанял в Ричмонде целый хор негров, чтобы они исполняли перед гостями свои духовные гимны, и помню, как Мейсон заметил, что затея «вульгарна до невозможности». «Старый полковник Флагг», — презрительно сказал он, ибо всегда болезненно ощущал, что он не настоящий южанин, а родители его — свежеиспеченные виргинцы. Помню еще, что в ту же самую субботу все ждали Грету Гарбо, но она почему-то так и не приехала. Зато приехали Лайонел Барримор, Кэрл Ломбард и очень молоденькая, лет семнадцати, будущая звезда (в кино из нее ничего особенного потом не вышло), которая привела меня в состоянии тихой горячки и так безжалостно передразнивала мой протяжный приморский выговор, что я тут же истребил его навсегда. Из-за нее и по сей день произношение у меня правильное и стертное, как у диктора. Я не смел рядом с ней дышать и подозревал, что ей отвратительно легкое розовое свечение, которым обволакивали мой нос прыщи. Но я был счастлив ступать по земле, на которую упала ее тень, и с радостью умер бы за восторги той ночи, когда упорно, потно, немо я танцевал с ней до самого рассвета, до тех пор, пока последние музыканты не попрытали свои скрипки и трубы и обновленный замок с гирляндами погасших фонарей не выступил из утреннего пара во всем своем сонном новобуржуйском великолепии.

Со старшим Флагом мне не пришлось поговорить ни разу. Они с Мейсоном чуждались друг друга. Я всегда ощущал между ними невысказанное недовольство; Мейсон разряжал свое, воруя у отца спиртное. Отец был лысый, усатый, веснушчатый, маленького роста, с выправкой адъютанта, к которой просились галифе и шпоры, а не его всегдашние сандалии и костюмы из мягкой, женственной фланели. Несмотря на мою молодость и его малый рост, я чувал его силу и богатство, как запах. Легко было заметить, что он любит знаменитостей, — а те в свою очередь тянулись, как жадные и неутомимые мотыльки, на его сытый огонек. Он умер внезапно во время войны в Бразилии, когда налаживал там новую громадную сеть кинотеатров. Его выдающаяся роль — пусть в несколько специализированном мире — стала ясна мне только тогда, когда я увидел некрологи повсюду; из них вырисовывалась фигура отчасти загадочная, сторонившаяся рекламы и общественного внимания. Недовольство, негодование — не знаю, какие чувства питал он к сыну, но Мейсон получил в наследство почти два миллиона долларов.

А вот Венди-дорогую я узнал гораздо лучше — она боготворила Мейсона и со слепым постоянством ненстойкой обожательницы все время вилась вокруг своего предмета. Мейсона уже исключили из двух школ в Новой Англии, и вряд ли его приняло бы заведение, меньше нуждавшееся в деньгах, чем наш «Святой Андрей»; да и сдала она его сюда, конечно, для того, чтобы он был поближе, и, конечно, хмурая тень, иногда набегавшая на ее миловидное лицо в самую неподходящую минуту, была вызвана страхом, что его опять исключат. Для меня Венди была дивом. Густые льняные волосы, пряные духи и яркие румяна на щеках, длинные алые ногти, перезвон и колыханье металлических вещей в ушах и на запястьях — все это не вязалось у меня с матерями, которые в Порт-Уорике расположены к полноте и покорности, и она казалась мне фантастическим видением, победительно, почти пугающе прекрасным. Она, однако, много курила — и пила; я впервые увидел даму-пьяницу. Три крепких коктейля после обеда (обязательные, когда отсутствовал Флаг-старший, а к весне это стало случаться с ним все чаще и чаще) делали ее речь невнятной, почти как мычание глухонемого; она начинала плакать и заискивать перед Мейсоном, умоляла ради нее, ради своего будущего, ради Принстона хорошо вести себя в школе и, иногда с хриплым рыданием, иногда страдальчески пожимая плечами и наконец с гримасой муки, внушала ему, что, поскольку его отец утешается с другой женщиной, он, Мейсон, единственное, что у нее осталось на свете. У меня в то время были южные, возвышенные представления о дамах, и эти сцены ошарашивали меня и угнетали.

Зато в трезвом виде — от матери, и такие речи! Такого очаровательного нескромного щебета я никогда еще не слышал:

«Нет, chéri, тебе еще столько предстоит понять. Ты ведь еще очень молод, дорогой. Секс — я хочу сказать, физическая близость между мужчиной и женщиной — это прекрасное переживание, а не предмет для грязных шуток. Ты поймешь. Ничего удивительного, что доктор Моррисон отчитал тебя. Ты говоришь, он случайно услышал, как ты рассказывал этот отвратительный анекдот?»

Все еще не зная, не догадываясь, что Мейсона выгнали накануне ночью, в ту роковую субботу она везла нас домой в своей открытой машине, и роскошные волосы плескались за ее спиной золотыми струями. Я, как молчаливый прыщавый оруженосец, сидел позади Мейсона (вовсе не анекдот вызвал недовольство директора, а вполне физические объятия — когда старый доктор, двигаясь на ощупь и чиркая спичками в подвале церкви, застал совершенно голого Мейсона со слабоумной дочкой местного рыбака, причем в руках у обоих было по бутылке церковного вина; и вовсе не отчитал, не «намылил шею», как утверждал Мейсон, а провозгласил публично такую черную анафему, что я и сегодня помню ее конец: «...смрад и мерзость в ноздрях всемогущего господя, и мне горько сказать, что не остатки христианской кротости, а только закон Республикы Виргинии удерживает меня от кары более суровой, чем тихое и немедленное изгнание»); Мейсон, невозмутимый и элегантный в верблюжьем пиджаке, время от времени поворачивал к ней свой великолепный профиль и легонько целовал ее в щеку; оба с головой ушли в нежную перепапку, подолгу смотрели

друг на друга, и машина, никем не управляемая, писала кренделя, неслась по пыльным проселкам, как шалая ракета.

— Да, Венди-дорогая, анекдот про графиню и пуделя.

— Так ничего удивительного — гнусный анекдот.

— А как же еще, мое золото, развеяться холостому мужчине? Во Франции...

— Я жалею, что стала рассказывать тебе о Франции. Ты не мужчина. Как ни прискорбно, милый, когда ты поступишь в Принстон, ты будешь считаться всего-навсего мальчиком.

— Венди, иногда ты меня просто утомляешь. Кроме того, вспомни свое обещание.

— Какое обещание, ненаглядный?

— Что когда мне исполнится восемнадцать, ты сводишь меня в... как ты их называешь?.. борделло?

— Детка! Питер, не слушайте его! Детка, ты бог знает что говоришь!

В тот день я переживал за Мейсона, не находил себе места в ожидании неизбежной сцены: Мейсон же и его мать были само веселье. Утром мы покатались на маленькой ладной яхте Флагов, высадились на другом берегу реки у Йорктауна и на одном из заросших травой брустверов, где безуспешно оборонялся когда-то лорд Корнуоллис⁶⁸, устроили завтрак. Никогда еще Венди не казалась мне такой ослепительной, как в этот день: это было что-то яркое, золотое, сияющее; она игриво подмигивала мне, шаловливо ерошила волосы Мейсону, нашептывала нам ласковые слова и была похожа не на мать, а на какую-то повзрослевшую Дульцинею, соблазнительную и бесконечно искушенную. Был жаркий весенний день, и мы пили: Мейсон и я — пиво, Венди — джин с вермутом, который она беззаботно подливала себе из термоса. «Ни за что, моя радость, — сказала она Мейсону с веселой улыбкой, — молодые уста не коснутся моих, если они прикоснулись к мартини. Пей пиво, как полагается хорошему мальчику. Через год ты будешь пить что захочешь». Когда мы плыли обратно, наступило затишье, и паруса лениво повисли. «Какая разница? — закричала Венди, обнимая нас обоих. — Сегодня день рождения. Боже, где мои семнадцать лет! Пусть нас несет и несет в море!» Даже меня, несмотря на мою тревогу, заразило ее настроение; мы пели и, блаженно разомлев, валялись на палубе, а лодка без рулевого тихо сплывала в широкое устье, к морю.

Этим вечером, при лунном свете,
Услышишь ты, как черные поют...⁶⁹

пели мы, а мимо проплывали устья ручьев, залитые солнцем луга на склонах, рыбацьи заколы, а один раз — старик негр, который вытаскивал щипцами устриц и удивленно вытаращился на нас. Прошел час, два часа. «Посмотрите на него, Питер, — сонно пробормотала она, — правда, он прелесть? У него почти нет бедер». А Мейсон, хоть и привык к таким разговорам, стесняясь меня, ответил: «Венди-дорогая, ты меня утомляешь» — и тут поднялся ветер, и мы понеслись назад загоревшие, обалдевшие, волоча за собой хвост морских водорослей.

До этого я ни разу не напивался по-настоящему — мне было только шестнадцать; все, даже предчувствие беды, окуталось как бы дрожащей дымкой, и все, что я воспринимал сквозь нее, представлялось мне несказанно ярким, красивым и очаровательным. Над рекой, на холме величественно и одиноко стоял за своей колоннадой дом Флагов, и его невозмутимый, равнодушный к ветрам фасад глядел из тени на просторную лужайку, где продолговатые солнечные зайчики от бассейна плясали на изумрудной траве. Там, наверху, появился негр в белом пиджаке и вскоре исчез. Сумерки гнездились за соснами, чьи длинные тени лежали на насыпных террасах и дорожках из плитняка. Когда мы

⁶⁸ Под Йорктауном 19 октября 1781 года британские войска, возглавляемые Корнуоллисом, сдались повстанцам и французам под командованием Вашингтона. Это было последнее серьезное сражение войны за независимость.

⁶⁹ Перевод Андрея Сергеева.

подходили к причалу по пологой дуге и все круче к ветру, ложась на бок, я поднял глаза к набегавшему берегу почти со слезной благодарностью, и Венди легонько пожала мне руку, как бы говоря: «Раз ты друг Мейсона, все это твое тоже». Но вот мы причалили, и восторги мои поутихли — я вспомнил, что Мейсон так и не сообщил ей новость. Нас встретил Ричард — узкогубый непроницаемый эльзасец, их дворецкий, шофер, фактотум, привезенный из Рая; этот кряжистый дядька был похож на кинозлодея, и когда улыбался — а улыбался он раз в год, — его грубая и чисто мускульная усмешка напоминала хирургический разрез. Я всегда робел перед ним — может быть, потому, что раньше не видел белого слуги. Он держал на сворке двух датских догов, больших, как пантеры; они рванулись навстречу неуверенно сошедшей на берег Венди, они заскулили от счастья, когда она стала их обнимать и мурлыкать им в уши ласкательные детские словечки, и наконец со зверским рыком сиганули в машину и уселись сзади между нами, облизываясь и подрагивая от собственной мощи.

По дороге через сосновую рощу к дому Венди тихо уснула на плече у Мейсона. Сам же он впервые на моей памяти приуныл, пал духом. Он заботливо придерживал Венди, а на лбу у него выступали крупные капли пота; опустив углы рта, он посмотрел на меня несчастным, затравленным взглядом. Может быть, только теперь, когда кончилось наше хмельное путешествие по реке, до него дошло, каковы будут последствия его дурацкой выходки. Когда он посмотрел на меня и шепнул: «Как же я скажу ей, черт возьми?» — я опять загоревал — и о нем, но главное, о Венди, которая казалась мне самой очаровательной матерью на свете, о ее погубленных надеждах.

Она еще не была пьяной — не такой пьяной, какой я ее однажды видел, — ее только, как она сама объяснила, вылезая из машины, «немножко разморило, мои дорогие». Поэтому мы только провожали ее глазами, пока она неуверенно шла через портик, — золотые волосы по-прежнему были в полном порядке, на брюках ни единой морщинки, но ее пошатывало, и Ричард с утробным «модом» бросился к ней на помощь, а потом и жена Ричарда, низенькая, сухонькая женщина в фартуке, взяла Венди под руку, как нянька больного, и эта маленькая, чинная, почти похоронная процессия, сопровождаемая двумя собаками, которые прыгали и носились сзади, медленно вошла в темноватый дом и стала подниматься по круглой лестнице. «Если она напьется... если ее развезет, — хмуро сказал Мейсон, — может, тогда она примет это не так близко к сердцу». Но в голосе его не было и намек на юмор, и мне показалось, что он поежился: его пробирал страх. В сумерках мы перекинулись в теннис, но Мейсон, игрок сильный и напористый, действовал вяло, и я, хоть и под хмельком, впервые выиграл у него сет, чем еще больше испортил ему настроение. Потом — чуть ли не с треском, мне показалось, — на нас упала ночь, обдав горячим зевком чуткую дубовую рощицу, давшую имя всему владению, и вскинув в воздух стаю воронья, которая с унылым гвалтом свинцово повалила к последней в сумраке розовой полоске. В темноте его ракетка хрястнула о землю. «Погорел! Пропал! — крикнул он, и чуть ли не впервые я услышал в его голосе что-то вроде раскаяния. — Всю жизнь поломать из-за какой-то дешевки!»

Наверно, только оптимизм молодости мог внушить мне надежду, что Венди легко перенесет новость, которую припас для нее Мейсон. Такая беззаботная, легкомысленная, такая отзывчивая — такая своя, — конечно, она с сочувствием отнесется к страшному промаху Мейсона, пожмет плечами, весело рассмеется — и простит ему, как всегда прощает. Мейсон, однако, себя не обманывал. Чем дальше, тем больше он мрачнел и перед обедом, когда Венди, вся в органди и дымчатом тюле, присоединилась к нам в библиотеке, влил в нее целый кувшин мартини — торжественно, раболепно, с надеждой, как человек, пытающийся умиловить богиню. Что-то с ней произошло: хотя она не совсем уверенно держалась на ногах, но как будто протрезвела — как будто там, наверху, во время короткого сна или даже наяву ей знаком, сигналом, намеком сообщили, что от нее скрывают нечто ужасное, и она плюхнулась на диван со словами: «Боже мой, какая скука в этом доме».

— Венди-дорогая, — начал Мейсон, — я должен тебе...

— Тсс, мое золото, Венди хочет поговорить. Сядь вот тут. Кто это по радио?

Противный Кей Кайзер⁷⁰. Счастье мое, найди что-нибудь приятное.— Лицо ее сделалось серым и хмурым; кожа местами обвисла, и резко выступили на шее две мышцы, которые поворачивают голову. Вся ее красота вдруг потускнела в моих глазах — виноваты были, наверно, только тени, но я сообразил, что она ведь старая, очень старая, ей небось лет тридцать пять.— Не хочу отравлять тебе веселый день рождения, chéri, но мне тут плакать хочется от скуки. Если бы ты знал, как тут одиноко, ни одной живой души вокруг, поговорить не с кем, кроме Денизы и этого страшного Ричарда. А слуги... черные... я ни слова не понимаю, что они говорят. На каком языке они говорят — на бразильском? Боже мой.— Она зевнула.— А, кто это? Сэмми Кей?⁷¹ Оставь его, милый.

Сама библиотека с ее сияющими канделябрами, богатыми ореховыми панелями и навоощенным паркетом казалась гостьей из восемнадцатого века, ковчегом элегантной старины, магически перенесенным в нашу хромированную эру, и требовала — почти осязаемо — хотя бы такой поблажки, как парики, горящие свечи, плеск клавишных струн, а не нас, несвоевременных, с пивными жестянками и шквальным завыванием тромбонов и труб. Я чувствовал, что буквально утопаю в роскоши, меня пробирала сладкая ностальгическая лихорадка. Венди между тем пьянела на глазах.

— Твой отец,— говорила она Мейсону, поглаживая его по волосам и мечтательно глядя в открытую стеклянную дверь,— твой отец убежал от Венди. У твоего отца роман с... Нет! Не надо имен. Где? Скажи мне, золото, где отец? На побережье? Ты не сбежишь от Венди, скажи, chéri?

— На каком побережье? — наивно спросил я.

— На каком побережье! Нет, вы слышали! — Мейсон захохотал в первый раз за вечер.

— Давай спросим у Питера, милый,— сказала она, опорожнив стакан.— Нет, моя радость, Венди больше не хочет пить. Хорошо, одну капелюку. Все. Спросим Питера — ведь он нас любит, и мы его любим. Питер, голубчик, что вы думаете об отцах, которые забавляются с другими женщинами?

— Бред,— сказал я, подражая невозмутимости Мейсона, хотя от смущения меня кинуло в жар.

— Вот видишь! Питер понимает. Питер знает, что хорошо, а что плохо.— Она замолчала, мне почудился сдавленный вскрик. Потом в мечтательном полубытьи она завела сбивчивый монолог: говорила она о предметах, для меня по большей части непонятных, все более хрипло, все менее членораздельно, причем ее пальцы ни на минуту не оставляли в покое волос Мейсона.— Вы ведь, мои милые, не видели бухты Колд-Спринг. Нет, ты, моя радость, один раз видел, но ты тогда был совсем малыш. Вы не представляете, как там было чудесно, когда я еще не знала твоего отца. Мы с папой Бобом — это дедушка Мейсона, Питер,— мы с папой Бобом жили совсем одни после маминой смерти. У нас были лошади, полная конюшня. Ну почему у твоего отца не было лошадей? — спросила она, печально глядя на Мейсона.— Почему он не хотел завести лошадей? Если бы были лошади, я смогла бы вынести эту жизнь. И каталась бы, как тогда, при папе Бобе. Как там было чудесно и зелено... зелено и привольно, ах, как чудесно... не то что теперь, среди ужасных шоссе и машин. Я хочу сказать, там сохранились все старые усадьбы, и получалась как бы одна большая верховая тропа, и мы ездили верхом до Хантингтона, а иногда доезжали до Сайоссе-та. А твой отец не пожелал завести лошадей. Не лошадей,— сказала она спокойным голосом, но выразительно и хрипло,— он отказался купить мне лошадь. «Нет! — он сказал.— Ненавижу этих тварей. Нет». Честное слово, поверьте мне, так и сказал: «Гвендолин, ты скорее поедешь на носороге, чем я увижу тебя в е р х о м на дурацкой кляче. У меня нет денег на конюшню. Что я тебе — Ага-хан?» Как будто я просила конюшню. Я просила одну лошадь! Одну несчастную лошадь. Чтобы кататься, как при папе Бобе. Чтобы внести в жизнь хоть какое-то разнообразие — только для этого.— Она допила свой мартини.— Правда, только для этого. Себе он целый эллинг по-

⁷⁰ К а й з е р Кей — руководитель американского эстрадного оркестра.

⁷¹ К е й Сэмми — эстрадный артист.

строил — разве нет? Ведь это просто чудовищно — торчать здесь день за днем и ничего не делать, только любоваться на отвратного Ричарда и видеть, как жизнь идет мимо тебя. Да, раньше это было терпимо, то есть не так плохо, — когда у нас было общество и к нам приезжало столько народу. Но все кончилось. Прошлой зимой. Я одна-одинешенька. Мне нечего делать. Ведь, скажем, Ноэль. Или Норма. Ты думаешь, им твой отец нужен? Он им нужен? Я хочу сказать, они полетят из Балтимора или Вашингтона, потом наймут машину и проедут восемьдесят, сто, сто двадцать километров по этим богом забытым местам, только чтобы погреться в лучах ослепительного Джастина Флага? Золото мое, да ты понимаешь, что и Норму и Ноэль я знала задолго до того, как познакомилась с твоим отцом, — когда он был никто, принстонский мальчик на бегушках на Уолл-стрит. Разве я тебе не рассказывала, любимый? Они ко мне приезжали в гости, к Венди, самые любимые, самые дорогие — я хочу сказать, из друзей, — и он всех отвалил! Ах, милый, я бываю так несчастна! — Голос у нее прервался, глаза наполнились слезами, она обхватила Мейсона одной рукой за шею, прижала к себе. — Слушай, слушай, — продолжала она слабым, убитым голоском. — Всегда будь хорошим, мой ненаглядный, будь умным. Мужественным. Гордым и выдержанным. Кроме тебя, у Венди никого нет. Помнишь? Ты ясная звездочка в моем венце. Нет, милый, больше не надо. Больше нельзя. Нет, ангел! — странным всхлипывающим голосом, то ли хихикая, то ли плача. — Нет, Венди умрет! Только полстаканчика.

И жалкое действо продолжалось; она с головой зарылась в свои несчастья, начисто забыла про день рождения Мейсона и только в одиннадцатом часу, держась за нас и не прерывая монолога, пошла вниз обедать.

— Нет, правда, — обиженно сказала она, когда Мейсон пододвинул под нее стул. — Ричард, того вина! Ну в самом деле, вот вы молодые, вы мальчики, но ведь и вам понятно, что это вопрос с а м о й о б ы к н о в е н н о й ч е л о в е ч е с к о й п о р я д о ч н о с т и. Ведь он меня не на помойке подобрал, я была не какая-нибудь голливудская девка. Если на то пошло, и папа Боб, и мама, и я, мы уже тогда были в «Светском календаре», а Ван Кампы уже двести лет жили на Лонг-Айленде, когда Флаги сюда только прибыли. Маккиспорт, Пенсильвания! Фу! — Она презрительно рассмеялась, сделала непонятное движение рукой — я даже подумал, что она покажет нос Ричарду, в этот миг беззвучно появившемуся из-за кулис, — причем сшибла со стола стакан с водой, и он разбился под ногами у Мейсона.

— Вы звали, модом? — пробурчал Ричард.

— Разумеется, звала. Оставьте в покое стакан. Принесите то вино. Rosé⁷². Звала ли! — передразнила она у него за спиной. — Звала ли!

В перерыве между коктейлями и вином она, как мне показалось, пришла в опасное возбуждение: она нервно барабанила пальцами по столу и в ее обычном шелковистом голосе появился наждачный призыв, шершавость интонаций бужетчицы. Мне было неловко до дурноты. Я с надеждой посмотрел на лицо Мейсона, утешения там не нашел: держа Венди за руку, он внимательно заглядывал ей в глаза, заботливо снабжал ее вином; когда она не сумела укротить нож и вилку и вознамерилась проглотить свою курятину целиком, он с ласковыми увещеваниями разделал для нее птицу и на протяжении всего ее печального и несвязного монолога хранил угрюмую настороженность и держался чинно, как архиепископ.

— Одну несчастную лошадь. Всего-то. Можно подумать, я просила конюшню. И нате. Слушай, мой ненаглядный, ты не слушаешь Венди!

— Венди-дорогая, твой нежный голос проникает сердца... или как там. — Внимательно наблюдая за ней, он дернул плечом. — Едем дальше.

— Милый. Радость моя. О чем я говорила? Ах да. В сущности, кто ему помог встать на ноги? Кто? Ответь мне. Я сама отвечу. Кто как не Роберт Сарджент Ван Камп второй! Ты думаешь, папа Боб задумался хоть на секунду, когда твой отец пришел к нему и попросил денег, чтобы встать на ноги? Нет! Папа

⁷² Розовое (фр.).

Боб — никогда. Папа Боб... это дедушка Мейсона, Питер, то есть мой отец... он был широкой души человек.

Она вдруг задумалась, подперла лоб рукой и снова стала хлюпать носом; вилка с пищей застыла в воздухе, соус тонкой струйкой стекал по подбородку. Я был в панике.

— К нам все ездили в гости. Буквально все. До маминной смерти. Вечера. Танцы. Прогулки на яхте при луне. Это было, понимаете... жизнь была... до чего привольная и чудесная. А когда я окончила Фокскрофт, папа Боб устроил незабываемый бал. Было море, море людей, два оркестра и все на свете. И один мальчик сходил по мне с ума. Эймори Фелпс. Бедняжка, он утонул в Бар-Харборе. Чудесный мальчик, такой жизнерадостный, с красивым мягким голосом. Боже, зачем я так говорю? — вдруг перебила она себя. — Какая же я зануда, милый. Извини меня. И вы, Питер, извините меня, ради бога. Просто... ах, не знаю... просто я так горжусь моим красивым взрослым мальчиком, но знаю, что теперь ты уедешь от меня далеко... чтобы подниматься все выше, выше, к звездам, и тебя ждут большие, прекрасные дела. Как тяжело сознавать, что ты будешь далеко, и все-таки... все-таки... боже мой, как это трагично! Я просила так мало. Так мало. — Она уронила голову на руки и начала всхлипывать; плечи у нее дрожали.

Тут двустворчатая дверь распахнулась, и в жарком выдохе кухни, с лицом, багровым от огня семнадцати свечей на торте, возник кошмарный Ричард. Я не знал, что делать, потому что традиция требовала песни. Хилым голосом я затянул было «С днем рождения», но слова беззвучно околевали еще в глотке. Я замолчал и уставился на Венди. С трудом можно было разобрать, что она шепчет, измученно и безутешно, себе в локоть.

— ...возьми меня, shégi, — бормотала она. — Возьми меня с собой... наша родословная... shégi... — Потом: — ...знаменитым... человеком... хорошим...

— Венди-дорогая, — сказал Мейсон, — у меня новость.

— Не надо говорить.

— Это опять случилось.

— Не надо, милый.

— Я не вернусь в колледж, золото.

— У меня разрывается сердце.

— Венди, послушай, я не вернусь в колледж.

— Как я одинока.

Он грубо схватил ее за плечи.

— Венди, меня выгнали из школы. Понимаешь, вышибли. Ты поняла или нет?

— Золотой мой, всегда разыгрывает Венди.

Тут бы я, наверно, убежал — но словно прирос к стулу. В мертвой тишине зазвонили, захрипели, чудным, бряцающим, нестройным хором загомонили часы по всему дому: полночь, полночь. «Извините...» — хотел сказать я, но бежал от них только в мыслях, летел над лунной водой, над соснами, над сонными полями в укромное место, домой — скрыться поскорее от этого непонятного горя и несчастья, хоть на одну блаженную секунду, до той поры, когда Венди, как ныряльщик, вырвавшийся из удушливой пучины, медленно оторвет голову от стола и, вдруг все осознав, оглушительно завопит...

— Нет! Ох нет! — Она кричала, глядя на него. — Нет! Нет! Нет!

— Венди, не волнуйся... — робко начал Мейсон.

— Нет! Нет! Нет!

Он поймал ее трясущуюся руку.

— Послушай, Венди-дорогая, это еще не трагедия. В конце концов, я же цел и невредим.

Венди закрыла лицо руками и стала раскачиваться, как плакальщица.

— Ты обещал, — стонала она. — Говорил, что будешь хорошим. Говорил, что

больше не будешь меня огорчать. Ох нет, нет! Я не могу поверить! Я больше не вынесу! Что ты наделал, милый? Что ты наделал?

Мне показалось, что Мейсон тоже сейчас заплачет, не выдержав материнского горя. Но он взял себя в руки и небрежно, почти легкомысленно сказал:

— Ничего такого, за что тебе пришлось бы краснеть. Во всяком случае, на этот раз не за отметки. Меня накрыли, когда я играл в чехарду с одной девицей.

— Связь! — крикнула она. — С женщиной! Дорогой мой! Неужели ты не мог подождать? Нет! Нет! Нет!

— Венди, милая, — жалобно сказал он, — я сам себя проклинаю. Ей-богу...

— Что же ты будешь делать? Что ты будешь делать? Подумай, какое это для меня разочарование! Что же теперь с тобой будет? Ты не попадешь в Принстон. Без школы. Тебя никуда не примут! Как ты мог разбить мои мечты! — Слезы ручьями бежали по ее несчастному лицу; она дрожала как в ознобе, и я подумал, что сейчас она свалится на пол. — Как ты мог, когда ты у меня один на свете! Когда ты моя единственная надежда! Когда я столько раз тебе твердила, помнишь? «Будь хорошим, моя радость. Всегда быть умным. Мужественным. Гордым и выдержанным. Ты ясная звездочка в моем венце!»

Она умолкла; ее тело сотрясилось от рыданий. Нож со стуком упал на пол. В темной комнате колыхались огни свечей, и неряшливый свет их бегал по ее дрожащим губам, по мокрому от слез лицу, по растрепанным волосам. Потом я увидел нечто удивительное. С предупредительностью, в основе которой была настолько тесная связь между ними, что всякое движение, всякий мимолетный жест насыщены были смыслом, как в поэзии, Мейсон взял в рот две сигареты, раскурил их, и потом небрежно, но ласково вставил одну ей в губы. И горя ее как не бывало — она успокоилась, затихла. Не знаю, услуга эта так на нее подействовала или просто, налившись вином и джином, она потеряла всякий контакт с происходящим; так или иначе, похоже было, что ребенку сунули в рот петушка на палочке: слезы высохли, она тихо рыгнула и с рассеянно-озабоченным видом обратилась к Мейсону.

— А что же, моя радость, — сказала она. — с твоими вещами, костюмами?

— Старый хрыч не пустил меня в спальню. Заставил спать на койке в спортзале. Сказал, что я разлагаю ребят. Честное слово, Венди, все это такое детство, ну его к черту, даже думать не хочу. Ну выпустил пар. Не смертный же это грех, ей-богу. Ну сваял дурака — можно было и потише. Но и дел-то всего... ей-богу.

— Но все-таки, дорогой, что же с твоими вещами? Этот Макинтош...

— Он сказал, что велит кому-нибудь из негров собрать их и выслать...

— Кто? Кто это сказал? — резко спросила она.

— Доктор Марстон.

— То есть как? Тебе не позволили даже забрать свое имущество?

— Ну, Венди, — устало ответил он. — Не изводи себя. Как это все скучно. И вообще это была дыра. Там до десяти считать не научат.

— Подожди! Они у меня увидят! — сердито закричала она. — Что же получается — этот старик! Этот мерзкий старый ханжа! Этот Моррисон...

— Марстон.

— Что, он может вот так выгнать мальчика? И ни слова — м н е — ни что, ни почему? Матери?

— Венди-дорогая, сядь ты.

— Нет, я не сяду. Он думает, что может исключить тебя без всякого разбирательства? То есть причины? Что, почему? Матери! А справедливость? А потом говорит о разложении! А потом отказывает человеку в праве на вещи! Этот старый ханжа? Ну нет! — Бормоча угрозы, она оторвалась от стола — уже растерзанное чучело, а не женщина — и стала громко требовать машину.

— Ричард! Где этот болван?

— Венди! — крикнул уже и Мейсон. — Сядь, ради бога.

Она побрела к двери.

— Ну нет! Не в такой день! Где «понтрак»? Этот старик мне ответит, пусть не думает...

— Венди! — Мейсон поднялся. — Тебе нельзя ехать!

Но она бы, наверно, поехала, попыталась, во всяком случае, если бы не какая-то непонятная возня в передней и следовавшие за этим пять минут хаоса. Я смотрел на спину Венди и на Мейсона, который бросился за ней вдогонку, и вдруг из передней донесся шум, стук, лай, чей-то выкрик — сперва эти звуки были приглушенными и неразборчивыми, но когда Венди дошла до двери и распахнула ее, скандальный, зловещий галдеж ворвался в комнату. Доги гавкали у входа. Потом заорали люди — уже не один голос, а два или три, — послышалось шарканье ног, тяжелый удар тела о дерево — и все это наложилось на бархатный вечер, как звуковая дорожка какой-то буйной сцены в кино на черный еще экран. Я вышел за Мейсоном в пышный вестибюль. У входа в ливрее воинственно стоял Ричард, вопил по-французски и по-английски и изо всех сил тянул за поводки обоих догов, которые с пеной на губах, скребя когтями по плитке, вскидывались и рвались к кому-то, кто стоял на крыльце.

— Уходите! Слышите? — вопил Ричард. — *Allez donc!*⁷³ Живо!

— Ричард! — взвизгнула Венди.

— *Je vais appeler la police, madame!*⁷⁴

— Что им надо?

— Сама знаешь, чего надо, — отозвался голос со двора. Голос деревенский, гортанный, несколько негроидный — архаический, каких-то елизаветинских времен, ленивый голос с южных берегов Чесапика, и в нем слышалась чугунная угроза; у меня стянуло кожу под волосами; двигаясь к двери, я сперва только догадался, чей это голос, потом понял, потом увидел: костлявого рыбака в комбинезоне, с лицом, как нож, глазами, упрятыми под брови, как две картечины, и сверкающими от невыносимой обиды и гнева.

Рядом с ним стоял другой, помоложе и пониже, с квадратным, совершенно красным и расстроеным лицом и громадной дубиной в руке.

— Сама все знаешь, — сказал первый. — Парень твой нам нужен — прочить его как следует. — Он предостерегающе взглянул на второго. — Не подходи к собакам, Бадди.

— О чем они говорят? — захныкала Венди. — Ричард, отведите Фритци и Бинго в дом. Я ничего не слышу!

— Я тебе скажу, про что мы говорим. Дай только добраться до твоего малого — узнаешь, про что мы говорим. Видать, их в школе ничему не учат и дома то же самое. Стой тихо, Бадди, псы тебе ноги отгрызут. Хозяйка, мы из Таппахано сюда ехали и покамест шкуру с вашего подледа не спустим — обратно не поедем.

С разинутым ртом, спутанными и рассыпавшимися волосами, Венди цеплялась за косяк и глядела на них в пьяной тревоге. Мейсон, который стоял за Ричардом и собаками, все еще рычавшими и рвавшимися с поводков, убежал в глубину передней.

— Венди, — донесся оттуда его панический голос, — закрой на фиг дверь.

— Но я не понимаю...

— Хозяйка, мне самому тебя жалко. Если бы у меня вырос такой парень, я бы утопился. А что он сделал, спрашиваешь, — он вот что сделал: взял мою дочку Дорис — ей тринадцать лет всего, истинный бог, и умом обижена, — взял ее... стыдно сказать, хозяйка... взял, напоил там и спознался с ней. Прямо в ихней церкви, в школе святого Андрея. Взял мою дочку, несмышленную тринадцатилетнюю девчонку, и спознался с ней. Как с ж е н щ и н о й, говорю, спознался!

Венди снова застонала и зарыдала — только не знаю, над этим ли рассказом. Глаза приезжего горели благочестием и местью.

⁷³ Уходите же! (Фр.)

⁷⁴ Мадам, я вызову полицию! (Фр.)

— Хозяйка, я не из тех, которые сами привыкли чинить суд и расправу. Правду сказать, и случая такого не было. Спроси кого хочешь на реке от округа Эссекс до Дельтавилля — всякий скажет, что Гровер Флойд человек смиренный. Но я тебе так скажу, хозяйка. — Тут он замолчал на секунду, угрюмо стиснул корявые кулаки и послал коричневую струю табачной слюны в самшит. — Я так скажу. Никакие суды не помешают мне переделать, что твой сын наделал. Грешники содомские постеснялись бы того, что он сделал — у бога прямо на глазах, в его святом храме, над девчонкой несмышленной, детских платящев не сносившей. Хозяйка, — сказал он и шагнул вперед, а Бадди следом за ним, угрожающе приподняв дубину, — тебе я зла не желаю. Только в сторонку отойди — у нас до парня твоего дело!

Тут я тоже отступил в испуге, и глаза мои ухватили словно бы десяток вещей разом: Венди, отброшенная напором его гнева, раскинула руки на двери и, крепко зажмурив глаза, в ужасе шепчет что-то небу, как мученица, взошедшая на костер и в предсмертной истоме ждущая последних огненных терзаний; двое мужчин в комбинезонах неумолимо с яростью в глазах поднимаются к нам по ступенькам, сильные, с широкими ладонями, каменные в своей решимости, и старший вытаскивает из заднего кармана обрезок чугунной трубы и, шагнув через порог мимо Венди, потрясает им над головой; бледный Мейсон съежился позади Ричарда и остервенелых собак и вдруг бросился наутек боком, по-крабьи, поскользнулся, поднялся и тонким детским голосом зовет на помощь, убегая к лестнице; Ричард оцепенел от страха, не может ни пошевелиться, ни спустить собак и только вопит бессмысленно: «Модом, модом!» — все это я увидел и услышал в ничтожную долю секунды. Они прошли передо мной в замедленном месмерическом шествии, пока я нашаривал карман с сигаретами, — а потом я обомлел от ужаса: двое смотрели только на меня, м е н я приняли за Мейсона. Я хотел закричать, хотел убежать — подошвы прилипли к полу. И наверное, они бы взяли за меня, но в это время откуда-то сзади раздалось возмущенное: «Стойте!»

«Стойте!» — снова крикнул голос. Это был мистер Флагг. Босой, в пижаме, он появился из коридора — казалось, за километры и километры от нас — и бесшумно затопал к двери. Только ли этот плац-парадный баритон произвел на всех такое действие? Или же сама его фигура, какое-то излучение силы и власти мгновенно поразило всех нас, приковало к месту, и каждый замер, окаменел в своей позе — страдания, гнева, страха? Как бы там ни было, когда он подал голос и двинулся к нам через это бесконечное расстояние, все мы, точно заколдованные, превратились в статуи: и распластанная у двери Венди с удивленно выпученными глазами («Джастин, я думала...» — донесся до меня ее лепет), и двое в комбинезонах, все еще на пороге, подняв оружие, бессильно вплавившееся во фриз ночи; даже собаки замерли, онемели, и тишина была оглушительнее их лая; и наконец, я увидел Мейсона на лестнице, дико озирающегося в паническом бегстве — согнутая нога его застыла над ступенькой. Мы смотрели; Флагг приближался. «Стойте!» Лысый, низенький, в очках, с холеными усами, он надвигался на нас, как заводной солдатик; ширинка у него была раскрыта, он не смотрел ни направо, ни налево, а колонны огибал четкими поворотами под прямым углом. Я почти слышал щелчки во время этих поворотов и жужжание пружинного механизма, но когда он прошел мимо — все так же упершись тяжелым взглядом в гостей, — на меня пахнуло запахом ванны, лосьона, и запах еще держался, когда он гаркнул им: «Вон из моего дома!»

В этом сокрушительном проявлении власти, воли было что-то царственное; двое съежались, согнулись перед его яростью, как ивы под шквалом. Старший запинаясь, робко, испуганно снова захрипел о своем несчастье:

— Пойми ты, хозяин... ведь малый забрал мою девочку...

— Брось трубу! — рявкнул Флагг. — Я все слышал. Я вам хорошо заплачу за ваши огорчения. А сейчас вон из моего дома. Вон из дома, или застрелю обоих! Пистолета при нем не было, но меня бы не очень удивило, если бы он извлек его из воздуха. Труба с лязгом упала на пол.

— Ей тринадцать лет всего, — забормотал рыбак. — Ей-богу, хозяин, она пришла ко мне, а у ней кукла на руках. К у к л а у ней, у бедной девочки...

— Сочувствую вашей беде, — перебил Флагг. — Но это не значит, что вы

можете среди ночи врывать в чужой дом с оружием. А теперь вон отсюда, вы поняли? Оставьте слуге ваш адрес — завтра я с вами свяжусь. И уходите, оба.

Он стоял босиком перед дверью и смотрел на них, пока они с тихим шарканьем сходили по ступенькам.

— Джастин... — услышал я голос Венди. Она шагнула к нему. — Джастин, я не знала, что ты здесь. Где ты...

— Замолчите! — Он круто повернулся к ней. — Ричард, позовите Денизу, пусть уложит мадам в постель.

— Джастин! Джастин, дорогой, где ты был?

— Замолчите! — повторил он. — Вас это больше не касается, Гвендолин. Где я и что я делаю, касается только меня — и так будет впредь, вам понятно? Так будет впредь! Т а к б у д е т в п р е д ь! Так будет всегда, коль скоро жена у меня обыкновенная пьяница — обыкновенная пьяница, обыкновенная пьяница и идиотка — вы идиотка, известно вам это? — а сын — презренный скот!

И босиком по блестящему полу — маленький, сухой, с прямой, негнущейся спиной — стремительно ушел, оставив после себя на поле брани в растревоженной ночи странный девичий аромат гардении.

Я долго не мог опомниться, знал, что не усну, и допоздна сидел в библиотеке возле тихо игравшего приемника, перелистывая — и почти не видя — журнал «Таун энд кантри». Из окон слабо пахло папоротником, цветами, цветением, там на лугу горланили лягушки, стрекотали кузнечики, и голос жалобного козодоя сладко и пронзительно вещал из лесу о приближении лета. Потом пришел Мейсон в разужоренном купальном халате, с высокомерной ухмылкой на лице.

— Ничего себе представление, а, Пьер?

Я и хотел бы ответить, но слова — не знаю, какие уж там нашлись бы, — встали в горле. Я смотрел в журнал. Такие мне еще не попадались — он полон был тощих и бледных людей, одни сидели на тростях-сиденьях, другие осматривали рысаков. Хотелось плакать.

— Мейсон, — сказал я наконец с вымученной небрежностью, — неужели у Венди нет ничего, приспособленного для чтения?

Тут я увидел, что он лежит на кушетке ничком и рыдает в подушку, но так и не нашелся, что еще сказать.

Немного погодя я задремал. Уши наполнил звук как будто тысяч альпийских рожков — нестройный, усыпляющий, далекий... — а где-то в гулкой комнате дома, населенного шепотом и шагами неизвестных людей, слышалась возня, шуршание — кто-то впопыхах готовился к бегству. «Всегда слыхи маму», — почувствия мне голос Венди и тут же: «Питер Леверетт! Питер! Питер Леверетт! — позвали сверху. — Проснитесь! Давно пора!» Я заставил себя открыть глаза, все еще грезя, что надо мной склонилось лицо Венди, но потом спихнул с себя перину сна, поморгал и наконец увидел, что меня тормозит Розмари де Лафрамбуаз — среди ночи, в Самбуко.

— Не надо так огорчаться, Питер, — уговаривала Розмари, — может быть, бедняга поправится. Знаете, я читала, что некоторые лежат в коме годами... — Она запнулась, должно быть сообразив, что меня это отнюдь не утешит. — И все-таки живут.

Этот разговор происходил у дверей гостиницы «Белла виста», где она дождалась меня, пока я наспех принимал душ, брился и надевал свой лучший костюм. Так же терпеливо она ждала, пока я звонил в неаполитанскую больницу и выяснял у какой-то ледяной, скрытной женщины, очевидно монахини, сестры милосердия, что ди Лието по-прежнему спит черным беспробудным сном, разбитый череп его обложен льдом и одному только отцу небесному ведомо или подвластна его дальнейшая судьба. И парфянской стрелой (по металлическому голосу ее я понял, что она угадала во мне англиканца) из Неаполя долетел совет — молиться; наверное, это молитвенное и безутешное выражение моего лица побудило Розмари внедрить в мой ум — с самыми лучшими намерениями — образ ди Лието,

лежащего пластом, медленно седеющего, глухого ко всему и питаемого через какую-то гнусную трубку до самого судного дня.

— Я хочу сказать,— поспешила поправиться она,— это значит... то есть не значит, что он непременно умрет, понимаете?

— Понимаю,— ответил я жалким голосом.

— Постарайтесь забыть об этом, Питер. Я понимаю, для вас это ужасное потрясение, но если бы вы хоть ненадолго восприняли это не как что-то личное, а только как... ну, не знаю — как крохотное происшествие в громадной жизни вселенной... Вы читали «Пророка» Халила Джибрана⁷⁵?— Голос у нее был крайне печальный.

— Боже упаси.

Мы спустились во двор «Белла висты» и остановились закурить. Тут цвели розы; ночь была душистая, теплая, беззвездная. Легкие облачка напыльвали на луну, напоминали, что бывает где-то и идет охотно дождь. Завтра снова будет солнечно и жарко. Я чувствовал себя разбитым, словно не выбрался только что из мутного и половинчатого сна, а отшагал громадное расстояние, ворочал тяжести, сражался с гигантами. Однако когда лицо Розмари, красивое и большое, наклонилось к огоньку в моих ладонях, заглушив крепкими сладкими духами запах роз, мне показалось, что ум мой на удивление свеж и целок — все та же хи-мера натруженной обостренности чувств,— и меня осенило, где я видел ее лицо раньше: ну конечно — Венди; однако я не спешил лепить фрейдистское уравнение, ибо в еще большей степени это лицо было собирательным портретом тех наконец-то выращенных дев, которые вежливо и безмятежно глядели на меня с бесчисленных страниц воскресной светской хроники, почти неразличимые благодаря мягкому, стандартному, чрезвычайно американскому выражению глаз, в котором читается послушность прописной морали и достаток. «Пророк». Поэзия как раз для колледжа Финч — и я бы, пожалуй, рассмеялся вслух, но в это время Розмари выпрямилась с сигаретой, и я понял, почему она такая печальная. Она была «любовницей» Мейсона (не сомневаюсь, что она первая взяла бы это слово в кавычки), и тень рассеянности, неуверенности, неловкости в ее поведении при всей ее крупнокалиберной и ухоженной красоте намекала, что она уже стыдится этой роли, а может быть, и боится, и тоскует по тому безвозвратно утраченному своему образу, который непорочно глядит с обручальных страниц «Нью-Йорк таймс». Предвзято я судил? Не думаю. Кроме того, когда она взяла меня под руку и мы вышли на бульжную мостовую, уличный фонарь осветил ее лицо, и я увидел под глазом блестящий синяк работы Мейсона.

— Жалею, что не пришла разбудить вас пораньше,— сказала она по дороге,— но видно было, что вы совсем не спали, бедняга. Мейсон со мной согласился. Вы не обиделись?

— Ну что вы. Спасибо, что зашли.

— Вам не помешает выпить.

— А главное — поесть.— Я умирал с голоду. За весь день я съел только булку в Формии, и казалось, это было год назад.— У вас там есть что-нибудь — или я попробую взять в...

— Питер, не смешите меня! У нас горы еды. Вы умираете с голоду! Сегодня Мейсон съездил в Неаполь в военный магазин и привез буквально тонну продуктов. И вырезки, и фарш, и мороженая всякая всячина. И молоко, Питер, настоящее молоко от коровы, в бутылках! Мейсон говорит — привезли самолетом из Германии. Сегодня вместо коктейлей я выпила целый литр. Честное слово.

— Военный магазин?— Я удивился.— Но как он...

— А-а, вы знаете, он же был летчиком во время войны. И когда мы приплыли в Неаполь, он сразу прикрепился к магазину.

— Летчиком? А что же...— Я опять запнулся в недоумении, но недоумение тут же прошло, стоило мне только вспомнить кое-что о Мейсоне. Кажется, я сдер-

⁷⁵ Дж и б р а н Х а л и л (1883—1931) — ливанский писатель и художник, мистик, с 1910 года жил в США.

жался и не крикнул.— Скажите, разве бывш... бывший летчик может покупать в военном магазине? Если он не служит? Там, наверно, какой-то блат, нет?

— Не знаю, Питер,— рассеянно ответила она.— Для меня это китайская грамота. В общем,— добавила она уже бодрее,— у нас есть все на свете. И в диком количестве. Как вы отнесетесь к хорошему филе?

Я хотел ответить: «С энтузиазмом», но тут Розмари охнула и застыла на месте: из темного проулка с громким сопением и хрюканьем выскочила, пригнувшись, обтрепанная фигура, подбежала к нам и с неожиданной силой ухватила меня за руку. Я почти сразу сообразил, что эти дочеловеческие звуки исходят всегонавсегда от давешнего моего драгомана Саверио, который тем уже оседлывал речь и, придвинув к нам красное плоское лицо, тыча языком в брешь между зубами, прорычал какую-то фразу на непонятном наречии, все время улыбаясь и сияя, как тыквенная башка со свечкой, которую носят в канун дня всех святых.

— Это местный идиот,— шепнула Розмари.— Прогоните его.

— Он безобидный. И я его не понял. М е д л е н н е й говори, Саверио.

— Buonasera, signora!— гаркнул он ей.— Buonasera, padrone!⁷⁶ Вон, синьора, я начистил вашу машину «кадиллак».

Мы пошли дальше. Розмари поежилась.

— Брр, он похож на персонажа из комиксов. Что он там говорил?

Рядом с нами у стенки, ограждавшей темную улочку, стоял «кадиллак» с откидным верхом — до того красный, вульгарный и громадный, что я глазам своим не поверил, хотя раза два встречал его близнецов в Риме. В воздухе вокруг него, а заодно и вокруг нас висел влажный древний запах города, но машина источала и свой отчетливый запах — свежей краски, пластика, резины, летучей новизны, всей мичиганской волшбы,— а Саверио надраил ее так, что она сверкала, словно какой-то непотребный рубин.

— Он сказал, что отполировал вашу машину,— объяснил я.— Она правда ваша?

— Да... Мейсона,— ответила Розмари, как бы извиняясь.— Цвет действительно... устрашающий. И великовата, конечно,— добавила она задумчиво.

Когда мы проходили мимо, она любовно провела по крылу ладонью; машина была настолько огромной, что казалось — это она вопреки природе механически отелилась итальянской малолитражкой, стоявшей у нее под боком.

— Знаете, Мейсон хорошо о ней сказал. Когда мы проезжаем какую-нибудь деревушку, крестьяне столбенеют так, как будто по их улочке прокатились на «Куин Элизабет».— Она смущенно усмехнулась.

Затем по моей подсказке она дала Саверио несколько лир («Я не просила его полировать машину»,— возразила она сперва, но когда я объяснил, что в среде американцев принято относиться к такому мелкому вымогательству снисходительно и произнес нечто торжественное по поводу нищеты этих южан, раскаялась в своих словах); идиот ускакал в темноту, а мы через несколько шагов, как раз когда церковный колокол в глубине города пробил последнюю половину перед полуночью, очутились у дверей виллы. Я толкнул тяжелую дверь и увидел большой крытый двор; высокие своды потолка на стройных желобчатых колоннах терялись в темноте, и там летала и колотилась пленная ласточка; через световой люк в форме лилии нечаянно заглянула луна.

— Плитки,— сказал я, посмотрев на пол.— Красивые.

И правда: весь пол был покрыт замечательным узором из пересекающихся красных и синих кругов, который создавал ощущение перспективной глубины, и красочной, и заманчивой, и немного пугающей; но когда глаза освоились, я уловил какой-то непорядок — потом разглядел, какой именно: нагромождение камер, прожекторов, микрофонных журавлей в темной части двора.

— Сегодня здесь снимали,— сказала на ходу Розмари.

— Догадываюсь.

Пол был исчерчен широкими полосами: колеса паукобразных сооружений, возимых взад и вперед, выдавили в плитках безобразные канавы.

⁷⁶ Добрый вечер, синьора! Добрый вечер, хозяин!

— Знаете, этот дом тоже принадлежит Фаусто, он пришел в ярость, когда увидел, что сделали с полом, — сказала Розмари, будто почувствовав мое огорчение. — Но Херб Вингейт, администратор группы, пообещал, что за это заплатят, и он обрадовался, как ребенок.

Когда мы подошли к лестнице, которая вела к комнатам Мейсона, двор превратился в огромный резонатор: его заполнил адский шум. Сверху, приглушенное алебастровыми стенами, но отчетливое, донеслось бречание рояля, шарканье ног, над всем этим — тонкий фальцет, а потом взрыв за взрывом истерического хохота. А рядом с нами, за дверью, выходящей во двор, с такой громкостью, что каждый удар басов отдавался в земле, как слоновий топот, проигрыватель изверг начальные такты увертюры к «Дон Жуану». Все это слилось в дикую какофонию, и захотелось, как в детстве, заткнуть уши пальцами. Но Розмари схватила меня за руку, и когда мы поднялись по лестнице вон из этой акустической западни, музыка разобралась и перестала оглушать, как будто кто-то вскопил и привернул громкость.

— Там живут Кинсолвинги. — Она показала на дверь внизу, за чашей съёмочного оборудования. — Когда мы приехали, весной, они уже здесь жили. Касс — по-моему, вы говорили, что встретили его? — был первый американец, с которым мы здесь познакомились. Он... — Розмари замялась. — Словом... он очень странный.

— Вы про этого пьяного, которого я повстречал по дороге? Про этого трепача с каролинским выговором?

— Ох, Питер, это просто несчастье. Этот Касс... — Она запнулась, и я услышал натянутый смешок. — Не обращайтесь внимания.

Я бы не обратил — да больно искренняя тревога слышалась в ее голосе.

— А что с ним такое? То есть кроме пьянства?

— Да ничего. — Вдруг она возбужденно схватила меня за руку. — Нет, он ужасный пьяница. А потом... он южанин, и странный, и... не знаю — не нашего круга, понимаете? Настоящий... по-моему, настоящий психопат. И еще эта девушка... итальянка, из-за которой они с Мейсоном... — Тут она густо покраснела и прикусила губу. — В общем, ничего особенного, — хрипло сказала она, мотнув головой. — Ничего. Ничего, Питер. Не обращайтесь внимания.

— Можете мне сказать... — начал я.

— Нет, — перебила она. — Пожалуйста. Оставим это.

Розмари была так взволнована, что и мне передалось ее беспокойство. Тем не менее она, по-видимому, твердо решила прекратить этот разговор — и даже попыталась.

Но мыслям приказать не могла.

— Смешно, когда мы познакомились, он хотел выдать себя за знаменитого художника. — Она назвала порядком нашумевшую фамилию художника-эмигранта. — Подумайте! А сам не представляет собой... — Она не кончила фразу и передернула плечами.

— Осторожно, провод, — сказал я.

Наконец мы поднялись на галерею. С фриза на закопченном портике дриады безмолвно умоляли о бане. Она остановилась.

— На вашем месте я бы не разговаривала о нем с Мейсоном. Ничего серьезного. Просто сегодня вечером... ну, не знаю.

— Да я почти и незнаком с вашим Кассом.

В этот миг на рояле кто-то заиграл джазовую музыку, и лицо ее прояснилось.

— Вы же не знаете, — сказала она. — Угадайте, кто это приехал из Рима и сказочно играет на рояле? Билли Реймонд!

Двери распахнулись, словно она произнесла заклинание, и мы вошли в покой Мейсона.

Я был ошеломлен, очарован. Мейсон всегда любил пустить пыль в глаза, но тут он превзошел себя. В этом зале почувствовал бы себя нестесненно и великий герцог; приволье было такое, что входить сюда следовало бы с пажом, под

звуки рогов и фанфар. К мощному крестовому своду приложил буйную руку художник прошлого века: пространство пучилось от облаков и пышной растительности, цвело всеми красками, от чистой морской зелени до сладострастного пурпура; сцены были мифологические и содержания темного, но, кажется, я угадал Деметру и одетую по викторианской моде Персефону, которая парила в парусящем платье, мечтательно кусая гранат. По всем стенам, как бы поддерживая карниз, шли красивые пилястры, совершенно ренессансные и блестящие, как чистое золото; я вполне готов был поверить, что они и есть из золота, и как раз взвешивал такую возможность, когда Розмари, объяснившись на языке жестов с представительным, официально одетым человеком, должно быть дворецким, снова взяла меня за руку и повела по комнате.

— Алонзо при мне сказал Мейсону, что это самое помпезное жилище, какое ему доводилось видеть, — заметила она, словно угадав мои мысли. — А он повидал все на свете. Но вы себе не представляете, Питер, оно стоит нам безумно дешево. До Фаусто дом принадлежал какому-то барону.

Я шел с моей рослой хозяйкой к группе человек в двадцать, разместившейся на диванах и стульях вокруг рояля. За ними, за стеклянными дверьми вышней с небольшой дом лежало безлунное море; бриз вяло трогал багровые шторы, шевелил в темных углах. В комнате стоял гомон, громкий, раздраженный, пьяный.

В зыбком янтарном свете все очертания лгали — а может быть, это глаза мои от усталости не желали фокусироваться. Так или иначе, черная ваза с круглыми ручками-ушками, стоявшая на крышке рояля, оказалась, когда мы подошли, головой молодого негра, который в пароксизме неизвестно чего вдруг разинул белый рот, а потом разразился песней.

— Это Билли Реймонд, — шепнула Розмари. — Сказочно поет.

Мы тихо подошли к людям у рояля. Песенка была шаловливого свойства: речь шла о бананах и других удлинненных предметах; он со смаком разделял фамилии людей, славных в мире театра и кино, нанизывая их на банановый вертел; шло это все на масляном мурлыканье, подмигивании, гримасничанье, и он как-то особенно зажмуривался, полностью утапливая глаза в черепе, когда нагибался к клавишам, чтобы извлечь быстренькое зубастенькое арпеджо. Но намеки его, хотя и вполне прозрачные по общему направлению, рассчитаны были на посвященных; с чувством неловкости я принялся разглядывать гостей Мейсона, которые потели в спортивных нарядах, внимая хриплому негру, и — кроме интересного седого мужчины, отчужденно и хмуро стоявшего в углу, — являли собой как бы картину разнообразных стадий хохота. Большинство из них по моей иерархической схеме киноискусства особого интереса не представляли — ну в самом деле, что такое помощник продюсера, администратор группы или ответственный за рекламу?

Среди остальных, не считая звезд, мне запомнились трое — именно эти трое, стиснутые на маленьком золоченом канapé, привлекли мое внимание, рассеянно расставшееся с Билли Реймондом. Первая — Доун О'Доннел, рыжая хуленькая молодая женщина, посасывавшая мятный ликер, с лицом такой меловой белизны, что я не мог поверить своим глазам, пока не понял, что это грим, нанесенный тщательно и искусно и с не очень понятной целью шокировать зрителя. Она не была хорошенькой, но сложена была неплохо и была бы вполне привлекательной женщиной, если б не так преуспела в своем намерении — намерении совершенно очевидном, судя по разительному контрасту между мертвенной белизной лица и оранжевыми волосами и по тому, что для полной завершенности облика не хватало только фальшивого гуттаперчевого носа, — выглядеть в точности как рыжий из цирка. Я вспомнил, что уже слышал о ней и видел ее издали в Риме. Доун О'Доннел было не настоящее ее имя — я где-то читал об этом, — а впрочем, в ней мало что было настоящим. Одно время она подвизалась как актриса в маленьких ролях, у нее была персональная выставка живописи, вышла книжечка стихов. Ни на одном из поприщ, включая несколько браков, не обнаружила она ни молекулы таланта, но будучи наследницей колоссального торгового состояния в Америке, бестрепетно продолжала свои мелководные искания, очевидно полагая, как выразился Томас Манн, что можно сорвать хотя

бы один листок на лавровом дереве искусства, не заплатив за это жизнью. Теперь, как я понял, она увлеклась искусством кино и каталась по всей Европе за кинематографистами, которые из-за ее несметного богатства, с одной стороны, и детских причуд — с другой, относились к ней со странной почтительной снисходительностью, звали ее Рыженький и горячими «да!» отвечали на ее бесконечные: «Как по-вашему, я красивая?» Все это было рассказано мне в тот же вечер. Розмари сообщила, что Доун периодически живет с Карлтоном Бёрнсом.

Рядом с Доун О'Доннел сидел сонный, улыбочивый Мортон Бэйр, известный журналист, поставщик светских сплетен, каждое слово которого в римской американской газете я проглатывал с такой же жадностью, какую раньше приберегал для Китса. Я узнал его по фотографиям. Бэйр был единственным, кроме меня, кто оделся не как для похода на пляж; его короткая, слегка сгорбленная фигурка была облачена в хороший фланелевый костюм — с желтым клетчатым жилетом вдобавок, — он кротко, покорно, даже грустно улыбался песенке Билли Реймонда, которую слышал, должно быть, в десятый раз, и я невольно почувствовал его скуке, забыв на секунду даже свое низкопоклонническое восхищение этим человеком, тоже светилом в своем роде, который чуть ли не родственному знался с кинозвездами пяти континентов, встречался с Эдгаром Гувером и Гербертом Баярдом Своупом⁷⁷ и даже обедал несколько раз в Белом доме.

И наконец третье лицо в этом трио было настолько знакомо мне по фотографиям, что хотелось подойти к человеку и хлопнуть его по плечу, как давнишнего приятеля. Но когда до меня дошло, кто это такой, я был ошарашен (не знаю, чем больше — неуместностью ли его в этой светской компании или же, наоборот, несколько неприятной естественностью симбиоза), а потому принялся глазеть на него, как в зоопарке. Ибо это был преподобный доктор Ирвин Франклин Белл, образцовый, неутомимый оптимист-священник, самый известный и самый любимый в Америке церковнослужитель после Генри Уорда Бичера⁷⁸. Видит бог, в этот вечер я был готов к чему угодно, только не к встрече с духовной звездой, такой неординарной, такой самобытной, и только позже из рассказа Розмари выяснил, как это получилось: Белл, наперсник промышленных и коммерческих владык, совершая частный неевангелический вояж по Европе, повстречал в римской гостинице старого друга, продюсера Сола Киршорна. Киршорн был почитателем Белла, как и многие другие богатые и высокопоставленные американцы, которые находили выведенное доктором простенькое равенство между богатством и добродетелью, добродетелью и богатством столь же выполнимым, сколь и понятным. Узнав затем, что маршрут Белла включает Самбуку (и все ту же «Белла висту»), предупредительный Киршорн связался со своей женой Алисой Адэр и велел оказать — от лица съемочной группы, которой он был продюсером, а она звездой, — знаменитому проповеднику всяческое внимание. Результат этого я сейчас и наблюдал: при каждом сладострастном стоне певца дородный, приветливый и страшно потный проповедник смаргивал за бифокальными стеклами, пытаясь тем не менее сохранить свой знаменитый лоск и жизнерадостность, и, как банкир, попавшийся на том, что запустил руку в кассу, подергивал щеки в жидкой, контрабандной улыбке. Я его отчасти пожалел. В вялых шелковых нефритно-зеленых штанах и рубашке, как у китайской вдовствующей императрицы на одном портрете, с мокрой оттопыренной нижней губой, словно готовясь принять на нее леденец или изречь очередное общее место, он изнемогал от неловкости — и обидно было видеть, что какая-то сальная песенка мешает ему получать удовольствие от красивого богатого мира, который он жаждал очаровать. Билли Реймонд кончил песню.

Я поискал глазами Мейсона, но его нигде не было. Когда затих последний журчащий аккорд, трое на канале сделали быстрые движения руками: Бэйр прикрыл зевок, Белл поправил очки, Доун О'Доннел нервными пальцами подняла тяжелые серьги, так что какую-то мимолетную долю секунды они изо-

⁷⁷ Своуп Герберт Баярд — американский журналист. В речи, подготовленной им для Б. Баруха, впервые появились слова «холодная война» (16 апреля 1947 года).

⁷⁸ Бичер Генри Уорд (1813—1887) — американский священник. Особую популярность принесли ему выступления в защиту трезвости и против рабства. Брат писательницы Гарриет Бичер Стоу.

бражали трех восточных обезьянок, заслонившихся от зла, — немую, слепую и глухую; я отвернулся, и за дальней дверью как будто прошел Мейсон, отирая лоб, — я хотел поманить его, но он уже исчез. Публика громко захлопала в ладоши. Я повернулся обратно к роялю, и Розмари вручила мне вазочку с земляными орехами.

— Я попросила Джорджи принести вам что-нибудь посущественнее, — шепнула она. — Сейчас придет. Билли сказочно пел, правда? Клянусь, он лучше Ноэля Коуарда. Он... тсс...

Все стихло. Билли опять запел, на этот раз прозрачную, грустную «А время идет». Кое-что я в этом понимаю, и его исполнение показалось мне хуже многих слышанных ранее — в том числе любительских. Тем не менее слушатели впали в своего рода транс; некоторые — облокотясь на рояль и подперши подбородок ладонями; хорошенькие, с голыми шеями девушки, обхватив себя накрест и поглаживая себя по плечам, закрыли глаза, и вскоре только я, голодный как волк, бодрствовал в комнате и разглядывал тех, на кого, в сущности, и пришел поглядеть: волшебницу Алису Адэр, стройную и светловолосую и с кожей такой опаловой прозрачности, что на ее чуть впалом виске, как на язычке лягушки, который я в детстве рассматривал в микроскоп, каждая жилка, каждый капилляр представляли глазу бьющимися, живыми и смертными; снова Карлтона Бёрнса с его сексуально пресыщенным, уродливым лицом — инкуб, верховой демон столько миллионов женских снов, что не под силу счесть даже его нанимателям; и наконец — Глорию Манджамеле, черноглазую, спокойную, изящную, чья соблазнительность на экране была лишь бледной тенью действительного, ибо эта чудесная грудь зывала не к зрению, а прямо к осязанию, — однако когда она отошла, покачиваясь под музыку, то обнаружила коротковатую, как у многих итальянок, талию и коротковатые ноги — черту, на мой пристрастный взгляд существенную, которую я не могу определить иначе как вислогузость. Впрочем, мне очень хотелось есть. Я опять оглянулся, ища Розмари, — и тут, должно быть от усталости превратившись в легкую добычу для сквозняка, я чихнул. Я чихнул снова и снова чихнул — и уже не мог совладать с этой мокрой изнурительной канонадой. Музыка застыла, смолкла.

— Кончайте там, эй вы, — послышался мужской голос.

Розовый рот Билли Реймонда открылся безмолвно; язык плясал в нем, как в колокольчике. Снова раздался голос неизвестного; казалось, он обращается не ко мне, а к целому миру дураков и тупиц, где я был просто главным.

— Черт знает что!

— Извините, — прошептал я.

— Черт знает что такое!

Кто-то захихикал, кто-то отнашлялся; в тишине брякнул фортепьянный аккорд, и жалобная хриплая песня снова наполнила комнату.

После этого нагоняя я потихоньку убрался в прохладное темное место у окна и сел там обиженно, с сигаретой в дрожащих пальцах, мечтая о бифштексе.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ



НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ

Я иногда гдумаю, что собрания сочинений и сборники стихов того или иного поэта вещь обоюдоострая: с одной стороны, они дают об этом поэте наиболее полное представление, с другой же — вносят академизм и определенное однообразие в восприятие его творчества и личности, лишают нас того чувства неожиданности, которое сильнее проявляется при чтении одного или нескольких отдельно взятых стихотворений.

А неожиданность — это ведь тоже та составляющая поэзии, которая ее украшает, а иной раз попросту необходима для нее.

Должно быть, поэтому в тех случаях, когда я неплохо знаком с творчеством поэта, мне доставляет особое удовольствие прочтение неизвестного его стиха, той «новинки», которая оказывается обнаруженной кем-то спустя время после выхода в свет многих и многих сборников и собраний, и даже вполне может быть, что при этом и сами-то сборники, самое целое, приобретут в моем сознании что-то новое, не гошедшее до меня за все прошедшие годы.

К творчеству Леонида Мартынова это относится тем более, что самого-то его всегда влекли неизвестность, находка и счастливый случай, всегда он как будто бы стремился расшифровать тот или иной иероглиф природы и существования в природе человека.

Ну а теперь нам предоставляется возможность применить его метод к нему же самому — это ли не интересно? И — не поэтично?

В стихотворении всегда присутствуют и мысль, и чувство, и звук — собственный и неповторимый гар поэтического голоса, манера расстановки и рифмования слов, то, что мы называем единством мелодии и речи, вот это-то единство и влекло меня к Мартынову.

Он, кажется мне, относился к тем поэтам, у которых становление голоса и рифмы происходило раньше, в самом начале творчества, а мысль и мудрость приходили позже, с годами, с опытом. С опытом творчества, с опытом жизни — личной, общественной, гражданской.

Так вот в голосе позднего Мартынова без особого труда распознается Мартынов ранний, пусть и не столь совершенный, не столь уверенный и умелый, а иногда даже и виртуозный, но все-таки это он, и раннее рифмическое его «забиячество» на наших глазах очень скоро становится высоким умением, сложившейся манерой; в поступательном же движении его мысли, в ее способности становиться мыслью общечеловеческой и общезначимой эволюции гораздо больше, и способность эта развивалась до самых последних, уже немолодых его дней.

Для ощущения и той и другой стороны его поэзии каждая новая публикация имеет смысл. Не говоря уж о смысле и удовольствии, которые эти публикации могут нам доставить просто так, сами по себе, безо всяких рассуждений по поводу творчества поэта в целом.

Этими именно словами мне и хотелось предварить публикацию неизвестных до сих пор стихов поэта, написанных в разное время. Я думаю, перед нами далеко не последняя публикация такого рода, потому что Мартынов был не из тех, кто торопился с публикацией всего им написанного. Скорее наоборот, он в этом отношении был слишком нетороплив, иной раз невозможно и объяснить, почему зрелое, вполне мартиновское стихотворение без всяких видимых причин так и осталось неопубликованным. Может быть, он хотел еще раз вернуться к этим строкам и что-то дописать, а может быть... Теперь мы уж этого не узнаем.

Во всяком случае, читатель, наверное, еще не раз встретится с новыми для него стихами поэта, и, мне кажется, это всегда будет интересная встреча.

Сергей ЗАЛЫГИН.

Первый вариант

— Я хочу еще писать, но править
Не хочу! — воскликнул Сименон.
Верно! То же самое и я ведь
Ощущаю, а не только он.

Пусть уж будет все как будет,
Коль себе ты веришь самому!
Пусть другие здраво и рассудят,
Что, когда писал ты и к чему!

Да и мало ли бы что такое
Вычеркнулось собственной рукой,
Чтобы жить, других не беспокоя
Или собственный храня покой!

И наивен тот, кто завещает
Взять лишь то, что вышравил он сам.
Этой тщательности не прощают
Даже и взлетевшим к небесам.

И еще потом смеются: — Гляньте!
Как ни тщился он перо кусать,
А ведь было в первом варианте
Много лучше! —

...И пошло писать!

На черной планете

Все будут на тебя ворчать:
— Бесишься, хулиганишь! —
А ты не будешь замечать, лишь улыбаться
станешь.

Из школы ты придешь и вот
 Ты за уроки сядешь —
 Все выучишь наоборот, в тетради клякс
 насадишь.

На алебастровых богинь
 Уставишь взор ты шалый,
 За греческий и за латынь сам примешься,
 пожалуй,

Чтоб деловито превратить
 В реальность, в повседневность
 Мир мифов и не позабыть все, чем манила
 древность.

Но и Грядущему отдашь
 Ты дань чтоб дымно-скверным
 Казался Век Двадцатый наш в сравнение с
 Двадцать Первым.

Вот для чего твои труды
 Во мгле лабораторной:
 Верни обличие звезды планете нашей
 черной!

* * *

Кем
 Были мы
 И чем
 Мы овладели,
 С чего начался наш XX век:
 Мелели реки
 И леса редели.
 Как будто их под корень кто подсек.

Но
 Самолеты
 Все ж сумели взвиться,
 И что бы ни стояло на пути,
 А все-таки сумели объявиться
 Те, кто способен этот мир спасти!

* * *

Вслед за европейской, азиатской
 Африканская пришла пора,
 Испокон веков считалась адской
 Африканская жара.

Но как все непостоянно в мире,
Не похож бывает век на век,
Точно так и в Африке, в Алжире,
Временами выпадает снег.

Мы об этом знаем по газетам —
Измененья климата кругом! —
Но, конечно, дело и не в этом,
Суть совсем не в этом, а в другом.

И ложатся или не ложатся
Где-то там снега на берега —
Так не может долго продолжаться,
Ибо черный белым не слуга.

И не важно — тает иль не тает
Белый снег, недолго пролежав,
Важно, что на юге вырастает
Целый ряд значительных держав.

И не на капоте ли моторном
Белым мелом начертил араб:
Черный белым, как и белый черным,
В этой новой Африке не раб!

Время дорастет до вершин

Время мерит все на свой аршин?
Нет! Но и над ним вы не царите!
Если прежде времени вершим
Что-нибудь — нет толку в нашей прыти,
Хоть на ключ свершение заприте.
Но и не напрасно мы спешим:
И доходит время до машин
Хитроумнейших и до открытий
Чьих-нибудь заслуг или грехов,
Будто вовсе потонувших в Лете,
Либо часто даже до стихов,
Созданных не нынче на рассвете,
А во дни аркадских пастухов
Либо раньше на тысячелетье!

..*

Ну и сух шиповник вялый
В пыльной вазе без воды,
Листик желтый, листик алый
И на веточках плоды.
И шипы готовы ранить
Каждого, кто подойдет.

Ах ты дьявол! Так и манит
Бросить в мусоропровод!

Но не выброшу, оставил,
Стой на письменном столе
Как извечных древних правил
Подтверждение на земле!

.

Вчера
Понравилось одно,
Сегодня нравится другое,
Чему назавтра суждено
Лежать растоптанным ногою.

Сегодня дождь,
А завтра сушь;
Сегодня — сыро, завтра — душно,
Позавчера — слиянье душ,
А нынче смотрим равнодушно.

Все
Перепутать,
Позабыть
И, наплевав на остальное,
В итоге
От мороза быть
Такой же красной,
Как от зноя!

Минутный сон

Я страж,
Я бесстрашный страж,
Ценою страшных усилий
Ваш мир охраняю от краж
И бесшабашных насилий.

Хотелось бы лечь спать,
Но должен я гнать зевоту
Затем, чтоб не уступать
Ни в чем и ни на йоту.

И ярче, чем фонари,
Горят мои смелые очи,
Храня от зари до зари
Спокойствие целой ночи.

А если вздремнуть и мне
Внушает ночная свежесть,
То даже в минутном сне
Себе я недремлющим грежусь!

..*

Тебе за шестьдесят!
Не лучше ли
На прозу перейти теперь?
Об этом ты спроси у Тютчева,
А хочешь, и ему не верь.

Его стихи не всем по сердцу нам,
И ты, сомненьями томим,
Как будто Добролюбов с Герценом,
Возьми поспорь с собой самим.

О чем они, ты скажешь, спорили?
Ты это уж забыл почти!
Не о пустом ли? Не о вздоре ли?
А ты возьми и перечти.

И, может быть, хоть так вот, с помощью
Опасности, весьма большой,
Меж поздним вечером и полночью
Помолодеешь ты душой!



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Прикамье — продолжение встреч

Более десяти лет назад, когда еще только расчищалась строительная площадка под фундаменты КамАЗа, в Набережные Челны — ныне город Брежнев — приехала первая группа новоирицев. Тогда и зародилась дружба журнала и коллектива строителей, возводившего гигантский автозавод и новый город. Работники журнала, писатели, приезжавшие по командировкам «Нового мира» на великую стройку, присутствовали при закладке фундамента первого цеха завода и первого многоэтажного жилого дома, позднее — через несколько лет — видели, как сходил с конвейера первый автомобиль и автомобиль полумиллионный...

Дружба оказалась плодотворной: за прошедшие годы на страницах журнала были опубликованы десятки статей и очерков, поэтических подборок, посвященных большим делам на Каме; в город регулярно выезжали творческие бригады новоирицев, писатели выступали перед рабочими в цехах, клубах, на стройплощадках. Три сборника документальных очерков, книга стихов о КамАЗе — произведения, публиковавшиеся в журнале, — выпущены за эти годы. В издательстве «Советский писатель» недавно вышла книга Феодосия Видрашку «Набережная Надежды», тоже впервые пришедшая к читателю со страниц «Нового мира».

В сентябре 1984 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение недалеко от КамАЗа — в городе Елабуге — построить крупные заводы по выпуску универсальных пропашных тракторов мощностью в 150 лошадиных сил, дизельных двигателей и топливной аппаратуры к ним. Редколлегия «Нового мира», продолжая традиционную дружбу с Прикамьем и учитывая новый размах начинающегося в этом регионе строительства, недавно выезжала в город Брежнев.

В нынешний приезд мы еще раз убедились в том, какими поистине фантастическими темпами преобразуется жизнь в городе, как вдохновенно трудятся на благо нашего народа камазовцы! Мы видели построенные за последнее время новые жилые кварталы благоустроенных домов, новые школы, кинотеатры, спортивные сооружения, прекрасные дороги. Члены редколлегии побывали и выступили перед рабочими на трех заводах КамАЗа, в пригородном совхозе «Весенний» Тукаевского района, где обсудили также ряд проблем с первым секретарем РК КПСС М. Гилязовым и руководством совхоза; тепло прошла встреча с автозаводцами во Дворце культуры КамАЗа. Волнующей была встреча с учениками 35-й средней школы, где открыт музей дружбы новоирицев и города. Горсовет и горком партии приняли решение заложить в центре города аллею имени журнала «Новый мир». Первые березы посадили на аллее новоирицы.

В речи на юбилейном пленуме правления СП СССР К. У. Черненко подчеркнул: «Отрадно, что советские художники чаще стали обращаться к публицистике. Это дает им возможность смело и вовремя вторгаться в самую злободневную проблематику, в конкретные экономические и социальные вопросы, волнующие людей. Это помогает созданию таких произведений, которые средствами искусства подчас как бы обгоняют время, остро ставя назревшие проблемы и предлагая конкретные пути их решения».

Новый выезд нашей редколлегии в Прикамье, состоявшиеся там встречи и были продиктованы желанием еще в большей степени отразить в журнале «самую злободневную проблематику». Об этом шел разговор на совместном заседании бюро Брежневского горкома партии, руководства новым строительством в Елабуге и редколлегии журнала. В заседании приняли участие первый секретарь Брежневского горкома партии У. Хусаннов, секретарь горкома партии

Л. Шилова, председатель горсовета Ю. Петрушин, начальник Камгэсэнергостроя Е. Батенчук, технический директор КамАЗа В. Азаров, заместители председателя горсовета Н. Акепсимова и И. Козырева, первые секретари Комсомольского РК КПСС М. Майна и Автозаводского РК КПСС А. Кривоногов, секретари Комсомольского РК КПСС Ф. Мустафина и Автозаводского райкома КПСС К. Вергазова, заместитель секретаря парткома КамАЗа О. Беланенко, главный редактор журнала «Новый мир» В. Карпов, члены редколлегии Ф. Видрашку, А. Жуков, В. Казаков, А. Коваль-Волков, В. Литвинов, М. Львов, Г. Резниченко, А. Сахнин, сотрудники журнала А. Курбатов, А. Метс, поэт Р. Бухараев.

Обсуждены мероприятия по расширению шефских связей «Нового мира».

МИХАИЛ ШЕВЧЕНКО



ПОЭЗИЯ МОЛОДОГО ГОРОДА

Впервые я попал в этот город года два назад, когда здесь проходила организованная правлением Союза писателей СССР всесоюзная конференция «Социалистический образ жизни: молодые города и современная литература». Естественно, я и прежде много читал и слышал о Набережных Челнах — теперь город Брежнев, — но то, что увидел, превзошло мои ожидания. Я сразу понял, почему конференцию решено было провести именно в этом городе.

Если мы говорим, что молодые города представляют собой как бы модель социалистического образа жизни, то город Брежнев — самый подходящий тому пример. Многие старые города, порой самые близкие нашему сердцу, все же подчас дают камнем; небо над тобой разрезано на узкие полоски; из колодцев дворов редко увидишь солнце... Вырвавшись из такого города на природу, как говорится, облегченно вздыхаешь.

Другие чувства испытываешь в этом молодом и истинно современном городе. Над тобой — просторное небо. Перед тобой — привольные проспекты, площади и улицы в разрезах и тополях. Современные архитекторы щедро используют бетон и стекло. Здесь при обработке бетона удачно применяют национальный орнамент, это преобразует привычные коробки в здания, радующие глаз. Белые паруса домов Нового города делают его как бы парящим над землей. Город распахнут, дружески открыт человеческому сердцу, как распахнуты и просторы Прикамья.

А как же автогигант КамАЗ? Ведь от него же и гигантские промышленные отбросы?..

Думая о завтрашнем городе, необходимо, как говорят, приостановиться и оглянуться, особенно в связи с тем, что рождению городов сопутствует строительство крупных промышленных предприятий. Как-то в «Литературной газете» я прочитал статью ученых М. Антонова и В. Персианова. Они писали: «Давно прошли те времена, когда... наивно радовались асфальту вместо патриархальных яблонь. Город уже не кажется раем. Устали люди от скученности, асфальта, гари, шума, очередей, давки в автобусах».

Все это, к сожалению, правда. Я невольно вспомнил главный поселок родного моего района — Подгоренский Воронежской области. В нем в 30-х годах был сооружен цементный завод. Сады, хаты, улицы возле завода стоят вечно серые от цементной пыли. Когда же дует юго-восточный ветер, весь поселок задыхается от нее.

Однажды был я на Украине, в одном крупном областном центре. Это город-кравец с прямыми проспектами, с отличной планировкой улиц, расположенный на берегу большой реки. С первых же минут пребывания в нем меня начал бить кашель. Ветер дул от завода-гиганта. Над городом летели клочья гари. Позже я узнал, что город омывает почти мертвая река... И внешняя красота города поблекла перед глазами.

Какова же была радость, когда я приехал в Донецк — город горняков-шахтеров! Жители Донецка сумели уберечь и небо над собой, и воздух. Город утопает в зелени огромного парка, скверов и сквериков, садов и садиков. И не случайно среди самых чистых городов Европы Донецк занимает одно из первых мест.

И вот — Набережные Челны — Брежнев!.. Люди учили прежние промахи, учили добрый опыт градостроительства. Город от завода отделяет оздоровительная полоса, самая малая ширина ее — километр. Разрастаясь, заводской промышленный комплекс не приближается к городу, а, наоборот, отдаляется от него.

Нет еще здесь и скученности, и большого шума.

Занятый днем на конференции, я вставал утром рано и уходил из гостиницы побродить по городу, полюбоваться им, увидеть его просыпающимся... Удивительно красивы дома молодого города в свете восходящего солнца!

Я думал об архитектуре будущего. Мы ездим на экскурсии в Суздаль, Ростов Великий, Новгород, Владимир, чтобы насладиться старой русской архитектурой. Мы восхищаемся творениями зодчих Москвы и Ленинграда, Самарканда и Бухары, городов Украины и Кавказа. Что же мы оставим потомкам?..

Невольно приходит мысль о том, что нам не следует перенаселять города и скапливать миллионы людей в одном месте. Будь такая возможность, сегодня целесообразнее было бы рассредоточивать городское население, благо территория нашей страны куда как обширна.

Город Брежнев заставляет задуматься и о культуре городского быта.

Сейчас по примеру столицы многие города украшены призывами превратить их в образцовые коммунистические. Эту прекрасную задачу могут осуществить только люди высочайших нравственных принципов. Иначе не может быть.

У человека может испортиться настроение из-за такой, казалось бы, мелочи, что рядом с его домом владельцы породистых собачек, прогуливаясь в сквере, свысока или презрительно-равнодушно поглядывают на детей. Человеку не хочется возвращаться в свою квартиру, если у него над головой не прекращается размеренно-деловитый перестук и он не в силах найти защиту от обнаглевшего мастера-надомника. Человеку становится не по себе, когда он, открывая вчера еще новенькую кабину лифта, находит ее ободранной, исцарапанной, исписанной заборными изречениями; когда в студенческом общежитии места общественного пользования загажены будущими высокообразованными специалистами...

Молодой горожанин должен учиться культуре повседневного поведения, культуре использования свободного времени, культуре семейных, дружеских и товарищеских взаимоотношений.

Молодому горожанину кровно необходимо искусство сцены, живописи, культура музыки — настоящей музыки, от которой люди становятся выше и чище, а не той, от которой дергаются в истерике. Здесь несомненна и благородная роль литературы.

Утренний город. Его жители спешат на работу. Жители — молодые. Город построила и живет в нем — молодежь. Отраднее было видеть по утрам не хозяек бульдогов, горделиво прогуливающих своих питомцев, а женщин, катящих детские коляски. Однажды я как-то по-новому вспомнил и потом долго твердил вслух стихотворную строку поэта, рожденного этим городом:

За коляской хожу, как за плугом...

Строка эта встретила меня в сборнике «Лебеди над Челнами», выпущенном издательством «Известия». А тут, в утреннем городе, я с особой остротой почувствовал в той строке и благоговение перед материнством, и огромное уважение молодого горожанина к людям деревни, из которой все мы вышли. Уход за ребенком поэтесса Инна Лимонова сравнила с уходом за землей, вечной труженицей, щедротами которой жив человек. Эта талантливая поэтесса, прежде чем выступить в печати со стихами, работала плиточницей на строительстве ремонтно-инструментального завода, диспетчером на литейном заводе, строила свой родной город.

Теперь у меня в руках первый сборник стихов Инны Лимоновой — «В час предутренний...». Сюда вошли и прежние ее вещи и новые — о героике трудовых будней, о любви. — написаны они с подкупающей искренностью. Сильное впечатление производит цикл стихотворений о декабристе Лунине.

При ряде недостатков, присущих большинству первых сборников, книга Инны Лимоновой — несомненная удача. Как справедливо пишет в предисловии к сборнику поэт Николай Беляев, который много сделал для молодых камазовцев, книга И. Лимоновой «заставляет думать, вчитываться, сопереживать... работа сердца и ума, именуе-

мая талантом, предполагает ответственность перед миром, перед людьми. Инна Лимонова чувствует эту ответственность».

Да, город Прикамья олицетворяет лучшее в нашем сегодня, он дальше других заглянул в завтра. И к жизни этого города-новостройки, естественно, обращается сегодняшняя литература в своих раздумьях о будущем, как обращалась она к строительству, скажем, Комсомольска-на-Амуре — великого памятника молодежному энтузиазму.

Город на Каме строили молодые люди, и он строил души молодых людей Инна Лимонова, строку которой я приводил, едва приехав на стройку, написала стихотворение:

Неугомонны, словно двери,
что в шумный мир растворены.
Я к вам бежала от неверия,
мой Челны. Мои Челны.

Мне так необходимо сбыться,
вы, словно воздух, мне нужны,
в себе и в людях утвердиться
вы мне поможете, Челны?

Возводя КамАЗ и Белый город, сотни, тысячи юношей и девушек «сбылись». нашли себя, поверили в себя и «в людях утвердились». Они счастливы и горды своим счастьем.

Это не значит, конечно, что у них было все гладко и безболезненно.

Еще мы молоды. И запросто года
себе накидываем — смотришься иначе.
Но кто нас знает: может, иногда
одни мы так смешно, по-детски плачем.

Юность, построившая КамАЗ и Новый город, вынесла все трудности, сознавая свой долг и ответственность перед страной.

Высокое дело достойно песен. Их и слагают молодые строители КамАЗа и Нового города. На КамАЗе три литературных объединения — «Орфей», «Лейсан» и «Данко», и в сборнике «Лебеди над Челнами» вместе с Инной Лимоновой опубликовали свои стихи добрых два десятка молодых русских и татарских поэтов — членов литобъединений: рабочих, диспетчеров, плотников, монтажников, слесарей, бетонщиков... Профессиональные достоинства стихов не одинаковы. Но все их объединяет чувство юношеской гордости за причастность к большим и славным делам, юношеский порыв к добру, чистота мыслей, жажда выразить чаяния своего поколения.

Ночью светло,
А днем темно
От скопления машин и пыли.
Когда мы ходили с тобою в кино?..
Забыли
Сколько уж лет
Живу вот так,
Года, как листья,
Листая.
Быть может, со временем
Скажут: чужак?..
Не знаю..
Только не зря
След за спиной,
Выдавленный в граните.
Город дарю вам.
Построенный мной,—
Живите!

Эти строки написал Евгений Кувайцев — плотник слесарь ремонтник на заводе двигателей. А вот строфы стихотворения, озаглавленного «Омэ»:

Есть добрый на земле
обычай: мы идем
на помощь, на омэ —
соседу строить дом.
.
Вот так — родной стране
помочь — сюда, в Челны,

на славное омэ
собрались нынче мы.

Пришли. И Кама нас
прекрасно приняла.
И молодость взялась
за громкие дела.

Великой стройки круг —
Великое омэ!

Автор «Омэ» — Махмут Газизов, учитель, воспитатель в рабочих общежитиях, геодезист, член Союза писателей. Перевел стихи с татарского Николай Беляев. И еще пример:

Война.
Урал.
Грохочут эшелоны...
В полях осенних
Бродит детвора.
...В корзины.
Оттираю пот соленый,
Мы собирали колоски с утра.
И шли в деревню
С драгоценным грузом.
Мы были — тылом!
Поднялся Восток!..

...Я все смотрю
На крепкий герб Союза —
И вижу в нем
Свой скромный
Колосок.

Стихотворение озаглавлено «Колосок». Родные Юрия Кленова (Котова), написавшего эти строки, погибли в осажденном Ленинграде. Юрий был эвакуирован на Урал, воспитывался в детдоме. Работал на шахте взрывником, слесарем. Окончил сельскохозяйственный институт. В 1971 году приехал в Набережные Челны. Был прорабом электромонтажных работ, главным механиком на элеваторе...

Знакомясь с биографиями молодых литераторов КамАЗа, обращаешь внимание на то, что почти у каждого из них несколько специальностей. Это значит, что каждый из них, считая себя мобилизованным стройкой, без колебаний брался за то дело, которое было первоочередным. Многие из них печатают стихи или прозу, не торопятся оставить свою строительную профессию. И нам понятны чувства плотника, геодезиста, кровельщика, руководителя пресс-центра Управления механизации строительства, а потом журналиста Георгия Сушко, когда он восклицает, обращаясь к друзьям-строителям:

Да будут святы ваши имена!
Люблю и верую! И преклоняюсь!
И говорить об этом не стесняюсь.

Не громко ли сказано? Нет, сказано в согласии с пафосом и героикой самих дел.

У нас есть так называемая деревенская литература. Она сейчас набрала большую высоту. Звучит в ней и тема города. Но далеко не всегда в этом звучании прослушиваются живые ритмы современного города. Стоит задуматься, почему так популярны книги Юрия Трифонова, Георгия Семенова и других мастеров городской прозы.

В любом, даже самом счастливом, городе не исчезают проблемы человеческого бытия, и молодые помнят об этом. Вот, например, строки из стихотворения поэта Владимира Потапова, художника-оформителя, преподавателя педучилища:

Рядом с ними выходят, чуть заспаны, парни,
Ювелиры монтажных работ.
Поступь их тяжела, лица строги, как тайны,
От снедающих душу забот.
Их качают вахтовки, трамваи, автобусы
На работу, домой, за ребенком в детсад.
...В школе я любил географию.
На вертящемся глобусе
Нанести бы пунктиром заботы вот этих ребят.

Почему-то на глобусе лишь океаны да реки,
 Очертания четкие материков...
 Нарисовать бы, о чем люди думают в автобусе,
 Написать бы... Сколько бы вышло стихов!

Молодые пробуют хотя бы пунктирно наметить заветные стремления, заботы и думы современников. Придет пора творческой зрелости, и «пунктир» уступит место углубленному постижению социальных и духовных процессов.

Сегодня многие члены литобъединений стали студентами Литературного института имени А. М. Горького, Казанского государственного университета, Всесоюзного института кинематографии и других вузов. В профессиональном становлении им помогает Брежневская писательская организация.

На следующий год после всесоюзной конференции, с упоминания о которой я начал свои заметки, в Брежневе состоялось выездное заседание совета по работе с молодыми литераторами правления Союза писателей РСФСР. В работе заседания, как и в работе конференции, приняли самое деятельное участие руководящие работники партийных и советских организаций города. Семинарские занятия вели поэты и прозаики Москвы, Ленинграда, Казани и Брежнева; обсуждались произведения молодых русских и татарских писателей. Одобрительную оценку получила проза Надежды Камышевой, Альберта Сафина, Ахата Мушинского, Марата Бадретдинова, Газиза Кашапова, Михаила Гоголева, стихи Инны Лимоновой, Валентины Мурзиной, Габдельнура Саямова, Мухамета Шайхи, Петра Прихожана, Рашита Башарова, Юрия Дулесова.

Как раз к этому времени вышел первый сборник поэта Николая Алешкова. Особенно удачны здесь стихи о пережитом: о послевоенном детстве, ровесниках, уходящих из-под родительского крова, чтобы испытать себя на трудных путях, обогатиться опытом. Близка Николаю Алешкову история родной страны. Но о чем бы ни писал молодой поэт, он вновь и вновь возвращается к обстоятельствам трудного послевоенного детства, к мыслям о нашей великой Победе, о том, как тернист был путь к ней, какую огромную цену заплатил наш народ за возможность жить и трудиться под мирным небом. Привожу целиком его стихотворение «Год рождения».

Сын Петра и Мариши,
 Я родился в избе.
 Над тесовой крышей
 Пели ветры в трубе,
 Ветры весело пели
 И качали звезду
 Над моей колыбелью
 В сорок пятом году.
 И салюта зарницы,
 Что зажглись над Москвой,
 Расцвели, как жар-птицы,
 Над моей головой.
 Так же ярко сверкали
 На груди сорванца
 Боевые медали
 С гимнастерки отца.
 — Батя, вспомни!
 — Не надо..
 Был отец — молодым.
 Из блокадного ада
 Возвратился седым.
 А с другими случилось,
 Что упали на снег...
 В нашем классе училось
 Только семь человек.
 Подсекали мы ловко
 Пескарей на реке
 Нас растила Орловка¹
 На парном молоке.
 Деревенские вдовы,
 Как пригоним коров,
 Скажут, потчуй вдоволь:
 — Будь, сыночек, здоров!
 Вытрут влажные веки
 Уголками платка.

¹ Орловка — село, которое сейчас входит в черту современного города Брежнев.

Не забуду вовеки
 Вкус того молока.
 Нас недаром растили,
 Пересилив беду.
 Я родился в России
 В сорок пятом году.

Радовало нас, участников и руководителей семинаров, знакомство с камазовцами. Не кривя душой, рекомендовали мы к публикации их стихи и прозу. Примечательно, что писателей, пишущих по-татарски, переводили руководители их семинаров. Кирилл Ковальджи перевел подборку стихов Габдельнура Салимова, Юрий Додолев — рассказ Альберта Сафина. Переводы опубликованы в еженедельнике «Литературная Россия».

Вслушиваясь в молодые голоса, думаешь о том, что писатели-камазовцы, пройдя большую школу строительства, и в литературе сохраняют уверенную рабочую хватку и высокое достоинство строителя. У них ведь

Не заперты души,
 не замкнуты уши,
 и спесь телевизоров
 чувства не глушит,
 что все, как мечталось.
 И — к черту усталости!
 Что до совершенства —
 два шага осталось.

Два шага до совершенства — конечно же, поэтическая фигура. Но путь к совершенствованию, а значит, и к совершенству для молодых камазовцев открыт. Удач им на этом пути!



ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО

★

ОЧЕРК ПРО ОЧЕРК

1

Энгельгардт перед редактором «Отечественных записок» извиняется: — Предупреждаю, что решительно ни о чем другом ни думать, ни говорить, ни писать не могу как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе... Нам ни до чего другого дела нет.

Если б Шедрин еще и спросил письменно сыльного химика: как, дескать, вы пишете свои очерки «Из деревни», попробуйте описать сам процесс писания.— то ответом было бы или недоумение, или прекращение контакта. Как пишется? Да при чем тут как? Что, ради чего, от чего — это существенно, а — как?..

Все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, и, следовательно, мои интересы сосредоточены на зерне, дождях, планах, материально-техническом обеспечении (ибо агрикультура ныне есть переделка химического азота в белок-клейковину, а масла машинного — в подсолнечное масло), на взаимоотношениях — наружных и подлинных — партнеров в аграрно-промышленном комплексе. на том, оставят ли фураж или подгребут под метлу, доведут ли сносный план, удастся ли сохранить пары, можно ли прокормить скот своим зерном... «Нам ни до чего другого дела нет».

Вот газета пишет — серьезно и ясно:

«А правильно ли используем то, что уже имеем? Вдумаемся хотя бы в такую цифру. За десятую пятилетку товарность ржи составила 33,4 процента. Взять классную твердую пшеницу. Ее заготовки составляют около тринадцати процентов валового сбора. В стране ежегодно производится такое количество пивоваренного ячменя которое намного превышает потребности пивзаводов, а часть сырья для них покупаем за рубежом. Немногим более пятидесяти процентов составляет товарность проса, гречихи — еще меньше. Неоправданно растет потребление зерна фермами. Как видим, и теперь можно значительно улучшить наш продовольственный и фуражный баланс, если правильно распорядиться ресурсами»¹.

Что-то здесь, может, требует расшифровки, разбавления до сносной концентрации. 33,4 процента товарной ржи — что сей сон значит?

Уже интересно, то есть началась публицистика. Страна велика и обильна — дело в наряде. Тысячелетнее летописное слово «наряд» и ныне широко применяется кол-

¹ Александр Платошкин, «Хлеб наш...» («Правда», 4 июня 1983 года).

хозами в реальной хозяйственной практике: «пойду проведу наряд», «на наряде говоришь»...

Энгельгардт притворялся. Или скорее полемически заострял. Пореформенное хозяйство, производственные отношения в пору, когда «порвалась цепь великая», не только не малость и не частность, не ущербная забава либеральных грамотеев «из деревни», а главное российское дело. Если по числу отведенных Лениным строк, то сразу за Львом Толстым будет стоять смоленский ссыльный народник. Но никаких выводов из этого не сделаешь насчет ленинского отношения к Тургеневу, Некрасову, Чехову! Просто очень высокая пригодность писем «Из деревни» для политической полемики.

Сюжетом книги Энгельгардта (ей как раз исполнился век) было вот что: община как берег надежды — призрак мираж; в деревню властно вошли отношения найма — кредита — расчета; огульной работы никто не терпит, интенсивные культуры меняют и производственные отношения. Так — да, земля льном и рожью может отлично оплачивать труд, а иначе — тление дворянских гнезд и хождение «в кусочки» у крестьян. Сюжет «Из деревни» кончился, надо признать, раньше, чем дописалась сама книга: последние главы полны повторов...

Экономика — буквально «умение вести дом» — есть самый интересный предмет и ныне. Сюжеты (темпы перемен) не так быстры, как хочется, но достаточно напряжены. Управлять числом добывающих хлеб можно только экономически, административный путь исчез. Работают в селе за те же деньги, что в городе, и часто и кормятся из тех же самых магазинов. Печеный хлеб выдается всюду: в селе и в городе. Именно поэтому — цена чисто номинальная, средней зарплаты тракториста хватает на полторы тысячи буханок в месяц. Поскольку хлеб почти бесплатен, им кормят скот. Колхозник стал членом профсоюза, председатель колхоза как распорядитель чувствует себя даже свободнее, чем совхозный директор. Но и того и другого угнетают теперь не только старые «указивки» — чего и сколько сеять, сколько рогов и копыт держать, — но и новые обязанности: чего, сколько и по какой цене покупать.

Сельское хозяйство должно во всех отношениях получить приоритет! Это глас общий, от бригадира до министра. Бригадный подряд, где хозяйственная самостоятельность человека сравнительно высока, уже овладевает кораблем ниже ватерлинии, но надводная, надстроечная часть живет прежним кровообращением. Исключительно интересная ситуация: производственные отношения в чистом виде... Продовольственные проблемы затрагивают интересы миллионов семей и поныне, но сводятся уже к качеству питания, то есть к мясу и маслу, тут потребление твердо нормируется. Продовольственная программа отличается от предыдущих решений целевым назначением: не «выше уровень — шире размах», а столько-то мяса на душу населения к такому-то году... Впервые с партийной трибуны сказано о необходимости изучения общества: «...мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок»². Впервые же рядом с неизбежностью глубоких качественных изменений в производительных силах поставлена необходимость перемен в производственных отношениях.

Сюжет социального летописания — всегда отношения людей в процессе производства.

Энгельгардт, выдающийся агрохимик, основал первую в России опытную станцию, создал своими льнами-облогами эталон хозяйства Центральной России («нечерноземки» тогда не знали), но остался в истории чем? Книгой. Его подлинным умением оказалось писание.

Писание о происходящем в жизни есть особое ремесло, а у всякого ремесла свои навыки, термины профессиональные болезни. Если нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, то тем более невозможно писать о производственных отношениях и быть в не этих отношений — в не изъятия фуража над судьбами «неперспективной» деревни, выше проблем сытых ведомств-нахлебников. Такова, как говорится в одном фильме, «се ля ви».

² «Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14—15 июня 1983 года». М. Политиздат. 1983, стр. 19.

Пытаясь когда-то определить очерк как жанр, я прочел критические отзывы в звездные часы публицистики и вывел для себя формулу: очерк есть жанр, который постоянно хиреет.

Опорой мне такие позиции. «Нет у нас теперешних, сегодняшних «Районных будней»... коими зачитывались мы еще совсем недавно», — сказано в 1975 году на съезде российских писателей. А когда «зачитывались», сразу после выхода «Районных будней», журнал «Знамя» сетовал на «серое, скучное, посредственное изображение нашей жизни», тогда как нужно было «описание бурных захватывающих событий, которых чрезвычайно много в нашей колхозной деревне». В том же «Новом мире» (№ 9 за 1952 год), где начал жизнь очерк Овечкина, был уличен в потере накала другой выдающийся публицист — он как раз начал «Деревенский дневник». «Талантливый и мужественный народ — таким видим мы в рассказах Е. Дороша поколение наших отцов... И снова думаешь с сожалением о том, что «температура» первого цикла не достигает такого накала... Хотелось бы, чтобы писатель и здесь показал тот же огневой темперамент...» — соболезновала критика.

Следуя этой же стезей дальше, я вышел к определению: очеркист есть литератор, который, подобно фольклорному персонажу, что ни делает — все делает не так. К очеркистам положено обращаться укоризненно, как дед Каширин: «Эх вы-и-и-и...»

Новомирские очерки времен Твардовского вроде бы читались. За единоборством Л. Иванова с «временщиками» (пары, сроки сева, травы!) следила вся Сибирь. Алтайский крайком поручил всем райкомам партии проработать мою «Русскую пшеницу» — несчастый случай в литпрактике.

Но надлежащий шесток опять-таки указала критика. Г. Радов в конце 1970 года написал в «Вопросах литературы», что «очеркисты выступают простыми дублерами своих, естественно, более искусственных в экономике коллег. Это лишает их произведения глубокого социального, нравственного содержания, общественная ценность очерка существенно понижается. Так, очерки Л. Иванова и Ю. Черниченко, опубликованные в «Новом мире», написаны добротнo... со знанием предмета, но явлением в общественной мысли страны они не стали. Не стали потому, что их авторы касаются в основном технологических проблем сельского хозяйства»³.

Эх вы-и-и-и, простые дублеры!

В конце года 1983-го статьей А. Обергынского в «Литературной газете» «Человек или экономика?», в сущности, гальванизован этот же самый упрек. Один читатель так (вежливо) пересказал суть проработки: что должно стать главным объектом внимания публициста — характер сельского труженика, его мысли и чаяния или хозяйственная деятельность?

Что вас несет в хозяйствование — вы просто хозяина дайте, хозяина земли, чтоб были чувства и, конечно, чаяния! Тропинка во ржи, калина-околица, седые колося — объяснять, что ли? Человек ведь больше, чем экономика, ну? Вот и озаряйте характер, а не лезьте в предметы, в которых, во-первых, сам черт ногу сломит, а во-вторых, там есть кому понимать, без дублеров обойдутся! Разведут антимонию, вытасят то систему планирования, то какой-то агросервис, то в качество техники попытают — на то ли вас держат? Эх вы-и-и-и...

Можно бы защититься лихой частушкой из того же «Деревенского дневника»:

Нас и хаот и ругают,
А мы хаяны живем,
Мы и хаяны — отчаянны,
Нигде не пропадем!

Но бодрячеством одним не обойдешься. Хорошо бы наконец понять, как это жанру удается хиреть да чахнуть, киснуть да терять пыл, а тонус сохранять со злобредным упрямством. Охота постичь, отчего это спор — образ или цифирь? характер или хозяйство? многообразная сладкая жизнь или работа? — методически всходит с энергией корнеотпрыского сорняка. Легче всего объяснить любительством!

³ «Вопросы литературы». 1970, № 10, стр. 29.

Автолюбитель боится мотора. Двигатель для него — табу, лучше и не поднимать капот. Наше дело мыть, полировать, заливать бензин, от силы — подкачивать шины. Когда же некто дерзкий при нас посягнет на святая святых — карбюратор, автолюбитель испытывает туземный ужас. Кто ты такой, чтобы соваться в потаенное, разбирать доступное посвященным? Ты что, мастер со станции техобслуживания? А нет, так не пугай нормальных, машина до тебя хоть как-то заводилась, а ты суешься в бензонасос, касаешься распределителя, покусился на само зажигание — пошел прочь от «жигуля»!

Дилетанту по самой его генетике не постичь, что пуд грязи под крылом — сущая ерунда, а песчинка в жиклере — верный конец движению. Он десятилетиями будет рабом жрецов ремонта, коим открыты тайны искр и давлений, будет стонать под ярмом даней, но не преступит черты, не сделается из любителя шофером.

Но это неэтично — клеить ярлыки... Вам же определенно говорят: образ дайте! Клянутся именем Овечкина, поминают «Районные будни» — как тут переть на рожон со своей цифирью?

Ну, чтобы так клясться, нужно забыть, что Борзов — весь из цифры. Все мастерство продрозверстки, вся технология его власти — на цифирю! Вот плутовская операция, вскрывающая нравственную суть Виктора Семеновича Борзова:

«— «Власть Советов». Сколько у них было? Так... Господствки и натуроплата... Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..»

— Самую высшую?

— Да, самую высшую. Что получится? Подсчитаем... По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?»

Поясним: мера уже обмолоченного урожая жульнически завышается, с нею возрастает и обложение; за одним числом, как в арифмометре, меняются и другие, меняется место района в сводке, а председателю Демьяну Опенкину снова возить не перевозить. Четыре числительных в крохотном диалоге —

Потому что все оттенки смысла
Умно число передает.

— Так делают «временщики», а не хозяева, — говорил реальный член Льговского райкома партии В. Овечкин на реальной районной конференции 1952 года, призывая делегатов голосовать за неудовлетворительную оценку работы райкома. Перед тем он выложил целую низку статистических данных (как только добыл?). По черноземному району в хорошее лето собрано по 7,2 центнера зерновых при плане 14,7 центнера. «А в большинстве колхозов района — от 4 до 6 центнеров зерновых и от 40 до 80 центнеров сахарной свеклы. На трудовни выдали крохи. Личная материальная заинтересованность колхозников подорвана. Во многих колхозах ряд лет люди получают по 200 — 300 граммов хлеба на трудовень... За прошлый год 3290 человек не выработали минимума трудовней. И в этом году такое же положение. Серьезные цифры! Отношение колхозников к общественному труду во многих колхозах — как к трудужпо-винности»⁴.

Главное открытие Овечкина — «механический человек» Борзов буквально в ч и с л е н!

Второй «технологический» слой под «Районными буднями» (то есть тоже требующий известного напряжения интеллекта) объясняет чудо, как вообще могли быть напечатаны «Районные будни» в сентябрьской книжке журнала за 1952 год при тогдашнем уровне критики, если натуральное обложение колхозников было правилом, а манипуляции с группами урожайности — обыденностью.

Очерк Овечкина — это тридцать лет назад понималось сразу — ратовал за принцип справедливого, погектарного обложения. Несправедливое (есть ферма — сдаешь молоко, нет — с тебя взятки гладки) было осуждено еще перед войной, и конец 40-х годов проходил под знаком внедрения погектарного принципа. Сдал свое

⁴ Цит. по кн.: Л. Вильчек. Валентин Овечкин. М. «Художественная литература». 1977, стр. 108.

со своих гектаров — и хозяйствуй на здоровье. Что-то вроде продналога при МТС: лучший колхоз и выдаст на трудодни больше. Защита Демьяна Богатого — это охрана интереса богаче жить. А Борзов — он за продразверстку! Он и з в р а щ а е т политику погектарного обложения, тащит «губительную уравниловку». «Если лодырю и честному работнику одинаковое вознаграждение за труд — какая выгода честно трудиться?» — спрашивает льговскую конференцию коммунист Овечкин.

«Районные будни» — пока апология Демьяна Богатого. Хлеба нет у лодырей! Они, захребетники старательного Опёнкина, и не должны получать того хлеба, какой едят у Демьяна; Борзов — извратитель правильной и разумной политики в хлебозаготовках — именно так понималось дело первыми читателями «Районных будней»! А «механический человек», «всех давишь» и все прочие расшифровки и понимания — позднейшие истолкования, дело наживное.

И еще срез цифро-экономический — из писем Овечкина пишущему эти строки. Согласен, тут не публицистика собственно, но ведь к спору о школе Овечкина сам-то Овечкин отношение имеет?

«Как читатель заинтересованный, я не сетую даже на обилие цифр. Без них разговор был бы менее доказательным, острым, так как цифры, Вами приведенные, просто убийственны» (9 декабря 1964 года).

«Давно пора литераторам взяться за экономические вопросы так, как Вы за них беретесь, — поскольку сами экономисты ни черта в этой области не делают. За что ни возьмись — все надо нашему брату начинать! Ну что ж, такова уж наша участь — лезть наперед батька в пекло» (16 марта 1965 года).

Неловко цитировать такое, выходит похвальба, но ведь я беру из уже изданного, много раз использованного...

В конце 1965 года в предисловии к книжке Валентин Владимирович определял новый — скорее искомый, чем уже утвердившийся, — тип публициста как «человека, вооруженного солидной экономической и агрономической подготовкой», «не дилетанта и не верхогляда в деревенских вопросах». Такой литератор, говорит Овечкин, «умеет глядеть в корень вопроса, добираться до первопричин. Умеет считать. И умеет заразить читателя своей любовью и вниманием к цифре, живой статистике, к глубокому, пытливому анализу явлений. Надо добавить — к честному анализу. Ибо мы знаем, как на арифмометрах конъюнктурщиков иногда и дважды два получается... семь с половиной»⁵

Никак, ну никак не добудешь ты у родоначальника школы ни снисходительности к технологии, ни брезгливости к счету, статистике, не вытянешь этакой чистой идеи сельскохозяина без сельского хозяйства как такового!

Но что правда, то правда. Если работа принудительна — она неинтересна. Если хозяйство — чужое, если до лампочки, какой там дебет-кредит, если экономика не живое, страстное дело, а тоскливая трата времени на семинарах и в кружках, то да, конечно: и пишущему и читающему гораздо интересней, желанней будут характер и чаяния. И такая точка зрения имеет право на жизнь! У Энгельгардта «земельный» мужик говорит: «Я люблю землю, люблю работу; если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно: кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день»⁶. Это один взгляд, один характер. А вполне возможен и другой, с иной шкалой ценностей, с иной оценкой сущего, и численно, статистически он всегда имеет тенденцию одолеть характер первый. «Ну почему вы работаете, как подрядчики, а не как хозяева которым каждый лишний колосок дорог?» — обличает трактористов Мартынов в «Районных буднях». А у Энгельгардта короче: «...работа дураков любит».

Рискну сделать вывод: поскольку противоречивые взгляды на работу, на дело на хозяйство наличествуют в жизни, им надлежит быть и в зеркале ее, очеркостике. Тут и разгадка долголетия упреков в дублерстве, технологичности, экономизме, и зов. понятное дело, к характерам и чаяниям.

А в чем же секрет долголетия перманентно хиреющего жанра?

В том, что становится по реченному. Не сразу, но выходит.

⁵ В. Овечкин. Статьи, дневники, письма. М. «Советский писатель». 1972, стр. 121.

⁶ А. Н. Энгельгардт. Из деревни. СПб. 1882, стр. 431.

Очерк «Земля ждет хозяйна» Борис Можаяев напечатал в 1961 году в «Октябре». До награждения создателя кубанских безнарядных звеньев В. Я. Первицкого Золотой Звездой!

А в начале 80-х годов бригадный подряд широко признали, он уже стал экономической реальностью: только в РСФСР действуют 80 тысяч бригад и звеньев, прибавка урожая на гектаре — минимум 2,5 центнера зерна на круг. «Подрядчик» работает инициативней, экономней, и в гневном, мартиновском смысле слово употреблять больше нельзя.

Между незабываемым, таким трудным для Федора Александровича Абрамова очерком «Вокруг да около» и, скажем так, принятием мер (поддержка личного крестьянского хозяйства, совмещение интереса колхоза и усадьбы колхозника и т. д.) прошло тоже не меньше двадцатилетия — резкого порога нет, шаги предпринимались постепенно... Не здесь высчитывать, сколько и на чем выиграли бы мы с вами, если бы своевременно угаданное литераторами... «Если бы» не считается. Но считается время открытия!

Между выходом очерков Ивана Васильева об агросервисе, о «феодалных замках» вокруг райцентров (та же Сельхозхимия, Сельэнерго и т. д.) и созданием РАПО прошло уже меньше времени — лет пять. «Откровенный разговор с председателем» Ивана Филоненко и улучшение в практике колхозного планирования — почти погодки.. Ну а если постановления нет? Если оно и не нужно, потому что процесс очевиден и надо только дело делать? Многие пятилетия воюет Анатолий Иващенко с эрозией почв: очерками, в кино, на телевидении. «Если бы мать наша — земля имела голос, она бы сегодня уже не стонала, а кричала от боли, которую мы, наделенные разумом и титулом властителей природы, причиняем ей», — пишет он в последней статье⁷. Ежегодно сносятся 1,5 миллиарда тонн почвы..

Мне в Министерстве заготовок сказали, что после выхода «Русской пшеницы» (1965) положение с качеством зерна во многих областях заметно ухудшилось, и показали статью в «Советской России» — «Трудно сильному зерну». На родине саратовского калача, в саратовском Заволжье, возделывается теперь по преимуществу ячмень: «...доходней оно и прелестней!»

— Плохо, значит, бились! Недоиспользовали жжение глаголом, не задействовали весь потенциал — это один из возможных приговоров.

— Эвон когда заметили! Глазастые мужики, ничего. Теперь терпение — и выйдет по-писаному, — второй поощряющий вариант.

Разумеется, веришь второму. Конечно же сбудется! И дело пойдет на лад. И никому не придет потом в голову за давностью лет соединить пожелтевшие журнальные страницы с чеканом и энергией новых державных мер..

Стой, а почему тогда Можаяева вспомнили? Ну-у, это особый разговор, личные связи.

Дело в том, что среди откликов на свою «Землю...» Борис Андреевич получил и мое письмо с целины. Прочел, включил в обзор — и напечатал! И теперь при встрече не преминет напомнить, грозя:

— Это я тебя в письменность выводил!

3

Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал:

— О, как я угадал!..

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», гл. 13.

Спустя полгода после публикации очерка «Комбайн косит и молотит» (и год после написания) доктор наук Ж. и кандидат Ю. независимо друг от друга прислали мне формулу определения потребности сельского хозяйства страны в зерновых комбайнах. Если подставить в эту формулу численные значения, то получится, что зерно-

⁷ «Пыль над трактором» («Известия», 7 января 1984 года).

вому полю СССР теоретически нужно 470 тысяч комбайнов. Практически же — с признанием простоев, поломок, вечного проклятия с запчастями, вообще с признанием «что действительно, то разумно» — потребность определяется в 1050 тысяч штук.

В протесте против мотовства (надо 470, а запрашивают 1050!) и состоялся пыл-жар опуса.

Присылка формулы и данных ЭВМ (особая программа П-02-035-78А!) была родом поощрения, шутливой премией, что ли. Мне эта математика была уже не нужна: «ниже писах — писах». Забавность была именно в том, что без электронно-вычислительной машины, без алгоритмов, с одним топором да долотом, располагая только газетными лозунгами («Проведем уборку в десять дней!» — вот и плановый срок), мы с читателем пришли к тем же 470 теоретическим тысячам, к каким приводит и фундаментальная наука.

Смыслом наших экономических упражнений было: не боги горшки... — раз; недоступность, заповедная «научность» большой экономики (миф вроде летающих тарелок: общество младших научных сотрудников, водителей такси, учительниц и завхозов вполне готово само анализировать самые заковыристые позиции) — два; надо думать и делать выводы, нас на то и вооружают данными, чтобы делать выводы и постоянно думать, — три. И к цифре 470 тысяч мы, я говорю, вышли до (без, вне, помимо!) формул — хозяйственным чутьем, которого довольно во всяком пожившем человеке. И если мы в своей деловой игре, боясь пролететь, опасливо умножили полученную цифру в полтора раза, то и у капитальной науки — смех и грех! — принята тоже потолочная страховка, разве что прибавляют не 50, а 25 процентов.

«О, как я угадал!..» А чему дивиться-то — иначе бы не с ё л о!

«Русскую пшеницу» я писал, сам спешно постигая отличия сильной пшеницы от слабой, мягкой от твердой, запоминая, что озимая не может быть твердой, а твердая — слабой, что клейковина еще не белок, однако ж ценят хлеб именно за нее, клейковину, и с радостью мольтеровского чудака выяснял, что резиновый комочек во рту, какой остается после жевания зерна на току или в поле, и есть искомая клейковина, а жевание со сплевыванием отрубей есть той клейковины от мы в.

Твардовский написал на рукописи: «Поджать. Убрать пижонство. А так — хорошо! А. Т.».

— Для такого необразованного человека у вас удивительно мало ошибок! — заключил М. М. Якубцинер, старейший виродец, соратник Вавилова. Он хохотал и отмахивался, услышав о моем филфаке. Мы были на семинаре по короткостебельным сортам в Киргизии, филология здесь впрямь казалась до колик смешной.

У меня было несколько верных точек, их хватило для контура, очертания, н а р и с а (так, очень точно, по-украински зовется о ч е р к) — линия, кажется, совпадает поныне. Какие это точки? Спустя восемнадцать урожаев я могу только полагать... Если за десять лет на целине и около нее (с 1955 по 1965 год) я и не слыхивал от алтайских-омских председателей разговоров об этих клейковинах и остался неучем, значит, и председателю эти белки-клейковины неинтересны и несущественны. Раз колхоз сдает хлеб на элеватор лишь бы быстрее, и пятидневное задание нахлестывает, и отсутствие своих амбаров подгоняет, значит, сама машина заготовок не способна уловить степной янтарь. Главное же, раз комбайнер (а я ездил на мостиках методически, неделями) никогда не берет зерно на зуб, ему вообще без разницы, что там сыплется в бункер, пускай хоть песок морской, оплата только за тонны, премия за качество его никогда не достигнет, то с силой пшеницы дело швах.

В Министерстве заготовок один начальник главка, простив мне за давностью лет уколы в свой адрес, сказал:

— В Воронеже только три десятых процента закупленных пшениц годны для пекарен сразу, без улучшения. Напишите вторую «Русскую пшеницу»!

Я рад бы — не выйдем: самоплагиат! Теперь мне могут дать на десять или на сто точек больше — толку-то, контур ведь сольется с прежним.

Верных точек никогда не может (и не должно) быть столько, чтобы не осталось нужды в чутье и догадке.

Относит очерк к искусству не образ, нет. Во всяком случае, не тот «образ», у которого непременно есть имя, соцпроисхождение, должность и т. п. Относит угады-

вание! Элемент предчувствия, мысленного построения, которое потом, будучи наложенным на реальность, в главных контурах совпадает с линиями жизни! Если доверять Гёте, то способность предвосхищать события (антиципация) вообще есть отличительная черта художника.

Правда, и Гёте ограничивает способность предугадывать: «...антиципация простирается лишь на объекты, родственные таланту поэта»⁸. А если понизить эти рассуждения до круга очерковой практики, то ограничения усугубятся. Без постижения края личным и долгим присутствием ты ни на какую антиципацию в хозяйственно-человеческих проявлениях рассчитывать не можешь. Без живой заинтересованности в деле — тоже. Способность угадывать, кроме того, не выдерживает императива, «воспитания чувств», всяческих «надо» и «положено»...

Самая крупная, пожалуй, моя ошибка связана как раз с краем, который я лично знал и давно любил. Молдавия... Еще студентом извездил ее от Атак до дельты Дуная, в общезитии научился понимать язык, и на целине дубравное волнистое Приднестровье не покидало меня во снах.

Когда в 1972 году была объявлена молдавская программа специализации, я взялся ее восславлять методично и рьяно — письменно, телевизионно, в кино. Советы колхозов от района до самого Кишинева, «новый этап колхозного движения!» Теперь колхозный строй не кончается на вашем председателе — в районе тоже никаких директив-указаний, а полный демократизм: совет колхозов выборный и подотчетный. Извечный вопрос передового — отстающего теперь решится купно, сообща. В Кишиневе — республиканское правление колхозов, тоже подотчетное низам и избираемое ими. Там, глядишь, и дальше пойдет!.. Совместного владения свинофабрики и промышленные сады. Кооперативные цементные заводы и проектные институты. Табак-пром, Живпром и другие носители прогресса — мечта, хрустальный сон, реальное чудо!

Как-то снимали одну свинофабрику — в основном потому, что там были производственные телевизоры. Кормили и здесь с колес, выхватывая дерть где только можно, но в кадр это не попадало. Рядом на поле бригада колхозников скирдовала солому. Я пошел к ним, «в народ», и стал расспрашивать, как межколхозная свинофабрика меняет их жизнь. Дядьки не могли понять, притворяюсь я или просто обижен богом. Фабрика — она ж государственная («де стат!»), а они — колхозники. Та сама по себе, что ж тут общего?

В другом райцентре на деньги колхозов разбили парк, завели зверинец с медведями. Рядом с районными конторами возвели новый — четырехэтажный! — офис совета колхозов. Реформа открыла доступ к колхозным банковским счетам, на которых прежде лежало табу: «Нарушение Устава!»... В межхозяйственную опричнину вычленились отрасли самые прибыльные, с отлаженной технологией, а мотыжить свеклу, полоть кукурузу, делить по дворам уголь оставлен был прежний колхозный пред.

Затраты труда — против других республик — Молдавия не сокращала, а с финансами дело было дрянь. При всех-то садах-виноградах!

Я видел это — и не хотел верить. Неужели еще одна надстройка, просто добавочная управляющая ступень? Неужели трактора снова у колхоза отняли, а председателю оставлена одна печать? Нет, это трудности роста, хвори акселерации — вон же какой красоты растут комплексы!

«Удивительно даже, как это люди слышат и видят именно то, что хотят видеть и слышать», — разводит руками Энгельгардт. Но ему хорошо! И народник, и автор проекта «интеллигентных деревень» (почти овечкинский курс «своими руками!»), он одновременно режет о российском деревенском люде такую правду-матку, что подумаешь: эге, куда махнул! «У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству — все это сильно развито в крестьянской среде. Кулацкие идеалы царят в ней; каждый гордится быть щучой и стремится пожрать карася»⁹. Не до идеализации, никаких помад-румян — пишется социальная летопись!

⁸ Иоганн Петер Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М. «Художественная литература». 1981, стр. 112.

⁹ А. Н. Энгельгардт. Из деревни, стр. 440, 430—431.

Я обязан был представить, допустить, предположить, что реформу во Флорештах, Теленештах и Единцах будет — пусть отчасти, краешком, бочком — проводить Виктор Семенович Борзов, уже не в длинной кожанке, а в дубленке, свежий, компанейский и любящий песни Пугачевой. Мне люди с вилами говорили! А недавно особое постановление о минусах партийной работы в Молдавской ССР подтвердило документально: так оно и было, как говорили люди!

Непривычное дело — изымать при переиздании главы, полные восторгов и радужных надежд. Непривычное и скверное. А поделом: не насилуй ан-ти-ци-па-цию!

4

«Очерк о сегодняшнем дне? Так давайте положительного героя! Чтоб было кому подражать».

У нас в университете древнерусскую литературу вел старый преподаватель гимназии, добросовестный и насмешливый Леонид Иванович Панкратьев, сдать ему нашармака нечего было и думать. Этому обстоятельству я обязан ненужно прочным знанием агиографии — житий святых. Дело, признаться, скучное: штампы, стандарты, непременно соблазны, преодоления искушений, вмешательство ангела, серия чудес — и переход в святость. Но горек корень учения — сладки плоды. Штудирю спустя много лет сельские очерки, я легко узнавал сборные детали, из которых монтировались жития веков пятнадцать подряд. Как эти изложницы достались атеистам — неведомо, но понятно, почему от председателя колхоза так разит елеем. Словно преподобный Антоний, он обходит блюдо с серебром, стоящее на пути. Как Григорий Печерский, любит тех, кто дочиста собирает яблоны в его саду. Точно Макарий Александрийский, отгоняет новыми, добавочными тяготами соблазн бросить все и уйти в город. Будто Козма и Дамиан, помогает другим только бесплатно. Ровно Макарий Египетский, избегает прекрасного пола — при нем и имени женского не смеют произнести. А еще — никак не узнаешь, что ест он сам и чем поддерживают обмен веществ его ближние. Уцелей от прошлого только сельский очерк 30—50-х годов — и почти невозможно будет выяснить бюджет питания колхозного крестьянства! От Энгельгардта знаем и как «в кусочки» ходили, и как перестали ходить, из «Тихого Дона» видим и праздничный и будничные стол Области войска Донского, от Неверова твердо храним число Мишкиных кусков, даже «устрицы» Щужаря на полевом стане памятни, а вот чем теплили жизнь миллионы звеньевых, бригадиров, участковых агрономов, вообще организаторов сельского производства — тайна.

В пору, когда «Отечественные записки» печатали письма Энгельгардта, выходила «Галерея замечательных людей России в портретах и биографиях». Рядом с очерковыми портретами Белинского, Толстого, Чайковского в ней можно увидеть жизнеписание бюрократа такой химической чистоты, что завидки берут. Действительно замечателен портрет московского генерал-губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова. «Вся жизнь его являет пример непоколебимой преданности долгу, — волнуется чиновный (очень грамотный, впрочем) портретист-аноним. — Всюду, куда только не бросала его служба... везде он отличался вышею, ничем не подкупною честностью и строгим, точным, добросовестным исполнением возлагавшихся на него обязанностей и поручений. Несмотря на громкий титул и историческое имя, повышение его по службе шло не скачками, при помощи протекций, а добывалось шаг за шагом личными заслугами». Ну, последнее напрасно, слыхом. Факты-то кричат о другом, послужной список — обличает. Едва выпущенный корнет устроен адъютантом при генерал-квартирмейстере, потом адъютантом же у самого Чернышева, лукавого холопа и военного министра (см. «Хаджи-Мурата»). Всегда на виду, при штабе, на подхвате, «для особых поручений», в чьих-то помощниках, пока стезя продовольствия, дорога закупок, миллионных сделок, благодарности поставщиков, заготовления и расхода провианта, занятия военным хозяйством вообще не выводит его самого к генерал-адъютантству и не ставит губернатором Москвы. Орден — он не получает, а словно со вкусом и знанием коллекционирует: русские Станислав, Владимир, Анна, Георгий, даже Александр Невский, даже Андрей Первозванный — это еще куда ни шло, хотя бы понятно. Но ведь у этого провиантмейстера и прусский Красный Орел большого креста, и датский орден Слона, персидский — Льва и Солнца,

какой-то австрийский Леопольд, черногорский Даниил, итальянский Святой Маврикий, саксонские, мекленбург-шверинские знаки, какие-то перстни с вензелями, табакерки — и даже портрет персидского шаха, осыпанный бриллиантами..

Международная фигура на весь XIX век? Всеобщий герой Евразии? Ничтожество, манекен? Нет: идеализированный автопортрет и самого литератора, и той среды, которая в Долгорукове ликует! Вор? Это есть. Ворище колоссальный, пышный, долгорукий, прохиндей того высшего класса, когда законы только смущенно покашливают в полном бессилии и клеймо поставить абсолютно некуда. Бюрократ и провиантмейстер в предельном расцвете понятия. Интересно, что и от помещения в «Галерею...» он не отказался, а, вероятно, даже пробивал включение (пятидесятилетие беспорочной службы!); быть рядом с Карамзиным, Нахимовым, художником Ивановым — тоже орден, осыпанный бриллиантами.

Иное дело, что очерк аспидски и ехидно мстит. Торичеллиева пустота настолько явна и ненаполнима, что гимн читается сатирой, биография — ядовитым памфлетом, и ничего тут не поделают ни филателия орденов, ни пуды монарших благоволений. Простоват оказался губернатор! Которые поумнее, к услугам письменности не прибежали и от сопоставлений уклонились.

Сколько воды утекло, «все в мире по несколько раз изменилось», а недавно в Душанбе вспоминал я ту самую «Галерею...»:

— Этот товарищ у нас уже получил госпремию республики, награжден орденом, избирался туда-то и туда-то. А писатели до сих пор не создали очерков, отражающих его заслуги.

Награждение очерком. Осторожней надо, осмотрительней — как бы чего не вышло!

А другой пример вроде из наших дней, но из совершенно чуждой нам действительности.

Судьба однажды позволила наблюдать, как герои (вполне реальные — молоденькие и, кстати, хорошенькие как на подбор американки) изъясняются словами, для них тут же написанными литератором, и лицедействуют в очерках, написанных именно о них.

Средний Запад США, кукурузная глубинка. В городе Луисвилле на реке Огайо идет съезд фермеров-соеводов. Съехались тысяча четыреста соевых интересантов и среди них — знакомят — литератор мистер Ким. Он поэт и лиру посвятил Американской соевой ассоциации. Познакомьтесь ближе, вы ведь тоже пишете об агрикультуре, не так ли?

Ловкий спортивный малый, происхождением кореец, одет лучше первых воротня, настоящих миллиончиков: те старомодны, пиджаки лет на семь опоздали, а у этого все продумано, в тон и неброско, и голой рукой не возьмешь. И бодр, сияет улыбкой, оптимистичен — экой жизнелюб! Что ж, однако, ему тут делать? Как посвящать эту самую лиру — рекламировать соевый жмых, что ли? «Нигде кроме как...» Но тут же все свои, все производители, озабочены сбытом. Восславлять положительных? Так они вроде застенчивы, вон и на костюмы не тратятся, выдвигают вперед меньшую сестру, деревенщину-засельщину из Кентукки, Айовы, Джорджии...

Выяснилось под конец. Каждый штат прислал «принцессу Сою» — живую эмблему, красивую девушку из фермерской (это обязательно!) семьи. Все они претендентки на роль «принцессы Сои» всеамериканской — девчачки лет девятнадцати-двадцати, студентки, сияющие, крепкие, «з гориха зрняя», как говорится на языке моих дедов. Перед голосованием момент словесности — нужно в семь-восемь минут показать, что ты такое внутренне. Одна выучила назубок, другая знала, но частила, третья сбивалась и начинала сначала. Одной сон приснился — она соей спасает голодающий мир, другая встретила короля, он оказался соеводом-фермером, третья стишки читала про росяное утро на ферме, когда цветет «морнинг глори» (ипомея, по-украински кручени панычи), — мистер Ким издергался, пока все кончилось. Как композитор на первом исполнении, он уваливал любой сбой — и страдал.

И все-таки он был молодцом! Речи (этюды, монологи) в основе подходили исполнительницам, нигде не висело, не торчало горбом, словесность служила имиджу. Мастак. Большой мастер пера. Публицист! Его поздравляли, и он снова расцвел и сам опять стал образцом преуспеяния.

Мизантропия, брюзгливость — пороки тяжкие. Но само по себе жизнелюбие, один гедонизм, способность «петь и смеяться, как дети», автоматически не приводят к положительному герою, над которым смеяться никто и никогда не станет. Вообще брызжущая радость бытия и социальное летописание не близнецы-братья. Человек, нацеленный на ликование, мало расположен к публицистике: не тот резус-фактор. Коренной россиянин Щедрин на примере современной ему Франции вообще вывел некую закономерность, обратную корреляцию между личным преуспеянием и страстью к прямой речи.

«Люди благополучные, невымученные, редко чувствуют потребность зажигать человеческие сердца и в деле ораторства предпочитают разводить канитель... — уверяет Щедрин в очерках «За рубежом». И подводит под этот взгляд исторический базис: — Я думаю насчет этого так: истинные ораторы (точно так же, как и истинные баснописцы), такие, которые зажигают сердца человеков, могут появляться только в таких странах, где долго существовал известного рода гнет, как, например, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные (а отчего же, впрочем, и не в отдаленные?) и проч. Под давлением этого гнета в сердцах накапливается раздражение, горечь и страстное стремление прорвать плотину паскудства, опутывающего жизнь. В большинстве случаев, разумеется, победа остается на стороне гнета, и тогда ораторы или сгорают сами собой, или кончают карьеру в местах более или менее отдаленных. Но бывает и так, что гнет вдруг сам собою ослабнет и плотину с громом и треском разнесет. Вот тогда вылезает из всех щелей ораторы».

У нас поиски положительного героя имеют совсем иной смысл: мы ищем героя, который в наибольшей степени воплощал бы лучшие стороны социалистического человека.

Это, повторим, русский оратор Щедрин — про Францию, виденную им во времена Мак Магона и Гамбетты.

Но сама «неблагополучливость» публициста вовсе не остается за шеломянем времен, если иметь в виду не имитацию самогoreния, а действительное разжигание людских сердец. Это прямо коснется и сектора положительного персонажа. Если писание вообще есть стремление за кажущимся отыскать сущее, то и портретная живопись при полной симпатии художника к модели может оказаться совсем не безобидным занятием.

Аким Васильевич Горшков, патриарх колхозного строя, всю жизнь занимался промыслами (и строил на промыслы, и культбыт развивал, и гостей в колхозе принимал), а пропагандировал что? Смотря по времени. Яровизацию, торфоперегонные горшочки, кукурузу, «елочку», сенаж — лишь бы не трогали экономику колхоза. Он привык за десятилетия, что пишут и будут писать о голубых его уликах, об агролаборатории и всегдашнем подхвате починов. Про метлы, стружку, черенки и древесный уголь рассказывать просто невежливо, как бестактно описывать пищеварение достойного лица!

Аким Васильевич был настолько крупным человеком, что простил выдачу его многолетних секретов в новомирском очерке «Помощник — промысел». Это потом, спустя срок прояснилось, что Горшков создал модель хозяйства для мещерских условий, и мой очерк был, следственно, пропагандой нового-передового. А один смоленский лидер — он ведь потащил меня к ответу за постулат «богатому и черт люльку качает», подкрепленный данными из его практики! Посмотрев наш фильм «Надежда и опора», другой очень ответственный работник признался мне: «Я сам строил комплексы, сам подсаживал свиней в кузов за цемент и кабель и никогда не соглашусь, чтобы про меня выложили правду. Никогда!»

Очерком я занимаюсь двадцать лет: первая новомирская работа «Целинная дога» вышла в январском номере 1964 года. За это время родилась и выросла целая очерковая литература. Не моей специальности дело оценивать ее, но одно знаю твердо: положительный герой, плюсовой заряд наличествовал в любой заметной работе, какой бы критичной, даже разоблачительной она ни казалась. Герой (а часто это лирический герой, то есть персонаж-автор) что-то, наверно, потерял от туги скрученных фигур 50-х — начала 60-х годов, зато отличается широтой кругозора, дотошностью, диалектичностью. Как автор в «Тюкалинских тетрадах» Петра Ребриня, он из «верующего» («...с т а р а л и с ь верить, потому что верующему не только легче

жить, но с него и спросу меньше») превращается в нормального, то есть думающего, понимающего жизнь и народ человека. Очерк В. Селюнина «Нерв экономики» в «Дружбе народов» напомнил, что и безличностное исследование может иметь свой положительный образ — образ мышления, чистый разум, так сказать. И плюсовой заряд при невеселом анализе транспорта страны, анализе «спутниковом», всеохватном и историческом одновременно, в том-то и состоит, что мы с вами никогда так крупно, масштабно не думали и так не ощущали груз «чувства хозяина», как при этом распу- тывании железнодорожных узлов.

Все так. Но вот что стал замечать: тревожно высока смертность среди положительных персонажей! Председателю колхоза Николаю Неудачному из книжки «Стрелка компаса» сейчас было бы пятьдесят четыре года, а вышла-то книжка девятнадцать лет назад! Скобелев с Верхней Волги, слепой биолог Лопырин со Ставрополя, пшеничные батки Лукьяненко и Ремесло, гигант Гришаков и певун Богачев из Кулунды, философичный Гарст из Айовы, Нестор Шевченко, не давший распахать песчаную гриву и тем разжечь пыльные бури,— скольких нет, а какие все были люди!

Высоковольтность жизни. Напряжение, обороты, страсть — отсюда и краткость реального века.

5

— Пиши, что видишь. Что видишь, то и пиши,— сказал мне Георгий Радов. Осенью 1958-го он приехал в Кулудинскую степь от «Огонька».

Я и правда писал не то, что видел. Напечатал (в Москве!) какую-то романтическую ерунду — «Кругосветное путешествие». Некто подарил молодому шоферу компас для дальних странствий, а тот прибыл на целину и тут намотал 40 тысяч километров — как раз земной экватор. Но в своей кругосветке он открыл землю, какой еще не было! Тут-то и находка автора: Колумб или Хабаров открывали неизвестные, но уже существовавшие земли, а шофер с компасом, строя в пустой степи элеваторы, поселки и прочее, сотворил себе и нам совсем новый край.

Но Благовещенка, Леньки, Шимолию — поселки у Кулудинского озера — стояли с незапамятных времен. Никто из здешних чалдонов на звание целинщика не соглашался — это были коренники, у степи была своя история, и уверять, что все началось с тебя, что до нас вообще ничего не было, а раз не было, то и сравнивать не с чем, и оглядываться не на кого, уверять в этом себя и других было лестно, но — аживно.

— Ты ж тут столько видишь...

Осенью, в уборку, голосовать было легко, и дома я почти не ночевал. Ночью вся степь в огнях. Каждый комбайн подсвечивает свое облако пыли, светятся тока (тогда там бывало черно от народу), горят фары на большаках — не спать, скорее, график, сводка, хлеб-хлеб-хлеб. «Степь озаренная». Или — «Степь бессонная»? Во всяком случае, эта торопливость, бессонница, пыль («добрый дым хлебного фронта» — придумал я впрок), уполномоченные из края. «радиосовещания», когда районное звено и председателей мутузили без возможности ответить, очереди у элеваторов, нервы и брань шоферов — вся патетика кулудинских дорог требовала ответа и запечатления. «Бессонная» только или «озаренная»?

Уполномоченным нам из кампании в кампанию доставался пожилой горбун, он кричал:

— Я тебя с работы сниму! Я тебя на бюро выташу!

За глаза его называли «спутник», тогда это слово только явилось. «Спутник» — значит, летает, круглый и всюду сигналы: пип-пип-пип... Ночевал «спутник» в крайней комнатке райкома среди старых портретов. Здесь уполномоченный становился хворым и маленьким, снесенные отовсюду картины ему не мешали.

Приехал поэт Сергей Смирнов и написал:

Это золото зерна —
Для тебя, моя страна!

Патетика была всюду — только не в очередях у элеватора. Почему вообще очереди? Что, шоферу нужно скорее сдать? Ему бы ночью выспаться, а днем возить от

комбайна. Колхозу? Тоже нет, ему очистить зерно надо, отходы нужны. Так району, что ли, это он и недели не протерпит? Нет, нужно было зерно элеватору. Почему ж не заготовители в очереди за обмолоченным зерном, а шоферы — «рыцари дальних трасс»?

Да уполномоченный носится и создает накал. А потом тоненько стонет ночами.

Сезон за сезоном уходил на драчливые заметки, фельетоны, «рейдовые бригады» — до настоящего, до «Бессонной дороги» или «Огненной степи» так и не дошло. Ждала заведующая корсетью Софья Петровна Крючкова, возглавлявшая, что скрывать, надежды на собора по Благовещенке; чего-то путного ждали ребята из «Советской Молдавии», в свой срок проводившие на целину; наставляли (и, следовательно, ожидали чего-то) частые на целине мэтры из Москвы...

Спустя десятилетия я прочитал то, что в идеале могло быть написано! Именно потому, что в идеале оно уже существовало (хотя и без публикаций), оно и могло висеть как невысказанное задание, как негласный соцзаказ.

В написанном больше правды, чем поначалу кажется. Конечно, в начале 30-х этот накал был внове, в конце 50-х он шел на спад, но тональность, лихой азарт организаторов, неутолимый восторг пишущего и верно замеченное недоумение просто следующих дорогой — все так, все это я видел и должен был, следовательно, живописать.

Я вовсе не хочу вкладывать в постулат «пиши, что видишь» этаким кочевнико-вый смысл — что вижу, то и пою. Нет, оно и нужно писать именно то, что тобой увидено.

Но у меня — потом, после — получилось, что писал все больше о том, что видеть нельзя.

Эрозия? В том ее и опасность, что она не видна. Выдувание — да, оно хоть тем обнаружит себя, что солнце скроет, а смыв, овраги — это незаметные миллиарды тонн почвы в Арал, Азов, Понт и Каспий...

Чувство хозяина? наука в земледелии? ответственность перед будущим? экономические отношения вообще — как это видеть, чтобы писать? А в этом незримом — стержень: производственные отношения.

6

Сдавали худсовету телевизионный цикл «Хлеб семидесятых». Засухи, маятник намолотов, агрономы «бу сделано», изящный Ремесло, резкий Бараев, графики урожайности, как зубья пилы, доступные автору прогнозы и выводы.

Просмотрели. Молчание. Кто первый?

— Это намерены транслировать? — спросил Н. Н., приглашенный, от которого зависело многое, если не все. — У меня вопрос: кому? Кто адресат? Если те, кто несет ответственность, то они, смею верить, обстановку знают и без очерков. А если показывать тому, кто не знает... Из телевизора, признайтесь, он толком ничего и не узнает. А главное — он и не решает, тот адресат! От него практически ничего не зависит. Нет, показать народу в Госплане, Минсельхозе, в ВАСХНИЛ, думаю, будет полезно, а на широкий экран — зачем? Кому? Для чего?

— Но автор может спросить: чего же он тогда не решает, тот, кто знает? — улыбнулся М. М., от которого тоже зависело, но не все.

— Так это что, способ жать на тех, кто знает, привлечением тех, кто ничего не знает? — спросил Н. Н.

— «Ничего» — таких сейчас и не найдешь, — держал оборону М. М. — Города наполовину состоят из деревенских. А всеобщее шефство — оно так поднимает осведомленности!..

— Эта всеобщая осведомленности! Она и завела кукурузу в Вологду, а клевера в могилу, — резко ответил Н. Н. — Нет, я все-таки хочу самого автора спросить: кто ваш адресат? Тут, сейчас скажите нам: к кому вы обращаетесь?

Я отвечал в строгом соответствии с жанром (есть ведь жанр — выступление на редсоветах), и «Хлеб семидесятых» в эфир попал. Правда, не в первоначальном виде, но появился.

Н. Н. был умным зрителем и давним софистом. Кому вы пишете — тому, кто знает? Тогда это разговор между знающими (придется для чистоты опыта и автора отнести к слою знающих), это внутрицеховой «междусобойчик» и означает моралите, некоторое устыжение. А какое право у одного знающего устыжать другого — разве то только, что устыжающий не отвечает? Или тому пишете, кто не знает что почему, но пассивно в сложностях участвует — как потребитель. Допустим? Тогда это известного рода «научпоп», просветительство, а по научно-популярным канонам все обязано еще на наших глазах закончиться благополучно вмешательством науки, знания, организации — любым, но финально благополучным вмешательством! А где у вас такой финал?

Какой эффект от случая первого — от разговора между знающими? Допустим, что кем-то персонально сделан безрыбным Азов (личности такой, разумеется, нет), некто другой запретил подсобные промыслы, а кто-то еще перегородил дамбой Кара-Богаз. Что, разве сделано это было из-за нехватки той толики знания, какую может добавить очерк или телефильм? Нет, обстоятельства велели. А наука тогда доказала, что все будет в норме.

Разве описание или съемка на пленке соляных бурь над белым каспийским заливом, набитых медузами осетровых ям у Темрюка и Ейска, цветущей воды на каховских мелководьях впечатлит сведущего сильнее, чем прямая статистика, акты и факты? Нет и нет.

Эффект от случая второго? Человек и без того не хотел ехать в колхоз на уборку, а ему еще демонстрируют экономический нонсенс шефства, теоретически подкрепляют его нежелание!.. Но если даже покажут ему все омские совхозы, где с шефством начисто покончили, — может ли он, несведущий, так все механизировать, отстроить жилье и т. д., чтобы человека не брали от станка или кульмана всю осень морковь дергать? Нет и нет. В итоге — одна досада, разрядка аккумулятора.

Хоть круть-верть, хоть верть-круты!

Я не желал беды телециклу и не мог, ясное дело, сказать Н. Н. правду об адресате. Я был бы просто осмеян и отшлепан, и не видать бы мне эфира как своих ушей.

Состояла же правда в том, что я пишу (снимаю) для самого себя и для Барсукова. Да-да, адресат двуедин, состоит из взаимовлияющих персон: из меня, только не какого-то условного меня, а собственно гражданина с паспортом № 589833, и из Барсукова. Мы составляем систему, хотя между нами пространственно часов семь самолетного пути. В моем городе уже нет агрикультуры (исключая ВДНХ), в его — практически и не будет: Барсуков живет в Усть-Илимске. Я пишу и снимаю, он лесоруб, грамотный русский человек сорока пяти лет от роду. Я его засадил за экономику. «Засадил ты меня за экономику!» — пишет он мне со своей улицы Мечтателей, дом 15, квартира 30. Если что-то случится со мной, меня Барсуков заменит, и система восстановится. Если потеряется Барсуков (и собственно рабочий на лесоповале Борис Никитич Барсуков, 1938 года рождения, и как понятие), мне как: для Н. Н. писать или снимать нельзя. Сказать бы тут, что Барсуков засадил за экономику и меня самого, да выйдет неправда. Засадил меня Овечкин, он послал меня на целину — озоном правды и боязнь профукать, растратить жизнь, именно эти реалии я почерпнул из «Трудной весны». А то, что Барсуков достал в усть-илимской библиотеке «Экономику сельского хозяйства» и просит у меня «Биорегуляцию развития растений» донского ученого Потапенко, это уже отдаленный эффект лавины, хотя мне и жизненно важный и лестный.

А для самого себя я пишу потому, что боюсь — пропадет. Что пропадет? А проишедшее. Имевшее место. Что именно? Ну, хлеб 70-х годов XX века, например. Пропадет неосмысленный, неоспоренный, только съеденный — и баста.

Вы серьезно? Тогда вам надо к врачам. Сначала хотя б к невропатологу. Как же он может пропасть, если — ЦСУ, всесоюзные конференции, десятки докторских и сотни кандидатских, если сессии ВАСХНИЛ, если даже из космоса снимают площади зерновых?!

Да пропадет — и все. Вы что, не знаете постулата Александра Трифоновича Твардовского? Пока что-то не изображено в литературе, его как бы и не было в жизни.

Скажи-ите — литература! Очерочки непарельные, зеленая тоска, третий деся-

ток лет все одна и та же вода толчется в ступе — пары да планы, планы да пары, хоть бы стыдились сами себя передирать... буйные витии!

Ну это вы напрасно так. Никакого особого тщеславия нет. Ведь не о качестве записи речь. К тому ж говорил я на худсовете правильно, почему телецикл три вечера подряд и отвлекал народ от хоккея, а гадать, размышлять могу и не совсем верно. Если даже заблужусь — велика ли беда? Товарищи поправят.

Но вот кто-то когда-то не написал для себя — и провалилось, изнетилося время! Вместо целого периода — лакуна, пустота. Откройте «Повесть временных лет»: «В лето 650ѣ (998). В лето 6512 (1004). В лето 6513 (1005). В лето 6514 (1006)...»

Видите, что делается? Год — бар, свершений — йок! Не счел Нестор-летописец достойными внимания и пера события и тенденции, какие имели (а ведь имели!) место в целой Руси, — и пожалуйста, дыра. А годы-то все какие, начало нашего с вами тысячелетия! Обидно тем, что тогда жили, власть имели, творили всякое-разное, со своей точки зрения — непременно значительное. Но и нам ведь обидно! Мы против тех-то людей суперзнающие — у нас и телевидение и экология, — а вместе с тем и абсолютные невежды. За строчку не расчлененного на слова текста под годом 1002 (6510) готовы заплатить томами ученых записок, ан бессилен сам Лихачев!

Затем-то разные дела на память в книгу вносим.

7

Был на Кавказе и поразился прогрессу в фотопромысле. Никаких щитов с пальмами и прорезями для головы, никаких больше чучел — перед треногой живая лошадь. Вычищена, под седлом, подпруга затянута как надо. И одежды с газырями подлинны, и папахи на выбор, хватит ансамблю песни-пляски. Кинжалы, кувшины — хоть в музей. Следовательно? Такая фотография (в бурке, папахе, в седле) уже не туфта, не шутка? И ваш автобусный Кавказ не мнимость? Получается, что так...

Пронеслось, что остро не хватает публицистов, — и было мерсприятие. В секции творческого союза устроили смотрины — а чтоб не дай бог не засушить, не отпугнуть, ввел элемент игры. Что предпочитают юные дарования — очерк или эссе? Тридцать минут на экспромт — и затем выступят перед честным народом пять импровизаторов.

Девушка, импровизировавшая первой, была чемпионски хороша: что рост, что ум, что фигура, что вельветовые бананы цвета беж с полосатыми староголландскими гетрами до колен. Она где-то аспирантка, но вообще-то молодой публицист на нравственные темы. Так эссе или очерк? Девушка легко коснулась Монтеня, задела Юма — и прямо к кинику Диогену, к его бочке как символу отъединенности от шума площадей. «Эссе» — это «опыт», а «публицистика» идет от «публикум», что есть «общество», личностное и социальное начала противоречивы, но и диалектически едины...

И ведь все было подлинно! И Монтень у нее свой, и Юма читала, эрудиция девушки была достоверней кавказской фотолошади. Жаль только, что никто, кажется, не испугался — неужто и публицистика становится модной? Никто не сказал прелестной аспирантке — не тратьте, кума, силы, тут черный черствый хлеб. Овечкин в ваши годы не слышал о Монтене, но умел тачать сапоги, а ныне здравствующий Геннадий Лисичкин был просто председателем колхоза в Северном Казахстане. Я догадываюсь, что на эффект бежевых брюк ушло минимум две ваших стипендии, и помню, что элегантно очень личит женщине. Я знаю, что брюзжание и занудство — более верный симптом старости, чем даже гипертония, но говорю: доченька, дай вам бог любимой быть другим! Молодых публицистов не бывает, это нонсенс, как бессмысленны слова «начинающий сапер», «пробующий себя хирург». Не сочтите мои слова грубостью: в них больше заботы о вас, чем даже о собственном цехе. Космонавта на орбиту выводят — публицист выходит сам. Выходит чудовищным для одной души населения расходом энергии, и даже когда его ракета зависла и как бы стоит над землей — его сердечное топливо расходуется быстро и щедро. И никто Байконура тебе не готовил, а если ты выйдешь на уже освоенную орбиту, то запуск не затнут, а только вспомнят того, кто первым ту орбиту описал... Несладкий, милая, цех, и не случайно он всегда малолюдн!

Мы на том мероприятии сидели своим семинаром. Пришли, я говорю, студенты Литинститута, молодые мужики-заочники.

— Я этим летом построил дом,— сказал с Алтая.

— А я дочку из роддома привез, вторую,— сказал из Карелии.

— Я книгу Овечкина издал, два неизвестных рассказа,— сказал из Краснодара.

Среди наших один умеет водить тепловозы, другой бракировщик с КамАЗа, третий метеоролог и лесник, и журналисты конечно же есть... Не надо подозревать меня в каком-то пролеткульте: мол, машинист — хорошо, а аспирантка — гораздо хуже. Я прекрасно понимаю, что не было глубже знатока северной русской деревни, чем университетский ученый-филолог Федор Александрович Абрамов, а аспирант, потом кандидат наук, потом преподаватель вуза Сергей Павлович Залыгин есть устроитель земли и в первичном, долитературном смысле слова.

Никак не претендую на исключительную верность своего курса, мы со своими изначально условились о трех вещах.

Свято место пусто не может быть. Едва сдали курсовые работы к тридцатилетию «Районных будней», как ушел Федор Абрамов. Почтили доступными курсовыми Федора Александровича — ушел Анатолий Аграновский. Готовим работы «Мастерство Аграновского», а на уме... Нет, просто стране нужны публицисты!

Публицист — это, как правило, вторая профессия. Помимо первой, жизненной. Первая — подготовительная, накопительная, вторая — реализационная. Исходили при выводе этой закономерности из фактов и только фактов. Энгельгардт — профессор, агрохимик, Пришвин — землемер, Овечкин — председатель коммуны, партийный работник, Троепольский — агроном, Иванов — экономист, Гальперин — летчик, Лисичкин, кроме помянутого, был дипломатом. Из младших, входящих в полный возраст: Александр Радов — социолог, да хороший, новосибирской школы, Евгений Будинас — радиоинженер... Не знаю, к какому поколению отнести Анатолия Стреляного (на мой взгляд, недавно я знал его целинным трактористом, теперь его закононо и непременно поминуют «в обойме»), но для меня это очень четкий пример публициста без молодости: его первые публикации в «Комсомолке» так же отдавали жизненным опытом, мужичьей догадливостью, как и очерки зрелой и тонкой книги «В гостях у матери»... Первая профессия избавляет от мнимостей, даже самых «доподлинных», и обеспечивает запас почвенного плодородия на всю жизнь. И парадокс в том, что в публицистику нельзя уходить потому, что «не получалось». «Не получалось» на первой ступени — не взлетишь и со второй. Писание есть реализация другими способами уже нажитых, распирающих душу рабочих идей.

Третье же... «Писатель не нуждается в экономической свободе. Все, в чем он нуждается, это карандаш и немного бумаги. Я никогда не верил в творчество, которое начинается, когда есть свободные деньги. Хороший писатель никогда не зависит от обстоятельств... У хорошего писателя нет времени беспокоиться об успехе или о богатстве».

Такие дела. И несмотря на то, что написавший это — было, мы не выдерживаем — за триста долларов в неделю, триста тогда тяжелых долларов продавал свое перо Голливуду и любил собственный самолет, несмотря на то, что Уильям Фолкнер никогда прямым публицистом не был, нами слова эти признаны справедливыми и приняты к руководству. «Вопросы хлеба и пшеница» методически обсуждаются на семинаре и признаются архиважными, но ими нельзя объяснять личный неуспех. Нельзя, постыдно для занятия.

Никто никогда не учил публицистике, и я вовсе не завожу тут споров о методике такой подготовки. «Скажи, отче, жениться мне или нет?» — спрашивает юноша старика. «Раз спрашиваешь — не женись», — ответил мудрый. Наше, старых, дело — как следует выяснить, кто может не писать, и работать только (исключительно) с остальными.

А что очеркистика есть дело общественное в смысле добровольного сложения множества сил (сказать бы — коммунальное, если б не оплошали слово утравдом и прописка), это мне ярче яркого прояснила работа над собственной «Картошкой».

Формулу очерка рассказал Анатолий Стреляный на одном из семинаров по экономике в ЦДА. Рассказал алгебраически («...пропитание есть сверхурочная работа»), оставалось только подставить конкретные значения. Правда, и это потребовало анализов, поездок, овощных баз, но формула была выдана безвозмездно.

Журналист Александр Нежный узнал через друзей-собкоров, сколько заводы недодают селу из-за шефской помощи селу же.

Борис Абрамович Слуцкий, узнав мою тему, предложил:

— Хотите, специально переведу из Шевченко? Именно о картошке.

Жена, преподавательница литературы, припасла место из Щедрина — очень затейливое место.

Старый статистик Владимир Васильевич Сеницын добровольно проверил и пересчитал, исправляя, всю цифирь рукописи....

Если даже не учитывать тех, о ком рассказано в работе, то есть неблагодарно забыть щепетильную помощь председателя колхоза Акима Васильевича Горшкова, писателя и летчика Марка Галлая, белорусского профессора Альсмика, самого легендарного Лорха, чье имя из-за великого сорта стало как бы нарицательным, заступничество авторитетного специалиста Юрия Васильевича Седых, не позволившего сверхосторожным людям похоронить очерк, — и тогда, я говорю, список оставшихся «за кадром» займет не один лист, и критик Алексей Иванович Кондратович, так безвременно ушедший, был в известном смысле справедлив, написав, что очерк «Про картошку» есть работа для целого института (как ни чудовищно для автора принимать и подтверждать такие похвалы!), ибо численный состав соавторов, сконцентрированный в них жизненный и нравственный опыт вполне тянули бы за коллектив не только отраслевого, но даже и головного, союзного НИИ.

Эти радители, имя же им легион. или общественность, или публика, если освободить это слово от нажитой иронии, от чванства оградить, есть сами в себе и животворящая среда думающей прозы, и гарантия, что — вернемся к кадровому составу — свято место пусто не бывает.

Не позволят пустовать!

Январь 1984.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. В. БЕЛОВ



ВОКРУГ ДОСТОЕВСКОГО

Очерки «Вокруг Достоевского» — это записки человека, который вот уже двадцать пять лет настойчиво и самоотверженно занимается поисками всего, что связано с именем великого писателя. Поиски эти привели известного ленинградского литературоведа и книговеда Сергея Владимировича Белова к ценнейшим находкам, уже прочно вошедшим в многогранную и неисчерпаемую науку о Достоевском. И тем более важно, что ныне это станет достоянием широкого читателя, ибо о своих полных романтики литературных, журналистских, архивных поисках и находках рассказывает сам исследователь.

С. В. Белова интересует буквально все, что связано с именем Достоевского. Здесь для него нет мелочей: все дорого и все свято. Два десятилетия, например, он водит всех желающих по петербургским местам Достоевского. Я сам несколько раз был на этой удивительной экскурсии, на которой уже побывало свыше 3 тысяч человек. И никто из них не подозревает, что С. В. Белов проводит эти экскурсии совершенно бескорыстно, с единственной целью — помочь людям глубже проникнуть в духовный мир Достоевского, почувствовать величие его гения.

Неутомимой энергии С. В. Белова обязаны своим рождением музеи-квартиры Достоевского в Ленинграде и Старой Руссе, целые библиографические указатели литературы о писателе, достоевские уголки во многих школах и библиотеках, куда он посылает книги и материалы из своей уникальной коллекции о Достоевском. И все это, как и многое другое, делается С. В. Беловым на чистом энтузиазме, из одной лишь любви к Достоевскому.

«Вокруг Достоевского» — это рассказ человека, который остался верен своей юношеской любви к Достоевскому и сумел пронести эту любовь через все годы. Именно поразительная преданность Достоевскому и позволила С. В. Белову сделать ряд интереснейших открытий в достоевсковедении.

Об этих открытиях и находках, о встречах с людьми, причастными к имени Достоевского, талантливо и живо повествуется в очерках «Вокруг Достоевского», написанных человеком, прекрасно сознающим значение Достоевского для русской и мировой культуры.

Д. С. ЛИХАЧЕВ,
академик.

СТАРИК ДОЛИНИН НАС ЗАМЕТИЛ...

Сам я не пережил блокады, но в 1944 году, когда я поступил в первый класс 161-й ленинградской школы, нам сказали, что у нас есть один ученик, но он будет заниматься дома, так как ему тяжело ходить, он болен. Этот мальчик жил со мной на одной лестнице в доме № 9 по 5-й Советской улице. Я часто навещал Игоря Денисьева, так звали новенького. Он был удивительно способный и начитанный ребенок, очень любил книги, уверен, что он стал бы замечательным человеком. Но судьба распоряди-

лась иначе. Он проучился в первом классе лишь семь месяцев. Детское сердце не выдержало. Мне никогда не забыть, как после смерти восьмилетний мальчик стал похож на восьмидесятилетнего старика. Через двенадцать лет я впервые прочел роман «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского и пронзительно остро почувствовал и смерть Илюшечки Снегирева, и слова Ивана Карамазова об одной слезинке безвинно погибшего ребенка.

Но в школе тогда Достоевского не проходили, и своему увлечению писателем я во многом обязан крупнейшему советскому исследователю его творчества профессору Аркадию Семеновичу Долинину. Кажется, это было совсем недавно, когда мы, студенты Ленинградского педагогического института имени М. Н. Покровского (а затем и пединститута имени А. И. Герцена, куда вошел наш институт), ходили в конце 50-х годов слушать его лекции.

У нас собрались блестящие преподаватели-филологи: Н. Я. Берковский, Д. Е. Максимов, Я. С. Билингис. Но все они с почтением относились к Долинину не только потому, что он был значительно старше их, но прежде всего потому, что они видели в нем патриарха отечественной науки о Достоевском. Можно с уверенностью сказать, что из всех наших литературоведов Долинин больше всего сделал для изучения жизни и творчества Достоевского в период становления советского достоевковедения.

Однако дело в конце концов не в количестве работ Долинина о Достоевском. Дело в том, что Аркадий Семенович был первым среди русских и зарубежных ученых, кто положил начало историко-литературному изучению творчества Достоевского. И это принесло свои замечательные плоды, когда в 1972 году у нас в стране начало выходить тридцатитомное полное собрание сочинений великого русского писателя.

И наконец самое главное. На протяжении всей своей шестидесятилетней научной деятельности (первая печатная работа Долинина появилась в 1905 году, последняя — в 1965-м) Аркадий Семенович оставался всегда верен своей совести, своим научным принципам, своему Достоевскому.

Оставался верен он своему Достоевскому даже в трудные годы, когда в результате появления в 1948 году печально знаменитой брошюры В. Ермилова «Против реакционных идей в творчестве Ф. М. Достоевского» Аркадий Семенович вынужден был покинуть Ленинградский университет.

...Но все это я узнал значительно позже, а пока мы, студенты третьего курса (а курс у нас тоже был интересный), читали самые полные по тем временам собрания сочинений Достоевского, так как прошел слух, что на экзамене по русской литературе Долинин будет спрашивать «всего Достоевского».

В 1958 году многие из студентов нашего института бегали в университет, где по средам читал захватывающий спецкурс по Достоевскому великолепный лектор профессор Г. А. Бялый. Знакомство с А. С. Долининым, который в 1961 году привлек меня к первой научной работе — составлению двухтомника «Достоевский в воспоминаниях современников», и спецкурс Г. А. Бялого определили главное направление моих литературно-журналистских поисков: я начал искать и собирать все, связанное с именем автора «Братьев Карамазовых». Увлечению Достоевским способствовали также спектакль Ленинградского Большого драматического театра имени А. М. Горького «Идиот» с прекрасной игрой И. М. Смоктуновского в роли князя Мышкина и одноименный фильм японского режиссера Акиры Куроавы. Но решающую роль в моей судьбе сыграла, очевидно, встреча с Андреем Федоровичем Достоевским. Осенью 1960 года А. С. Долинин направил меня к внуку писателя.

ВНУК ДОСТОЕВСКОГО

27 января 1911 года в газете «Биржевые ведомости» литератор А. Шиле поделилась своими впечатлениями о недавней встрече со вдовой писателя А. Г. Достоевской:

«В заключение нашей беседы Анна Григорьевна мне рассказала, по ее мнению, знаменательный факт: в день кончины Федора Михайловича, 28 января, т. е. в то самое число, через 27 лет, родился у нее внук, названный Андреем в память младшего брата Федора Михайловича, и, начиная с нее самой, все в семье уверены, что в этого ребенка переселилась душа его деда.

По рассказам, это удивительный мальчик. 28 января ему минет 3 года, а он рассуждает, как взрослый...

Не проходит дня, чтобы Андрюша не проявил себя чем-нибудь особенным. При этом он страшно впечатлителен, экспансивный и сострадательный: не может видеть, если кто-нибудь из домашних в горе, старается все сделать, чтобы утешить...»

..Как сейчас помню тот день, когда первый раз я поехал к внуку Достоевского на Наличную улицу в Ленинграде. Страшно волновался: к многочисленным потомкам Пушкина и Толстого мы как-то привыкли, а тут единственный внук Достоевского. Но волновался я зря. Андрей Федорович оказался приветлив и доброжелателен ко всем, кто интересуется Достоевским. Много было в нем черт, унаследованных от деда: и бескорыстие, и какая-то стремительность во всем, и чувство долга, и преданность своим друзьям. Но главное, Андрей Федорович был живой человек, со всеми присущими именно живому человеку, иногда даже прямо противоположными чертами характера.

В однокомнатной квартире на Наличной улице (тогда это был новый район города) Андрей Федорович поселился сравнительно недавно. До этого он жил в центре Ленинграда в многожильной коммунальной квартире, типично петербургской, со всеми ее неудобствами, так хорошо знакомыми старым петербуржцам.

Я стал бывать у него почти каждый день, мы очень сблизились, я старался записывать все, что он мне рассказывал о своем роде, внимательно наблюдал за ним, пытаясь понять, что перешло к нему от деда, а что нет. Однажды мы хоронили преподавательницу английского языка Ф. Я. Цырлину. Это была удивительная по своей скромности и честности женщина, отличный знаток Достоевского, необычайно преданный его имени человек. Но она была одинока, совершенно беспомощна и непрактична в житейских делах. Надо было видеть, как трогательно заботился о ней Андрей Федорович!

Несколько близких друзей Ф. Я. Цырлиной, в том числе и мы с Андреем Федоровичем, выполнили ее последнюю волю — она просила похоронить ее по церковному обряду. И вот когда ее отпевали, я обратил внимание, что Андрей Федорович стоял у входа в церковь, но в храм ни разу не вошел. Меня это поразило, и я тут же прямо спросил об этом Андрея Федоровича. И он мне так же прямо ответил: «Я столько раз был на волосок от смерти во время войны и столько раз видел смерть других людей, что не могу верить в божественное устройство этого мира». Эти слова Андрея Федоровича очень близки к бунту Ивана Карамазова, который отказывается принять миропорядок, в котором страдают и гибнут дети.

Однажды я попросил Андрея Федоровича продиктовать мне все, что связано в его памяти с именами великого писателя и А. Г. Достоевской. Андрей Федорович родился в 1908 году, то есть за десять лет до смерти своей знаменитой бабушки Анны Григорьевны Достоевской. Естественно, что он сохранил в памяти многое, связанное с именем этой замечательной русской женщины.

Андрей Федорович не был просто хранителем всего, связанного с Достоевским и его наследием. Он сделал необычайно много для увековечения памяти и творчества Ф. М. Достоевского. Стоит только взглянуть на географию деятельности Андрея Федоровича, чтобы понять ту огромную помощь, которую он много лет совершенно бескорыстно оказывал всем, кто интересовался жизнью и произведениями Достоевского. Далекое село Достоево, откуда берет начало род писателя (один из давних предков — Федор Достоевский — служил при князе Андрее Курбском, отсюда семейная традиция давать имя Андрей), Старая Русса, Семипалатинск — здесь при самом активном участии и помощи Андрея Федоровича создают мемориальные музеи писателя; Париж, Лондон, Варшава, София, небольшой украинский городок Крыжополь, где ученики одной из школ решили создать уголок Достоевского, — все обращались к Андрею Федоровичу за советом и помощью. И он никогда никому не отказывал. Безотказностью внук тоже пошел в деда.

Я хорошо помню, как Андрей Федорович нередко прямо валился с ног от усталости от всех своих достоевских дел. А ведь это были не просто встречи и беседы с почитателями таланта Достоевского, но и активное вмешательство во все, что связано с именем писателя. Вот простой пример. Когда я в 1965 году поехал с женой в Ялту, Андрей Федорович буквально завалил нас телеграммами с просьбой узнать, в каком состоянии находится могила Анны Григорьевны (она умерла в Ялте в 1918 году), кто заботится о ней, нельзя ли сделать подобающую надпись на памятнике... Местные почитатели таланта Достоевского инженер Г. Сошин и книговед А. Анушкин показали мне на Аутском кладбище могилу Анны Григорьевны. Могила эта стараниями краеведов содержалась в хорошем состоянии. Я известил об этом Андрея Федоровича.

А как он радовался, узнав, что крупнейшие писатели Ленинграда поддержали нашу идею о создании в Ленинграде и Старой Руссе музеев-квартир Достоевского, как ходил неутомимо вместе с нами (я имею в виду еще таких преданных Достоевскому людей, как архитектор Г. Пионтек и математик А. Бурмистров) по ленинградским квартирам и магазинам в поисках подходящей мебели для будущих музеев, как активно начал разработку экспозиции этих музеев задолго до их открытия.

Сейчас даже трудно себе представить, как мог один человек сделать так много! (Колоссальной работоспособностью Андрей Федорович тоже пошел в деда.) Он был консультантом трех фильмов о Петербурге Достоевского, которые сняли Ленинградское и западногерманское телевидение, а также Ленинградская студия научно-популярных фильмов, он безотказно по первой просьбе высылал книги о жизни и творчестве писателя, водил всех желающих по петербургским местам Достоевского, выступал с лекциями и статьями в периодической печати и не пропускал ничего, что так или иначе было связано с именем автора «Преступления и наказания».

Помню, как 3 апреля 1963 года, в день столетия со дня рождения племянника писателя, многолетнего секретаря Русского географического общества Андрея Андреевича Достоевского, он повез меня на Смоленское кладбище, чтобы почтить память умершего. В последние годы своей жизни, в конце 20-х годов, А. А. Достоевский работал ученым хранителем Пушкинского Дома, и Андрей Федорович принял тогда личное участие в его судьбе. Именно тогда и проявились такие качества Андрея Федоровича, как настойчивость в борьбе за справедливость...

Возвращаясь ко времени моего знакомства с Андреем Федоровичем. В 1963 году мы вместе с ним разработали маршрут пешеходной экскурсии «Петербург Достоевского». Как всегда, внук писателя делал все точно и тщательно: он раз двадцать пересчитал те 730 шагов, которые (как сказано в романе) Раскольникову потребовалось пройти от своего дома к дому старухи-процентщицы, пока не убедился, что количество шагов действительно соответствует цифре, указанной в «Преступлении и наказании».

Петербург Достоевского Андрей Федорович знал великолепно. Я наблюдал, как в 1966 году Андрей Федорович вместе с Д. А. Граниным помогал снимать для западногерманского телевидения фильм «Достоевский и Петербург». Я видел, с каким уважением относятся к Андрею Федоровичу Д. А. Гранин, известный американский драматург А. Миллер. Своей преданностью имени Достоевского он заслужил также любовь А. М. Леонова, К. М. Симонова и других писателей.

Несомненно, внук писателя был литературно одаренной натурой. Достаточно прочесть талантливые очерки самого Андрея Федоровича в журнале «Нева», в «Литературной газете», чтобы убедиться в этом. Недаром в молодости он увлекался литературой и состоял в Ростовской ассоциации пролетарских писателей, где познакомился с Михаилом Шолоховым. По специальности же Андрей Федорович был инженером-конструктором, воспитанником Ленинградского политехнического института.

Но, будучи инженером-конструктором, Андрей Федорович знал биографию своего великого деда не хуже профессионального литературоведа. В этом можно убедиться, посмотрев книгу-альбом «Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах» (М. 1972), в составлении которой наряду с известными достоевскооведами участвовал и А. Ф. Достоевский, вложивший в эту последнюю свою работу много сил и труда.

Однако все те, кому самоотверженно и неустанно помогал Андрей Федорович последние годы своей жизни, даже и не подозревали, что в 1954 году прямо на лекции в машиностроительном техникуме, где он тогда преподавал, его разбил паралич: дали себя знать полученные на фронте многочисленные ранения. Студенты любили Андрея Федоровича, и некоторые из них постоянно дежурили в больнице. Собственно, студенты и подняли Андрея Федоровича на ноги.

Недавно для программы «Монитор» Ленинградского телевидения мы делали передачу о старом петербургском доме купца Алонкина (Столярный переулок, дом 14/7), где Достоевский написал романы «Игрок» и «Преступление и наказание» и куда в октябре 1866 года пришла к нему молоденькая стенографистка Нечочка Сниткина, его будущая жена. И вот когда мы снимали этот дом и я рассказывал телезрителям, чем он примечателен, ко мне обратился стоявший поблизости пожилой человек: «А вы знаете, я хорошо помню внука писателя, Андрея Федоровича Достоевского. Мы вместе воевали». И когда я спросил, что наиболее запомнилось ему из общения с Андреем Федоровичем в военное время, старый солдат ответил: «У него всю войну в чемодане хранился

небольшой бюст Достоевского, и он никогда с ним не расставался». (Если уж зашла речь о Достоевских реалиях, то отмечу, кстати, что целый ряд личных вещей Достоевского Андрей Федорович передал в музей-квартиру писателя в Москве.)

Андрей Федорович ушел на фронт в июле 1941 года. Начав свою боевую службу солдатом-мотоциклистом разведки и связи, воевавший на шести фронтах Великой Отечественной войны, в том числе на ленинградской Невской Дубровке, он закончил ее на полях Маньчжурии в должности инженер-майора. Как говорил мне сам Андрей Федорович, «воевал он честно, но с кадровиками цапался», а по-настоящему ощутил себя человеком только тогда, когда попал в стрелковую дивизию, в разведку.

9 июня 1968 года, в день 50-летия со дня смерти Анны Григорьевны, Андрей Федорович благодаря содействию Союза писателей (особенно Л. М. Леонова и В. Г. Лидина) выполнил последнее желание покойной: перенес ее прах из Ялты в Александро-Невскую лавру, где погребен Ф. М. Достоевский.

В конце июля 1968 года, уже совсем больным, он едет на празднование 250-летия Семипалатинска, помочь организовать здесь музей-квартиру Ф. М. Достоевского, встречается там с будущим директором этого музея, бескорыстной почитательницей Достоевского З. Г. Фурцевой, на обратном пути заезжает в Омск, хлопочет и там о создании мемориального музея. Он спешит все сделать, словно чувствуя, что ему осталось жить месяц. Случилось так, что мне пришлось провожать Андрея Федоровича в последний путь: ночью везти гроб с его телом в Москву в крематорий (в Ленинграде в 1968 году крематория еще не было). Конечно, мне никогда не забыть этой поездки.

...Когда будете в Ленинграде в Александро-Невской лавре на могиле Ф. М. Достоевского, то с правой стороны надгробия увидите две надписи: «Анна Григорьевна Достоевская. 1846 — 1918. Андрей Федорович Достоевский. 1908 — 1968». Андрей Федорович погребен вместе с Ф. М. Достоевским и А. Г. Достоевской. Он очень много сделал для их памяти. Деятельное участие в захоронении урны с прахом Андрея Федоровича в Александро-Невской лавре принял Л. М. Леонов.

Я уже упоминал выше, что записывал некоторые семейные предания и рассказы внука Достоевского. В течение нескольких вечеров Андрей Федорович продиктовал мне целую тетрадь. Многое в этих записях посвящено Анне Григорьевне Достоевской.

ЖЕНА ПИСАТЕЛЯ

А. Г. Достоевская (урожденная Сниткина) познакомилась с Достоевским в 1866 году, когда была рекомендована писателю во время работы над романом «Игрок» как опытная стенографистка. Став женою писателя, она принесла ему долгожданную радость отцовства. Через руки Анны Григорьевны прошли все крупнейшие романы Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми». Анна Григорьевна, взяв расчеты с кредиторами в свои руки, постепенно освободила мужа от всех долгов его брата, которые писатель взял на себя добровольно после смерти М. М. Достоевского и прекращения издания журналов «Время» и «Эпоха». Анна Григорьевна стала для Достоевского ангелом-хранителем, тем самым лучом света, столь остро недостававшим ему в тяжелой, безрадостной жизни. И лучшее признание заслуг Анны Григорьевны — посвящение ей писателем последнего гениального романа.

Анна Григорьевна сделала все и для посмертной славы Достоевского. В год его смерти ей исполнилось тридцать пять лет, и она сочла свою личную жизнь конченной, целиком посвятив себя изданию сочинений писателя и увековечению его памяти. Она составила уникальный «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» (СПб. 1906). В начале века Анна Григорьевна открыла школу имени Достоевского в Старой Руссе, при московском Историческом музее организовала отдел Достоевского, выпустив его каталог (этот отдел уже в советское время и послужил основой для создания музея-квартиры писателя в Москве), занималась подготовкой к печати своего «Дневника» и «Воспоминаний», вышедших в свет уже после ее смерти.

Оценивая заслуги Анны Григорьевны перед русской литературой и культурой, А. Н. Толстой заметил: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».

Мимо внимания Анны Григорьевны не проходит ни один литературный вечер, ни одна выставка, посвященные Достоевскому, и ни одна инсценировка его произведений.

Она была покорена спектаклем Московского Художественного театра «Братья Карамазовы» и спешит за кулисы, чтобы поблагодарить замечательного русского актера Л. М. Леонидова за исполнение роли Дмитрия Карамазова. Вот как передает Л. М. Леонидов в своих воспоминаниях впечатление от встречи со вдовой Достоевского: «Я увидел и услышал «что-то», ни на что не похожее, но через это «что-то», через эту десятиминутную встречу, через его вдову я ощутил Достоевского: сто книг о Достоевском не дали бы мне столько, сколько эта встреча. Я ощутил около себя дыхание его, Достоевского. Я убежден, что у него с женой всегда была такая атмосфера...»

В 1970 году мне удалось найти в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина любопытные ответы сорокатрехлетней Анны Григорьевны на анкету петербургских журналистов под названием «Мое признание»: «Главная черта вашего характера?» — «Нерешительность». — «Какую цель преследуете вы в жизни?» — «Распространение сочинений моего мужа». — «Самая тяжелая минута в вашей жизни?» — «Когда теряла близких, мужа и детей». — «Чем или кем желали бы вы быть?» — «Анной Григорьевной Достоевской». — «К какому народу желали бы вы принадлежать?» — «Неосомненно, к русскому». — «Ваше любимое занятие?» — «Издавать книги». — «Ваше любимое удовольствие?» — «Смотреть французские водевили». — «К чему вы чувствуете наибольшее сострадание?» — «К людям, у которых тяжело на душе». — «К какой добродетели вы относитесь с наибольшим уважением?» — «К искренности и независимости». — «Что вы более всего цените в мужчине?» — «Ум и твердость характера». — «Что вы более цените в женщине?» — «Доброту и хороший нрав». — «Ваше мнение о современных молодых девушках?» — «Очень похожи одна на другую». — «Ваше мнение о браке и супружеской жизни?» — «Нет выше счастья, как хорошее супружество». — «Каких лет следует жениться и выходить замуж?» — «Девушки — от 18 до 30, мужчины — от 24 до 50». — «Какое историческое событие вызывает в вас наибольшее сочувствие?» — «Освобождение крестьян». — «Ваш любимый писатель?» — «Достоевский». — «Ваш любимый поэт?» — «Лермонтов». — «Ваш любимый герой в романах?» — «Князь Мышкин в «Идиоте». — «Ваша любимая героиня в романах?» — «Наташа в «Войне и мире». — «Ваше любимое стихотворение?» — «Пророк Пушкина». — «Ваш любимый художник?» — «Тициан». — «Ваша любимая картина?» — «Христос с монетой». — «Ваш любимый композитор?» — «Глинка». — «Ваше любимое музыкальное произведение?» — «Руслан и Людмила». — «Ваше любимое изречение?» — «Вечером каждого дня: «Ничего не сделала, а устала страшно». — «Искренно ли вы отвечали на вопросы?» — «Хотела говорить искренно, но вряд ли вполне удалось».

Когда я всерьез и надолго заинтересовался жизнью и деятельностью А. Г. Достоевской, то, естественно, попытался выяснить все, что с ней связано. Меня заинтересовали ее «Воспоминания», рукопись которых я прочитал в Ленинской библиотеке. «Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора, — пишет Анна Григорьевна. — Посетив однажды Або, проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений».

Мне повезло больше. Когда в 1966 году я приехал в Финляндию, в Турку, то с помощью потомка русского поэта и критика Аполлона Григорьева А. В. Эйхвальда, жившего в Турку, и финского журналиста Ганса Отмана, страстного почитателя Достоевского, нашел в местном соборе могилу шведско-финских предков Анны Григорьевны по материнской линии. По моей просьбе Ганс Отман составил родословную этой ветви жены писателя. Оказалось, что в ее роду было много видных шведских и финских ученых.

Много и подолгу рассказывая мне о своей бабке, А. Ф. Достоевский не раз подробно останавливался и на обстоятельствах ее смерти в Ялте 9 июня 1918 года. Дело в том, что с этим печальным событием связано и загадочное исчезновение многих рукописей писателя, которые Анна Григорьевна взяла с собой, отправившись летом 1917 года на юг. Она осуществила свою мечту и повезла внуков на Кавказ, где в четырнадцати верстах от Адлера, в горах над морем, у нее был маленький земельный участок с небольшим домиком. Этот участок Анна Григорьевна хотела завещать своим внукам и поэтому назвала его «Отрада». 22 августа 1917 года она вместе с невесткой Екатериной Петровной (жена сына писателя, Федора Федоровича) и внуками выехала на станцию Хоста, а затем в Туапсе. Однако здесь она чувствовала себя неудобно и решила перебраться в знаменитую ей Ялту. Екатерина Петровна вместе с сыновьями отправляется в Пятигорск, где в то время с Московским конным заводом находился Федор Федорович Достоевский, крупный специалист по коннозаводству.

Так Анна Григорьевна оказалась в Ялте совсем одна. 18 ноября 1917 года она писала в Петербург исследователю творчества Достоевского В. Л. Комаровичу (это неопубликованное письмо хранится в Пушкинском Доме): «...Я два месяца пролежала в постели, из них 2—3 недели в забытьи. Ведь мне 72 года, а в эти лета болезни переносятся трудно. Я поправляюсь, но очень медленно и навряд ли восстанавливаю здоровье к весне. Но я и мою невольную неподвижность употребляю на пользу: разбираю вырезки из газет по годам и клеиваю в папки для доставления в музей...» (Исторический музей в Москве.— С. Б.).

А вот что отметил свидетель ее последних дней: «Чаще всего она лежала; ей было все время холодно... Ее увядшее лицо, ее покрасневшие глаза, ее пальцы, изуродованные ревматизмом, позволяли с трудом вообразить, какой она была в молодости... К вечеру прекращалась лихорадка. В доме становилось тихо; можно было слышать море, которого она не видела со времени своего приезда в Ялту. Тогда Анна Григорьевна вставала, закрывала на ключ дверь и усаживалась перед маленьким письменным столиком. Открывала ящик стола, и начиналась долгая работа. Она окунала свое перо в пузырек бледных чернил и почерком, всегда одинаковым, писала «Библиографический указатель к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского». Она работала старательно с реестрами, карточками, хронологическими указателями. Занятие секретаря было ей привычным, и ее семидесятилетний мозг был так же ясен, как 50 лет назад, когда она пришла впервые в дом Алонкина на Столярном переулке, чтобы записывать «Игрока». Медленно она писала до поздней ночи, потом закрывала ящик и тушила свет...»

Связи между Ялтой и другими городами не было, поэтому никто из родственников своевременно не узнал о смерти Анны Григорьевны от малярии в Ялте 9 июня 1918 года. Последние заботы о ней взяли на себя посторонние люди. Металлический гроб с телом Анны Григорьевны был поставлен в склеп под Аутской церковью. В 20-е годы Андрей Федорович вместе с матерью регулярно навещали этот склеп (сын писателя Федор Федорович скончался от тифа в Москве в 1921 году). В 1932 году Аутская церковь была разрушена, и когда Екатерина Петровна и Андрей Федорович в очередной раз приехали в Ялту, они наняли рабочих и занялись раскопками. В глубине образовавшейся воронки склеп перестроили в могилу, забетонировали и поставили опознавательный знак.

До Великой Отечественной войны наблюдать за могилой Анны Григорьевны помогала сестра А. П. Чехова Мария Павловна Чехова. В 30-е годы Екатерина Петровна и Андрей Федорович не смогли выполнить последнюю волю Анны Григорьевны — перевезти ее прах из Ялты в Александро-Невскую лавру. Сразу после Великой Отечественной войны музей-квартира Достоевского в Москве и Андрей Федорович запрашивали Ялтинский горисполком и музей-квартиру Чехова в Ялте о сохранности могилы Анны Григорьевны. Но ответ пришел неутешительный: могила утрачена, так как во время бомбежки города на Аутском кладбище стояла зенитная батарея. Из-за болезни Андрей Федорович не смог выбраться в Ялту, к тому же до него дошли устные сведения, что кладбище ликвидировано и на его месте построено здание. Лишь в 1960 году научному сотруднику Московского литературного музея О. А. Кудрявцевой случайно удалось натолкнуться на могилу Анны Григорьевны, на которой, как оказалось, Ялтинский горисполком по собственной инициативе установил мраморное надгробие с подобающей надписью.

Куда же после смерти Анны Григорьевны 9 июня 1918 года пропали те достоевские рукописи и материалы, которые она взяла с собой, предприняв последнюю поездку на юг России? По словам Андрея Федоровича, его отцу Федору Федоровичу только в конце 1918 года удалось попасть в Крым и получить лишь некоторую часть рукописей и документов писателя, бывших при Анне Григорьевне. Эта часть рукописей была передана им в Москве М. Н. Покровскому, тогдашнему заведующему Централхивом.

Было ли еще что-нибудь при Анне Григорьевне кроме того, что досталось Федору Федоровичу? Безусловно было. Просматривая русскую эмигрантскую печать 20-х годов, я встречал неоднократные упоминания о находке в Крыму и на Кавказе рукописей Достоевского (например, заметка в газете «Последние известия», Ревель, 9 августа 1925 года, так и называлась «Находка рукописей Достоевского»). Правда, никаких публикаций текстов вслед за этим не последовало, но, несомненно, речь идет о рукописях, бывших при Анне Григорьевне в 1918 году в Ялте. Может быть, эту загадку смогли бы разрешить те, кто находился тогда в Ялте рядом с Анной Григорьевной? Андрей Федорович много раз говорил мне, будто слышал, что в Ялте в то время жила хорошо знавшая Анну Григорьевну русская поэтесса Нина Берберова. Позднее в ее зарубежных мемуа-

рах я не нашел никаких упоминаний об этих событиях. Недавно в зарубежной печати 30-х годов я нашел рассказ Н. Берберовой «Смерть Анны Григорьевны». Но это всего лишь переложение уже известных источников. О судьбе же рукописей Достоевского там ни слова.

Анна Григорьевна всю жизнь бережно хранила все, связанное с именем Достоевского, и, несомненно, если бы она, собираясь летом 1917 года на юг, хоть на минуту могла предположить, что уже не вернется в Петроград, то никогда не взяла бы с собой рукописи писателя. Она оставила бы их у родных либо сдала на хранение в комнату Достоевского при Историческом музее в Москве или в Государственный банк, как поступила, например, в 1907 году с полным рукописным экземпляром «Братьев Карамазовых». Правда, эта рукопись тоже исчезла, и местонахождение ее неизвестно. Многие верят легендарным рассказам, что якобы в 20-х годах эту рукопись за баснословную цену приобрел Стефан Цвейг. У этой легенды нет реальной основы: достаточно ознакомиться со статьей Стефана Цвейга «Моя коллекция автографов» напечатанной в 1930 году на немецком языке, чтобы удостовериться: о «Братьях Карамазовых» там нет ни звука. Возможно, С. Цвейг «забыл» упомянуть об этой рукописи или приобрел ее после 1930 года? Тогда откроем вышедшие уже посмертно на немецком языке мемуары С. Цвейга «Вчерашний мир». В них автор снова перечисляет свою коллекцию автографов: здесь и Моцарт, и Бетховен, но о «Братьях Карамазовых» ни звука¹.

Немало загадок таят в себе и материалы самой Анны Григорьевны, связанные с именем писателя. До сих пор не напечатан полностью «Дневник» А. Г. Достоевской 1867 года, хранящийся в Ленинской библиотеке, где она скрупулезно, с редкой непосредственностью день за днем стенографически фиксировала впечатления о своем пребывании с мужем за границей. Позже, как известно, Анна Григорьевна занималась расшифровкой «Дневника», собираясь его опубликовать, но не успела завершить начатую работу. Поэтому в 20-е годы, после смерти А. Г. Достоевской была опубликована только часть «Дневника». Двадцать пять лет назад ленинградская стенографистка Ц. М. Пошеманская расшифровала остальные дневниковые тетради Анны Григорьевны, совершив подвиг, достойный самой Достоевской. Ведь помимо общепринятых знаков каждая опытная стенографистка (какой и была Анна Григорьевна) пользуется еще и своими собственными. Восстановленные таким путем записи частично публиковались в достоевском томе «Литературного наследства» (М. 1973). Но полное издание «Дневника» А. Г. Достоевской пока не реализовано.

Гораздо больше повезло «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской из которых издано все, относящееся к жизни самого Достоевского периода 1866—1881 годов. Свои «Воспоминания» А. Г. Достоевская писала на склоне лет — в 1911—1916 годах. Однако в ее архиве в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина я обнаружил различные ранние отрывки и варианты более позднего текста ее мемуаров. В них в ряде случаев более живо и непосредственно (без последующей литературной редакции и некоторой ретуши) переданы впечатления Анны Григорьевны о Достоевском. Например, в одном из отрывков, на котором стоит дата 26 мая 1883 года, Анна Григорьевна рассказывает о первой встрече со своим будущим мужем:

«Я должна сделать одно замечание: ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжелого, поистине удручающего впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович в первое наше свидание. Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу; человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда. Мне было бесконечно жаль его.

Когда я вышла от Федора Михайловича, мое розовое, счастливое настроение разлетелось, как дым. Я увидела, что ни одной из моих надежд не сбывается, что работа у нас не пойдет и помощь моя ему не нужна вовсе. Мои радужные мечты разрушились, и я очень печальная, подавленная чем-то шла по улицам. Да и все в сравнении с давешним потемнело и потускнело в моих глазах...

Я ехала домой под тем же тяжелым впечатлением: мне было жаль моих разрушившихся надежд, мне было жаль и этого странного, несчастного и непонятного мне человека.

¹ Возможно, живучесть легенды о том, что у С. Цвейга была рукопись «Братьев Карамазовых», объясняется наличием в его коллекции автографов рукописи трех глав романа «Униженные и оскорбленные».

Мама, дожидавшаяся меня с нетерпением, осыпала меня вопросами, но я могла ей только ответить: „Ах, мама, не спрашивайте меня о Достоевском!“.

В этом же архиве мне удалось найти и отрывок под названием «Нитка» — краткое изложение основных событий и фактов четырехлетнего периода заграничной жизни Достоевских с 1867 по 1871 год, когда они буквально бежали из Петербурга, спасаясь от кредиторов, от суетной и безалаберной жизни. И хотя эти события более подробно освещены в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской и в ее «Дневнике 1867 года», однако в данном отрывке содержится несколько новых фактов. Например, говорится, что, находясь в Праге, Достоевский стремился познакомиться с известными деятелями славянского движения Ф. Палацким и Ф. Л. Ригером, что за границей писатель читал монографические очерки «Окраины России», изданные Ю. Самариным. Подтвердились и мемуарные свидетельства Н. Страхова об интересе Достоевского к известной в середине XIX века книге «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженика Святой горы Афонской инока Парфения», которую высоко ценили М. Салтыков-Щедрин, И. Тургенев, П. Анненков. Поэтичность и простота описаний Парфением своих странствий по Востоку произвели большое впечатление на Достоевского, и эту книгу он использовал, воспроизводя особенности лексики и фразеологии Макара Ивановича в «Подростке». В этой же книге Парфений рассказывает о посещении Оптиной пустыни, и, очевидно, уже после чтения ее у Достоевского возникло желание посетить эти места.

Я уже отмечал, что в изданные «Воспоминания» А. Г. Достоевской вошли лишь события, относящиеся к жизни ее с Достоевским в 1866—1881 годах. За пределами издания остались рассказы Анны Григорьевны о более поздних годах. Конечно, эта часть мемуаров не представляет широкого интереса. И все-таки, просматривая неизданную часть «Воспоминаний», я обнаружил в отдельных главах невольное возвращение мемуаристки к годам ее жизни с Достоевским.

Например, в главе «1881 год. Первое полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского» Анна Григорьевна, рассказывая о блестящем успехе предпринятого ею издания собрания сочинений писателя, вспоминает: «Но при всем довольстве успехом издательства меня часто раздражала и мучила мысль: зачем эти большие средства явились так поздно, когда уже нет на свете моего дорогого мужа? Как много радости доставили бы они ему одною утешительною мыслью, что дети его не останутся без образования, что семья после его смерти не впадет в нищету. Лишний десяток тысяч дал бы мужу спокойно работать и, может быть, хоть раз в жизни написать художественное произведение, не торопясь, не портя его, как приходилось портить многие из-за всегдашней нашей необеспеченности. В литературе и в обществе часто сравнивают произведения Достоевского с произведениями Тургенева и других писателей и восторгаются строгостью и ювелирной отточеченностью их романов в сравнении с романами мужа. И редко кому приходит на мысль взвесить те обстоятельства, при которых жил и работал тот и другой автор. В то время, когда другие писатели, пользовавшиеся хорошим здоровьем и обеспеченные состоянием или службою, могли отделять, переписывать и исправлять по несколько раз свои произведения, мой муж, страдавший двумя тяжелыми болезнями, обремененный семьей, кругом в долгах, был всегда озабочен думами о насущном хлебе, о средствах к существованию. Была ли какая возможность при таких обстоятельствах обдумывать и отделять свои произведения? Сколько раз случилось, что первые три главы романа были уже напечатаны, четвертая набиралась в типографии, следующая шла по почте в редакцию, а остальные были еще не написаны и только задуманы. И как часто Федор Михайлович, прочтя напечатанную главу своего романа, вдруг ясно видел свою ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь.

— Если б можно было вернуть, — говаривал он, — если б глава не была напечатана и я мог бы ее исправить! Теперь я вижу, в чем затруднение, вижу, почему мне не удается роман. Я, может быть, эту ошибку вконец убил мою «идею»!

И это была искренняя скорбь художника, увидевшего, в чем он ошибался, и не имеющего возможности исправить ошибку! Да, к несчастью, никогда не представлялось ему такой возможности: нужны были деньги для жизни, для уплаты долгов, а потому приходилось, несмотря на болезнь, иногда на другой день после приступа эпилепсии с отуманенной головой садиться за работу, спешить, еле просматривать рукопись, только бы она была послана к сроку и можно было бы получить за нее гонорар. И никогда-то (кроме «Бедных людей») не довелось Федору Михайловичу написать произведе-

дение не наспех, не торопясь, обдумав все детали романа и обстоятельно обсудив его план, словом, создать произведение. Такого великого счастья судьба не послала Федору Михайловичу, хотя это было всегда его задушевной, но, увы, недостижимой мечтой...»

Конечно, самым ценным из всего, что мне удалось найти за двадцать пять лет поисков,— это письма самого Достоевского. Такие удачи бывают раз в сто лет! А началось все с «Воспоминаний» А. Г. Достоевской. Читая внимательно эти мемуары, а затем и готовя их к печати, я составил картотеку всех лиц, упомянутых Анной Григорьевной, которых знал Достоевский. Прежде всего я обратил внимание на тех, кто переписывался с Достоевским. К этому времени я уже достаточно хорошо проштудировал четыре тома «Писем» Достоевского с великолепными комментариями А. С. Долинина и точно знал, какие письма самого Достоевского еще не найдены.

Мне давно были известны хранящиеся в Ленинской библиотеке письма Достоевскому русского зоолога и писателя, автора знаменитых «Сказок Кота-Мурлыки» Николая Петровича Вагнера (1829—1907). Как указывает в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская, они познакомились в июле 1875 года в Старой Руссе. В 1876 году Вагнер задумал издавать и редактировать научно-художественный журнал «Свет». К участию в нем Вагнер стремился привлечь и Достоевского, понимая, что это имя принесет журналу огромный успех. Из дружеских побуждений Достоевский пообещал Вагнеру свой рассказ, а в октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год опубликовал объявление о выходе журнала «Свет». Вагнер возлагал большие надежды на участие Достоевского в журнале, однако в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский поместил «Разъяснение об участии моем в издании будущего журнала „Свет“»: «На это я заявляю теперь, что в будущем 1877 году буду издавать лишь «Дневник писателя» и что «Дневнику» и будет принадлежать, по примеру прошлого года, в ся моя авторская деятельность. Что же до нового издания «Свет», то ни в замысле, ни в плане, ни в соредктировании его не участвую. Даже самая идея будущего журнала мне еще совсем неизвестна, и я жду появления его первого №, чтоб в первый раз с нею познакомиться».

Письма Вагнера Достоевскому полны настоятельных просьб о сотрудничестве в журнале, однако скорее всего после ознакомления с первым номером «Света», а также из-за нежелания отвлекаться от «Дневника писателя» и от задуманных больших романов Достоевский отказался от своего участия в новом журнале. Уже после декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год, где Достоевский напечатал «Разъяснение об участии моем в издании будущего журнала „Свет“», он хотел снова поместить заметку о своем неучастии в журнале Вагнера. Однако в последнюю минуту Достоевский в письме метранпажу М. А. Александрову в конце 1877 года просит вычеркнуть ее из «Дневника писателя». Комментируя это письмо, А. С. Долинин указывает, что «вторичное заявление о своем неучастии могло бы обидеть Вагнера, с которым Достоевский находился в дружественных отношениях».

Да, но где же письма самого Достоевского Вагнеру? Неужели они бесследно исчезли? В 1966 году мою коллекцию о Достоевском пополнила тоненькая книжечка «Sbornik Narodního Muzea v Praze», Sv. VII (1962), čís. 4. Это труды Национального музея в Праге. И вот оказывается: в одном из выпусков 1962 года талантливый чешский исследователь Достоевского Франтишек Каутман впервые опубликовал пять писем Достоевского Вагнеру за 1875—1877 годы, хранившиеся в личном архиве Вагнера в этом музее.

Но внимательно сравнивая эти письма Достоевского Вагнеру с письмами самого Вагнера, я понял, что в этой корреспонденции не хватает еще одного письма Достоевского, последнего по хронологии. Где оно может быть? В Национальном музее в Праге? Очень сомнительно, ведь там Ф. Каутман довольно основательно поработал и вряд ли мог пропустить еще одно письмо Достоевского. Скорее всего оно хранится в других чешских архивах: часто мне в моих поисках приходилось сталкиваться с раздроблением личных фондов по разным хранилищам. Где искать недостающее письмо? Советуюсь со знатоками и направляю запрос в чехословацкую Славянскую библиотеку.

Проходит два месяца, и я получаю столь радостный для меня пакет. Сотрудники Славянской библиотеки не только прислали мне фотокопию письма Достоевского Вагнеру от 26 января 1877 года, но и любезно разрешили его опубликовать, что я и сделал².

² См. «Вопросы литературы», 1967, № 5.

В 1967 году я поехал туристом в Польшу и Чехословакию, но мне не пришлось вместе со всеми любоваться красотами Варшавы и Праги. В Варшаве я пытался разыскать архив польского революционера Шимона Токажевского, автора книги «Siedem lat katongi» (Warszawa. 1907) («Семь лет на каторге». Варшава. 1907), где он вспоминает о своем пребывании в омском остроге вместе с Достоевским. Мне думалось, что в его архиве должны сохраниться какие-то материалы о Достоевском. Но мои поиски оказались безрезультатными: двух дней пребывания в Варшаве просто не хватило на это.

В Праге, однако, мне крупно повезло. Прежде всего я посетил Славянскую библиотеку и поблагодарил ее сотрудников за присланное мне письмо Достоевского. Меня сопровождал при этом симпатичный Франтишек Каутман, адрес которого мне дал его давний друг Д. А. Гранин, большой почтитель и отчаянный знаток Достоевского. Мы разговорились, и я спросил сотрудников музея и Ф. Каутмана, не знают ли они что-нибудь о судьбе архива крупнейшего русского исследователя творчества Достоевского Альфреда Людвиговича Бема, который скончался в Праге в 1945 году (имя его я впервые услышал от А. С. Долянина: они вместе с Бемом учились в Петербургском университете у легендарного С. А. Венгерова), а в 20—30-х годах Бем в Карловом университете вел специальный семинар по Достоевскому.

Мои собеседники поспешили меня обрадовать: оказывается, в Славянской библиотеке находится архив этого знаменитого бемовского семинара. За два положенных мне туристских дня в Праге я смог, конечно, лишь бегло познакомиться с архивом, но и этого было достаточно, чтобы найти целый ряд неизвестных у нас работ А. Л. Бема по Достоевскому, составить библиографию его трудов и написать о нем в Краткой литературной энциклопедии.

В своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская указывает, что, когда в 1873 году Достоевский редактировал журнал «Гражданин», секретарем журнала был Виктор Феофилович Пуцкович (1843—1909) — писатель и публицист консервативного направления, с 1874 года преемник Достоевского в качестве редактора «Гражданина». С конца 1879 по 1881 год Пуцкович издавал и редактировал в Берлине журнал «Русский гражданин», а в 1903 году — газету «Берлинский листок».

В этой газете Пуцкович опубликовал часть писем Достоевского к нему, а еще раньше пять писем Достоевского Пуцкович выслал для публикации в «Московский сборник» С. Ф. Шарапова (М. 1887). После смерти Пуцковича его берлинский архив перешел в Прусскую государственную библиотеку, а в 1921 году письма Достоевского Пуцковичу из этого архива были опубликованы на немецком языке в журнале «Preussische Jahrbücher» (он хранится в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

Просматривая немецкий журнал, я обнаружил, что эти письма Достоевского Пуцковичу ранее уже были опубликованы на русском языке в «Московском сборнике» и в «Берлинском листке» за исключением письма от 23 августа (4 сентября) 1879 года. В Пушкинском Доме хранится неопубликованное письмо Пуцковича Достоевскому от 23 сентября 1879 года, где он благодарит адресата именно за это письмо. Однако биографы Достоевского считали письмо утраченным.

Но где же оно может быть? Естественно предположить, что письмо это хранится там же, где и остальные письма Достоевского Пуцковичу, — в Прусской государственной библиотеке. Узнаю берлинский адрес этой библиотеки, которая сейчас называется Deutsche Staatsbibliothek, и пишу в дирекцию письмо, где подробно рассказываю о своих поисках и убедительно прошу, если есть у них письмо Достоевского, прислать мне его фотокопию и разрешить опубликовать в Советском Союзе.

Прошло три месяца, и мои поиски увенчались успехом. Действительно, это письмо Достоевского Пуцковичу, посланное с немецкого курорта Бад-Эмс, где он лечился, семьдесят лет хранится в Deutsche Staatsbibliothek, и все эти годы сотрудники библиотеки полагали, что оно напечатано на русском языке. Я получил в фотокопию самого письма с разрешением на его публикацию, что вскоре и сделал, воспроизведя полный текст его в том же номере «Вопросов литературы», что и письмо Достоевского Вагнеру. Достоевский в частности, писал Пуцковичу:

«Многоуважаемый Виктор Феофилович.

Вы спрашиваете с меня уже совсем невозможного. Я с своей работой запоздал здесь так, как и не рассчитывал. К 12-му нашего Сентября должен буду отослать (уже из России) в Р<усский> Вестник все на Сентябрьскую Книжку, а у меня и поло-

вины не сдано. Я сам теперь сижу и спешу, потому что скоро отсюда выеду и отложу работу, стало быть, дней на 6. Приеду в Руссу, и вместо отдыха сейчас надо садиться. Это не по моим силам и не по моему здоровью. Я пишу туго. А Вы хотите, чтоб я бросил все и сел за статью в Гражданин! Помилуйте. Я к тому же стал теперь писать туго, медленно, мне три строки написать мучение. Нет, не ко времени просьба Ваша, не смогу, ни за что не могу.

Адрес Засецкой: Варшава, Пенкная улица, дом Крузе, № 2. Но написать ей, и просить в сотый раз, опять-таки не могу, духовно не могу, совесть не позволяет. Она, весной, горько упрекнула меня однажды, что я (будто бы, а я и забыл) способствовал, тому несколько лет назад, своим добрым о Вас отзывом, что она Вам доверилась. Я действительно помню, что она об Вас (несколько лет тому) спрашивала меня письменно. Она упрекнула меня горько, очень горько. Ее мучили большие деньги, которые она теряет. И вот я теперь буду опять просить ее насчет денег же! Если б о другом чем, но о деньгах никогда и ни за что. Сообщаю Вам ее адрес, но прошу (настоятельно) в письме Вашем к ней обо мне не упоминать даже косвенно, вроде того: «что Ф. М. нарочно сообщил мне Ваш адрес, или: был так добр, что сообщил Ваш адрес, и проч.». Особенно прошу Вас об этом. А лучше всего, если б и сами Вы не писали, Виктор Феофилович: ведь это невозможно же наконец! Да и кроме того, Вы какой-то малодушный, извините меня: ну как можно в такое короткое время после выпуска ждать подписчиков? Они придут (если придут) не раньше как чрез месяц или чрез полтора после выпуска. Так всегда у нас. Да и время не подписное. На нынешний год Вы во всяком случае не могли бы ждать значительной подписки. А тут вдруг читаю, что Вы разослали всего только 500 экз. Да что же Вы себя-то режете? Надо было все разослать...

Статью в Голосе читал (Ларош, должно быть). Статья глупая, но все, что сказано о подкуивании Бисмарку,— все верно. И на меня произвело тоже неприятное впечатление. Если Вы еще хоть раз выдадите номер с таким принижением перед Бисмарком, то все в России от Вас отступятся. Предрекаю Вам это. Подумают даже, что Вы в рептилии хотите поступить к нему. И хоть это будет неправда, но все же я попаду впросак с моим письмом о неподкупности направления Гражданина, уже напечатанном в 1-м №.

Кстати: и Вы не сумели в русских газетах (ну вот хоть в Правит. Вестнике) напечатать подробное оглавление выданного 1-го Номера? И не стыдно это Вам? Нет, сами, значит, себя режете и хотите зарезать! Я убедился, что Вы не сумеете ответить Голосу. И надо не в последней странице, а в передовой. Шуму, грому надо...

Это письмо Достоевского, написанное незадолго до того, как 16 сентября 1879 года он выслал в редакцию журнала «Русский вестник» седьмую книгу романа «Братья Карамазовы», явилось непосредственным откликом на статью в газете «Голос» под заглавием «Дневник. Прошлая неделя» (19(31) августа 1879 года). Достоевский предполагает, что статью написал известный музыкальный критик и композитор Герман Августович Ларош — постоянный сотрудник газеты «Голос», помещавший в ней также литературно-политические статьи и фельетоны. Поводом для появления статьи в «Голосе» явился первый номер журнала «Русский гражданин» за 1879 год. Стремясь привлечь подписчиков, Пуцкович выслал в Россию 500 экземпляров нового журнала. С этой же целью Пуцкович попросил Достоевского написать специальное письмо ему как редактору и издателю «Русского гражданина» о направлении журнала. Письмо было напечатано в пятом номере «Русского гражданина» за 1879 год. В № 8—10 «Русского гражданина» за 31 декабря 1879 года появился редакционный ответ газете «Голос», написанный, несомненно, Пуцковичем, который воспользовался советами и замечаниями из письма Достоевского ему.

В своем письме Достоевский сообщает Пуцковичу адрес Засецкой. Речь, по всей вероятности, идет о Юлии Денисовне Засецкой, урожденной Давыдовой, дочери поэта и партизана Дениса Давыдова, переводчице, авторе книги «Часы досуга». В 1873 году Засецкая основала первый в России ночлежный приют для бедных и, как указывает в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская, через Пуцковича пригласила Достоевского осмотреть этот приют. В дальнейшем писатель часто навещал Засецкую и переписывался с ней. По поводу их переписки А. Г. Достоевская замечает: «У наследников Юлии Денисовны (ее сыновей и дочерей) или сестры ее графини Висконти могли бы найтись и ответы Федора Михайловича на письма Засецкой, преимущественно по

вопросам религии». К сожалению, местонахождение писем Достоевского Ю. Д. Засецкой до сих пор неизвестно, но я не теряю надежды когда-нибудь их найти.

Однако бывают и невосполнимые потери. Недавно один знаток старой книги, много лет работавший в ленинградской букинистической книготорговле (он просил не называть его фамилии), буквально потряс меня своим рассказом.

Оказывается, у него в руках было семь неизвестных писем Достоевского к его роковой любви начала 60-х годов — Аполлинии Суловой. Они попали к нему от сына замечательного искусствоведа, литературоведа и библиофила Э. Ф. Голлербаха. Голлербах был биографом русского философа и писателя В. В. Розанова, женой которого впоследствии стала А. П. Сулова. К Э. Ф. Голлербаху и перешла часть архива В. В. Розанова, в том числе и письма Достоевского. После смерти сына Голлербаха они оказались у знакомого мне ленинградского букиниста. И вот он мне сообщает, что уничтожил эти письма.

— Как уничтожили? Да вы с ума сошли! Зачем вы это сделали?

— Это очень интимные письма. Я не хотел, чтобы они попали в руки недобросовестных и нечистоплотных литературоведов!

Мое внимание в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской давно привлекал один любопытный эпизод. «В апреле 1875 года,— пишет она,— пришлось хлопотать о заграничном паспорте. В Петербурге это не представляло затруднений; живя же в Руссе, муж должен был получить паспорт от новгородского губернатора. Чтобы узнать, какое прошение муж должен послать в Новгород, сколько денег и пр., я пошла к старорусскому исправнику. В то время исправником был полковник Готский, довольно легкомысленный, как говорили, человек, любивший развезжать по соседним помещикам. Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объемистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула ее и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе «Дело об отставном подпоручике Федоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руссе». Я просмотрела несколько листов и рассмеялась...

— Да, я знаю все, что делается в вашей семье,— сказал с важностью исправник,— и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен.

— Могу я передать моему мужу вашу похвалу? — насмешливо говорила я.

— Да, прошу вас передать, что он ведет себя прекрасно и что я рассчитываю, что и впредь он не доставит мне хлопот.

Придя домой, я передала Федору Михайловичу слова исправника, смеясь при мысли, что такой человек, как мой муж, мог быть поручен надзору глуповатого полицейского».

К сожалению, «объемистая тетрадь» старорусского исправника бесследно исчезла, но этот эпизод натолкнул меня на мысль поискать официальные документы, относящиеся к секретному надзору за Достоевским, так как, конечно, старорусский исправник по собственной инициативе не мог вести надзор, а получил предписание свыше. Но от кого? Скорее всего от новгородского губернатора, в чьем ведении находится Старая Русса, да и Анна Григорьевна указывает, что Достоевский должен был послать прошение в Новгород. Узнаю: единственный архив в этом городе — Новгородский областной архив. Пишу туда с просьбой сообщить, есть ли у них дело о секретном полицейском надзоре за Достоевским.

Скоро получаю ответ. Да, действительно, в фонде канцелярии новгородского губернатора хранится «Дело канцелярии новгородского губернатора об отставном подпоручике Федоре Достоевском». Обрадованный, прошу сотрудников архива выслать мне фотокопию дела.

И вот дело на моем столе. 17 официальных документов о секретном надзоре за бывшим каторжником и политическим ссыльным. Из всех документов наиболее красноречив рапорт старорусского исправника новгородскому губернатору: «Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 20 сего сентября за № 238 имею честь донести, что над отставным подпоручиком Федором Достоевским секретный полицейский надзор мною был учрежден 4-го июня; во время проживания в Старой

Руссе Достоевский жизнь вел трезвую, избегал общества людей, даже старался ходить по менее многолюдным улицам, каждую ночь работал в своем кабинете за письменным столом, продолжал такую до 4-х часов утра и выбыл 24 минувшего августа в С.-Петербург».

Я давно мечтал поехать в Старую Руссу, в город, где жил Достоевский и где происходит все действие последнего романа писателя «Братья Карамазовы». Моя мечта осуществилась в 1967 году, когда ленинградская писательская организация поддержала наше с А. Ф. Достоевским предложение и направила меня на 800-летний юбилей этого старинного русского города, чтобы собрать подписи всех выдающихся уроженцев Старой Руссы о необходимости создания в городе музея-квартиры Достоевского.

Позже я познакомился с будущим первым директором музея-квартиры Достоевского в Старой Руссе, замечательным знатоком его творчества Георгием Ивановичем Смирновым. Его бескорыстному служению Достоевскому Д. А. Гранин посвятил талантливую повесть «Обратный билет».

К сожалению, Г. И. Смирнов умер, и я не успел расспросить его об одной мучившей меня еще с начала 60-х годов загадке, когда я по просьбе А. С. Долинина составил и опубликовал указатель всех мемуаров современников о Достоевском. Дело в том, что в феврале 1882 года в тифлисской газете «Кавказ» некто Алексей Южный (выскажу предположение, что под этим псевдонимом мог скрываться историк и педагог Алексей Александрович Андриевский) опубликовал воспоминания бывшего каторжанина поляка А. К. Рожновского о пребывании Достоевского в омском остроге.

Автор воспоминаний утверждает, что познакомился со стариком Рожновским летом 1880 года в Старой Руссе и тот незадолго до смерти рассказал ему о совместной каторжной жизни с Достоевским. Это страшные воспоминания. Рожновский поведал о том, что Достоевского поролли в остроге розгами за то, что он пытался вступить за арестантов. Именно после этих истязаний на каторге, по утверждению Рожновского, у будущего автора «Братьев Карамазовых» и начались припадки эпилепсии.

Невольно вспоминается при этом отзыв В. И. Ленина, сохранившийся в мемуарах В. Д. Бонч-Бруевича. «„Записки из Мертвого дома“, отмечал Владимир Ильич, являются непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и «мертвый дом», в котором жил русский народ при царях из дома Романовых».

Возможно, Г. И. Смирнов и смог бы ответить на мой вопрос, действительно ли Рожновский жил и похоронен в Старой Руссе, тем более что, по свидетельству этого мемуариста, Достоевский признал своего товарища по каторге и плакал у его гроба...³

По страстности отношения к Достоевскому с Г. И. Смирновым можно сравнить еще одного человека — московского художника Георгия Алексеевича Федорова, великодушного знатока Москвы Достоевского. За двадцать лет упорных архивных поисков (на чтении архивных документов Г. А. Федоров почти потерял зрение) он сделал ряд достоевских открытий. В частности, на основании новых архивных документов поколебал версию об убийстве отца Достоевского его крепостными: исследователь считает, что отец писателя умер своей смертью.

Огромный интерес для всех биографов и исследователей Достоевского представляет изданная далеко не полностью переписка Анны Григорьевны, и прежде всего ее письма того периода, когда писатель был еще жив. Вот, например, хранящееся в Пушкинском Доме письмо Анны Григорьевны младшему брату писателя Николаю Михайловичу Достоевскому (1831—1883). Инженер и архитектор по образованию, Н. М. Достоевский рано остался без службы по болезни: он проявлял склонность к алкоголизму (вероятно, некоторые его черты воплотились в образе Мармеладова из «Преступления и наказания»). Достоевский относился к младшему брату с особенной любовью, постоянно помогая ему деньгами. Письмо было написано Анной Григорьевной в Старой Руссе 12 июля 1878 года, почти через два месяца после смерти последнего их ребенка, сына Алеши, скончавшегося в трехлетнем возрасте от эпилепсии:

³ Эти воспоминания воспроизведены И. Бежановым по тексту газеты «Кавказ» в журнале «Литературная Грузия» (1983, № 2).

«Как Вы поживаете, многоуважаемый Николай Михайлович, как Ваше здоровье? Я очень сердита на Вас за то, что Вы не подаете о себе вести; а Вы сами знаете, что мы интересуемся всем, что до Вас относится. Мы, слава богу, здоровы, за исключением меня; я слабею все более и более и не думаю, что могу поправиться здесь. Лето это само[е] тоскливое, какое я когда-либо проводила: все вспоминаешь бедного милого Лешу, и так жалко, больно, что его уже нет. Я жду не дождусь осени; авось при моей всегдашней беготне я не буду так чувствовать нашу потерю. Федор Мих[айлович] ездил в Москву и в Оптину Пустынь, проездил две недели и вернулся очень оживленный. Теперь он засядет за работу и проработает до глубокой осени. У нас теперь Федор Михайлович⁴, и сегодня его концерт, который, вероятно, удастся. К нашей досаде, здесь очень дурная погода и почти каждый день дождь. Это заставляет сидеть дома и ужасно расстраиает нервы. У нас была жена моего брата и оставила здесь своего сына, мальчика лет пяти, лечиться ваннами. Они ему очень помогли, и мальчик поздоровел. Не знаю, когда мы вернемся в город; сколько придется вынести суетни при приезде в город и найме квартиры, страшно подумать.

Напишите, многоуважаемый Николай Михайлович, как Ваше здоровье и как Вы время проводите. Очень нас обрадуете. Как поживает Ваша старушка? Поклонитесь ей от меня...

Желаю Вам всего доброго и остаюсь уважающая Вас сестра Ваша А. Д о с т о е в с к а я».

Письма Анны Григорьевны, написанные ею после смерти мужа,— это поразительные документы ее беспредельной любви к Достоевскому. В Пушкинском Доме сохранилось письмо Анны Григорьевны другому младшему брату писателя, инженеру Андрею Михайловичу Достоевскому (1825—1897). Это письмо Анна Григорьевна написала 12 апреля 1881 года, то есть через два месяца после кончины писателя:

«Многоуважаемый Андрей Михайлович!..

Не знаю, как благодарить Вас за Ваше теплое, сочувственное письмо, полученное мною после смерти Федора Михайловича. Большое Вам спасибо... Простите меня, что я не тотчас ответила на Ваше письмо: но Вы не поверите, до чего я была потрясена и убита моим несчастьем, так неожиданно меня поразившим. Да и теперь я не могу вполне опомниться и поверить, что его уже нет на свете и что прежнее никогда более не вернется. Вы сами знали, многоуважаемый Андрей Михайлович, какую прекрасную дружную семью мы с ним представляли и какой он был удивительный муж и отец. Для меня он всегда был богом, лучшим человеком, и выше и дороже его для меня не было никого на свете. Теперь вспоминаешь всю прежнюю жизнь, и так горько и обидно, что уже прежнего ни за что не воротить!..»

Среди корреспондентов А. Г. Достоевской — М. Н. Ермолова, А. Ф. Кони, Вл. И. Немирович-Данченко, Вл. С. Соловьев, К. И. Чуковский и многие другие выдающиеся деятели русской культуры и науки. И все же беру на себя смелость утверждать, что едва ли не самое интересное и глубокое письмо послал Анне Григорьевне 13 февраля 1901 года молодой приват-доцент, впоследствии выдающийся советский историк, академик Евгений Викторович Тарле (1875—1955). Это письмо я обнаружил в 1965 году в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина:

«Глубокоуважаемая Анна Григорьевна,

Примите искреннюю мою благодарность за радость, которую доставили мне письмом автографа Федора Михайловича, да еще из последнего его произведения. Весьма порадовало меня также Ваше письмо и приглашение, которым непременно воспользуюсь, когда буду в Петербурге. Напечатать эту лекцию о Федоре Михайловиче⁵ мне предлагает журнал «Мир божий», но я отказываюсь вот по каким соображениям. Уже давно, с первых курсов университета, я занимаюсь произведениями Вашего мужа и лщу себя мыслью, что результаты этой моей работы не будут вполне безынтересны: в творчестве Достоевского есть такие элементы, такая огромная, ни с чем не сравнимая глубина, что, конечно, для целых поколений критиков хватило бы (и хватит) работы, когда наша культура настолько повысится, что мы начнем ценить по достоинству наших гениев. Но прямые задачи моей научной специальности (всеоб-

⁴ Федор Михайлович Достоевский (1842—1906), младший сын М. М. Достоевского, пианист.

⁵ В 1900 году Е. В. Тарле прочел в Варшаве лекцию «Шекспир и Достоевский».

щей истории) и другие причины вряд ли позволят мне в скором времени опубликовать что бы то ни было относящееся к Федору Михайловичу; а черновики, так сказать, своей работы я печатать не нахожу возможным. Думаю, что через несколько лет, если обстоятельства сложатся благоприятно, я напишу книгу о творчестве Достоевского, но, к сожалению для себя, не могу ручаться, что это будет скоро. Я коснусь главным образом не той стороны его деятельности, которой касались Страхов, Орест Миллер, Аверкиев и т. п., не политических и религиозных его воззрений, но его художественного, психологического, изобразительного гения. Эти люди писали о Достоевском, как могли бы писать о всяком талантливом публицисте их лагеря, они, так сказать, партийно, небескорыстно интересовались им. Они не понимали (или не хотели понимать), что, будь Достоевский либерал, или консерватор, или социалист, или ретроград, или славянофил, или западник, это все ничуть не препятствовало бы ему оставаться тем великим и затмившим Шекспира психологическим гением, каким он явился во всемирной литературе. Они видели в нем главным образом сторонника своих взглядов и за это выражали ему свою хвалу; люди противоположного лагеря видели в нем антагониста и выражали ему порицание. Но и хвалители, и порицатели не усмотрели, как они мелки со своими порицаниями или похвалами, как они смешны, равняя или ставя на одну доску Федора Михайловича с публицистами, убеждения которых он разделял. Богатство, которое он оставил человечеству, ведь, в сущности, тогда только начало находить себе достодолжную оценку у нас, когда оно приковало к себе взоры Западной Европы (где и вызвало таких подражателей, как Гауптман, Бурже etc.). Этому богатству еще и опись внимательная не сделана, и вот почему я думаю, что и моя работа при общей скудости разработки предмета не будет излишнею. Психиатры и криминалисты гораздо лучше поняли многое у Достоевского, нежели литературные критики, но нужно же надеяться, что и они когда-нибудь возьмутся за этот благодарный труд.

Судить о Достоевском на основании его политических (и иных) воззрений — это все равно что судить на подобном же основании Рентгена: Рентген открыл способ проникать взором в твердые тела — Достоевский открыл в человеческой душе такие пропасти и бездны, которые и для Шекспира, и для Толстого остались закрытыми. Если кто захочет судить и порицать Рентгена, великого физика, за то, что он консерватор, а другие будут его за это же хвалить, всякий поймет, чего стоят и много ли понимают в значении Рентгена эти хвалители и порицатели. Но когда критика начинает Достоевского, великого художника и психопатолога, осуждать или венчать лаврами за то, что он держался таких-то мнений Каткова или не держался таких-то мнений Михайловского, многим почему-то это не кажется смешным и нелепым. Только тогда, когда поймут, что при всей своей публицистической последовательности катковские и михайловские каряки в сравнении с непоследовательным Достоевским, когда раз <и> навсегда отрешатся от публицистического взгляда на него, придут к заключению, что публицистика Достоевского есть только биографическая подробность, а его великий гений есть один из немногих светочей всемирной литературы, — тогда и только тогда изучение Достоевского станет на правильную дорогу. Если кто, говоря о Моцарте, будет главным образом подчеркивать, что Моцарт был монархист, а не республиканец, и хвалить или порицать за это Моцарта, — я всегда пойму, что этот человек в музыке и Моцарте ровно ничего не понимает. От души желаю, чтобы и читающее общество, встречая в критической статье о Достоевском длинные пояснения и разговоры о его политических взглядах, научилось бы сразу понимать, что такая критическая статья ничего ей не даст и дать не может.

Таков, глубокоуважаемая Анна Григорьевна, мой взгляд на задачу критики Достоевского. Если мой тон (я перечитал свое письмо) покажется Вам слишком резким, то в объяснение могу сказать одно: я люблю Достоевского наравне с очень многими любимыми мною живыми людьми и не могу о том, о чем я писал тут, писать вполне спокойно. Творец «Вечного мужа», «Преступления и наказания», картины убийства Шатова, эпилептического припадка князя Мышкина, трех свиданий Ивана Карамазова со Смердяковым, разговоров Порфирия Петровича с Раскольниковым, художник, нарисовавший Степана Трофимовича Верховенского, старика Карамазова, Версилова, необозримую массу других картин и типов, дал мне слишком много волнений, наслаждений, страданий и восторгов, слишком обширное место занял в моей душе, чтобы я мог вполне спокойно говорить о весьма многих и хвалителях его, и порицателях.

Еще раз благодарю Вас от всей души за Ваше письмо и присылку автографа. О многом хотелось бы мне спросить Вас, самого близкого человека к Федору Михайловичу, но я слишком понимаю нескромность своего желания, и так уже простите за слишком длинное письмо.

Искренне Вам преданный Евгений Тарле.

Варшава, Садовая, д. 6 ».

ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ

Архивы А. Г. Достоевской и ее корреспондентов, как уже говорилось выше, исчезнувшие в Ялте летом 1918 года рукописи писателя — вот первое звено в цепи моих поисков неизданных достоевских материалов. Второе звено в этой цепи связано с именем дочери писателя Любови Федоровны Достоевской.

Из четырех детей Анны Григорьевны выжили двое — Любовь Федоровна и Федор Федорович. По словам Андрея Федоровича, его отец, Федор Федорович, несомненно, обладал литературным талантом, но одна лишь мысль о том, что он должен подписываться именем Достоевский, приводила его в ужас, и Федор Федорович так и не решился что-нибудь напечатать. Все, что было при нем достоевское, то есть завещанное отцом или подаренное матерью, он еще при жизни передал государству.

Иной оказалась судьба Любови Федоровны Достоевской. С детства она росла болезненным ребенком, и значительная часть ее жизни прошла на различных, в основном заграничных, курортах и в санаториях, где она лечилась от своих многочисленных недугов. Вечная болезненность, неудачи в личной жизни сделали Любовь Федоровну самолюбивой, неуживчивой и недоброжелательной. Андрей Федорович в разговорах со мной неоднократно подчеркивал, что в их семье о Любови Федоровне никогда не вспоминали особенно тепло. На это были свои причины. В то время как ее мать Анна Григорьевна продолжала скромно и незаметно трудиться — выпускала собрания сочинений писателя, организовывала музейные выставки, составляла библиографический указатель, — ее дочь тянуло к великосветским салонам, она не интересовалась, чем занята ее мать.

В отличие от брата Любовь Федоровна выпустила в начале века под своей фамилией сборник рассказов «Больные девушки» и романы «Эмигрантка», «Адвокатка». Литературные достоинства этих произведений невелики, они интересны лишь тем, что написаны дочерью Достоевского. В 1913 году Любовь Федоровна, как обычно, выехала для лечения за границу, но в Россию больше не вернулась. За границей жила литературным трудом и издала на немецком языке книгу об отце под названием «Dostojewski, geschildert von seiner Tochter» (München. 1920). В русском переводе эта книга под заглавием «Достоевский в изображении его дочери» (М.—Пг. 1922) вышла в сильно сокращенном виде.

Книгу Л. Ф. Достоевской в точном смысле слова трудно назвать мемуарной: ведь когда умер ее отец, ей было всего одиннадцать лет. Любовь Федоровна и сама это понимала, почему, видимо, так и озаглавила книгу. И там, где в изображении Достоевского Любовь Федоровна строго придерживается фактов, свидетельств современников, семейных преданий и, самое важное, запомнившихся ей рассказов отца и матери, — там она достоверна. Когда же Любовь Федоровна сознательно извращает известные факты из жизни Достоевского, ее книга приобретает нелепо тенденциозный характер. Например, вопреки фактам и документам Любовь Федоровна без всяких на то оснований настаивает на норманско-литовском происхождении своего отца.

Я потому так подробно остановился на книге Любови Федоровны, чтобы стало понятно, почему на русском языке ее издали в сокращенном виде. Однако при этом вместе с водой выплеснули и ребенка, и в русское издание не вошли многие ценные факты и главы. Я понял это, увидев немецкое издание этих воспоминаний. Надо сказать, что поиски продолжались несколько лет. В наших книгохранилищах немецкого оригинала не оказалось. Мне помог профессор Гарвардского университета Дональд Фангер. Он любезно прислал мне фотокопию. Особенно заинтересовали меня в книге две главы — «Первые шаги» и «Салон графини Толстой». В «Первых шагах» я нашел опущенные в русском переводе новые факты о создании Достоевским повести «Нечка Незванова»: «Отец особенно хорошо чувствовал себя у Виельгорских, у которых можно было послушать отличную музыку... Граф Виельгорский был большим любителем музыки, покровительствовал музыкантам и умел отыскивать их в закоулках столицы. Вероятно, тот особый тип бедного, спившегося, честолюбивого и ревнивого скрипача, которого граф Виельгорский отыскал на чердаке и заставил играть на сво-

их музыкальных вечерах, произвел впечатление на фантазию отца, так как для прафа Виельгорского он издал свой роман „Неточка Незванова“.

Безусловно, творческий процесс протекал у Достоевского неизмеримо сложнее, чем изображает его Любовь Федоровна, но независимо от этого исследователи «Неточки Незвановой» должны отныне учитывать приводимые ею факты. Кстати, советский музыковед А. А. Гозенпуд в своей книге «Достоевский и музыка» (Л. 1971) использовал эти данные, ознакомившись с моим экземпляром воспоминаний Л. Ф. Достоевской на немецком языке.

Особое значение имеет глава «Салон графини Толстой», также отсутствующая в русском издании. После смерти отца Любовь Федоровна продолжала бывать в салоне С. А. Толстой, сумела от нее узнать много нового об отце и рассказала об этом салоне подробнее, чем А. Г. Достоевская в своих «Воспоминаниях».

Дружба, беседы и встречи с С. А. Толстой — одна из самых светлых страниц в последние годы жизни Достоевского. Софья Андреевна Толстая (1824—1892) — жена поэта А. К. Толстого, умная, образованная, начитанная женщина. Она была в дружеских отношениях с выдающимися людьми своей эпохи: с Гончаровым, Тургеневым, Вл. Соловьевым. Вот что пишет Любовь Федоровна: «Из литературных салонов Петербурга, посещавшихся Достоевским в последние годы его жизни, самым значительным был салон графини Софьи Толстой, вдовы писателя Алексея Толстого... Почитатели Достоевского, принадлежавшие к высшим кругам петербургского общества, просили графиню Толстую познакомить их с отцом. Она всегда соглашалась, но это не всегда было легким делом. Достоевский не был светским человеком и совсем не старался казаться любезным людям, которые ему не нравились. Если он встречал людей доброжелательных, чистые и благородные души, он был настолько мил с ними, что они никогда не могли забыть его, даже и через двадцать лет после его смерти повторяли слова, сказанные Достоевским. Когда же перед отцом оказывался один из снобов, которыми были полны петербургские салоны, он упорно молчал. Напрасно старалась тогда графиня Толстая прервать его молчание, искусно задавая ему вопросы: отец отвечал рассеянно «да», «нет» и продолжал рассматривать сноба как удивительное и вредное насекомое».

В главе «Салон графини Толстой» Любовь Федоровна рассказывает также о встречах Достоевского в конце жизни с двумя другими замечательными русскими женщинами — женой известного дипломата Софьей Петровной Хитрово и председателем Георгиевской общины графиней Елизаветой Николаевной Гейден. В Библиотеке имени В. И. Ленина сохранились 11 неопубликованных писем С. П. Хитрово и 5 неопубликованных писем Е. Н. Гейден Достоевскому, из которых видно, что сразу же после пушкинского праздника Достоевский направил им очень интересные и сокровенные письма, местонахождение которых, к сожалению, до сих пор неизвестно.

С именем Е. Н. Гейден связано последнее, предсмертное письмо Достоевского. Узнав из газет, что писатель «сильно занемог», она утром 28 января 1881 года написала Анне Григорьевне письмо, прося сообщить о здоровье писателя. Вечером Достоевский стал диктовать (писать сам он уже не мог) Анне Григорьевне ответ Е. Н. Гейден — историю своей болезни: «26-го числа в легких лопнула артерия и залила, наконец, легкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови и с задушением. С 1/4 <часа> Федор Михайлович был в полном убеждении, что умрет; его исповедили и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровоистечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия». (Начиная со слов «может начаться...», Анна Григорьевна записала последние фразы стенографически, расшифровала этот текст ленинградская стенографистка Ц. М. Пошеманская.)

Через три часа Достоевского не стало. Было 8 часов 38 минут вечера. На календаре — 28 января 1881 года. Черновик письма остался в бумагах Анны Григорьевны, хранящихся сейчас в Библиотеке имени В. И. Ленина.

Я не зря подчеркнул, что второе звено в моих поисках исчезнувших достоевских материалов связано с именем Л. Ф. Достоевской. Она скончалась в 1926 году в Грине (Тироль) от белокровия и, так же как ее мать, в полном одиночестве⁶. Ее переписка

⁶ Недавно американская славистка Н. А. Натова, ученый секретарь Международного общества исследователей творчества Достоевского, сообщила мне, что нашла могилу Л. Ф. Достоевской и восстановила надгробие.

с родными в последние годы свидетельствует: что-то изменилось в Любви Федоровне — она стала мягче, доброжелательнее относиться к родственникам, больше интересоваться их жизнью, чаще вспоминать о России. Кто знает, возможно, перед близкой кончиной Любовь Федоровна вспоминала свое далекое детство, своего нежного и любимого отца, вспоминала тихую Старую Руссу, где она провела лучшие годы своей жизни, вспоминала свою труженицу мать, посвятившую жизнь мужу, детям. И, может быть, память воскресила сцену, как умирающий Достоевский говорил одиннадцатилетней девочке и ее девятилетнему брату о том, «как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им».

Захватила ли Любовь Федоровна с собой что-нибудь из достоевского, выехав в 1913 году за границу? А если захватила, куда исчезли после ее смерти эти материалы? Ведь ей, как и ее брату, Анна Григорьевна должна была передать какие-то отцовские рукописи, реликвии, письма, и Любовь Федоровна, несомненно, берегла все, связанное с памятью отца. Тем более что на ее глазах в начале века слава Достоевского год от года росла, и дочь писателя прекрасно понимала, что значит иметь на черный день кое-что из семейных реликвий.

Однако когда в ревельских «Последних известиях» за 1925 год мне попала заметка под названием «Л. Достоевская в нужде», я сильно засомневался в том, были ли у Любови Федоровны достоевские материалы. В этой заметке Фонд Достоевского в Швейцарии (был и такой!) призвал помочь дочери писателя, терпящей острую нужду за границей. Любовь Федоровна к тому времени израсходовала гонорар за книгу об отце и жила на остаток средств, в свое время вырученных Анной Григорьевной за полное собрание сочинений Достоевского. И если в эмигрантской газете даже преувеличивалась нужда Любови Федоровны, эта заметка вызвала невольные сомнения: ведь продав любую «мелочь», связанную с именем Достоевского, его дочь могла бы поправить свои дела. Возможно, кое-что она все же продала? А может, у дочери ничего и не было? Пока во всем этом много неясного. Хочется думать, что со временем выявятся какие-то новые подробности.

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА ДОСТОЕВСКАЯ

Наконец, третье звено в цепи моих поисков достоевских материалов. Эти розыски связаны были с женой сына писателя, Федора Федоровича Достоевского, Екатериной Петровной Достоевской (урожденной Цугаловской), матерью Андрея Федоровича. Ее судьба глубоко трагична, и я излагаю ее в основном со слов самого Андрея Федоровича.

Война, оккупация застали эту шестидесятишестилетнюю женщину в Крыму вместе с ее сестрой Ниной Петровной Цугаловской, которая была на четыре года старше.

В 1943 году Екатерина Петровна с сестрой решили перебраться в Одессу. По дороге немецкий мотоциклист сшиб Екатерину Петровну и сломал ей обе ноги. Обои сестрам пришлось после долгих мытарств коротать свои дни в русском доме для престарелых в Ментоне на юге Франции, где Екатерина Петровна и скончалась в 1958 году.

Обо всех этих мытарствах и злоключениях старой и больной матери Андрей Федорович, по его словам, узнал значительно позже, ибо все его запросы в Крым оставались без ответа. И он считал, что мать погибла.

Без особого доверия поэтому он отнесся сразу после войны к предложению одного английского слависта помочь ему наладить переписку с матерью, находящейся в Западной Германии. Андрей Федорович от этого предложения отказался. Свой тогдашний поступок он впоследствии объяснил так: «Мне, проводшему все четыре года на фронте, было непонятно и неприемлемо (он сделал ударение на этом слове.— С. Б.) нахождение матери вне пределов родины».

Я не случайно изложил все сложные перипетии судьбы матери Андрея Федоровича. Он неоднократно говорил мне, что до войны у Екатерины Петровны хранились некоторые достоевские материалы: несколько писем Достоевского Анне Григорьевне, третья заветная тетрадь А. Г. Достоевской (одна хранится в Библиотеке имени В. И. Ленина), записки самой Екатерины Петровны, написанные ею по просьбе М. В. Волоцкого, автора книги «Хроника рода Достоевского» (М. 1933), и т. д. Андрей Федорович предполагал, что эти бумаги, находившиеся у Екатерины Петровны, исчезли частично по пути из Крыма во Францию, а остальные пропали после ее смерти.

Все попытки Андрея Федоровича найти что-нибудь достоевское через советское

посольство во Франции после кончины матери окончились безрезультатно. Мои попытки в этом направлении тоже пока не увенчались успехом, но я продолжаю верить в то, что какие-то следы исчезнувших бумаг еще обнаружатся.

МАЛЬЧИК ПЕТР

А. Г. Достоевская пишет в «Воспоминаниях»: «Начало 1880 года ознаменовалось для нас открытием нового нашего предприятия: «Книжной торговли Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних)»... От меня лично книжная торговля не отнимала много времени: приходилось лишь вести книги, записывать требования и писать счета. Мальчика же мне рекомендовали, уже служившего в книжном магазине, и Петр, несмотря на свои пятнадцать лет, отлично справлялся с покупкою книг и их отправкою».

Но кто же был этот мальчик Петр, который, судя по возрасту, вполне мог дожить до революции? Начиная рыться во всевозможных источниках, и прежде всего в мемуарах работников книжной торговли. И вот первая удача. В книге «Записки старого книжника» (М. 1959) известный ленинградский букинист Ф. Г. Шилов, рассказывая о знакомстве с А. Г. Достоевской и о ее книжной торговле, писал: «Собственно, магазина как такового не было, а при квартире Достоевских в Кузнечном переулке (ныне улица Достоевского) был склад его изданий. Достоевским помогал подросток, который заделывал бандероли и посылки и относил их на почту. Этот подросток был некто П. Г. Кузнецов, умерший в 1943 году. Он был хорошо знаком со мною и много рассказывал о работе книжного магазина Ф. М. Достоевского... Кузнецов написал краткие воспоминания о своей работе у Ф. М. Достоевского, которые в 1940 году отдал мне».

Значит, фамилия мальчика была Кузнецов и он написал воспоминания, которые должны находиться у Ф. Г. Шилова. Однако я слишком поздно, к сожалению, прочел «Записки старого книжника». Их автор скончался в 1962 году. Родные Ф. Г. Шилова не смогли ответить на мой вопрос, где же находится рукопись воспоминаний, которую он получил от Кузнецова в 1940 году. Но продолжая поиски, везде, где я выступал с рассказом о жизни и деятельности А. Г. Достоевской, я непременно вспоминал о ее книжной торговле, о мальчике Петре Кузнецове, обращаясь ко всем присутствующим с просьбой помочь мне найти его воспоминания.

И вот 23 октября 1963 года после моего очередного выступления в секции библиофилов ленинградского Дворца культуры имени С. М. Кирова ко мне подошел интеллигентный пожилой человек и представился: «Александр Иванович Аникиев, книжник, коллекционер. Если вы завтра приедете ко мне домой, я дам вам машинописную копию воспоминаний Петра Григорьевича Кузнецова».

Конечно, назавтра я был в старой ленинградской квартире у А. И. Аникиева. Он рассказал мне, что П. Г. Кузнецов, родившийся в 1863 году, до последних дней своей жизни работал в магазине «Военная книга» и умер в осажденном Ленинграде. Вероятно, после его смерти в блокадном городе исчезла и рукопись его воспоминаний, а машинописные копии он еще до войны успел подарить своим друзьям, в том числе Шиллову и Аникиеву.

Думаю, что со смертью П. Г. Кузнецова из жизни ушел последний человек, лично знавший Достоевского. Очень важно признание П. Г. Кузнецова, что именно общение с великим писателем способствовало тому, что он на всю жизнь полюбил книги. Тем интереснее было прочесть его воспоминания.

Особенно тронуло меня то место из его немногословных записок, где он столь живо, с массой достоверных деталей воспроизводит сам распорядок дня великого писателя, весь уклад его жизни, отдельные черты его характера, духовного склада, ускользнувшие от внимания других мемуаристов. А ведь для биографов Достоевского и многочисленных почитателей его таланта любая такая деталь бесценна.

Вчитаемся же вместе еще раз в эти волнующие строки:

«Первое время я думал, что Федор Михайлович Достоевский очень сердитый, и боялся у него служить, но через некоторое время я привык к нему, и Федор Михайлович оказался совсем не сердитым.. Федор Михайлович вставал в час дня, спал он у себя в кабинете. Пока он умывается, к нему в кабинет идут Анна Григорьевна, кухарка Матрена и горничная Дуня. Федор Михайлович нет-нет да и смеялся над ней,

если встанет в хорошем настроении: «Дуня, ты плохо пахла» — она говорила «пахала» вместо «мести пол», — если заметит, что пол плохо выметен щеткой.

И вот они втроем, пока он моется, должны были убрать кабинет, где он спал. Умывшись и надев куртку, Федор Михайлович приходит в столовую. Он любил, чтобы самовар был на столе и всюду кипел. Он заваривает чай, кладет в чайник чаю, очень много, и пьет его совершенно черным; кофе любил пить черным, без сливок; закуской чаще всего были сухари московские, посыпанные миндалем, масло, сыр, а иногда сиг копченый и булки. Комната, где я занимался, была рядом со столовой, и Федор Михайлович мне кричит: «Петюшка, Пьер, иди чай пить». Я сначала стеснялся, но потом привык, и ежедневно мы с Федором Михайловичем вместе завтракали. Во время чаепития он часто спрашивал, как в деревне мужики живут. Однажды он спросил мой адрес, и я объяснил, что живу на Загородном проспекте, у Пяти углов, в доме номер 22.

Через некоторое время, в восемь часов вечера, приходит ко мне на квартиру Федор Михайлович. Я очень удивился и растерялся. Федор Михайлович сел и спрашивает хозяйку, как я живу, когда прихожу вечером домой и чем занимаюсь. Хозяйка сказала, что мы с ребятами играем в карты. На следующий день за завтраком Федор Михайлович говорит мне: «Ты больше в карты не играй, а читай книги». Он дал мне роман Загоскина «Юрий Милославский». Давая мне книги, он всегда спрашивал, понравились ли, просил рассказать вкратце их содержание. Однажды он дал мне «Записки из Мертвого дома» и сказал: «Тебе, пожалуй, будет трудно, но прочти — здесь написано то, что я сам испытал».

Федор Михайлович учил меня любить и понимать книги, и теперь я могу сказать, что ему я обязан тем, что отдал всю свою жизнь книгам.

Здесь я позволю себе сделать короткое отступление, сказать два слова об особенностях литературного, журналистского поиска. Каждый, кому доводилось вести такой поиск, знает, сколько неожиданного, непредугаданного таит он в себе. Иногда жизнь преподносит тебе приятный сюрприз, подчас же, казалось бы, почти безусловная и подтверждаемая достоверными гипотезами версия рушится, как карточный домик, при сопоставлении с вновь обнаруженными свидетельствами и материалами. Случалось и так, что, найдя и опубликовав какой-то неизвестный науке документ, источник, я считал себя первооткрывателем его, и вдруг выяснялось: независимо от моих поисков к нему иными путями шли другие исследователи, подчас не только раньше тебя узнавшие о его существовании, но и сделавшиеся счастливыми обладателями той или иной находки.

Нечто подобное случилось на этот раз и со мной. Я поместил воспоминания П. Г. Кузнецова в несколько сокращенном виде в журнале «Книжная торговля» (1964, № 5). А вскоре получил письмо от И. С. Зильберштейна из «Литературного наследства». Илья Самойлович сообщал мне, что у него есть экземпляр записок П. Г. Кузнецова, подаренный ему Ф. Г. Шиловым. Последний получил его от самого мемуариста. Этот материал, оказывается, готовится к публикации в специальном достоевском томе «Литературного наследства».

Сам увлеченный исследователь и страстный собиратель бесценных памятников культуры, И. С. Зильберштейн поздравил меня со счастливым завершением поиска и просил прислать номер журнала с моим материалом, чтобы подробно сопоставить оба текста. Действительно, тот, кто захочет сравнить мою публикацию воспоминаний П. Г. Кузнецова с текстом, напечатанным позже И. С. Зильберштейном в «Литературном наследстве» (М. 1973, т. 86), заметит известные разночтения. Видимо, П. Г. Кузнецов сделал две редакции записок.

КНЯГИНЯ ТРУБЕЦКАЯ

Однажды профессор Монреальского университета славист Р. В. Плетнев, помогающий мне в моих розысках по Достоевскому, прислал мне небольшую заметку из одной эмигрантской русской газеты под названием «Жена Павлова». В этой заметке я обратил внимание на письмо жены физиолога И. П. Павлова Серафимы Васильевны ученику И. П. Павлова профессору Б. П. Бабкину, где она пишет о своих «поучительных разговорах с покойным Достоевским (хорошо, что я их записала, тогда я была на 3-м курсе). Как понимал он душу человеческую и проникал в темные, бессознательные глубины». Меня страшно заинтересовало это письмо С. В. Павловой, так как из оуб-

ликованных в 1946 году в «Новом мире» воспоминаний Серафимы Васильевны я знал о ее увлечении Достоевским в 1879 году, когда она училась на Петербургских педагогических курсах и действительно бывала у Достоевского дома.

Я немедленно написал в Рязань в Музей И. П. Павлова с просьбой уведомить меня, не сохранилась ли у них запись бесед С. В. Павловой с Достоевским. Получив отрицательный ответ, я попросил любезного Р. В. Плетнева сообщить мне что-нибудь о местонахождении интересующих меня записей жены И. П. Павлова. К сожалению, никакими новыми данными о судьбе этих записей он не располагал, но, как бы компенсируя неудачный результат моих поисков, уведомил меня, что в Канаде живет княгиня З. А. Трубецкая, у которой хранятся воспоминания ее матери и дяди о Достоевском.

Р. В. Плетнев дал мне адрес З. А. Трубецкой, но оказалось, что она чаще бывает в Париже, чем в Канаде. Парижские почитатели Достоевского, помогавшие мне в поисках материалов о писателе, быстро прислали мне ее адрес...

Через три месяца я получил ответное письмо З. А. Трубецкой, которая сообщала, что, как преподавательница русской литературы Монреальского университета, скоро приедет в Ленинград на XIII конгресс историков науки и тогда непременно со мной встретится и все расскажет.

И действительно, в августе 1971 года наша встреча состоялась. Вначале я чувствовал себя несколько скованно: до этого мне никогда не приходилось разговаривать с княгинями или с другими титулованными особами. Да и З. А. Трубецкая заметно волновалась: ведь родители вывезли ее из России подростком в 1917 году, и вот теперь, почти через пятьдесят пять лет, она снова увидела родину.

Но моя скованность быстро прошла: моя собеседница держалась естественно и непринужденно. С ней было легко и просто. Я показывал ей Петербург Достоевского, а она рассказывала мне о своей матери, о бабушке, о своей семье, которая навсегда сохранила память о Достоевском.

Оказалось, что Зинаида Александровна Трубецкая — внучка Анны Павловны Философовой (1837—1912), замечательной русской женщины, известной общественной деятельницы, которую высоко ценили Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский. Жена крупного царского чиновника, главного военного прокурора, А. П. Философова была настроена весьма оппозиционно: в ее квартире хранилась нелегальная литература, по слухам, у нее после суда скрывалась Вера Засулич. «Я ненавижу настоящее наше правительство... это шайка разбойников, которые губят Россию», — писала А. П. Философова мужу.

С Достоевским А. П. Философова сблизилась в конце 70-х годов, очень высоко ценила его, считала своим «нравственным духовником». Достоевский в свою очередь неизменно относился к Анне Павловне с большим уважением, писал о ее «прекрасном умном сердце», и его крайне тревожили слухи о возможном аресте А. П. Философовой.

Листая страницы своей памяти, З. А. Трубецкая рассказывала мне об отношениях Философовой и Достоевского. Правда, Зинаида Александровна была еще совсем маленькой девочкой, когда умерла ее знаменитая бабушка, и, естественно, память сохранила больше семейные предания и рассказы ее матери (это и были те воспоминания, о которых писал Р. В. Плетнев) и дяди, то есть дочери и сына А. П. Философовой.

Рассказ Зинаиды Александровны настолько заинтересовал меня, что я попросил ее по возвращении в Париж написать мне все, что она рассказывала, и разрешить опубликовать это в Советском Союзе. Я опускаю подробности и привожу здесь наиболее важную, центральную часть рассказа З. А. Трубецкой:

«Когда Достоевский бывал в великосветских салонах, в том числе у Анны Павловны Философовой, он всегда, если происходила какая-нибудь великосветская беседа, уединялся, садился где-нибудь в углу и погружался в свои мысли. Он как будто засыпал, хотя на самом деле слышал все, о чем говорили в салоне. Поэтому те, кто первый раз видел Достоевского на великосветских приемах, были очень удивлены, когда он, как будто спавший до этого, вдруг вскакивал и, страшно волнуясь, вмешиваясь в происходивший разговор или беседу и мог при этом прочесть целую лекцию.

Мой дядя Владимир Владимирович рассказывал нам следующий эпизод, очевидцем которого он был сам.

На этот раз гостей у Анны Павловны было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе. Горел

камин, и свечи люстр освещали красивые отливы платьев и камней. Началась беседа. Достоевский, как всегда, забрался в угол. Я, рассказывал дядя, по молодости лет подумывал, как бы ударить незаметно... Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали — самоубийство, другие — убийство из корысти, третьи — измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый сидел в углу. Услышав обращенный к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил. Я, рассказывает дядя, остался как прикованный, стоя у двери в кабинет отца, и не шелохнулся в течение всего рассказа Достоевского.

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец в пьяном виде изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Вся жизнь это воспоминание меня преследует как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»...

Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущен, когда прочел печально известное письмо Страхова Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому. Дядя снова вспомнил рассказ Достоевского в салоне Анны Павловны и сказал, что это чудовищная клевета, что этого не могло быть даже и в мыслях Достоевского, ибо мысль еще грешнее действия!»

ЗАБЫТОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУШКИНСКОЙ РЕЧИ ДОСТОЕВСКОГО

В июне 1880 года в России произошло событие, равного которому, пожалуй, не знала история русской и мировой литературы. Это открытие памятника Пушкину в Москве и речь Достоевского о Пушкине.

Речь о Пушкине Достоевский произнес в Москве 8 июня на многолюдном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину. Этой речи Достоевский придавал огромное значение, она стала его творческим завещанием. Через полгода писателя не стало.

Восемнадцатилетним юношей слушал пушкинскую речь Достоевского граф Дмитрий Адамович Олсуфьев. Сын близкого знакомого Л. Н. Толстого А. В. Олсуфьева, Д. А. Олсуфьев с детства знал Толстого, неоднократно посещал Ясную Поляну, причем особенно часто стал там бывать с тех пор, как его двоюродная сестра вышла замуж за С. А. Толстого.

В полном собрании сочинений Л. Н. Толстого опубликовано много писем писателя Д. А. Олсуфьеву. Эти письма свидетельствуют о том, что Л. Н. Толстой не только любил и ценил Д. А. Олсуфьева, но и неизменно обращался к нему, зная, что он не откажет, с просьбами о помощи политическим ссыльным и арестованным толстовцам. Судя по письмам Л. Н. Толстого Д. А. Олсуфьеву, тот всегда выполнял подобные просьбы писателя.

Воспоминания Д. Олсуфьева, которые были напечатаны в 1925 году в парижской газете «Возрождение» (у нас они неизвестны), — еще одно свидетельство человека, которому посчастливилось слушать гениальную речь Достоевского:

«Ораторов в прямом значении этого слова мы на Пушкинских торжествах не слышали: все выступавшие читали свои рукописные доклады. То же сделал и Достоевский; он не говорил речи; он прочел свой доклад, но прочел его гениально.

Достоевского я видел только на Пушкинских торжествах и наблюдал его издали из рядов зрителей. Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряженно-сосредоточенным и неприветливым, с живыми, пронизательными, чернею-

щими, как угольки, глазами; все обличие его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным. Голос у него был высокого тембра и средней силы, так что слова, которые Достоевский хотел особенно подчеркнуть, он почти выкрикивал. Читал он свой доклад просто и вместе с тем необычайно сильно по выразительности и по какой-то особенной проникновенности. В обширной, наполненной народом зале каждый слушатель мог расслышать отчетливо и впитать в себя каждое слово.

По мере чтения внимание слушателей все более и более притягивалось к чтенцу. Словно какие-то неуловимые токи, какие-то невидимые нити начали понемногу связывать в одно целое проповедника и аудиторию. Чтение было продолжительное; но внутреннее возбуждение слушателей не ослабевало, а все возрастало... Когда наконец оратор закончил свое слово, то в зале произошло что-то неопишемое; успех речи был неслыханный и потрясающий!

Еще раз напомним, что в те дни на эстраде великолепного зала московского Дворянского собрания восседал весь ареопаг тогдашней славнейшей эпохи русской литературы. Можно сказать, что в те дни в этом зале, в сердце России — Москве — был собран и весь мозг тогдашней России. Ибо если на эстраде восседали корифеи нашей словесности и искусства, то и две-три тысячи человек, переполнившие зал, представляли не случайную толпу, но общество в интеллектуальном смысле самое необычное. Желающих получить места было так много, что билеты распределялись заранее и с большим выбором. Не будет преувеличением сказать, что аудитория, слушавшая Достоевского, включала в себя весь цвет тогдашней образованности; а главное, и это надо подчеркнуть, слушателями Достоевского были люди различных и противоположных направлений, далеко не единомышленники. И что же? По окончании речи и седовласые старцы, и румяная молодежь, и мужчины, и женщины — все были охвачены каким-то почти мистическим восторгом, всех захватила какой-то почти религиозный экстаз. Раздавшиеся рукоплескания и крики не были обычным бурным одобрением публики великому артисту, но как бы общей единодушной осанной, прозвучавшей со всех концов зала во славу великого учителя...

Пишущий эти строки был свидетелем этого потрясающего момента. В зале произошло общее движение: все бросились к Достоевскому, а один юноша, рассказывали, упал на эстраде в обморок в каком-то исступлении. По свидетельству самого Достоевского («Дневник писателя», 1880), даже литературные враги с горячностью приветствовали его и называли речь его гениальною. Следующий по порядку оратор И. С. Аксаков отказывался от слова, объясняя, что все уже сказано Достоевским и более нечего добавить.

Председательствующий был вынужден объявить перерыв, много-много времени понадобилось, чтобы публика пришла в себя и успокоилась и чтобы можно было продолжать заседание.

Да! Это был, по общему признанию, незабываемый момент в истории русской общественности!..»



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. ВОРОНСКИЙ



СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ В ПРАГЕ

Исполнилось сто лет со дня рождения видного советского критика, прозаика, публициста и одного из организаторов литературного процесса 20-х годов Александра Константиновича Воронского.

Член партии с 1904 года, профессиональный революционер и подпольщик, он в 1911 году сотрудничал в одесской газете «Ясная заря», редактором которой был Вацлав Воровский. В газете Воронский выступал под псевдонимом Нурмин и опубликовал ряд статей о М. Горьком, Л. Андрееве, А. Аверченко. Так началась литературная деятельность А. К. Воронского.

В том же 1911 году он был избран делегатом Шестой (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП. В 1912 году принимал участие в ее работе, после чего вернулся в Россию представителем вновь избранного ЦК партии и выполнял задания по пропаганде его решений.

В историю советской литературы А. К. Воронский вошел как блестящий критик и издатель, способствовавший ее становлению на пути к социалистическому реализму. В 1921 году он назначается ответственным редактором первого толстого советского литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь», организованного при участии В. И. Ленина и А. М. Горького. Собирая вокруг журнала талантливых молодых авторов, А. К. Воронский вел борьбу в печати за высокую идейность и мастерство литературы нового мира, против вульгаризаторских тенденций и недооценки классического наследия.

В работе А. К. Воронского были заблуждения и ошибки. В конце 20-х годов он примыкал к троцкистской оппозиции, исключался из партии, затем был восстановлен в ее рядах. В последние годы жизни А. К. Воронский писал мемуарную прозу, книги о Гоголе и Желябове.

А. К. Воронский выступал и на страницах «Нового мира». Так, в 1927 году печатались его «Заметки о художественном творчестве», а в конце 1928 — начале 1929 года в журнале появились вторая и третья части автобиографической книги А. К. Воронского «За живой и мертвой водой». В 60-е годы «Новый мир» знакомил читателей с литературным наследием выдающегося советского критика: публиковались воспоминания А. К. Воронского о Горьком и фрагменты работы о Гоголе.

Воспоминания А. К. Воронского о Серго Орджоникидзе публикуются — с небольшим сокращением — впервые. Подлинник хранится в партархиве грузинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС.

Евгений СИДОРОВ,

*председатель комиссии по
литературному наследству А. К. Воронского.*

Серго Орджоникидзе принадлежит к тому боевому ядру, которое, по выражению Владимира Ильича Ленина, пестовало и выпестовало партию большевиков. Теплорешному молодому поколению, подростку уже после Октябрьской революции, трудно с наглядностью представить себе, в каких условиях приходилось бороться за партию при самодержавном строе. Тяжесть этой борьбы, этого беспримерного гигантского поединка Серго Орджоникидзе испытал на себе в полной мере.

На революционное подполье особый крошечный мрак спустился в эпоху распада и реакции, наступившую после девятиста пятого года. «Победители», щедринские перехват-залихватские, брудастые, угрюм-бурчеевы, соревновались между собой в жестокости, наглости, тушопумии и животной ненависти к рабочим и крестьянам при деятельной поддержке буржуазии со всеми ее либеральными и радикальными оттенками. Тут все соединилось: инквизиторство, административный произвол, насилие, бюрократизм, белый террор, донос, ябеды, мстительность, ханжество. Наемники, сановные лакеи, евнухи, проституты, бурбоны, хлыщи, маратели бумаги, святоши, куртизаны, изношенные в противоположенных пороках, кликуши и проходимцы — вот кто распоряжался огромной, плодоносной страной и богато одаренным трудовым народом. Поистине тогда порок шествовал, поддерживаемый преступлением. В поговорку вошел столярный галстук-петля. «Героями» дня стали палач, тюремщик, сатрап, ренегат, журнальный и газетный клеветник, шпион и предатель.

Отлив революционных сил был как никогда ощутителен. Многие притихли, «поумнели», стали приспособляться применительно к подлости и, загнанные в хлев, попытались изобразить этот хлев палатами. Другие прямо пошли на поклон к врагу, осудив былые «увлечения молодости».

Сильно пострадали и социал-демократические организации. Большевистское подполье вызывало острейшее бешенство среди врагов потому, что хотя и подвергалось самым беспощадным преследованиям, однако оказалось наиболее жизнеспособным и стойким. Оно не свернуло свои знамена, не опустило руки. Но приходилось очень трудно. Лучшие силы скрывались за рубежом, сидели в тюрьмах, в ссылках. Организации на местах сплошь и рядом сводились к разрозненным группам и кружкам, иногда даже не связанным друг с другом в пределах губернии, города. Наступали ликвидаторы. Болтали об открытой партии, как будто она тогда была возможна. Издевались, говоря, что и ликвидировать-то нечего, что все попытки восстановить и укрепить партию есть только маскарадное предприятие. Партию объявляли трупом, реакционной утопией, существование Центрального Комитета находили вредным. Все это ехидное подхихикивание, зубоскальство прикрывало собой перебежки, дезертирство, полную размагниченность, в целом же означало попытку подменить революционно-марксистское, большевистское руководство руководством контрреволюционной буржуазии. В борьбе с большевизмом ничем не гнушались. Пользуясь легальной прессой, каковой у большевиков не было, распространяли досужие выдумки, заведомую клевету, борьба велась всеми средствами, в том числе и отравленным оружием, и тем более яростная, чем более встречала она решительный отпор со стороны Ленина и таких работников-практиков, каким являлся Серго Орджоникидзе.

Я встретился впервые с Серго Орджоникидзе во время Пражской конференции. Она созывалась в 1912 году, в обстановке голода, охватившего более двадцати губерний, — в обстановке двойного гнета, которому подвергались рабочие и крестьяне со стороны царя и помещиков и со стороны буржуазии. Но вместе с тем среди рабочих уже намечался и новый революционный подъем. Этот подъем побуждал царское правительство всячески усиливать расправу и направлять ее в первую очередь против партии большевиков. Созвать конференцию при тогдашних чудовищных преследованиях было безмерно трудно.

В числе активно занявшихся организацией конференции был Орджоникидзе. Сперва была созвана Заграничная организационная комиссия, а следом за ней и Российская. Представлял ее главным образом Орджоникидзе (еще в нее входили Шварц и Бреслав).

Серго вел переписку с организациями на местах, восстанавливал и закреплял связи, побуждал выбирать делегатов, сообщал конспиративные адреса, направлял делегатов за границу, объехал ряд мест. Было проведено совещание организации. Для того чтобы дать еще более отчетливое представление, в каких условиях приходилось созывать конференцию, следует отметить один выразительный факт, недостаточно до

сих пор освещенный в нашей прессе: о подготовительной работе и о созыве конференции знали пять крупнейших провокаторов, введенных жандармами в большевистские организации. Из них Малиновский и Романов пробрались делегатами на саму конференцию.

К этому надлежит прибавить, что Заграничная группа большевиков во главе с Лениным была, бесспорно, окружена особыми провокаторами (агентами охраны), что почти в каждой более или менее значительной местной организации, часто даже в кружке, как показалось дальнейшее, имелся свой осведомитель, свой предатель. Можно только удивляться, как при такой «осведомленности» царское правительство вынуждено было допустить конференцию и как вообще она могла собраться. Это случилось благодаря непреклонной воле рабочих-большевиков — партийцев, благодаря неукротимой энергии Ленина, опыту и настойчивости таких организаторов, как Орджоникидзе. Ему, равно как и другим работникам по созыву конференции, пришлось выдерживать упорные бои не только с ликвидаторами, отчетливо понимавшими, что конференция соберется, между прочим, и для того, чтобы окончательно покончить с ними, — драться приходилось и с меньшевиками-партийцами, с отзовистами, с группой Троцкого и с «националами». Даже в среде большевиков и не затронутых непосредственно ликвидаторством и не принадлежавших к только что упомянутым группам и подгруппам наблюдались колебания, неуверенность: опасались, что конференция не будет пользоваться достаточным авторитетом, если в ней не примут участия такие социал-демократы, как Плеханов, Мартов, Дан, Мартынов, Богданов, Луначарский, что центральная группа большевиков окажется в изолированном положении. Что же касается ликвидаторов, то те прямо кричали, что это будет конференция одних «ленинских молодцов» и «полководцев» без армии. Надо было выдержать все эти натиски, порой весьма активные. Под руководством Ленина Российская организационная комиссия, фактически возглавляемая Орджоникидзе, с честью выдержала и это испытание.

Я приехал в Прагу делегатом от Саратова одним из первых. Вскоре прибыл стонронник Плеханова Ян (Яков) Зевин, впоследствии расстрелянный как большевик англичанами и эсерами в числе бакинских комиссаров; следом за ним появился и Серго Орджоникидзе. Пробрались через рубеж и еще несколько делегатов. Между нами установилась самая крепкая, товарищеская, непринужденная и веселая спайка. Мы встречались иногда в день по несколько раз и деятельно обсуждали вопросы, связанные с конференцией.

Орджоникидзе выделялся среди нас прежде всего своим кавказским видом и акцентом. Худощавый, выше среднего роста, с крупными чертами продолговатого лица, он отличался подвижностью и неутомимостью — качествами, которыми, впрочем, были наделены в избытке и другие делегаты.

Густая копна черных кудрявых волос с сильным блеском свидетельствовала о природном здоровье, о том, что Серго — в расцвете сил и способностей. Ему было двадцать пять лет, возраст для политического деятеля совсем юный, но в тогдашнем подполье даже весьма солидный, если принять во внимание, что профессиональный революционер в среднем обычно держался три-четыре месяца, после чего проваливался, то есть ввергался в тюрьму со всеми последствиями. Большая часть делегатов тоже была ровесниками Серго.

Чаще всего я видел его озабоченным. Иногда в самой середине разговора он как будто переставал слушать собеседника, взгляд его делался отсутствующим, точно он задумывался о чем-то далеком, внезапно его поразившем и подчинившем себе. Он становился рассеянным и, чтобы скрыть эту рассеянность, переспрашивал собеседника, повторял его последние слова, глядя на него остановившимся взглядом и не в глаза, а куда-то между ними, в переносицу или выше... Такое отсутствующее выражение бывает у людей, подчиненных, захваченных большой, великой идеей, а также у людей с богатым творческим воображением.

Орджоникидзе был мягок и благодушен с товарищами в обиходе, но в то же время он легко воспламенялся, возражал резко и решительно, с напором и энергией, иногда с раздражением. Это случалось, когда дело касалось принципиальных вопросов движения либо если он замечал, что говоривший, по его мнению, начинал кричать душой, дипломатничать, избегать прямых ответов, тогда Серго нападал с ожесточением, «резал» со всей откровенностью, слова употреблял прямые, решительные.

Он не терпел недомолвок, оговорок, туманностей. Голос его при этом сразу повышался, делался громким и напряженным, акцент заметно усиливался, вид же он принимал такой, будто его незаслуженно обидели.

Орджоникидзе сам всегда был прямым и искренним, и если ему в общении с нами обо многом приходилось умалчивать, то происходило это в силу необходимости. Всем нам волей-неволей надо было конспирировать и стараться говорить друг с другом не о том, что можно, а только о том, что должно. Как часто хотелось нам подойти друг к другу ближе, расспросить о прошлом, о настоящем. Ведь каждый из нас мог поведать были занимательнее всяких небылиц, а разные происшествия с нами могли выдержать строгое испытание с самыми запутанными и интригующими сюжетами любых новелл, повестей и романов. Преследования по пятам сыщиков, странствования из города в город по явочным квартирам, неожиданные встречи, этапы, ссылки, побеги — разве все это перечислить... Орджоникидзе тоже был богат всеми этими «сюжетными вещами». Приходилось, однако, отмалчиваться, ограничиваться намеками, вместо себя называть другого, неизвестного: вот с одним моим товарищем, друзья, случилось такое удивительное происшествие... — далее в рассказе замечались старательно слишком реальные подробности, чтобы нельзя было догадаться о конкретном человеке, о городе, уезде. Небольшие излишества в беседах вели иногда к самым губительным последствиям. Вот почему мы так мало узнавали друг о друге, несмотря на постоянное товарищеское общение. Сплошь и рядом люди развезжались, зная только клички: Серго и Серго. Больше знать не полагалось. Разумеется, все эти конспиративные правила редко исполнялись по всей строгости и точности, но все же ими руководствовались всерьез.

Среди нас Серго, несмотря на свой открытый характер, был, пожалуй, наиболее выдержанный конспиратор: к этому его побуждала особенно его работа по организации конференции. Когда Орджоникидзе конспирировал, лицо его принимало особо настороженное и хитроватое выражение, скрывать которое он далеко не всегда умел. Очевидно, он принадлежит к числу людей, на лицах которых непосредственно отражаются настроения, помыслы, чувства.

В Праге Серго продолжал работу Российской организационной комиссии по созыву конференции: то и дело куда-то отлучался, «в одно место, по одному делу, к одному человеку», сносился с Лейпцигом, через который следовала часть делегатов, вел переговоры с чешскими социалистами, предоставлявшими нам квартиры и некоторые средства, переписывался с Лениным. Попутно следил за нами, делегатами, чтобы наши фигуры не слишком бросались в глаза на улицах, для чего заставлял сменить башлыки, шапки, варежки, галоши на более европейские платье и обувь. Уже с первых дней после нашего приезда в Прагу мы заметили, что окружены сворой русских шпионов. Нужно признаться, что, очутившись за пределами досягаемости и в сравнительной безопасности, некоторые из нас несколько распустились и вели себя не всегда с надлежащей выправкой: ходили гурьбой по улицам, громко разговаривали по-русски, громко смеялись, остановившись, любовались чудесной готикой, ажурной и стрельчатой, дымной от старины, гармонично соединявшей грузность и легкий взлет; не забывали посещать оперу — «Народни дивадло», — проводили свободные часы в прохладных залах музеев, переносивших нас в кабинеты алхимиков, в рыцарские замки с их утварью, оружием, одеждой. Конспирируя и наставляя нас держать ухо востро, Серго, однако, принимал охотно участие в наших прогулках. Выговаривая нам, он порой и сам забывал о правилах конспирации и так в шутку подкашливал «по-бакински» вослед какой-нибудь пражской красотке, что она вздрагивала и оглядывалась, а бравые полисмены предупреждающе топорщили наfabренные усищи.

Да, Серго умел заразительно посмеяться, пошутить, побалагурить, дружески хлопнуть по плечу, сказать терпкое, соленое словечко. Чего же иначе стоит молодости!

По вечерам мы собирались в одном незатейливом ресторанчике. Хозяин его, настоящий содержатель пивной, толстый и рыжий, отличался изрядной любезностью и все расспрашивал нас, кто мы и откуда. Указывая на Серго, мы отвечали: «Мы болгарские студенты». Он один среди нас был сильный брюнет, и этого нам казалось достаточно, чтобы и все мы, весьма русопятистые по наружности, сошли за истых болгар. Верил или не верил нам хозяин, но в ответ он высоко поднимал кружку пи-

ва и возглашал: «Да живет Болгария!» Мы пили душистое и пенистое пиво, с лукавым видом поглядывая друг на друга и на «болгарина» Серго.

Кем только не приходилось бывать нашему брату!

Много хлопот Орджоникидзе доставил мой приятель по яренской ссылке, уже упоминавшийся Ян Зевин. Будучи представителем крупного промышленного центра Екатеринослава и его округа, Ян тянул к Плеханову и по приезде в Прагу, не зная еще окончательно об отношении, занятом Георгием Валентиновичем к созываемой конференции, колебался, принять ли ему участие в работах конференции с решающим или с совещательным голосом, а может быть, и совсем уехать в Россию. Я жил с Яном в одной комнате, в прекрасной простой рабочей семье, знал, что Ян о своих сомнениях написал Плеханову, и рассказал об этом Серго. Надо было поглядеть, как Серго при нашем дружном содействии уговаривал и убеждал Яна отойти от Плеханова. В Яне по всей справедливости видел он преданного товарища и отличного подпольного работника. Часами он беседовал с ним, ведя его под руку, — то разъяснял ему с горячностью, то спорил, то нападал на него, то высмеивал его нерешительность; а то упрасивал Яна: ну что, мол, стоит тебе согласиться с нами! Он не давал ему покоя, по всякому поводу возвращаясь к одной и той же теме; он объяснял, что-то чертил на папиросной коробочке, на клочке бумаги, точно хотел доказать ему истину своих мнений наглядно и геометрически.

Ян отличался, однако, и сам большим упорством. Плеханов перетянул его к себе; в работах конференции Зевин принял участие с совещательным голосом. Серго сильно возмущался его поведением, но, возмущаясь, продолжал «обхаживать» его, относясь к нему вполне по-товарищески и с дружелюбием. При всей своей твердости и непримиримости Орджоникидзе всегда отличался внимательным и сердечным отношением к людям инакомыслящим, но не безнадежным для дела, которому он служил так отважно. В Яне он не ошибся. С первых дней империалистической войны Зевин решительно и бесповоротно примкнул к большевикам и осудил Плеханова. Уламывать Серго приходилось и киевского делегата, тоже плехановца.

Приехал Ленин. Приехал он очень сердитый. Дело в том, что группа делегатов, и я в их числе, разослала приглашения на конференцию меньшевикам-партийцам в лице Плеханова, впередовцам и т. д. Не помню, принимал ли в этом участие Серго. Кажется, не агитируя за такое приглашение, он, так сказать, «попускал»: попробуйте — и убедитесь сами, что из этого получится. Получилось же прежде всего то, что однажды Серго появился среди нас встревоженный и объявил, что приехал Ленин и очень не жалует нас за наше выступление. Известие всех очень взволновало, а больше всех Серго. Я никогда не видел его в таком нервном и напряженном состоянии. Обычных шуток и в помине не было. Серго торопил нас немедленно отправиться к Ленину. Мы собрались на квартире у кого-то из делегатов, может быть у Серго. Владимир Ильич уже ожидал нас. Он сидел в застегнутом пальто и не снимал котелка. Весь его вид как бы говорил: как хотите, приглашайте кого вам угодно, я в этом деле не участник, в случае чего могу и уехать. Так он приблизительно и начал с нами объясняться. Жестко и без обиняков он говорил: одна из главных задач конференции заключается в том, чтобы создать свой большевистский Центральный Комитет, объединяющий и скрепляющий все действительные организации. Этому противодействуют не только ликвидаторы, но и меньшевики-партийцы, впередовцы и другие межумочные группы своими разглагольствованиями о единстве, о правомочиях, о том, что часть не может равняться целому. Приглашение этих групп на конференцию тормозит создание такого ЦК, тем более что означенные группы уже раньше выразили отрицательное к ней отношение. Ленин несколько успокоился, когда мы ему сообщили, что объединяться с ликвидаторами мы не намерены, приглашения же Плеханову и впередовцам послали, чтобы лишний раз показать рабочим, что не мы раскольники, а упомянутые группы. Ленин с этими доводами не согласился, утверждая, что о расколе не может быть и речи: раскальваются, по крайней мере, две стороны, в России же настоящую революционно-марксистскую работу ведут большевики. Во всем этом для нас крайне неприятном происшествии Серго Орджоникидзе помогал нам уладить недоразумения с Владимиром Ильичем. Он подмаргивал нам, делал предупредительные знаки, перебивал, если находил, что кто-нибудь из нас неправильно выразился, качал головой и не отступался от Ленина, убеждая его, что все обойдется. Часа через два все было улажено. Вечер мы провели с Владимиром Ильичем в самой дружеской и товарищеской беседе. Ленин шутил, много смеялся, а еще больше рас-

спрашивал нас о работе в России, попутно приглядываясь к тем из нас, с кем он встречался впервые. Удивительный был у него прищур глаза. Серго сиял и от радости, оглядывая нас, подкашливал «по-бакински».

Спустя несколько дней открылась конференция. Нетрудно было заметить, что из всех нас, делегатов, которым удалось пробраться через кордон, Орджоникидзе был к Ленину наиболее близок. Они встречались как старые знакомые. Постоянно находились у них разные совместные дела.

В памяти моей запечатлелось: уголок комнаты, где происходили заседания конференции, большое окно или арка — уединившись во время перерыва и понизив голос до шепота, коренастый и плечистый Ленин с головой Сократа, приложив горсточкой руку ко рту, доверительно, именно доверительно, с глазами, в которых, казалось, сосредоточивалась вся его неисчерпаемая огненная сила, совещается с Серго, о чем-то расспрашивает либо слушает, поглядывая куда-то на стену, всегда настороженный и внимательнейший. Время от времени он наклонялся к самому уху Серго — да, теперь, в эту минуту, он наставляет его — и вдруг хохотал тихонько, приподняв плечи. Невозможно передать эту кипучую натуру, всегда в движениях и действиях, всегда неутомимую и находящуюся в непрерывных изменениях.

Серго задумчив. Уставившись в одну точку, он трогает свой крупный нос; иногда он поглядывает на Владимира Ильича, и в этом его взгляде и гордость за человека, с которым он беседует, и преданность ему, а еще больше неподдельной к нему любви.

Через Серго Владимир Ильич осведомлялся о настроениях делегатов, готовил их к принятию решений, которые им намечались, и мы в свою очередь многое узнавали о настроениях и намерениях Ленина тоже через Серго. «Какие-то махинации готовят Ильич и Серго», — говорили мы в шутку друг другу, наблюдая, как они под руку прохаживались по коридору.

На конференции Серго выступал с докладом и отчетом от Российской организационной комиссии. К сожалению, мои попытки воспроизвести как-нибудь доклад ничего положительного не дали. Пожалуй, об этом кое-что может сказать только сам Серго, и это надо непременно сделать. Следует вообще отметить, что один из главных моментов в истории партии большевиков остается во многом почти совершенно неосвещенным, а с этим надо бы было поторопиться, и в первую очередь, понятно, следует обратиться к Серго.

Во всех главных решениях конференции Серго принимал самое видное участие, выступал, обсуждал проекты резолюций, вносил поправки и изменения. Поведение его в смысле большевистской последовательности было безупречно и совершенно соответствовало основной линии, проводимой со всей настойчивостью Лениным. По-прежнему Серго продолжал энергично уговаривать обоих плехановцев; по-прежнему в перерывах слышался его кавказский акцент, и каждой своей чертой, каждым своим движением он как бы свидетельствовал: будь что будет, а наша непременно возьмет, в этом не сомневайтесь, друзья. То была хорошая, бодрая, здоровая уверенность, лишенная самохвальства, легкомыслия и тщеславия. То была прекрасная, заразительная уверенность, необходимая в нашем трудном деле, присущая и другим делегатам, но наиболее выразительная у Серго.

Отношение Серго к Ленину, несмотря на их близость, на постоянные беседы и совещания, было лишено и тени панибрательства и амикошонства. Что-то сдержанно-благородное, что-то необыкновенно человеческое, я не подберу иного слова, горячее и непосредственное было в отношении Серго к Ленину. Следя порой за ними, я улавливал на подготоватом лице Серго радостное восхищение Владимиром Ильичем, готовность следовать за ним до конца. Эти чувства Ленин возбуждал и среди других делегатов, но далеко не все умели вести себя с таким тактом, с такой чуткостью, какие обнаруживал Серго. Был, например, среди нас товарищ, докучавший Владимиру Ильичу разговорами, расспросами, длиннейшими рассказами; другие беспокоили Ленина, не обращая внимания на то, что он, скажем, устал после большого доклада на конференции, благо что Владимир Ильич всегда с готовностью отдавал время делегатам. И вообще он не скупился на доклады, выступления и беседы. Пражская конференция помимо всего прочего являлась для нас великолепным и незаменимым политическим университетом.

...Работа конференции подходила к концу. Из решений главнейших было два.

Первое: «...конференция конституируется, как общепартийная конференция РСДРП, являющаяся верховным органом партии». Второе: «...конференция заявляет, что группа «Нашей Зари» и «Дела Жизни» своим поведением окончательно поставила себя вне партии».

Организационное обособление партии большевиков получило наконец свое настоящее оформление и закрепление. Те, которые на другой день после конференции подняли крики с умыслом и без умысла о кучке дезорганизаторов, о раскольниках и узурпаторах, не понимали, а чаще всего делали вид, будто не понимают, что этими постановлениями впервые делается решающий шаг к созданию действительного единства подлинных партийцев, единства подпольных и открытых большевистских организаций. Надо удивляться гению и чутью Ленина, который первый, отметив новый подъем в среде русского рабочего класса, поспешил со всей своей прозорливостью и решительностью объединить силы большевиков, с тем чтобы партия первая возглавила революционную борьбу рабочих, Ленин не ошибся в этой своей ставке.

Ближайшим его помощником в этом деле на Пражской конференции был Серго Орджоникидзе.

Для того чтобы провести в жизнь решения конференции, надлежало избрать крепкий, вполне однородный, лишенный всяких колебаний в сторону ликвидаторства и всякого оппортунизма большевистский Центральный Комитет. Ленин не уставал агитировать за такой Центральный Комитет и в своих выступлениях на конференциях и в личных беседах с делегатами. Не надо гнаться, говорил он, за громкими именами вроде Плеханова, главное — иметь вполне боевой, вполне сплоченный орган. «Тайные совещания» и шепотком и вполголоса между Лениным и Орджоникидзе участились. Осторожно, стороной Серго выспрашивал у делегатов о том или ином товарище, годится ли он для проведения в Центральный Комитет. Конспиративные правила соблюдались, но, понятно, мы о многих предположениях знали, о других догадывались. Среди делегатов с мест резко отрицательное отношение вызывал к себе Малиновский. Ничего подозрительного мы о нем не знали. Но он пробуждал к себе в нашей среде антипатию своей суетливостью, не в меру «рреволюционными» выступлениями, навязчивостью и в то же время обособленностью от нас, а во мне и своими крупными оспинами, придающими ему вместе с рыжим цветом волос свирепое и наглое выражение. Между тем его намечали в Центральный Комитет, и кто-то пустил даже крылатое словечко, что он русский Бебель. Намечали его в ЦК потому, что в столицах его знали в рабочих кругах, он занимал видное место в профессиональном движении. Узнав о том, что Малиновского намереваются проводить в ЦК, часть делегатов решила голосовать против него. Серго был с нами. Подсчитали примерно голоса. Выходило, что мы в большинстве. Выборы были тайные, результаты не объявлялись. Но нам стало известно, что Малиновский в ЦК прошел при перебаллотировке. Кто-то перекинулся в последний момент. Мы заподозрили Серго. Но Серго нас заверил, что он не перекидывался, и сам очень жалел, что Малиновский оказался в ЦК. Как ни чревато было весьма тяжелыми бедами вхождение во вновь избранный ЦК крупнейшего провокатора, оно компенсировалось избранием преданнейших делу партии товарищей. Вошел в ЦК и Серго. Позже в ЦК был заочно введен Сталин.

Мы разъехались по местам с отчетами о работах конференции. По доносам Малиновского, Романова, Лобова, Черномазова и сонма других провокаторов за нами по пятам погнались жандармские филеры. Все же нам удалось сделать ряд докладов в разных организациях. Удалось сделать несколько докладов и Орджоникидзе. Весной и летом нас перехватывали жандармы. Серго был также арестован. Без сомнения, Малиновский и Романов подробнейшим образом осветили фигуру Серго в департаменте полиции, указав, что он один из активнейших членов большевистского Центрального Комитета. Царское правительство решило расправиться с ним как с наиболее опасным и непримиримым своим врагом. Официальных улик, однако, против Серго не было. Тогда придрались к тому, что он совершил побег из ссылки, и запрятали его в Шлиссельбургскую крепость. Эти угрюмые стены, омываемые со всех сторон свинцовыми водами, были свидетелями самых мрачных трагедий. Одни там были удушены, другие сошли с ума, третьи провели в заключении пятнадцать, двадцать, двадцать пять ужасных своим однообразием лет. Шлиссельбург, однако, не сломил духовных сил Серго, хотя, конечно, многолетнее заключение и отразилось на его физическом здоровье. Словом, он больше всех нас поплатился за Пражскую конференцию.

Остается белло рассказать о некоторых моих позднейших встречах с Орджоникидзе, чтобы прибавить несколько штрихов к его портрету.

Весной 1918 года я работал в Одессе. Мы взяли власть в городе и в области с большим опозданием после упорных боев с гайдамаками и не успели укрепиться, как на нас стали наседать немцы, австрийцы и румыны. Большевистская Одесса готовилась к эвакуации. Бестолочь, самоуправство, отсутствие дисциплины, слабость власти, ненужная суета, неизвестность, противоречивые слухи, развал старой армии, непрерывные заседания, стихийность, а наряду с этим самоотверженная борьба рабочих-красногвардейцев и отдельных воинских частей, энтузиазм молодежи, партийная организация, несмотря ни на что, продолжающая свое дело борьбы за социализм,— такова была обстановка. А немцы уже окружали Одессу и со стороны Киева и со стороны Тирасполя. Мартовским утром, спешно пробираясь в исполком, я на Ришельевской набережной, к немалому своему удивлению, столкнулся с Орджоникидзе. Был он с товарищем, фамилию которого я забыл. Как, зачем здесь Серго? Почему мы в исполкоме ничего не знали о его приезде? «А очень просто, почему я здесь. Приходится хлеб добывать для советской власти, для голодных петроградских и московских рабочих»,— ответил Серго. «Но какой же здесь хлеб? Не сегодня-завтра Одессу займут немцы, мы уже приступили к эвакуации». «Да, да,— молвил Серго как бы рассеянно, и опять я увидел на его лице отсутствующее выражение. Потом он хлопнул меня по плечу.— Ничего, брат, ничего. Эвакуация эвакуацией, а хлеб добывать надо». И он принялся весело шутить и балагурить. Море сияло, переливалось, мерцало; Серго был по-прежнему, как в Праге, молод, молодостью внутренних сил, и по-прежнему весь его спокойный вид говорил: будь что будет, а наша непременно возьмет.

Я подчинился его прекрасному настроению.

Не знаю, удалось ли ему добыть откуда-нибудь продовольствие для рабочих под нависшими штыками войск Вильгельма.

...В 1925 году я вместе с предреввоенсовета Михаилом Васильевичем Фрунзе по его приглашению побывал в Ростове, Баку, Тифлисе. В Тифлисе я убедился, что Серго Орджоникидзе очень гостеприимен. Михаил Васильевич Фрунзе принял деятельное участие в разных заседаниях. После одного из них он сказал: «У Серго большое и верное чувство меры. Он умеет взглянуть на действительность трезвыми и непредвзятыми глазами. Он не мечтатель в политике и при всей своей большевистской последовательности учитывает и нашу отсталость, невежество и некультурность, и национальные особенности края, и человеческие недостатки. У него есть та здравая широта, тот реализм, которые необходимы в делах государства. Ну, и сверх того он замечательный товарищ».

Михаил Васильевич задумался, потом, приосанившись и расправив прудь, сразу повеселел, глаза у него еще сильнее стали лучиться. «Такие люди, как Серго,— прибавил он в заключение,— соединяют в себе непримиримость с очень большим сердцем».

...В 1934 году Орджоникидзе при случайной встрече говорил мне о Владимире Ильиче: «Какой, понимаешь, человек был.— Серго покачал головой.— Все умел получить от собеседника, что ему было от него нужно и что тот ему мог дать. Ну, работник перед ним тоже сразу сам раскрывался нараспашку. С первых же слов хотелось все выложить ему без всякой дипломатии. Вот какой был он человек».

Серго поднимался по дороге, обвивающей лентой гору. В стремнинах и ущельях сгустался синеватый туман. Тяжеловесная позолота осени мешалась с пышной, но уже блекнувшей зеленью. Серго шел медленно, опираясь на палку. Впереди ввысь вилась дорога.

Думает ли Серго о себе? Какой же человек не думает о себе. Но как-то не представляется он занятым собой. Почему это? Всегда его видят в деле, в работе. Он никогда не говорит о себе, не распространяется о себе. Он расспрашивает о людях, слушает, он шутит, возражает, поправляет, говорит об удивительной Стране Советов, где сорокапятилетних директоров заставляют учиться, посылая им на дом профессоров, но ему совершенно чуждо это вращение вокруг себя, подобное волчку. Живейшим образом он опровергает утверждение одного из героев Достоевского, сказавшего: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? Ответ:

о себе. О себе Серго говорит очень скучно. Мир так велик и требует столько переделки. В недрах нашей страны спят сокровища. Их надо добыть на благо трудящимся, чтобы человек труда стал свободным и славным.

...Старым, испытанным большевикам до сих пор не очень везет в советской литературе. Чаще всего они не ходят, а выступают, не говорят, а изрекают, не живут, а совершают некое житие, не делают, а священнодействуют. И, признаться, изрядно они порой скучноваты и однотонны. И даже тогда, когда им стараются придать чисто человеческие свойства, получается это как-то внешне. Изображение ограничивается мелкими, житейскими чертами, странностями и причудами. Вглубь не заглядывают. Мелочи не типичны, не выражают, как у Толстого, у Леонардо да Винчи, внутренних душевных качеств, характера, его особенностей. Между тем именно в этой среде старых большевистских ветеранов так легко встретить натуры, богато одаренные чувствами и мыслями, у которых на каждое событие есть свой отклик и к каждому более или менее полезному человеку есть своеобразное отношение, есть оригинальность и неожиданность мнений и суждений и нет ничего стандартного и отштампованного. К таким богато одаренным, живописным натурам с огромным запасом самых разнообразных сил, но подчиненным одной руководящей идее принадлежит и Серго Орджоникидзе со своей чудесной жизнью.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ АБРАМОВ



ВОЙНА И ЖУРНАЛ

О страницах «Нового мира» сорокалетней давности

Ежегодно Девятого мая мы с сыном приходим в сквер у Большого театра, с трудом пробираемся по узким аллеям сквозь толпы любознательных или любопытных, среди которых робко и потерянно выглядят пожилые, а то и старые люди с боевыми орденами и медалями на груди.

— Пап,— спрашивает меня сын,— они же здесь друг с другом встречаются, они же сто лет не виделись... А мы, может, мешаем?.. Удобно ли?..

— Удобно, удобно,— тороплюсь я с ответом, а сам задумываюсь: нет ли в его словах доли истины?

Время проходит, оно, как известно, безжалостно к своим подданным, все меньше и меньше ветеранов войны ищут в День Победы однополчан. Но странное дело: стихийный праздник этот уже не уместается в просторный некогда сквер в центре столицы, уже переместился он в гигантский парк на берегу Москвы-реки, уже и там ему тесно, а позабытый привкус стихийности, даже интимности какой-то, если хотите, привычно сменился вкусом бодрой организованности: кругом — молодые люди с красными повязками на рукавах, они уверенно командуют в мегафоны, направляя толпы в заранее проложенные русла, а по многочисленным репродукторам романтик эстрады во весь свой могучий голос сообщает всем, что этот день мы приближали, как могли.

Мы? Кто «мы»? Я не приближал: в День Победы мне исполнился всего лишь год. Вряд ли певец намного старше.

...А ведь было: «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои...» И уж совсем неорганизованно: «Я брожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот... Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет?»

Не считите меня, пожалуйста, таким средних лет брызгой, который против все-

го нового, передового, соответствующего восьмидесятым годам двадцатого стремительного века. Отлично понимаю я, что на попутный ветерок надежды невелики, что телевидение и радио в этом смысле куда как прогрессивнее, что комсомол, пионеры-следопыты, пресса, наконец, невероятно много сделали, чтобы собрать вместе знакомых солдат, друзей-однополчан, что песня про День Победы — хорошая песня и что под словом «мы» автор и певец имели в виду весь народ, и старых и малых. Но что тогда ответить мне сыну? Зачем мы с ним явились к Большому театру и, к слову, парк у реки тоже не миновали?

Зачем? Ответ, по-моему, однозначен. Я хочу, чтобы он, шести-, семи-, а теперь восьмилетний пацаненок, воочию увидел тех, кто дал миру возможность на сорок лет забыть о самом страшном. жить счастливо и спокойно, в конце концов дал возможность ему, пацаненку, родиться, подрасти малость, пойти в школу, читать про войну и смотреть по телевизору фильмы, в которых нынешние ветераны, молодые и сильные (неважно, что это не они, а профессионалы актеры! В восемь лет легко верить в прекрасную иллюзию экрана), идут в атаку, форсируют реки, берут штурмом города. Фильмы эти для него — своего рода былины о русских чудо-богатырях. Я хочу, чтобы он знал: богатыри — тоже люди, просто люди, обыкновенные, усталые, старые, счастливые.

Один из них показал нам выцветшие фотографии. Сел на корточки рядом с сыном, разложил на траве снимки.

— Вот это я на Днепре, после форсирования... Старший лейтенант... А это мой самолет, истребитель, «ястребок», ты про такой небось и не слышал...

— Слышал,— сказал сын, разглядывая фотографии.— И читал.

— Где читал?

— У меня есть книга про самолеты. И про танки, и про автомобили.

Старший лейтенант — или теперь подполковник, полковник в отставке? — выпрямился, спрятал снимки в карман пиджака с пятью рядами колодок. Там было два ордена Красного Знамени. Красная Звездочка, за Варшаву, за Прагу...

— А про нас? — спросил он без улыбки.

— Что про вас? — не понял сын.

— У тебя есть книга про нас? Про тех, кто был в самолетах, в танках, в автомобилях?

— Да, конечно... — неуверенно ответил сын. видимо, мучительно вспоминая.

Я-то знал, что он читал про Гастелло и Талалихина про Зою Космодемьянскую и Олега Кошевого. про Леню Голикова и Гую Королеву. что он про них может рассказать, да и рассказывает иной раз. А вот где, в каких книгах он читал про них — с трудом вспомнил. Ну разве что «Четвергую высоту» Ильиной или «Сына полка» Катаева.. А все эти популярные хрестоматии, «Родные речи» и вспоминать-то зряшно: так, сухомытка, голая информация. Хорошо. если «информация к размышлению», как принято нынче говорить... А до «Последних залпов» или «Сотникова» ему еще рано и расти.

Впрочем, а у них-то самих, у тех, кто в танках, самолетах и автомобилях, пешком и на лошадях приближал День Победы как мог, — что за книги у них были тогда что читали они что перечитывали? Я задал этот вопрос старшему лейтенанту прямс там, у Большого театра, и задал, вроде бы защищая так и не ответившего сыну сына.

— Книжки? — задумался он. — Ну, какие книжки.. Война! Вот «Жди меня» Константина Михайловича наизусть учили... «Землянку»...

— Это стихи, песни, — не отступал я. — А проза?

— Проза?.. А знаете, что я запомнил? «Батя» Яна. И еще гобийские рассказы Ефремова. особенно «Белый Рог»... Это в «Новом мире» печаталось...

Странно, подумал тогда я, что это? Нежелание на войне читать о войне? Тоска по мирной жизни? По чуду? По счастью?.. Впрочем, «Батый» — весьма символическое чтение в те годы бесспорно — нужнейшее, вовремя его журнал опубликовал. А что до литературных его достоинств — так ведь выдержал роман проверку временем, еще как выдержал. издается. переиздается, покупается нарасхват. Ну а «Белый Рог»?..

Тончайший, прямо-таки дымчатый рассказ об ученом, который поверил в старую-престарую сказку, жизнью рискуя, взобрался на неприступную скалу, на Белый Рог этот самый, и.. овестствовал сказку, нашел стальной меч с золотой рукоятью, положенный туда батуром из легенды об Ак-Мюнгусе.

Я отыскал дома томики рассказов Ивана Ефремова, перелистал его, перечитал «Белый Рог», остановился на том месте, где герой, Усольцев. еще только думающий о восхождении, говорит красивой женщине, что вот Эверест в мире — один, что такая цель подвластна единицам, а что делать другим, тоже мечтающим о своих Эверестах? А она, красивая женщина, ему запальчиво отвечает: «...У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни?.. А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше собственных сил?..»

Ак-Мюнгуз, Белый Рог — он стал победой Усольцева. А меч в полуистлевших ножнах — наградой за то, что сумел подняться выше собственных сил. Как и тот старший лейтенант — из сквера у Большого театра. Как и сотни, тысячи оставшихся в живых солдат. В том числе и тех, что приходят Девятого мая в парк у реки или в сквер у фонтана. Они тоже нашли свои мечи. Они взяли свои высоты. Им, пожалуй, не странно смотреть на нас, которые в свою очередь пришли посмотреть на них, принесли им цветы. И вовсе не с высоты они на нас смотрят, или — вернее! — не с высот. Они давным-давно спустились на землю. Но покоренные ими высоты вот уже который год не дают спать спокойно детям послевоенных лет.

Во всяком случае, мои ровесники в детстве считали себя малость обделенными, играли в войну с утра до вечера, и тяжек был выбор сторон в той «войне»...

Но все это пока еще не ответ на по-детски категоричный вопрос сына...

А вскользь брошенные старшим лейтенантом слова про «Новый мир» военных лет тогда показались мне любопытными, точило желание просмотреть старые журналы. Пока наконец это желание не осуществилось.

Вот они передо мной — потертые журнальные книжки; они такие же, как нынешние, разве что формат поменьше да бумага много хуже. Вот шестой номер за срок первый год, июньский номер. Он подписан к печати более чем за месяц до начала войны, он еще вполне «мирный», но странное дело — во всех публикациях ощу-

щается какая-то тревога, почти неуловимая... «Хмурое утро» Алексея Толстого. Рассказ Вл. Лидина «Солдат» — щемяще-грустный... Стихи Михаила Спирова — о журавлях над домом, об утреннем тумане, о весеннем дожде, о гуле прибора. И вдруг — строки: «Дружно отдыхая перед схваткой, вспоминая прошлые бои, разбивали пыльные палатки давние товарищи мои».

Может быть, я увидел в номере то, чего в нем не было? Я, знающий о рассвете 22 июня...

А уже в седьмом номере журнала гремела война.

Он вышел двоянным — седьмой и восьмой вместе, вышел с большим опозданием: наверно, где-то в сентябре, когда враг овладел огромной территорией страны, бесчинствовал на ней, подходил к Москве. Но уверенно звучали со страниц журнала голоса писателей.

Константин Паустовский: «Никогда еще слова «родина», «отечество», слова о том, что наша страна — это единственная великая надежда измученного, окровавленного, обманутого человечества, — не звучали с такой окончательной ясностью, как 22 июня 1941 года».

Леонид Леонов: «Уже не прежний теперь русский народ. Скрепленный кровной дружбой со всеми другими народами Советского Союза, он уже не в зигунах и не с жалким дреколем встретит непрошеного гостя, который на столько народов надел яро позора и горя... Мы победим еще раз, потому что наше дело правое самой большой правдой, которая только существует на земле».

Илья Эренбург: «На стенах древнего Парижа в дни немецкой оккупации я часто видел надписи: «Гитлер начал войну, Сталин ее кончит». Прекрасные слова! Не мы хотели этой войны. Не мы перед ней отступим. Фашисты начали войну. Мы ее кончим — победой труда и свободы».

И еще есть высказывания — с той же колебимой уверенностью в победе. Это пока даже не публицистика, публицистика настоящая — я имею в виду горячая, страстная — она впереди, как впереди — проза о войне, романы, повести, рассказы.

Александр Кривицкий, работавший тогда в «Красной звезде», вспоминает, как вызвал его грозный редактор и недовольно спросил, почему писатели не пишут крупных вещей — романов, повестей. Кривицкий отшутился: мол, когда говорят пушки, музы молчат, истина многократно подтвержденная. Но редактор не оценил «мол-

чащих муз», он потребовал, чтоб они немедленно заговорили.

В «Красной звезде» музы заговорили 16 января 1942 года, на седьмой месяц войны: газета начала публиковать «Русскую повесть» Петра Павленко. Автор не считал ее удачей, он жаловался в письме, что работал «спеша, спотыкаясь». Но она, пусть очерковая, была первой. За ней появились в нашей периодике «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Дни и ночи» Константина Симонова, «Это было в Ленинграде» Александра Чаковского... И вот новомирское — «Мои земляки» Льва Славина, «Би хеппи» Юрия Германа, «Рассказы Ивана Сударева» Алексея Толстого, «Морская душа» Леонида Соболева, «Жена» Валентина Катаева, «Взятие Великошумска» Леонида Леонова, «Март—апрель» Вадима Кожевникова...

Перечень можно продолжить, да мы к нему еще вернемся, а пока отметим вот какой факт. В большинстве этих работ чувствуется элемент очерковости. Я высказываю сейчас свое субъективное мнение, никак не претендуя на обладание истиной в последней инстанции, но, думаю, мне, не пришло тогда еще время обобщений, время подведения итогов, время оценки неудач и побед. Оно было впереди, это время, должны были пройти годы, чтобы можно было, говоря словами Блока, «не спеша собрать бесстрастно воспоминанья и дела».

События и факты беспощадно торопили того же Павленко, и Симонова, и Кожевникова, и многих других военкоров-писателей, требовалось писать быстро, в номер, «с колес»...

А где-то — не на листе бумаги, а на разных безымянных рубежах или высотах — вели свои бои Ананьев и Бакланов, Алексеев и Бондарев, Астафьев и Быков. Они еще, быть может, не знали, что возьмутся за перо, что война оживет в их полных боли и мудрости повестях и романах, они еще просто сражались не на жизнь, а на смерть за свою землю, но кто ведает — вдруг да и подтолкнули их упомянутые произведения к желанию излить на бумаге все виденное, пережитое, выстраданное.

Проза военных лет была своего рода предтечей. Она создала галерею цельных и ярких характеров, многие из которых потом — вольно или невольно! — в каких-то своих чертах повторились и у других авторов. Почему? Просто в повестях или рассказах военных писателей — пусть даже, как и Павленко, очень спешащих — жили, сражались, трудились, любили, вена-

видели живые люди, если хотите — люди войны. Самые сильные. Самые талантливые. Самые добрые. Если говорить языком школьного учебника по литературе — самые типичные.

Я обещал вернуться к списку новомирской прозы, к тем произведениям, которые показали мне (опять-таки субъективно) наиболее интересными. Часть я назвал. Вот еще: Вл. Ставский «Фронтные записки», А. Первенцев «Испытание», А. Софронов «Шкатулка», Ф. Гладков «Мать», Б. Лавренев «Чайная роза», П. Бажов «Уральские сказки о немцах», В. Кожевников «Я вижу», А. Платонов «Дерево родины», А. Каравая «Огни», Ю. Герман «Студеное море», А. Калинин «На юге», А. Авдеенко «Большая семья», Н. Асанов «Волшебный камень»...

Сегодня, с более чем сорокалетнего расстояния, можно и усмехнуться, читая какие-то из названных вещей, над излишней сентиментальностью над некой прямолинейностью в суждениях, над наивностью тех или других оценок, над слишком заметными иной раз ребрами конструкций сюжета. Возможно, сами авторы сегодня посмотрели бы на созданное с таким добрым умилением, с этойкой щемящей ностальгией по давно прошедшей, но всегда прекрасной молодости, когда еще не пришел мудрый опыт, но сколько сил, сколько желаний!..

Дело вовсе не в том, что одни произведения до наших дней, вошли, как говорится, в золотой фонд литературы, а другие так и остались в тех годах, в тех, уже ставших библиографической редкостью, номерах «Нового мира». Для меня, как «оптового» читателя подшивки журнала, любопытно было понять, почему старший лейтенант из скверика у Большого театра запомнил именно «Батыея» и «Белый Рог»...

В рассказе Вадима Кожевникова «Я вижу» военный журналист знакомится на фронте с человеком, который был слепым от рождения, перед войной попал в госпиталь, сделали ему операцию, и — вот чудо! — он прозрел. Но по страшной прихоти судьбы он прозрел, когда уже шла война. Один из героев рассказа, лейтенант Воронин, говорит о нем: «Он ведь, кроме госпиталя и войны, ничего не видел. Он прямо из госпиталя на фронт поехал. Здесь и видеть научился».

Полагаю, рассказ этот в значительной степени документален. Он весьма краток, немногословен; заметно, что встреча с необычной судьбой поразила писателя и он

ничего не рискнул придумать. Черно-белый мир войны для бойца Туркина был ярким и многокрасочным, Туркин по-детски радовался зиме, и еловой ветке, и снежинке на рукавчике, и старшине Влащенко с ручным пулеметом в руках, когда он Туркина от немецких разведчиков отбивал. Умение радоваться жизни — сегодня, сию минуту, всегда — рождает веру в жизнь, веру в ее неистребимость, а значит, неистовое желание бороться за жизнь. Хотел того автор или память о случайной встрече вела перо, но образ прозревшего бойца, на мой взгляд, глубоко символический. Да простится мне «высокий штиль», но врага победили люди зрячие, видящие, как прекрасен мир вокруг нас, как страшно, если он погибнет. И еще: сам-то Туркин свою способность изумляться миру вокруг него не считал из ряда вон выходящей, не исключено — даже не подозревал о ней. Тем и силен был...

Вот так и Иван Сударев из рассказов Алексея Толстого — словно бы перекликается с Туркиным, одной крови они: «Не так давно видел в одном частном доме картину, — средней величины, да и ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляете — лесок, речонка, самая что ни на есть — тихая, русская, и по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Взглянул я и все понял, — ах, сколько жил, и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую — на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это — моя родина...»

И солдат Трофимов из рассказа Андрея Платонова «Дерево родины» так же бесхитростно и органично, как дышал или пел, думал о земле, которую оберегал от врага: «Полежи и отдохни... после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню и всю тебя сызнава вспашу, и ты опять рожать начнешь: не скучай, ты не мертвая».

Они эти люди, способные с землей вести беседу как с любимой женщиной, не умеющие высказать то, что чувствуют — к родине, к дому, к земле, люди, которые к неприятелю относились, как к нечеловеку, к нежити (у Платонова герой размышляет: «Кто это — человек или другое что?»), — люди эти бежали громких слов, не думали о том, что каждый день их — подвиг, что они — о с в о б о д и т е л и. Жили так, потому что не знали иного пути, и погибали, как жили. Им возводят памятники под облака, а рост у них был самый человеческий.

У художника Александра Шилова есть картина «Победитель». Изображен на ней старый седоусый солдат в аккуратно от-

глаженной выгоревшей гимнастерке, на груди — два ордена Славы. Солдат улыбается смущенно и даже робко: мол, за что же меня — на картину?.. А позади него — несжатое поле, и тропка через поле, и это — его родина, и родина Шилова, и моя... Наша Родина, которую он, солдат этот, отстаивал. И, может быть, Шилов написал портрет солдата Трофимова, или солдата Туркина, или солдата Ивана Сударева... Победитель. Как в песне: «Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил». К слову, в песне-то этой солдат к жене своей покойной обращается. Не в Будапешт он шел, не в Прагу, не в Берлин даже — к ней, к Прасковье. Один из героев повести Юрия Германа «Студеное море» в последнем письме пишет жене: «Женя, иду в бой. За наш очаг семейный иду, за нашу любовь. За любовь!»

Любовь — это и была их вершина, их Ак-Мюнгуз, Белый Рог. Любовь к жене, к невесте, к матери. К Родине. Слово «Родина» — тоже женского рода...

А солдат на картину Шилова пришел прямиком из сквера у Большого театра, так и пришел — смущенный, улыбающийся, с двумя орденами Славы на гимнастерке. Было такое: мы с сыном встретили там художника Шилова и он познакомил нас со своим — тогда еще предполагаемым — героем...

Это ощущение от многих публикаций, если не от всех вместе взятых: журнал знакомил читателей с людьми геройскими, но к собственному героизму относящимися как к делу наобькновеннейшему. Защита отечества была для них именно делом — первым, главным, важнейшим, единственным в те годы, а на Руси от века к делу относились вдумчиво, серьезно, талантливо его делали, не умели иначе.

Были, конечно, и, так сказать, бесталанные, но стоило ли о них тогда писать? Не стоило, нет, время не то было...

Те вещи, что впервые напечатал журнал, проанализированы давным-давно, об иных тома написаны нашими критиками и литературоведами. И пытаюсь представить себе: как бы отнеслись герои этих произведений к тому, что о них повести пишут, критики рассуждают учено?..

Один мой старший коллега, прошедший всю войну военкором, побывавший на разных фронтах, совсем как в доброй старой песне, на «эмке» драной и с одним наганом первым врываясь в города, — так вот, многоопытный, битый-перебитый человек этот вспоминал фразу, которую не раз слы-

шал от бойцов в ответ на предложение написать о них в газету. «Зачем обо мне? — с искренним недоумением отвечали они. — Что я такого особенного сделал?.. Вот Алексей...» Или Петр, или Иван, или Андрей.

Тогда, к слову, я и спросил коллегу: — Это что же, скромность такая?

Лет мне было сравнительно немного, журналистского опыта кот наплакал, к любому явлению, к любой жизненной ситуации стремился я прицепить ярлычок по-привычке, попонятнее.

— При чем здесь скромность? — усмехнулся коллега. — Скромными, юноша, невинные девицы быть должны. А русскому мужику положенное выдай, а нет — сам возьмет. А что было положено? Харчишки, сто грамм, а лучше — больше. Медаль, а лучше — орден... А статья в газете — это от лукавого, это что-то свыше. Да и за что? Они ведь искренне считали, что не сделали ничего больше соседа. Я, к примеру, в атаке троих уложил, а товарищ — одного. Так что ж, он — хуже? Никак нет. Момент ему не пришел. Иначе — не пофартило. А завтра, наоборот, станется... Другое дело, что наш брат-журналист на их отказы внимания не обращал, писал что положено печатал и — коль выходило — своим героям привозил или присылал. И вот тогда принимали с достоинством и гордились безмерно Вырезки по сей день небось хранят. Но вот чего не было, так это зависти: мол, о Петре написали, а обо мне нет. Это мы, писатели, помрем от волнения, если о нашей книге положительную рецензию где-нибудь не тиснут. А где вы видели пахаря, который о себе статейку запрашивает? Или инженера? Или учителя?.. А уж солдат — тем более... Впрочем, если вам так удобнее, можете это скромностью назвать.

Теперь у меня кое-какой опыт поднакопился, ярлычками уже не разбрасываюсь, не вешаю их куда ни попадя...

Что еще рассказывала о защитниках родины новомирская проза военных лет?

Впрочем, вопрос не совсем точен. Проза «Нового мира» 1941—1945 годов достаточно многогранна, широка по тематике, она не только о защитниках. Если говорить о военной прозе (термин нынешний, прижившийся в критике), то я бы отметил: немало было произведений, героем которых стала женщина.

Женщина на войне... Техник-интендант Маша Лахонина из повести Юрия Германа «Би хеппи». Нина Петровна Хрусталева из

повести Валентина Катаева «Жена». Учительница Наталья Степановна из повести Федора Гладкова «Мать». Военврач Марина из романа Анатолия Калинина «На юге»...

Один из героев Калинина, глядя на хозяйку дома, где он, командир, остановился на ночлег, думает: «Война внесла в жизнь женщины, может быть, даже больше изменений, чем в жизнь мужчины. Ему по крайней мере не привыкать держать в руках винтовку, а вот на ее плечи кроме обычных женских забот, теперь упало еще и непосильное бремя всего хозяйства. Где уж тут думать о своей красоте? Разве иногда мельком взглянет в осколочек зеркала и увидит постаревшее лицо, преждевременную паутину морщин возле глаз. А вечером не у кого выплакаться на плече, пожаловаться на свои горести».

Сегодня эти слова кажутся нам, прочитавшим горы о войне и о женщине на войне, банальными. Ну в самом деле, что за открытие!.. Но роман-то опубликован в журнале в сорок четвертом, а писан еще ранее, когда каждое из этих «банальных» слов отзывалось в душе читавшего или читавшей болью. И честно говоря, не знаю, кому было легче: той же Маше Лахониной или врачу Марине, шедшим, так сказать, в одном строю с мужчинами, или этой безымянной хозяйке, зачастую забывавшей, что она — женщина...

Медсестры, врачи, интенданты, даже пулеметчицы, летчицы, снайперы — этим женщинам, конечно же, было куда как труднее: стрелять, совершать полеты над вражеской территорией, вытаскивать из огня раненых бойцов, сутками стоять у операционных столов в полевых госпиталах. Не женская работа, кто спорит, но где она тогда была — женская?.. И рядом с ними шли мужчины, и делали, быть может, вдвое, втрое, и поддерживали подруг своих боевых кто как мог, кому как нужно. Они сражались не только наравне с мужчинами, но и в одном строю. Чувствовать рядом мужское плечо — это ли не подмога? Не физическая, нет, — моральная. Моральная — куда важнее! А каково было Наталье Степановне, учительнице, у которой фашисты повесили дочь Соню?.. Или Нине Хрустальной, потерявшей мужа, но не показавшей виду, не открывшей никому своего горя, продолжающей, как и прежде, по шестнадцать часов работать в тылу на заводе?.. Или председателю колхоза Варваре Петровне из романа Александра Авдеенко «Большая семья»?..

И в тылу и на фронте женщины несли мужскую ношу. Может быть, я и не прав,

но героизм женщины в тылу представляется мне более высокой пробы, хотя на первый взгляд и не такой он яркий, не такой громкий, как фронтовой. Конечно, он поскромнее — героизм каждодневный, но его тяжесть плечи гнет. Сегодня мы всю пишем о трудовых подвигах наших женщин, справедливо восторгаемся ими, выбираем их в различные президиумы, называем флагами и маяками, призываем равняться на них. Давайте призывать равняться-то еще и на прошлое, когда маяком и флагманом была каждая, — что было бы с фронтом, если б не женщины в тылу!.. А они себя маяками не числили, они просто работали и подвигом свою работу не называли. Подвиги — это на фронте, а здесь...

А здесь крохотная девчушка Муся, прозрачная от худобы ремесленница «в большой черной шинели с подвернутыми рукавами, из-под которой выглядывали ножки в чулках и поверх чулок еще в носках, напущенных бубликами на новые тапочки», стояла на ящике перед станком и работала, работала... Когда директор завода привел в цех иностранцев, журналистов, когда остановились они около девушки, наблюдая за ее работой, и директор, улыбнувшись, сказал:

«— Здорово, Муся. Как дела?»

Она повернула к нему свое сосредоточенное, нахмуренное личико подростка с запачканным носом. Некоторое время она беззвучно шевелила пухлыми губами, про себя считая ролики по десяткам, а потом сказала:

— Я занята.

И отвернулась к станку, продолжая прилежно сыпать ролики в бункер из своей маленькой, обмороженной руки. Она это сказала, конечно, без малейшей рисовки, без всякого желания как-то особенно выгодно выказать себя перед директором. Она просто сказала то, что сказала бы всякому, кто стал бы ей мешать. Очевидно, то дело, которое она делала, было для нее важнее директора, важнее переводчицы в леопардовой кофте, важнее американцев, важнее всего на свете. Вот она и сказала то, что сказала...

Директор юмористически развел руками. Ничего, мол, не поделаешь. Переводчица перевела. Иностранцы громко захохотали и захолопали в ладоши. Они приветствовали мою Муську, как балерину. А она даже не обернулась. Она о них в ту же минуту просто забыла, всецело поглощенная своим счетом, своими роликами, своими обмороженными руками и своим носиком, кото-

рый чесался и который не было времени почесать».

Прошу прощения за длинную цитату, но мне подумалось, что поступок Муськи нет смысла комментировать: Валентин Катаев это сделал еще в сорок третьем. Или раньше — когда познакомился с такой Муськой, уж не знаю, как ее звали в жизни.

Да и что за разница, как звали!

Муськи, Таньки, Марии Петровны, Людмилы Ивановны, Татьяны Сергеевны... Они просто делали свое дело. Как Иван Сударев, как боец Туркин, как солдат Трофимов. Это мы сейчас знаем, что их жизнь была подвигом. И они, состарившиеся, тоже это знают. Или же не убедил их брат-журналист и брат-писатель в том? Трудно сказать... Когда я спросил об этом женщину, всю войну проработавшую на уральском заводе, имеющую ордена и медали за доблестный труд, когда я задал ей свой наивный вопрос: «Как вы жили в те годы?», то получил грубоватый, но честный ответ:

— Как-как?.. Обыкновенно. Трудней, чем нынче, конечно, но, по крайней мере, никто не задавал дурацких вопросов.

Прошло время, пришли в литературу новые, ранее не виданные темы, сюжеты, герои. Нам показывают сорокалетнего обалдуя, не умеющего и не любящего толком работать, мучающего жену и дочь, сослуживцев, которые почему-то носятся с ним как с писаной торбой, нам объявляют его натурой ищущей и мятущейся... Нас знакомят с подонком, подчинившим своему дикому эгоизму целую лабораторию, которой он руководит, готовому даже на преступление пойти, только бы достичь заветной цели... Нам предлагают полюбить маменькина сына, ничего в этой жизни не сотворившего, прячущегося за братнины штаны и женину юбку...

При этом критики толкуют о положительном герое, о современнике-созидателе, всерьез гадают, какими чертами характера он должен обладать... Да оборотитесь же! Какими чертами? Повести тех лет почитайте.

Помню, какой неожиданной свежестью повеяло на всех со страниц талантливой «Территории» Олега Куваева, как все наперебой обсуждали образ Чинкова, образ молодого геолога Баклакова, человека неброско самоотверженного, для которого дело не повод для разговоров, для шума на тему «вышолним—перевышолним», а именно дело, простите за невольный каламбур, дело, которое надо сделать. Во что бы то

стало. И уж конечно не считать прилюдно, сколько это стоило.

И я тогда не остался в стороне, написал, что Баклаков — открытие характера. Но вот прочитал в «Новом мире» за сорок пятый год повесть Николая Асанова «Волшебный камень» и понял: никакое не открытие. Впрочем, и не в этом дело — чтобы непременно «открытие».

Сегодня с тех высот, коих достигла отечественная литература, повесть Асанова, конечно же, выглядит малость наивной по сравнению с той же «Территорией». Но образ геолога Нестерова, образ его друга и коллеги Суслова — вот прямые предтечи Баклакова. И возраст у них приблизительно одинаков, и даже время действия тоже, хотя вещи эти созданы в разное время — тридцать лет их друг от друга отделяют.

Возникла крамольная мысль: а может, не зря Куваев поместил Баклакова в пятидесятые годы — совсем неподалеку от тех лет, когда Суслов искал свой вольфрам? Может, все потому, что усомнился, а есть ли сегодня такие люди, особенно среди молодежи?

Но мысль, по здравому размышью, показала не только крамольной, но и неверной по существу, ибо жизнь то и дело приводит примеры, говорящие о том, что наследников Нестерова, Суслова или Баклакова сегодня немало, а вот то, что похожих характеров не хватает в произведениях наших писателей, это и есть беда, не чья-либо, а наша, писательская.

Строго говоря, романов, повестей и рассказов о молодых героях современности пруд пруди, но как много среди них плохих, откровенно конъюнктурных, профессионально слабых произведений. А вот таких, как «Территория», раз, два — и обчелся...

Мне кажется, что иной новомирской прозе военных лет не очень повезло. Кто сейчас помнит героев повести Льва Славина «Мои земляки»? Только специалисты-литературоведы. А неспециалисты благодаря телевидению вспоминают героев фильма «Два бойца» пулеметчиков Аркашу Дзюбина и Сашу с Уралмаша, блистательно сыгранных Марком Бернесом и Борисом Андреевым Допускаю. Что фильм оказался ярче повести, хотя она написана легко, с присущим Славину юмором, да и фильм — я теперь могу это утверждать с непреложностью — почти ни в чем не отошел от литературной основы. Разве что в фильме Тася — красавица, а в повести — дурнушка,

что, к слову, куда убедительней, да и песен в повести нет, чудесных песен Никиты Богословского. Но стоит ли забывать Библейскую истину: вначале было слово?..

«Если бы директором был я», то собрал бы воедино лучшие произведения военных лет, опубликованные в «Новом мире», и издал бы — на радость читателям и в назидание писателям И с прозой других толстых журналов поступил бы так же. Бумаги, думаю, от этого не убывало бы...

И еще скажу: куда как богатой была в военные годы публицистика. Страстные и яркие патриотические работы Мариэтты Шагинян Федора Гладкова Юрия Жукова, Вл. Ставского. Ильи Эренбурга, Вл. Лидина. Александра Бека, Александра Поповского...

С особым чувством просматриваешь поэтический раздел: давно знакомые, назусть знаемые стихи, ставшие хрестоматийными. антологическими. Я обратил внимание на такую закономерность: по стихам опубликованным в журнале в те годы можно — даже не глядя на выходные данные и на обложку — точно определить время публикации. Судите сами.

Марк Лисянский: «Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге...» Знаменитые строки, тогда еще не ставшие песней. Год 1941-й: «Никогда врагу не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

Константин Симонов: «Твой голос поймаю я в Смоленске, но мне, как всегда, не везло, из тысячи слов твоих женских услышал я только: «Алло!»... А дальше летели недели, и так получилось само — когда мы под Оршей сидели, тебе сочинил я письмо». Год 1942-й.

Самуил Маршак: «Слушай весть освобожденья с Дона и Донца. Ленинград ломает звенья вражьего кольца. В день священной годовщины отступает враг...» Год 1943-й, его начало, трудная зима...

Николай Рыленков: «Дорога к дому нам близка, легка земля своя... На запад движутся войска — то наши сыновья... Войска идут, и мы идем в свою артель, в свой дом. В село приходим — нет села, спалил злодей дотла...» Год 1944-й, год наступления по всем фронтам, год возвращения на родные, отбитые у врага земли, счастливый и горький...

Семен Кирсанов: «Мы победили. Бой уже вдали. Исполнена солдатская присяга. Железный крест и свастика — в пыли. А над казенным куполом рейхстага мы вознесли

зарю своей земли — пылающие развернутого стяга!» Нужны ли пояснения? Пятый номер за 1945 год открывается этими стихами...

Время чувствуется и в «Пулковском меридиане» Веры Инбер, в прекрасной этой поэме; и в знаменитом цикле Симонова «С тобой и без тебя»; в поэме Сергея Васильева «На Урале»; в стихах Алексея Суркова, Вероники Тушновой, Евгения Долматовского, Степана Щипачева, Семена Гудзенко — везде...

Все эти стихи, пережившие свое время и любимые в нашем, — это ли не гарантия качества!

Для критика, литературоведа комплекты журналов сорокалетней давности — кладь. Это разговор о героях сражающихся и героях созидающих. О том, что сближает парторга ЦК на уральском заводе Димитрия Пластунова из романа Анны Караваевой «Огни» и генерала Милованова из романа Анатолия Калинина «На юге», моряка Александра Ладынина из повести Юрия Германа «Студеное море» и инженера Богдана Дубченко из романа Аркадия Первенцева «Испытание»... Не будучи критиком и литературоведом, я в этих своих заметках хочу лишь выделить, вычленив одну черту, общую для всех героев новомирских публикаций тех лет: поразительное высочайшее чувство долга.

Можно сказать: долга перед Родиной.

А можно проше: перед своим делом, будь то фронтовая служба или рабочая стезя.

Я вновь обратился к рассказу Ивана Ефремова, взял апрельский номер «Нового мира» за 1945 год и нашел там вот какие слова (они о восхождении на Эверест): «Меня захватила — как бы вам сказать — не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе, каждый по-своему, главные участники атаки... Понимаете — борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя».

Великая Отечественная война — это великое отечественное восхождение четыре года, изо дня в день. И каждый из тех, кто вошел, стал выше самого себя.

Кто знает, может, именно этой, в сущности очень простой мыслью и запомнился рассказ «Белый Рог» моему старшему лейтенанту из сквера у Большого театра. А может, чем-то иным, не знаю, не поинтересовался, а теперь уже поздно: ни фамилии, ни адреса я у него не спросил.

И «Батый» ему запомнился, потому что в тяжкие дни военных испытаний память о прежних великих сражениях не может не

придавать уверенности. («Новый мир» в годы войны частенько обращался к историческому роману, говорящему о славнейших страницах истории державы. Тут и «Брусиловский прорыв» С. Сергеева-Ценского, и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна, и «Петр I» А. Толстого, и «Фархад» П. Скорырева...)

«Новый мир», как, вероятно, и другие толстые журналы, делал во время войны большое дело. Опубликовав немало действительно талантливых — интересных, страстных, честных — произведений, он заложил основы отечественной военной прозы, давшей за последние два-три десятилетия книги, которые — уверен в том! — надолго переживут свое время.

Я уже говорил о писателях, в буквальном смысле слова сменивших после сорок пятого штык на перо и поведавших миру истину о великом человеке на великой войне. Но разве родились бы «Живые и мертвые» Константина Симонова без его «Дней и ночей»? Разве прочли бы мы «Особое подразделение» Вадима Кожевникова без его крохотного рассказа «Я вижу»? Разве появился бы роман «За власть Советов» без катаевских «Жены» и «Сына полка»?..

А что до встреч ветеранов войны ежедневно Девятого мая — так пусть они про-

длятся как можно дольше, ну хотя бы до 2000 года. И пусть тесным станет Центральный парк у Москвы-реки, и встречи эти перенесут куда-нибудь в огромное чистое русское поле, и ветеранам не надо будет думать, как туда добраться, на каком автобусе, за ними придут, приедут, отвезут, помогут найти друг друга, и будет это безо всяких мегафонов и репродукторов, а просто молодые ребята, внуки или даже правнуки ветеранов, без лишних слов приведут своих бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек на поляну, где собирается дивизия такая-то, или на луг, где встречаются бойцы такого-то корпуса. Отведут и сами там побудут, послушают, наберутся ума-разума. И радио на этом поле помолчит, передохнет малость неутомимый романтик эстрады, а вот птицы пусть поют: они это делают тихо и ненавязчиво...

Старыми они стали, ветераны мои родные, трудно им без нас — сорокалетних, и без вас — тридцатилетних, и без двадцатилетних трудно, а уж без школьников, без малышни детсадовской и вовсе невозможно. Пусть ветерок гуляет себе по полю, пусть он будет теплым и легким, а мы, повторяю, придем на поле вместе с ветеранами. И пусть мой сын не беспокоится: удобно это, вполне удобно. Они нам нужны так же, как и мы им...



ИРИНА ЛУНАЧАРСКАЯ



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ — РЕДАКТОР И АВТОР «НОВОГО МИРА»

Обстановка, сложившаяся в советской литературе к 1924 году, была сложной. Наряду с ростом русской художественной литературы, которая «выросла в крупную общественную силу», как отмечалось в решениях XII съезда партии, в ней существовали и узкая кружковщина и раздробленность, наблюдалось резкое противостояние, борьба различных литературных групп.

Их теоретические платформы выражали отдельные журналы, которые вели на своих страницах крикливую полемику, пытались присвоить себе право быть «выразителями партийной линии». Одним из основных вопросов полемики было отношение к писателям-некоммунистам, к попутчикам. К этой категории часто относили художников, выступивших в литературе еще до Октябрьской революции и лояльно относившихся к новому строю, готовых работать в советской литературе. Находились такие группы, которые требовали «сохранить чистоту» пролетарской литературы, огульно обвиняли всех старых писателей в буржуазности, враждебности, несовместимости с советской действительностью. В противовес им существовало мнение, что пролетариат еще должен учиться, что ему не по силам «выдавать» зрелые художественные произведения, что советской литературе следует опираться прежде всего на творчество писателей-попутчиков.

Постоянные стычки такого рода не могли мешать нормальному развитию литературы. Остро вставал вопрос о необходимости выработки единой партийной и государственной политики в области литературы, основных принципов руководства литературно-художественной жизнью страны.

А. В. Луначарский считал необходимым как можно обстоятельней обсудить сложившуюся ситуацию, выработать единое суж-

дение о государственной художественной политике. 9 июля 1923 года он писал редактору журнала «Красная новь» А. К. Воронскому: «Не думаете ли Вы, что было бы полезно недели через две собрать маленькую конференцию из своих людей, близких к литературе. Давайте организованно поспорим и попробуем договориться. <...> Вопрос должен быть поставлен так: должна ли быть художественная политика в государстве? Должна ли быть художественная политика в партии? Как согласовать различные мнения, имеющиеся в недрах руководящего советского аппарата и в партийных кругах, и кому поручить в советском и партийном порядке вести достаточно твердо эту линию? <...> Я сторонник большой широты, большого охвата, но вместе с тем — не безликости, не той пестроты, жертвой которой мы в настоящее время стали. У нас ведь, буквально, кто в лес, кто по дрова».

В своей монографии «А. В. Луначарский и советская литература» Н. А. Трифонов отмечает, что «именно Луначарский был инициатором партийного совещания по вопросу о политике в области литературы, намеченного сначала на декабрь 1923 года и состоявшегося при его участии в мае 1924-го».

Совещание было созвано отделом печати ЦК РКП(б) в преддверии XIII съезда партии. Повестка дня: «О политике партии в художественной литературе». Совещание было значительно шире той конференции, о которой писал Луначарский Воронскому. На нем, кроме коммунистов, присутствовала группа писателей-попутчиков. Некоторые из них выступали с решительным протестом против «огульных нападок» на них рапповского журнала «На посту». Анатолий Васильевич Луначарский полностью разделял их возмущение, выступая против

«комчванства» напостовцев. «Нельзя ставить вопроса о литературной политике, не считаясь с особыми законами художества,— говорил он на совещании.— Иначе мы действительно можем уложить неуклюжими политическими мероприятиями всю литературу в гроб, и притом в евангельский поваленный гроб...» — последнее выражение звучало и как производное от аббревиатуры ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, органом которой и был журнал «На посту»).

Луначарский настаивал: «По всем этим соображениям я считаю единственно правильным выводом из нашей дискуссии только тот, что пролетарскую литературу нужно всячески поддерживать как нашу главную надежду, но «попутчиков» ни в коем случае не отталкивать».

В такое время, в такой ситуации и возникла идея создания нового литературно-художественного и общественно-политического журнала, который был бы свободен от узких групповых предубеждений и вкусов, публиковал все то интересное и талантливое, что рождалось творчеством писателей вне зависимости от их кружковой принадлежности.

В юбилейной статье 1965 года А. Т. Твардовский, бывший тогда главным редактором журнала, писал:

«Судьба журнала «Новый мир» характерна и показательна с точки зрения обстоятельств развития нашей литературы в целом, в первую очередь русской. Созданный в соответствии с указаниями партии, журнал имел своим назначением объединить лучшие литературные силы страны, привлечь к активному участию в культурном строительстве нового общества разнообразие круги литераторов».

Журнал «Новый мир» был создан на базе издательства «Известия». Его редакторами стали редактор «Известий» Ю. М. Стеклов (которого вскоре сменил на этом посту И. И. Скворцов-Степанов) и А. В. Луначарский.

Влияние Анатолия Васильевича Луначарского на формирование журнала, начиная с рубрик и подбора материалов, было велико.

Известно, что первой политической статьей, опубликованной в журнале, была неопубликованная рукопись Владимира Ильича Ленина о диктатуре пролетариата.

Там же, в первом номере, «политика» журнала в отношении к классическому наследию утверждалась публикациями, посвященными Н. А. Некрасову (кстати сказать,

одному из любимых поэтов Луначарского, о котором Анатолий Васильевич писал: «...нет в русской литературе, во всей литературе нашей такого человека, перед которым мы с любовью и благоговением склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова»).

В разделе поэзии были опубликованы юношеские стихи В. Я. Брюсова, умершего в октябре 1924 года. Творчество поэта-большевика высоко ценил Луначарский. Публиковались и стихи В. В. Каменского. «Он был из тех, которые сразу перешли на сторону Октября и сразу поступили к нему на службу. Самая ценная служба поэта Октябрю была именно поэтическая служба. <...> Он стал известен и Владимиру Ильичу, которому его поэзия нравилась», — писал Луначарский о Василии Каменском.

Перу самого Луначарского в первом номере журнала принадлежала статья, посвященная Анатолию Франсу.

Так журнал начал свою жизнь в советской литературе.

Позже в статье «Пройденный путь. К 40-летию журнала „Новый мир“» будет подчеркнуто: «С деятельностью Полонского, Луначарского, Скворцова-Степанова связаны первые годы существования «Нового мира». Их взгляды, понимание литературы, вкусы наложили сильнейший отпечаток на журнал и надолго определили его характер и облик».

Луначарский как редактор и как автор, опубликовавший много статей высокой значимости на страницах журнала, расширительно толковал термин «литературно-художественный». Он считал органичным для журнала интерес к музыке, театру, изобразительным искусствам. Особо большое значение придавал он общественно-политическому звучанию публикаций, принципиальной марксистской критике, освещению проблем науки.

Настаивал Луначарский и на том, что журнал должен знакомить читателей с лучшими образцами зарубежной литературы.

Все эти принципы полностью разделял его соредактор И. И. Скворцов-Степанов. Им хорошо работалось вместе, хотя по ряду вопросов их мнения порой и расходились. Единство возникало в спорах, приводивших к взаимопониманию, к единой линии журнала. Это была линия двух близко стоявших к Владимиру Ильичу Ленину выдающихся большевиков, авторитет которых в деле культурного строительства молодой Советской республики был чрезвычайно высок.

Плодотворности этой работы во многом способствовали добрые личные взаимоотношения: Иван Иванович Скворцов-Степанов был другом Луначарского еще по ссылке в Калуге в начале девятисотых годов, они входили там в кружок молодых марксистов-революционеров, страстно занимавшихся научной работой, самообразованием. Вот уж где были споры до хрипоты... Но это были споры людей, высоко ценящих и любящих друг друга.

В том, что было написано Луначарским на смерть Скворцова-Степанова в октябре 1928 года, была выражена вся его огромная любовь к товарищу, вся горечь потери.

В Иване Ивановиче Скворцове-Степанове Луначарский отмечал стремление «критически прощупать каждый камень, который [он] клал на фундамент своей дальнейшей умственной и практической жизни. Отсюда возникало бесконечное количество споров. Иван Иванович был скептиком или, вернее, притворялся скептиком. Он считал своим долгом по всякому вопросу выдвинуть все возражения, которые только находил, спорил усердно, методически...».

Надо думать, что Анатолий Васильевич с его полемическим темпераментом тоже не оставался в долгу в этих, как он говорил, «ожесточенных, но в высшей степени дружественных спорах».

«Все последнее время после Октябрьской революции мне приходилось частенько встречать Ивана Ивановича, много с ним беседовать и, конечно, вблизи наблюдать его работу. Он по-прежнему был молод, и по-прежнему в нем кипел неукротимый оптимизм. Делу социалистического строительства он отдавался весь целиком и глубоко радостно. <...>

Бодрый труд, радость бытия, прямой взгляд на вещи, глубочайшая уверенность в правоте своей партии и своей — таковы были черты, украшавшие жизнь Ивана Ивановича и для него самого и для окружающих его. Владимир Ильич относился к нему с великим уважением. Он ценил огромные знания, которые приобрел Иван Иванович не только в области политической экономики, но и в области философии, естественных наук и т. д. Когда этот переводчик Маркса, соавтор большого экономического труда взялся за популяризацию идей Ильича об электрификации, ему удалось создать настоящий шедевр, настоящий образец в смысле изложения, в смысле подбора материала и в смысле целесообразности всей книги. Недаром Владимир Ильич отзывался о ней с глубокой похвалой.

В течение всех этих годов, и в особенности на посту главного редактора «Известий», Иван Иванович развешивал кипучую работу. Рядом с крупной политической ролью <...> он вел и огромную культурную работу. В его руках «Известия», несомненно, приобрели новый размах.

Прервем цитату из журнала «Красная панорама», чтобы обратить внимание читателя на последнюю фразу. Она безусловно относится и к совместной работе со Скворцовым-Степановым в журнале «Новый мир», которая дала особо богатую пищу для подобных умозаключений Луначарского. Новый журнал создавался в контексте широкой идеологической и культурной жизни страны, и хотя оба редактора занимали ключевые позиции (один — народный комиссар просвещения, координирующий деятельность всех культурных учреждений, другой — главный редактор газеты «Известия» и руководитель крупнейшего издательства), их мнения далеко не всегда совпадали.

Конечно, совместная редакторская работа была вовсе не идиллической.

«Я не всегда бывал согласен с Иваном Ивановичем, когда он начинал критиковать «оглоблей», как он сам выражался. (Анатолий Васильевич имел в виду статью Скворцова-Степанова «Взмах оглоблей», опубликованную в газете «Рабочая Москва» 14 апреля 1922 года. Речь в ней велась об искусстве хореографии.— И. Л.). У меня иной раз голова шла кругом. Ведь оглоблей-то он помахивал в посудном магазине, или, вернее, в музее огромной ценности. Однако я должен сейчас же оговориться. Если Иван Иванович иной раз неуклюже подходил к каким-нибудь тонкостям культуры, то это не мешало ему быть высочайшим ценителем культуры. Ему только претили подчас всякого рода пирожные, когда он ясно испытывал недостаток хорошего, здорового хлеба. К тому же Иван Иванович был сговорчив. Он только чутко хотел, сохраняя свою манеру, прощупать умственными пальцами всякое сделанное ему предложение. Так, одно время Иван Иванович был резким преувеличенным противником «левых» настроений и тенденций в искусстве. По его просьбе я написал об этом статью в «Известиях», где указывал, почему, при всех других недостатках, это течение, глубоко проникнутое урбанизмом, является важным в нашем культурном строительстве. Иван Иванович немедленно по напечатании статьи заявил мне, что хочет об этом со мной подробно побеседовать. (Имелась в виду статья «Театр Мейер-

хольда» — «Известия» от 25 апреля 1926 года, — в которой был дан анализ футуризма как явления в западноевропейском и русском искусстве и тех изменений, которые претерпел русский футуризм после Октября, («при соприкосновении с революцией». — И. А.)

Мы сделали это, горячо поспорили, и в конце концов Иван Иванович с обычной в таких случаях добродушной улыбкой сказал мне: «Ты тут прав, тут мы внесем в нашу ориентировку поправочки». Вскоре после этого Иван Иванович собрал большое совещание сотрудников своего журнала «Новый мир». Он просил меня сделать там нечто вроде литературной декларации и при этом сам взял слово и, к моей большой радости, рядом с целой серией очень умных мыслей по поводу литературы и ее роли уже совершенно определенно подчеркнул свое положительное отношение ко многим сторонам ЛЕФа и укреплению подобных течений».

Ограничим этим выдержки из воспоминаний-некролога, воздав дань уважения памяти одного из создателей журнала и сделав некоторые важные для истории «Нового мира» выводы. О том, что старая дружба, близкие, открытые отношения свободно допускали и горячие споры редакторов, приводящие к взаимопониманию... О том, что декларация Луначарского не могла не оказать влияния на характер публикаций в журнале (в частности, вторая книжка журнала за 1927 год содержала статью Луначарского «„Ревизор“ Гоголя — Мейерхольда»)... Во второй статье-некрологе, принадлежавшей перу Луначарского и опубликованной в журнале «Прожектор», «О замечательном человеке Иване Ивановиче Скворцове-Степанове», говорилось, в частности:

«Журналистику он понимал как учительство: во-первых, информировать широко и точно; во-вторых, информацию освещать так, чтобы она не преломлялась неправильно в умах читателей; в-третьих, давать большой культурный материал, который постоянно поднимал бы уровень читателя как в отношении всего его мировоззрения, так и в смысле количества его знаний...»

Строки чрезвычайно знаменательные и звучащие актуально для журнальной практики и в наши дни.

В. П. Полонский, который стал «практическим» редактором «Нового мира», в апреле 1929 года ввел некоторые новшества в журнале, о чем можно узнать из его письма Анатолию Васильевичу, извещаю-

щего, что журнал теперь будет иметь редакционную коллегию, куда вошли Луначарский, Полонский, В. И. Соловьев и А. Мальшкин... «Первое заседание 3/VI в 5^{1/2}. Очень просим Вас приехать, так как несколько общих вопросов хотелось бы разработать с Вами».

К этому времени Вячеслав Павлович Полонский уже более трех лет вел номера «Нового мира». Он имел большой опыт редакционной работы, был одновременно редактором журнала «Печать и революция» (где членом редколлегии был и Анатолий Васильевич), много и интересно писал по проблемам литературы, выпустил книгу о Бакунине.

Усилия редактора, повседневно работающего с авторами и литературными сотрудниками журнала, принесли ощутимые плоды — об этом с радостью Луначарский писал Полонскому.

Будучи редактором журнала, Луначарский, как показывают архивные материалы, активно участвовал в его работе: читал огромное количество рукописей, рецензировал их, подбирал интересные материалы для публикации, обсуждал планы журнала и т. д. В письме Полонскому от 24 марта 1926 года Луначарский рекомендует повесть, написанную Н. Д. Кошелевым (псевдоним Игрушкин) — коммунистом, начинающим писателем, очень симпатичным человеком, повесть Н. Г. Шкляра и свою статью о «последнем произведении Ромена Роллана» — пьесе «Игра любви и смерти». «Мне кажется, что статья эта довольно значительна и довольно интересна», — писал Полонскому Луначарский. Ниже мы еще коснемся этой статьи.

Сохранилось удивительное письмо Луначарского Полонскому — подлинно литературоведческое эссе. Посвящено оно французскому писателю Жану Жироду:

«Я знаю, что Вы не очень охотно печатаете иностранных авторов, но я все-таки горячо рекомендую Вам рассказ Жироду «Эстелла». Вы, вероятно, знаете, что Жироду — самый модный и самый прославленный писатель из молодых писателей Франции, и в некоторых своих вещах он действительно превосходен. Прежде всего он необыкновенно совершенный стилист. Вот кого можно без натяжки назвать имажинистом. Каждая из его страниц — целый град подарков в виде блестящих сравнений и сверкающих парадоксов <...> Но Жироду не только стилист, он, в сущности, пустой мальчик и может писать иногда ровно ни о чем, возводя свои узоры вокруг какой-нибудь совершенной ерунды, хотя он может

время от времени напасть на какую-нибудь дикую идею, оказаться во власти бошефобства, но вместе с тем он не лишен чисто французской грациозной иронии. Он недаром много читал Анатоля Франса, хотя, несомненно, он бесконечно более манерный писатель. Но все-таки запах Франса в нем есть, и как раз «Святая Эстелла» сильна именно этим, так сказать, франсизмом. Это не только великолепное упражнение на словесном рояле, но и очень неплохой антирелигиозный этюдик. Я прочел его с восхищением, правда по-французски он значительно ароматнее, но и в русском переводе доставит удовольствие читателям».

Заслуживает внимания самое начало письма: Анатолий Васильевич был убежден в необходимости постоянно знакомить советского читателя с современной западноевропейской литературой.

Мнения и литературные вкусы редакторов журнала, понятно, не всегда совпадали. В письме от 13 мая 1926 года Луначарский очень корректно дает понять это Полонскому:

«Вместе с тем я хотел сказать, что в общем и целом мне чрезвычайно нравится «Новый мир», каким он стал под Вашим руководством, но что возбуждает во мне сомнения — это большая повесть Сергеева-Ценского. По мере ее развертывания с теми мнимыми изображениями всевозможных надругательств над большевиками начинает производить впечатление в высшей степени садическое, и в корне вещь почти антиреволюционная. Боюсь, что впечатление, которое получилось у меня от нее, совпадает с впечатлениями многих других. Ценский, конечно, имя, но мне кажется, что впредь все-таки следует избегать в литературе ошеломленных революцией людей, для которых кульминационным пунктом ее является проявленная людьми звериная жестокость».

Луначарскому всегда глубоко претила всякая гипертрофия эксцессов, жестокости, натурализм. Об этом свидетельствуют многие его критические статьи и теоретические работы, не говоря уж о личных письмах и дневниках.

Мне думается, что Луначарский в этом письме, делая комплимент по поводу журнала, не хотел «подсластить пилюлю». Нет, ему действительно нравился журнал и тем более обидны были его промахи. Взгляды Луначарского и Полонского были близки, но литературные вкусы не всегда совпадали. Так, весьма резко осудил Луначарский публикацию в журнале «Повести о стар-

шем брате» С. Спасского. Он писал Полонскому в марте 1930 года:

«Рассказа я раньше не видел, и напечатан он без моего ведома, что и естественно при установившемся порядке, в котором никто не виноват. Во всяком случае, прочитав рассказ, я нашел его слабым. Думаю, что вокруг великих теней не следует бродить, когда пишешь слабо, а слабо написанное о великих тенях, пожалуй, не следовало бы печатать. Я бы эту повесть вряд ли бы одобрил для напечатания...»

Как важна эта мысль о бережном и тактичном отношении писателей к «великим теням»... Что же касается слов об «установившемся порядке, в котором никто не виноват», то тут можно сказать одно: «виновата», конечно, была страшная перегруженность Анатолия Васильевича. Она усугубилась, во-первых, избранием его действительным членом АН СССР, членом президиума которой он стал, а во-вторых, постоянной дипломатической миссией в качестве заместителя главы советской делегации на переговорах о разоружении в Лиге Наций. С 1927 года Луначарский должен был ежегодно проводить долгие недели, а то и месяцы в Женеве. К этому надо прибавить частые и длительные командировки по Советскому Союзу и за рубеж...

Стоя у истоков журнала, дав ему основное направление в содружестве с И. И. Скворцовым-Степановым, Луначарский внес заметный вклад тем, что поддерживал журнал своим авторитетом, принимал личное авторское участие в развитии «Нового мира».

Можно с уверенностью сказать, что все статьи, опубликованные Луначарским в журнале, носили глубокий, принципиальный характер. Почти все они переизданы, так как сохранили свое значение и в наши дни. И еще следует заметить, что все они ярко отражают время — вторую половину 20-х годов с ее полемической остротой, идеологической борьбой.

Как уже говорилось, в первом номере «Нового мира» за 1925 год появилась большая статья-некролог «Анатоль Франс». Основные ее положения были впоследствии развернуты в других работах Луначарского о любимом писателе.

Анатолий Васильевич прослеживает его творческий путь от «восхитительных исторических миниатюр» — стилизаций под «старые книги», — через серию романов «Современная история», герой которых

Бержере, «переживая тонко нарисованные личные драмы, интересен, главным образом, как беспристрастный, культурный, благородный, в стороне стоящий летописец современности», к сатире на современное общество. А. Франс «переходит в наступление», как писал Луначарский.

В шестой книжке журнала за тот же 1925 год была опубликована одна из значительнейших работ Анатолия Васильевича по социологии музыки — «Танеев и Скрябин».

В предисловии к сборнику статей Луначарского «В мире музыки» И. А. Сац писал: «Статья «Танеев и Скрябин» может служить образцом чуткости к музыкальному материалу, понимания индивидуальности и культурно-исторического значения изучаемых авторов. Луначарский видит в творчестве Танеева и Скрябина яркое выражение двух сторон, двух тенденций предреволюционного периода в России. <...> Значительность и мощь произведений этих музыкантов как бы предвещали близость социалистического переворота и свидетельствовали о его необходимости в стране, которая была родиной обоих замечательных людей».

Приведем документальное свидетельство того, какое значение придавал Скворцов-Степанов авторскому участию Луначарского в «Новом мире». В архиве Луначарского сохранилось письмо секретаря редакции «Нового мира» Ф. В. Гладкова от 25 июля 1925 года, в котором он сообщает, что на состоявшемся редакционном совещании «решено было обратиться к Вам с просьбой написать две статьи для «Нового мира»: 1) о 200-летнем юбилее АН СССР и 2) о творчестве М. Горького. Первую — для сентябрьской книжки, вторую — для октября».

Естественно, что перегруженный работой Анатолий Васильевич не мог выполнить этого решения редколлегии, принятого в его отсутствие. Но первую просьбу выполнил. Статья, посвященная 200-летию Академии наук СССР, опубликована в октябрьском номере журнала.

В марте следующего года Луначарский публикует в «Новом мире» резко критическую статью по поводу искажений редактором русского перевода В. Перцовым книги немецкого художника Георга Гросса, «одного из крупнейших талантов современной графики»; книга называлась «Искусство в опасности», и Луначарский писал в связи с ее изданием:

«Гросс оставляет для искусства только два пути — производственный и идеологический, который называет еще более резким словом — тенденциозный. Все остальное он считает глубоко буржуазным, упадочным, всему остальному он предрекает смерть — в частности, от руки фотографии и кино. Постановка вопроса крайне резкая, но совпадающая с линией Наркомпроса. Я, как руководитель художественной политики Наркомпроса, беспрестанно — может быть, чаще, чем это было нужно, — напоминаю художникам именно об этой двойственности коренной задачи искусства: задачи производственной, служащей к украшению быта, и задачи идеологической — организации чувств и мыслей нового класса».

Чудовищным называет Луначарский толкование В. Перцовым мысли Гросса о том, что «единственное искусство есть пролетарское агитационное искусство», доказывает, что, в сущности, всякое искусство всегда было агитационным, но агитировало во вред человечеству и во славу паразитных классов. В. Перцов излагает его идеи так: «Гросс, в конечном счете, допускает исчезновение художника как такового».

Не будем множить цитат. Статья эта многократно переиздана. Обратим лишь внимание на то, как понимал Луначарский задачи журнала «Новый мир», предлагая эту статью для публикации: журнал призван отражать на своих страницах острые проблемы борьбы против искажений идеологических основ пролетарского искусства.

Большое значение в творчестве Луначарского имеет статья о пьесе Романа Роллана «Игра любви и смерти», последнее тогда произведение французского писателя. Ее звучание удивительно: Луначарский беспощадно критикует любимого писателя и друга — за мотивы пацифизма, за попытку встать «над битвой». Это ли не современный донкихотизм!

«Идея современного донкихотизма, — пишет Луначарский, — особенно ярко возникла в моем уме, когда я присутствовал при беседе между Владимиром Ильичем Лениным и М. Горьким. Горький жаловался на обыски и аресты у некоторых людей из интеллигенции Петрограда.

— У тех самых, — говорил писатель, — которые когда-то всем нам — вашим товарищам и даже вам лично, Владимир Ильич, оказывали услуги, прятали нас в своих квартирах и т. д.

Владимир Ильич, усмехнувшись, ответил: — Да, славные, добрые люди, во именно

потому-то и надо делать у них обыски. <...> Ведь они славные и добрые, ведь их сочувствие всегда с угнетенными, ведь они всегда против преследований. <...>

И Владимир Ильич рассмеялся совершенно беззлобным смехом.

Среди интеллигенции есть такая часть, которую многие и многие привыкли называть «лучшей», которая чувствует себя, согласно характерному названию одной из книг Ромена Роллана, «над битвой». В сущности говоря, она, конечно, находится не «над битвой», а путается под ногами борющихся.

Луначарский говорит, что пьеса «Игра любви и смерти» вполне может стать «художественной легендой» о «мученике нового пацифизма, пацифизма роллановского и толстовского типа». Анализ драматургического произведения приводит критика к выводу, что «овцы толстовского и роллановского стада фактически делают то же волчье дело, мнимо находясь в борьбе с волками, но растекась речами перед буржуазным Васькой, который доедает курочка. Они являються смешными, отвратительными и опасными. Чем благороднее те фразы, которыми украшают они себя при этом, тем большую опасность они собой представляют. Вне лагеря волков, лисиц и овец взмывается растущий лагерь подлинных людей, а между ними залегли огромные массы существ, еще не определившихся, но желающих быть людьми. И в то время как мы зовем к активной человечности и к жестокой жертвенной строительной работе во имя будущего, Ромен Роллан расписывает перед ними овечьи идеалы...».

Сложные вопросы взаимоотношений революции и интеллигенции, мысль о разрешении социальных проблем активным действием, а не разглагольствованием о добре и зле всегда волновали Луначарского. В его драматургии не однажды критически анализируются образы людей добрых, умных, но не определивших своего места в борьбе и в силу этого предающих в решительный момент правое дело. И вот в этом случае:

«Тип подобного человека, не только глупо благородного вообще, но... очень ценного в те годы, когда борьба прошумит и когда мы начнем строить действительно братскую жизнь, перековывая мечи на орала, тип такого человека, который в силу несвоевременности своего не критического братолюбия становится на самом деле врагом своего идеала, ибо отрицает, портит, саботирует единственные пути, которые на самом деле ведут к победе, к миру на земле,— меня очень интересовал. Я посвятил

этому типу мою пьесу „Освобожденный Дон Кихот“».

Неувядаемую живучесть этой темы подтвердило время. После постановки пьесы «Освобожденный Дон Кихот» в нашей стране она с успехом шла в Берлине, потом в Токио и Гааге. После войны к пьесе обратились в Венгрии и Чехословакии. Примечательны ее постановки в Лиссабоне в 1975 году и в Мадриде в 1979-м.

В седьмой книжке журнала за 1926 год вышел рассказ Жироду «Святая Эстелла» с предисловием Луначарского, а номера восьмой и девятый содержали рецензию Луначарского на книгу известного искусствоведа И. Л. Маца «Искусство современной Европы».

В следующем году была опубликована статья «„Ревизор“ Гоголя — Мейерхольда», написанная с большим полемическим темпераментом, резко по отношению к оппонентам. Статья начиналась с констатации:

«Видно, мне на роду написано особенно часто расходиться с большинством наших театральных критиков по вопросу о Мейерхольде. <...>

«Ревизор» — это самый убедительный спектакль Мейерхольда. <...> Здесь он имеет дело с типами, по всей справедливости претендующими на то, чтобы, оставаясь возможно более крепко в лоне своей живописной эпохи, вырастать до общечеловеческих масок — по крайней мере в пределах внимания досоциалистического общества».

Луначарский категорически отвергает обвинения в адрес Мейерхольда, якобы насаждающего в спектакле мистицизм, неправильно использующего варианты пьесы, которые отброшены самим Гоголем: «Кто может поручиться, что тот или другой вариант не быди выброшены Гоголем, чтобы не слишком шокировать чопорную публику петербургских чиновников?»

Мейерхольд, по словам Луначарского, «претендует на то же право, каким пользуется кино,— мечты и всякие другие характерные внутренние переживания инсценировать как фантастическую реальность. <...> Мистика ли это? Да с каких же пор, черт возьми, это мистика? Почему же романист имеет право рассказать, каким представляется мир пьяному человеку, а театр этого показать не может?».

Спектакль, по мнению Луначарского, «с невероятной выпуклостью» показал, «что Гоголь сквозь сатиру на мелкое чиновничество... бил глубже, в основное плотоядно-чревоугодное мирозозерцание этой «толстогадой» Руси».

Заканчивая статью, Луначарский пишет: «Говорят о провале «Ревизора». Какие пустяки! Провала здесь быть не может. Это труд, в который крупный художник внес массу старания, таланта, в котором он вступил на новый, плодотворный путь.

История отметит этот спектакль».

В монографии о жизни и творчестве В. Э. Мейерхольда ее автор К. Рудницкий по прошествии пяти десятилетий констатирует: «Луначарский верно разгадал замысел Мейерхольда, по достоинству оценил структуру произведения, уловил его глубокие, отнюдь не прямые связи с Гоголем, остро ощутил современность спектакля».

Принципиальное значение имела статья Луначарского «Тезисы о задачах марксистской критики», появившаяся в шестом номере журнала за 1928 год. В ней глубоко анализируются задачи, стоящие перед критиком-марксистом. Подчеркивается роль искусства, литературы в особенности, в борьбе за «социалистические устремления пролетариата». В борьбе как с «сознательно враждебными течениями буржуазного порядка», так и со стихией «мещанских бытовых явлений».

Марксистская критика, как и вся наша литература, призвана «быть интенсивным, энергичным участником процесса становления нового человека и нового быта».

Мысль Луначарского противостоит идеализму и формализму, он подчеркивает неразрывность литературы и социального бытия, классовых отношений. В то же время критик резко выступает против вульгарного социологизма, попыток подчинить литературу материальным, экономическим интересам, поставить в прямую связь с формами производства.

Луначарский, утверждая, что «момент оценки должен быть поставлен в современной марксистской критике чрезвычайно высоко», подчеркивал при этом: критик-марксист «должен быть учителем по отношению к писателю» и в то же время «у писателя учиться», потому что «именно из сотрудничества крупных писателей и литературных критиков с крупными талантами всегда вырастала и впредь будет вырастать истинно великая литература».

Луначарский настойчиво повторял: «Вообще мы находимся в сфере идейной борьбы. Отказаться от характера именно борьбы в деле нынешней литературы и ее оценки ни один последовательный и честный коммунист не может».

Как было не вспомнить идейную целеустремленность, долгую жизненность тези-

сов Луначарского в тот момент, когда на юбилейном пленуме Союза писателей СССР 25 сентября 1984 года прозвучали такие слова Генерального секретаря ЦК нашей партии Константина Устиновича Черненко: «...наш отечественный, да и мировой опыт показывает, что великая литература, большое искусство не могут существовать без высокопрофессиональной, граждански ответственной критики. А это значит, что марксистско-ленинская критика должна не только точно оценивать те или иные произведения. Мы ждем от художественной критики большего. Умения обнажать глубинный общественный смысл проблем, которые затрагиваются в произведениях, поддерживать авторов, если они верно их ставят, аргументированно спорить с ними, когда они заблуждаются. Словом, наша критика должна помогать движению духовной жизни народа. Вот почему, как считал Ленин, необходимо «связать и литературную критику теснее с партийной работой».

В 1929 году, предлагая журналу статью «О «многоголосности» Достоевского (по поводу книги М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского»)», Луначарский писал Полонскому: «Среди большого количества книг, прочитанных мною за время отпуска, была и книга Бахтина о Достоевском. Книга хорошая, но во многом недоговоренная. Кое в чем мне захотелось ее договорить. В результате вместо рецензии, которой я хотел откликнуться на книгу, получилась статья, которую я и посылаю Вам для «Нового мира»».

Статья хорошо известна современному читателю. В ней точно уловлено и великолепно доказано своеобразие, глубинная сущность «многоголосности» Достоевского. Луначарский основывает свои выводы на повышенной чувствительности писателя, его «обнаженности нервов», как назвал это Луначарский.

Анализируя отношение Достоевского к окружавшему его миру и к религии, указывая на социальные причины, которые «породили одновременно и его мирозерцание, писательскую манеру и его болезнь», Луначарский характеризует великого писателя «мучительным и нужным отразителем смятения своей эпохи».

В декабре 1932 года из Берлина была прислана в журнал статья А. В. Луначарского «Барух Спиноза и буржуазия». Любопытно, что авторская дата статьи — 19 декабря, следовательно, в редакцию статья

не могла попасть из Берлина раньше 25 декабря. Но все же она была опубликована в первой книжке журнала за 1933 год! Несколько слов об истории написания этой статьи.

В июле 1932 года в Гааге состоялся международный конгресс, посвященный 300-летию со дня рождения Спинозы. Однако Советский Союз не был приглашен для участия.

Одновременно с этим конгрессом в Голландии состоялся конгресс историков, в котором участвовала делегация СССР. членом ее был Анатолий Васильевич. Внимательно следя за иностранной прессой, он мог сделать выводы о работе юбилейного конгресса спинозистов и был крайне возмущен его характером, оскорбительным, как он считал, для памяти выдающегося мыслителя.

Тяжелая болезнь и операция, которую Анатолий Васильевич перенес в ноябре в Берлине, множество неотложных литературных работ, в частности три большие статьи, посвященные юбилею Горького, задержали работу над статьей о Спинозе. Тем не менее свой замысел он довел до конца.

В статье Луначарский рассматривает различные аспекты мирозерцания Спинозы и отношение к нему выдающихся философов и художников разных эпох и направлений, включая современность.

Исходным пунктом, побудительным мотивом для написания статьи надо считать отношение к творчеству Спинозы пролетариата, наследующего, по выражению Энгельса, всё лучшее, что создано в мировой культуре. Это положение Луначарский формулировал так:

«Если мы прямо поставим перед собой вопрос: является ли Спиноза идеологом буржуазии? — то на этот вопрос мы неуловительно должны ответить: да.

Но если после этого нас спросят: значит ли это, что мы уступаем Спинозу буржуа-

зии, что мы будем равнодушными свидетелями ее проделок над великим философом, что мы с улыбкой будем умывать руки при виде искажений, отрицаний, злобных принижений Спинозы, которыми буржуазия в течение столетий окружала его имя, также при виде тех иудиних поцелуев, какими она от времени до времени (в частности, именно теперь), старается испачкать лик мудреца, чтобы объявить его своим? — то на этот вопрос мы самым решительным образом отвечаем: нет». Именно то, что Спиноза оказался «отщепенцем своего класса», позволило ему «стать глубоким и радикальным выразителем всего духа буржуазного класса в целом», делал вывод Луначарский. Что же касается самого повода для написания статьи, однозного конгресса спинозистов, то по этому вопросу Луначарский так говорил в заключение статьи: «Представителям диалектического материализма ни в коем случае не надо уклоняться от подобных конгрессов... Пусть буржуазия не пускает нас туда под разными предлогами... Мы же должны появляться всюду, где возможно, и... со всей революционной решительностью по существу — пропагандировать наши мнения, защищать наши точки зрения... заключать согласно указанию Ленина союзы с подлинными учеными, бессознательно или полусознательно близкими к диалектическому материализму...»

Вслед за этим большим материалом в майской книжке журнала была опубликована статья «Выставка картин Кончаловского» и, наконец, в июне 1933 года — рецензия на книгу М. Живова «Глазами иностранцев».

Это была последняя, тринадцатая публикация Анатолия Васильевича Луначарского в последний год его жизни, Луначарского — одного из основателей журнала, Луначарского — активного автора «Нового мира».

ЖИЗНИ И ЖИЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Бочаров. Внутренний свет. — **В. Хмара.** О времени и о себе. — **Василь Быков.** Талант ученого — талант художника.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Шахназаров. Всего дороже. — **С. Меринов.** Наше общее достояние.

Литература и искусство

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ

Евгений Воробьев. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1983. Т. 1. Капля крови. Рассказы. Высота. 719 стр. Т. 2. Земля, до востребования. 688 стр.

Произведения Евгения Воробьева, особенно романы «Высота» и «Земля, до востребования», получили в критике широкое и благожелательное освещение. Теперь же, когда вышел двухтомник его избранной прозы, хочется выделить то наиболее характерное, что сохранял и совершенствовал писатель в своей художественной манере на протяжении всего сорокалетнего творческого пути. Или, говоря высоким критическим слогом, найти художественную доминанту его прозы.

Произведения Воробьева насыщены жизненными реалиями. Можно долго перечислять яркие удачи в изображении военного быта в «Капле крови», повседневного быта в «Высоте», зарубежного быта в «Земле, до востребования». Все, о чем он пишет, ему известно досконально. Воспроизводит ли он подробности фронтового быта, вникает ли в уклад жизни и труда строителей, опирается ли на документы и свидетельства о деятельности советского разведчика, у нас нет сомнений в достоверности его рассказа.

Не трудно понять, откуда ему известно, что подметки немецких солдат были на тридцати двух гвоздях и что танкисты любили встречный или боковой ветер: быстро сносит дым от выстрела и снова видна цель, — такого рода сведения исподволь откладывались в запасниках памяти фронтовика. А вот для того, чтобы заметить, что в южных городах Италии фруктовые лавки, рыбные и цветочные магазины располагались на теневой стороне улицы или что у жителей Генуи произношение одновременно певучее и гортанное, нужна особая расположенность к такому цепкому художническому зрению и запоминанию.

И при такой фактурной житейской достоверности проза Е. Воробьева тяготеет к очевидной исключительности коллизий и характеров.

Сюжет романа «Капля крови» воссоздает несчастую, скажем прямо, ситуацию: четыре бойца отрезаны во время атаки от своих и укрылись в подвале одного из домов обезлюдевшего немецкого городка; и не просто отсиживаются там, а ведут, по мере сил, разведку, устраивают диверсионные вылазки. И вот возникает совсем уж крайний случай. В подвале осталось двое: раненный в обе ноги старшина-танкист и раненный в плечо солдат-пехотинец. У танкиста есть пистолет с одним патроном — чтоб не дать врагу живым, если их обнаружат. И все-таки он дает пистолет — последнюю опору в своем бедственном состоянии — пехотинцу, и тот совершает дерзкую вылазку в расположение врага. Снова есть оружие, нашелся даже снапс во фляжке — промыть раны танкисту.

Писатель рассказывает об исключительном, не отступая от того, что бывало на войне. Он дотошно подсчитывает, сколько патронов осталось в диске, или сообщает, что давали на воскресный обед в тюрьме Санто-Стефано (иногда такие подробности даже перегружают текст), а рядом показывает подвиг бойцов, подорвавших гранатами вражеские автомашины, или действия подпольной организации в концлагере.

Примерно то же и в «Высоте». Поставив в центр повествования людей редкой профессии — монтажников-высотников, он доводит действие до исключительного напряжения. Налетевший шквал раскачивает поднятую, но еще не закрепленную круп-

ную деталь — царгу. Раскачиваясь, она может повредить конструкции строящейся домны... И верхолаз ухватывается за проносящуюся царгу, забравшись на эти страшные качели, завязывает трос, чтобы оттяжками закрепить ее. Но тут же, в этом же эпизоде, автор не забывает деловито сообщить: «Токмаков... мысленно благословил добротный, гибкий трос в дюйм с четвертью толщиной, из шести витков по тридцать семь ниток в каждом витке, да еще пеньковый канат посередке — трос, на котором висела царга».

Примечательно и то, что все эти острые ситуации расположены где-то в середине повествования и не служат ни торжественным завершением сюжета, ни окончательной проверкой качеств героя. Действие движется дальше.

В романе «Земля, до востребования» подробней всего повествуется о мученическом пути Этьена—Маневича через нацистские тюрьмы и концлагеря. Писателю понадобилась немалая профессиональная дерзость, чтобы роман о разведчике посвятить его судьбе после ареста. Не лихо переигрывающий врагов, а схваченный и осужденный — такой судьбы разведчика еще не знала наша военная проза.

Но в том-то и дело, что для Е. Воробьева это не дерзость и даже не следование кропотливо собранным фактам, а суть его манеры: вписывать исключительное в реальное ради воссоздания самой атмосферы события. А опирается такая творческая установка на твердый принцип: доверять человеку, восхищаться духовным величием человека.

Доверие к человеку у каждого прозаика сказывается по-своему. Одни предпочитают изображать людей в повседневном быту, другие — в экстремальных ситуациях, третьи — посреди нетронутой природы и т. д. Нелепо противопоставлять одну манеру другой, но и разницу следует видеть.

В «Капле крови» встречается такое суждение: «Война делит всех людей на плохих и хороших. Был человек хороший — на войне лучше станет. Плохой человек — обязательно сделается хуже». А вот один из любимых автором персонажей «Высоты» убежден в ом, что, «за редким исключением, каждый человек по-своему талантлив, что каждый человек хочет работать как можно лучше». Противоречие здесь лишь видимое. Воробьеву, конечно, известно, что есть плохие люди, но по-настоящему влекут его те характеры, в которых просвечивает человеческая талантливость. Здесь, может быть, кроется и объяснение тому, что

неприятный писателю персонаж «Высоты» перестраховщик Дерябин изображен плоско фельетонно: не интересуют писателя или не даются ему такие фигуры.

Слияние обыденного с исключительным можно видеть и в выборе коллизий и в облике персонажей.

Пехотинец-десантник Пестряков из «Капли крови» напоминает Василия Теркина. В частности, склонностью к балагурству.

Солдаты всегда любили балагуров. И это не случайно. Балагурством заменялись многие отнятые войной увеселения, заряжалась энергия или, как мы теперь говорим, поднимался тонус.

Не случайно и Шолохов в «Они сражались за Родину» столь много места уделил балагурству Лопихина. Сохранить жизнестойкость в отступающем после кровопролитных боев полку — дело непростое. Вот и Пестряков — олицетворение народной жизнестойкости.

Причем у него нет каких-то особых баек и забавных историй, как у Лопихина. В надежном подвальном убежище он словно во время перекура на марше вспоминает про «наркомовские сто граммов»: «Когда нарком ту норму утверждал, он о танковых десантах понятия не имел. Не знал, что будут такие пассажиры-мученики. А то бы не меньше четвертинки каждый божий день выделял». (Вспомним теркинскую шутку из главы «Переправа», когда герой просит у полковника повторить «наркомовскую»: «Так два ж конца...») А вот отвечает на вопрос, почему к концу войны он все еще без награды: «Четыре ранения за мной, в пятой части-подразделении воюю. Десантники! Сегодня этим придадут, завтра на другие танки посадят. Как пассажир без плацкарты». Это неожиданное, из мирных времен, сравнение и смягчает понятную горечь, и снимает всякое подозрение в том, что он сочувствия выпрашивает (кстати, такого же «простонародного» происхождения та ироническая интонация, которая присуща и самой авторской речи в других романах и рассказах).

Подобно Теркину, Пестряков не просто храбр, а находчив в самых разных ситуациях: в бою, в нападении на вражеского часового, в уходе за раненым танкистом, в умении раздобыть съестное. И наконец, он всегда чувствует себя уверенно, и не случайно становится, нет, не командиром, а как бы неформальным лидером, чье первенство все признали, потому что, наученный крестьянской судьбой и солдатским опытом, он здраво, без горячки рассудителен, умеет повести за собой.

Примечательно и то, что в «Высоте», написанной еще до «Капли крови», Воробьев избрал одним из центральных героев лихого монтажника Пасечника (который как раз и «укрошает» царгу), тоже балагура. Лихостью и балагурством Пасечник выигрывает отличается от центрального героя Токмакова, человека вполне достойного, но, увы, лишенного обаяния.

Пестряков и Пасечник — персонажи, четко вписанные в систему нормальных будничных отношений и реалий. А рядом с этими героями двух романов встает совсем иной персонаж — полковник Лев Маневич, который самоотверженно и рискованно исполнял долг разведчика и героически вел себя в тюрьмах и на каторге. Тут и краски, которыми пользуется прозаик, живописуя романтического разведчика, совершенно иные. И все-таки Маневич в чем-то близок тем неромантическим персонажам, кто любит риск, как Пасечник, и осторожен, как Пестряков. Так разные герои снова возвращают нас все к тому же сплетению, слиянию бытового и исключительного, которое характерно для прозы Е. Воробьева.

Автор подробно излагает, какими путями раздобывались деньги для тюремного питания Маневича, но оставляет без внимания внутреннюю жизнь жены и дочери разведчика. Воробьева особенно влекут героические ситуации. Поэтому он охотнее пишет о невесте одного из заключенных, Ориелле, выполнявшей рискованную роль связной, чем о жене Маневича, опасных заданий не выполнявшей. Дело — вот главная проверка героизма.

И рассказ «Шелест страниц» тоже построен на соединении бытового и героического: готовящаяся в библиотеке к экзаменам Капа привлекает своим усердием внимание библиотекарши Юлии Ивановны, и та рассказывает девушке историю своей любви в военные годы к разведчику, появившемуся в Ленинграде на короткий срок между двумя заданиями. Так и идут, перемежаясь, история неустроенной Капиной судьбы и история гордой судьбы Юлии Ивановны.

В чем секрет того, что «Высота» — один из немногих производственных романов конца 40-х — начала 50-х годов, выдержавший испытание временем? Да и экранизация романа не утратила зрительского интереса к себе и сегодня, хотя мы повидали уже столько фильмов о производстве. Наверное, в этом органическом сплаве возвышенной мечты и рядовой каждодневности, романтики труда и будничной текучки.

И в повести о фронтовых разведчиках с намеренно приземленным заглавием «Форма одежды зимняя» находим примерно тот же сплав. При чтении «Высоты» бросаются в глаза контрасты: жара, пыль, усталость и тут же «то молочно-голубое, то сине-фиолетовое пламя вольтовой дуги выхватывает из темноты одни конструкции, отбрасывает фантастические тени на другие или вдруг освещает ажурную мачту крана». Здесь же — грусть знатного клепальщика Карпухина по поводу того, что клепка отныне уступает место электросварке, а ему, герою труда, останутся лишь второстепенные работы.

В горестной тональности рассказано о гибели Пестрякова, который из-за контузии и потери слуха не услышал завывания минь, или о судьбе подростка, вызволенного из немецкой неволи и убитого при штурме Кенигсберга (рассказ «Гуд соли»). Со щемлящей болью говорится о мытарствах Этьена—Маневича, затем о его смерти, а ушел он из жизни в радостный день Победы — 9 мая 1945 года!

И эта авторская грусть тоже по-своему связует обыденное с исключительным! Она согласуется с общим убеждением Воробьева: необходимо зорко вглядываться в каждого человека, чтобы стал виден свет его души, преисполненной чувством долга и ответственности.

Вчитаемся в рассказ «Однуполчане». В часть приходит новобранец, отец которого служил в ней в военные годы и погиб. А полковник никак не может вспомнить, где воевал Коротков-старший и при каких обстоятельствах он погиб. И только по услышанной спустя какое-то время присказке молодого солдата «Как работать — мальчики, как обедать — мужики» он вспоминает героически погибшего при захвате плацдарма на Немане солдата, произнесшего в немыслимых условиях боя эту спокойную присказку (любит Воробьев тех, кто спокоен во время боя!).

Мучительность воспоминаний полковника сообщает небольшому эпизоду художественную объемность. Здесь трудная память о войне, горькое сознание невосполнимости утрат.

И снова охватывает нас двойственное чувство: да, сын заменил отца в строю, но это ведь, в сущности, радость со слезами пополам — можно заменить отца в строю, но можно ли заменить его в нашей памяти?!

Герои Воробьева уточняют свои жизненные позиции в неторопливых беседах, воспоминаниях, рассказах о своем прошлом.

В «Капле крови» вдруг завязывается разговор о том, когда «лучше» умереть — в начале или в конце войны? С одной стороны, не маяться всю войну, но с другой — жалко не увидеть победу... Тому, кто воевал да валялся по госпиталям долгие четыре года, вопрос представлялся куда как не праздным. И разведчик Маневич после восьми с половиной лет тюремно-каторжных мытарств, умирая 9 мая 1945 года, задает себе сходный вопрос: «Дождаться свободы, когда совсем не осталось сил, когда нечем жить, — разве это справедливо?.. Может, было бы менее мучительно — вовсе не выйти из лагеря, не беречь себе душу прикосновением к свободе, уже недостижимой, недоступной?..» Вряд ли кто-нибудь

отважится подсказать героям Е. Воробьева однозначный, не допускающий сомнений ответ.

Нет, не стану уверять, что все разговоры персонажей в прозе Евгения Воробьева столь же содержательны: часто они бывают длинноваты, несколько риторичны. Но наиболее глубокие из них поддерживают ту духовную пульсацию, которая присуща этой прозе, создают здесь своего рода пики интеллектуального напряжения.

И есть в них тот внутренний свет, который старается увидеть в человеке автор, сосредоточенно исследующий социальные и духовные истоки героизма.

А. БОЧАРОВ.



О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Виталий Озеров, Современники и предшественники. Литературно-критические очерки. М. «Советский писатель». 1983. 343 стр.

В очерке, посвященном Георгию Маркову и завершающем книгу «Современники и предшественники». В. Озеров так определяет одну из важнейших особенностей творчества писателя: «В разных романах Г. Маркова — люди разных возрастов, характеров, личных судеб. Но и историческая судьба у них одна. Судьба, связанная преемственностью, на которой стоит жизнь народная, преданностью большевизму как единственно верному учению и боевой практике нашего века».

Эта мысль, по сути, приложима и к работе самого В. Озерова. Содержание «Современников и предшественников» определяется не только тем, что книга, по признанию автора, «включает в себя написанные в разные годы и дополненные, переработанные очерки о нескольких прозаиках...». Не только тем, что писатели, о которых идет речь, творчески неповторимы, а «материалы книги не однотипны по своей структуре», — статьи имеют определенные жанровые приметы: одни тяготеют к монографическому портрету, другие фокусируют внимание читателя на некоторых сторонах творчества и личности писателя, а то и вовсе сосредоточиваются на одном произведении.

Еще более важно другое: проблемная широта книги В. Озерова, многообразие теоретических «выходов» из критико-публицистического анализа художественных произведений, литературоведческий аспект не является главным в данной книге. Но заслуживают внимания даже относительно мало развернутые замечания автора, к примеру о роли документального начала в ис-

кусстве (его возрастание «вообще показательно для эпох переломных, для исторически кризисных ситуаций. Это проявилось сегодня, когда острые проблемы современности «врываються» в наши дома и настолько драматичны, что говорят сами за себя, независимо даже от авторской позиции»). Критик аргументированно возражает и сторонникам крайней точки зрения на Западе, утверждающим, что «документальная литература вскоре полностью вытеснит основанную на «чистом» вымысле». («Документальное начало не «отменяет» художественную литературу. Больше того, не противостоит ее методам типизации. Иной раз оно входит в образную ткань «чисто» художественных произведений, ничуть не «приземляя» повествование, а способствуя широте содержащихся в нем обобщений». К тому же «неверно считать, что художественная литература остается равнодушной к «проблемам века»: стоит вспомнить хотя бы романы Г. Маркса «История одной смерти, о которой знали заранее», Г. Канта «Остановка в пути», Э. Базена «Огонь пожирает огонь», Г. Грина «Доктор Фишер, или Ужин с бомбой»...») Заметим, что выводы В. Озерова построены на фундаменте реального литературного процесса, отечественного и зарубежного; они принадлежат человеку, отдавшему многие годы исследованию творчества Д. Фурманова и А. Фадеева, немало размышлявшего над страницами книг Н. Островского, Б. Полевого, Д. Гранина и оттого предметно знающего сложную диалектику взаимоотношений вымысла и документа.

Интересны суждения В. Озерова и о на-

стойчивых поисках единства эпического и лирического начал в советской литературе, у истоков которых, по мнению автора книги, стоял Д. Фурманов. «Идейная позиция повествователя, его умение верно группировать и дополнять материал, ориентация на постижение социально-нравственной сущности изображаемого — вот в чем творческое освоение наследия советской классики, в том числе фурмановского». Подчеркнув это, В. Озеров в то же время указывает на многообразие форм синтеза эпического и лирического: «Поиски художественной меры соотношения в показе жизни «через себя» и «от себя» не были однозначными». (Вообще мысль о художественном богатстве искусства социалистического реализма относится к числу коренных для В. Озерова, справедливо усматривающего в широте диапазона творческих исканий залог «синтетической» полноты изображения эпохи.)

В поле зрения автора книги — проблемы интернационализма нашей литературы, производственная и деревенская проза, становление политического романа («фединское определение, которому предстоит «воскреснуть» в 70-х годах», напоминает В. Озеров, трезвый и эрудированный исследователь, вводя тем самым важную для современных критических споров историческую координату). Даже в, казалось бы, мимоходом сказанной фразе — «А. Фадеев одним из первых поставил вопрос о творческих направлениях в советском искусстве» — содержится немаловажный теоретический укор: вопрос этот один из актуальнейших и действительно, «как ни досадно, до сих пор не получил разработки в литературной теории».

Но при всей естественной для серьезной литературно-критической книги многопроблемности, есть в ней стержневая идея, тема, о которой сам автор так сказал в уже частично процитированной фразе: «... очерки о нескольких прозаиках — из числа тех, кого сближают художническое восприятие героико-революционного духа века, подхода к созданию положительных образов». «Эта близость, — тут же добавляет верный своим принципам В. Озеров, — разумеется, не отменяет различий, обусловленных историческими периодами, индивидуальными почерками, ни в коей мере не принижает плодотворности творческих поисков писателей другой тематики, иных стиливых манер». Если же воспользоваться словами о героях Г. Маркова, приведенными в начале рецензии, то можно сказать, что книга В. Озерова — о писателях одной и с т о р и

ческой судьбы. «Современники и предшественники» называется она. Но из всех героев этой книги, пожалуй, лишь Д. Фурманов и Н. Островский принадлежат к числу предшественников, вошедших в судьбу автора и его поколения только книгами. С А. Фадеевым он не раз встречался. Под руководством К. Федина проработал много лет, К. Симонов же, Б. Полевой, О. Гончар, Д. Гранин, Г. Марков — это уже современники, с которыми связаны многие годы творческого и делового сотрудничества. Наверное, поэтому столь сильна в «Современниках и предшественниках» личностная интонация. Поэтому литературно-критическая статья порой естественно переходит в воспоминания — то благодарно-уважительные, как в очерке о К. Федине, то щемяще-горькие, как в очерке о последних днях Константина Симонова...

Эти экскурсы в далекое или близкое прошлое продиктованы отнюдь не ностальгическими порывами. Не только ими, по крайней мере. Рассказы о встречах с К. Фединым, человеком, в котором «сочетались несовпадающие, казалось бы, качества: мягкость, душевная деликатность — и бескомпромиссность в идеологических спорах», с Б. Полевым на форумах борцов за мир, с К. Симоновым в заграничных поездках и на московской земле; заметки о собственных зарубежных впечатлениях; детали трудовой и фронтовой биографии Д. Гранина и штрихи «родословной» Г. Маркова («Отец, земледелец и охотник, связанный с большевиками...») — все это подчинено задаче убедительнее показать и конкретно-историческую атмосферу жизни мастеров литературы, и редкую целостность их идейных, художественных, жизненных идеалов, и истоки активной ненависти к социальному злу, еще живущему и угрожающему миру. Показать единство слова и дела писателей, вот уже более шести десятилетий несущих эстафету советского, гуманистического искусства.

«От мечты о новом человеке к изображению его как воплощения всего лучшего, что дал миру социализм, — так можно подытожить многолетнюю работу А. Фадеева над образом революционера, советского патриота, — пишет В. Озеров и дополняет: — ...есть все основания говорить о фадеевской эстетике положительного образа. Она во многом сродни горьковской». Эстетике, органичной всему советскому искусству. Эстетике, которой чужды прямолинейность и упрощенное понимание положительного героя. Автор книги убедительно показывает и стремление А. Фадеева «живо и правди-

во изображать характеры в их психологической истинности и сложности», и глубокий реализм образа Чапаева у Д. Фурманова, и верность жизни фигуры Корчагина — страстного, горячо воспринявшего гуманистический пафос революции — у Н. Островского. В книге нет статьи, специально посвященной М. Шолохову, но его имя постоянно присутствует на страницах «Современников и предшественников», гворчество этого великого художника, создавшего в XX веке образы недосыгаемой мощи и правдивости, — как камертон в разговоре о разных писателях, как уже никем не опариваемый пример возможностей социалистического реализма...

Да, они очень разные. Эти герои разных писателей. Человек дела Лосев из романа «Картина» или подвижница Клавдия Вилор из одноименной повести Д. Гранина. Мересьев, чей подвиг, по словам одного из критиков свидетельствовал «об этической норме поведения человека советского воспитания». Несходные жизненные испытания достаются Серпилину из трилогии К. Симонова и Кириллу Заболотному (роман О. Гончара «Твоя заря»), лейтенанту Ивановскому («Дожить до рассвета» В. Быкова) и Бачане Рамишвили («Закон вечности» Нодаря Думбадзе). В. Озеров постоянно и подчас неожиданно ставит творчество своих главных героев в общесоюзный литературный контекст. Они сражаются за Родину на полях войны, отстаивают мир на планете или достоинство человека, решают производственные задачи или задумываются над собственной судьбой. Не всем им свойственно обостренное чувство причастности общему делу, ответственности за ход истории, все они являют «пример деятельности и нравственности» (Д. Гранин). И все они созданы художниками. В

центре внимания которых — «человеческая личность, посредством которой осмысляются проблемы общегосударственного, всемирно-исторического порядка. Человек в мире и мир через человека!». Именно этим мастерам оказались по плечу произведения «синтетического характера, если вкладывать в это понятие целостный взгляд на жизнь, не признающий ее узкотематических разграничений в литературе, предполагающий глубину и гражданскую зоркость художественной мысли, обращенной и к истории, и к современности».

Это «синтетическое» художественное мышление, которому внимание к «частностям» духовного и иного бытия не застит широкий социальный горизонт, а интерес к общей идее не мешает видеть живое дерево жизни, всю полноту действительности, принципиально близко Озерову-критику.

Нельзя сказать, что книга В. Озерова «Современники и предшественники» лишена недостатков. Требовательный читатель обратит внимание на слишком беглый анализ некоторых произведений, привлеченных в качестве параллелей к творчеству главных героев книги. Порой автор ограничивается простым перечислением повестей, романов, пьес и т. д. Слишком мало места отведено молодым писателям, что помешало сделать более доказательной справедливую мысль автора книги о преемственности идеалов разных поколений и героев и их творцов.

Но самого важного книга В. Озерова достигает: она помогает осваивать «творческий опыт первопроходцев нашей литературы», она утверждает искусство высокой социальной ответственности и большой созидательной силы.

В. ХМАРА.



ТАЛАНТ УЧЕНОГО — ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА

Тыняновский сборник. Первые Тыняновские чтения. Рига. «Зинатне», 1984. 131 стр.

Развитие любой современной науки, в том числе филологии и литературоведения, в качестве неперемennого условия требует освоения предшествующих накопленей, полного уяснения связей между предыдущими и последующими периодами. Этой важной задаче как нельзя лучше служат регулярно проводимые Тыняновские чтения.

Нет необходимости подробно говорить о месте Юрия Николаевича Тынянова в истории русской литературы, русской филологии и даже кино; заслуги его огром-

ны, а оставленное им наследие столь значительно по своему содержанию, что вот уже на протяжении почти сорока лет продолжает привлекать большое число ученых и исследователей. В вышедшем недавно в Риге «Тыняновском сборнике» представлена лишь небольшая часть из того, что было сообщено на конференции в мае 1982 года, состоявшейся на родине Тынянова в Резекне. Несомненно, однако, что это лучшая часть и по глубине проникновения в творчество писателя, и по важности затронутых проблем, так или

иначе связанных с его прозой, с работами в русской филологии и теории кино. В этой связи нельзя не отметить предпосланное сборнику вступительное слово В. Каверина, одного из наших современников, наиболее близко стоявшего к Тынянову, знавшего его с юных лет, дружившего с ним до самой кончины писателя и теперь на протяжении длительного времени возглавляющего комиссию по его литературному наследию. В. Каверин в сжатой форме точно и емко формулирует смысл непреходящего значения Тынянова как прозаика, автора широкоизвестных исторических романов, ученого-исследователя, практика и теоретика советского кино на раннем этапе его развития. Уникальность единения в одном лице большого ученого и большого писателя, отмечал он, в своем взаимодействии привело к замечательным достижениям — созданию прекрасных книг прозы и научных произведений. Серьезные занятия филологией не мешали, а помогали Тынянову создать углубленные образы героев его исторических романов, обогащали его стиль; в то же время опыт Тынянова-прозаика побуждал его к новым исследованиям с рядом замечательных выводов и открытий. З. Н. Поляк, говоря о документальных источниках романа «Смерть Вазир-Мухтара», прослеживает огромную работу автора с эпистолярным наследием А. С. Грибоедова и его современников. Метод скрытого цитирования первоисточников как основы документальности, то есть достоверности и историчности, широко использованный Тыняновым, позволил ему достичь замечательных результатов в области художественной прозы.

Во многих отношениях интересно содержащее малоизвестные в литературоведении факты сообщение Ю. М. Лотмана и Ю. Г. Цивьяна «SVD: жанр мелодрамы и история», где на значительном кино- и литературном материале анализируется опыт Тынянова-сценариста, создателя сценариев фильмов «Шинель», «Поручик Киже» и «SVD», написанного им совмест-

но с Ю. Г. Оксманом. Этот сценарий любопытен для нас смелым вторжением мелодраматического вымысла в конкретный исторический материал, сочетанием разнообразных жанровых стилей и заимствований свойственных кинематографу периода его становления, и той ролью, которую сыграло в нем творчество Тынянова как представителя ОПОЯЗа.

Личность выдающегося ученого или художника всегда является притягательным объектом как для широкого круга читателей, так и для ученых-исследователей. Современники Тынянова оставили нам немало проникновенных воспоминаний о нем, число этих воспоминаний растет. М. О. Чудакова и Е. А. Годдес останавливаются в своей работе на мемуарных заметках профессора Ю. Г. Оксмана, чье общение и совместная работа с Тыняновым продолжались более двадцати лет.

В этих коротких заметках нет возможности подробно анализировать все материалы сборника, несомненно того заслуживающие. И все-таки хотелось бы упомянуть содержательные статьи и сообщения В. В. Пугачева, М. А. Гаспарова, Л. Д. Гудкова и Б. В. Дубина, В. И. Новикова. Как указывается в предисловии, авторы этих работ «стремятся показать историко-культурный контекст, вовлечь в рассмотрение наследие не одного деятеля, но и его современников».

В общем это справедливо. Достоинство сборника несомненно повышается широким пониманием значения Ю. Н. Тынянова в истории русской литературы, где, по выражению В. Б. Шкловского, «взаимодействуют не отдельные элементы, а системы... системы эти не пропадают бесследно, а вступают во взаимодействие».

Остается только пожелать, чтобы важная и содержательная работа — издание «Тыняновского сборника» и проведение Тыняновских чтений — велась регулярно и на столь же высоком уровне, как это делалось до сих пор.

Василь БЫКОВ.

Минск.



Политика и наука

ВСЕГО ДОРОЖЕ

А. А. Громыко. Ленинским курсом мира. Избранные речи и статьи. М. Политиздат. 1984. 735 стр.

Известно, как велик в нашем обществе интерес к международной политике в силу и огромного, все возрастающего ее значения для судеб страны, и традиционно

присущего советским люлям интернационалистского сознания чувства причастности к заботам мирового сообщества. Новая книга А. А. Громыко в высокой мере отвечает

этому интересу. Она содержит богатейшую информацию, отличается глубиной анализа и четкостью выводов, органичным сочетанием теории с практикой. Особый интерес придает книге личность автора: многие годы стоявшего у руля нашей дипломатии, обладающего признанным международным авторитетом. В канун встречи А. А. Громыко с Р. Рейганом в сентябре 1984 года американские обозреватели отмечали, что Рейган — девятый президент США, с которым придется иметь дело министру иностранных дел СССР.

Значительную часть сборника составляют речи, произнесенные во время встреч и переговоров с государственными деятелями зарубежных стран, выступления на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах, доклады на партийных конференциях и в Верховном Совете СССР, статьи о советской внешней политике. Расположенные в строго хронологической последовательности, они дают динамичную картину современной международной жизни в ее непрерывном развитии, цельное представление о месте, занимаемом в мире нашей страной, о том благоприятном влиянии, которое оказывает на ход быстротекущих событий целеустремленная и последовательная внешняя политика нашей партии и правительства.

Материалы книги, естественно, несоразмерны и по объему и по значению. Наряду с крупными выступлениями, в которых излагается принципиальная линия КПСС, ее съездов и пленумов ЦК по международным вопросам, в ней много деловых, привязанных к текущему моменту дипломатических документов. Хотя в них подчас упоминаются имена и факты, которые уже не мелькают на первых страницах прессы, эти документы дают очень много для понимания таких черт советской внешней политики, как последовательность, преемственность, инициативность, реализм, высокая ответственность за судьбы человечества.

Свыше 170 государств существует в современном мире, и почти о каждом из них, о наших отношениях с ними говорится в книге. Десятки сложнейших проблем встали перед народами на исходе XX столетия, и практически все они находят отражение на ее страницах. Но идет ли речь о вопросах разоружения или европейской безопасности, о положении на Ближнем Востоке или в Центральной Америке, о наших отношениях с социалистическими союзниками, государствами НАТО, нейтральными и неприсоединившимися странами — за злободневной «политической материей» дня

четко просматриваются коренные идеи, которыми руководствуется КПСС в подходе к международным делам, принципы советской внешней политики, ее исходные теоретические посылки, наконец, стиль нашей дипломатии.

Основы внешней политики Советского государства были заложены В. И. Лениным, к наследию которого постоянно обращается А. А. Громыко, указывая на непреходящее значение ленинских заветов. Наша внешняя политика берет отсчет с октября 1917 года, она, подчеркивает автор книги, «выросла из социалистической революции», и одним из важнейших ее принципов является последовательная революционность.

В книге раскрывается все многообразие форм и методов претворения этого принципа в жизнь. В первую очередь речь идет о защите революционных завоеваний нашего народа, создании благоприятных международных условий для его созидательного труда, для решения масштабных задач социалистического и коммунистического строительства. Тем, что наша страна вот уже почти сорок лет пользуется благами мирной жизни, мы обязаны как созданному партией и народом мощному экономическому и оборонному потенциалу, так и ленинской внешней политике, твердо отстаивающей национальные интересы Советского государства на мировой арене.

К чести Страны Советов, она никогда не рассматривала свои интересы эгоистически, в отрыве от забот, чаяний и устремлений трудящихся других стран, народов, борющихся за свое освобождение. Интернационализм — вот другой основополагающий принцип нашей внешней политики. «Она пронизана духом солидарности с революционными, прогрессивными силами во всем мире и представляет собой активный фактор классовой борьбы на международной арене», — пишет А. А. Громыко.

В скором времени мы будем отмечать сорокалетие победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Внеся решающий вклад в эту победу, советский народ не только отстоял завоевания революции и независимости Родины. Разгром во второй мировой войне самых агрессивных сил империализма прорвал заторы, сдерживавшие бурный подъем борьбы народов за свое национальное и социальное освобождение. В большой группе стран победили народно-демократические и социалистические революции. Были созданы условия для быстрого развала колониальной системы. В течение послевоенных десятилетий политическая карта и социаль-

ный облик мира радикально преобразились.

Значительное место в книге уделено характеристике международных отношений нового типа, сложившихся в социалистическом содружестве. Основанные на однотипности общественного строя, на единстве марксистско-ленинской идеологии правящих коммунистических партий, на общности коренных целей, эти отношения наиболее полно воплощают в жизнь интернационалистские идеалы революционного рабочего движения.

Конечно, объективные предпосылки возможности и необходимости социалистической экономической интеграции, интенсивного обмена духовными ценностями и опытом строительства новой жизни, сотрудничества в обороне, взаимодействия в политике возникли не сами собой. Пришлось идти неизведанными путями, преодолевая оставшиеся в наследство от прошлого предрассудки и недоверие, решая многие сложные и delicate вопросы, возникающие в практике межгосударственных связей. «Только активная, сознательная, целеустремленная деятельность стоящих у власти коммунистических партий, — подчеркивает автор, — ведет к упрочению между социалистическими государствами отношений, пронизанных духом пролетарского интернационализма, сплоченности и сотрудничества».

Из материалов сборника хорошо видно, какая большая работа ведется на этом, по определению XXVI съезда КПСС, приоритетном направлении советской международной политики. Наша страна твердо придерживается курса действий, сообщая определяемого на совещаниях Политического Консультативного Комитета государств — участников Варшавского Договора, энергично добивается реализации совместных инициатив, поддерживает братские страны в решении тех или иных конкретных внешнеполитических задач. Как свидетельствуют включенные в книгу выступления А. А. Громыко во время традиционных встреч с министрами иностранных дел стран социалистического содружества, многостороннее сотрудничество дополняется постоянным оперативным согласованием позиций на двусторонней основе.

Забота о дальнейшем усилении единства и сплоченности стран социалистического содружества, укреплении позиций мирового социализма была и остается первейшей заботой КПСС. Об этом ясно сказал в одном из недавних выступлений Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко: «Наши дальнейшие успехи в значи-

тельной мере будут определяться прочностью нашего братского союза, надежностью и широтой всестороннего сотрудничества».

Классовый, интернационалистский характер советской внешней политики находит яркое проявление и в той неизменной поддержке, которую наша страна оказывает молодым государствам, освободившимся от колониальной зависимости и вынужденным защищать свой суверенитет от посягательств империалистических сил. Послевоенная история знает десятки случаев, когда твердая позиция, занятая Советским Союзом, его решительные выступления в защиту жертв агрессии помогли предотвратить или сорвать разного рода колониальные экспедиции и захватнические походы современных конкистадоров. И хотя соотношение сил в тот или иной момент, в том или ином регионе не всегда позволяло добиться восстановления поправной справедливости, мощь и влияние СССР, социалистического содружества резко сократили сферу империалистического разбоя и произвола на международной арене.

По материалам, включенным в книгу А. А. Громыко, можно предметно проследить, с какой твердостью и последовательностью наша страна выступает против любых посягательств на независимость и суверенитет народов, отстаивает священные права каждого из них быть хозяином своей страны и своей судьбы. Это и неизменная солидарность с братскими Кубой и Вьетнамом, стойко отражающими натиск сил империализма и реакции. Это и энергичная поддержка Анголы, других африканских государств против агрессивных акций расистского режима ЮАР. Это и суровое осуждение практикуемой США политики государственного терроризма в отношении стран Центральной Америки — оккупации Гренады, заговора против Никарагуа. Это и решительные выступления в защиту правого дела арабских народов, за справедливое мирное урегулирование на Ближнем Востоке. «Если над тем или иным народом нависает угроза империалистической агрессии, то этот народ может быть уверен, что Советский Союз на его стороне» — так четко и лаконично формулирует автор суть нашей позиции.

В связи с этим заслуживает особого внимания вопрос о причинах международных конфликтов и ответственности за их разрешение, стоящий в центре современной идеологической борьбы на мировой арене. Едва ли не на другой день после возникновения Советского государства буржуазная

пропаганда сотворила миф, который остается главным, так сказать, дальнбойным орудием в арсенале антикоммунизма. Суть его сводится к утверждению, будто во всех волнениях в подлунном мире повинна злокозненная «рука Москвы». На этом лжином тезисе основывается едва ли не вся воинственная политика американского империализма. Им оправдывают лихорадочные приготовления к войне и подавление освободительных движений. С его помощью стараются сбить волну антиракетных и антиядерных выступлений населения капиталистических стран. К нему прибегают для обоснования проводимой Вашингтоном политики государственного терроризма.

И теория марксизма-ленинизма, отвергающая «экспорт революции», и вся внешнеполитическая практика Советского государства, строго придерживающегося принципов уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, перечеркивают пропагандистские уловки антикоммунистов. Здесь важно еще одно. В отличие от буржуазных мифотворцев мы не обвиняем во всех грехах наших идеологических противников, не видим в происках Вашингтона единственный источник всех возникающих на международной арене осложнений. А вот то, что империалисты стремятся использовать эти осложнения к своей выгоде, погреть руки на чужой беде,— бесспорный факт.

«Советский Союз,— заявляет А. А. Громыко,— далек от того, чтобы упрощенно, схематично подходить к конфликтным ситуациям. Однако стало уже аксиомой, что когда в том или ином районе земного шара возникает серьезный очаг напряженности, то корни его тянутся к имперским замашкам тех, кто не считается с законными интересами других стран и народов, пытается вмешиваться в их внутренние дела, навязывать им свою волю. Именно такую политику проводят правящие круги США, которые взяли курс на искусственное обострение положения в ряде районов мира».

События последнего времени целиком подтверждают эту оценку. Причем речь идет не о каком-то случайном зигзаге американской внешней политики, связанном со взглядами, характером, психологией нынешнего хозяина Белого дома (хотя этот фактор, бесспорно, имеет немалое значение), а о четко сформулированном (в частности, в предвыборной программе республиканской партии) и упорно проводимом курсе американских монополий на подчинение себе остального мира. И средство достижения этой химерической цели видят прежде

всего в силе. Слово это буквально не сходит с языка американских политиков: «Мы двигались к миру посредством силы», «Соединенные Штаты Америки будут вести переговоры с позиций силы», «Дядюшка Сэм — добродушный старичок, но хребет у него железный»... Это выдержки из предвыборных выступлений Рейгана. В сочетании с лозунгом «Бог доверил Америке руководство миром» (прямая переключка с воинственно-религиозной риторикой Трумэна) культ силы призван разжечь в американском обывателе шовинистические страсти и заставить примолкнуть здравомыслящую часть общества.

Шовинизм опасен всегда. Тем более, если он становится знаменем великой державы. И особенно, если эта держава обладает огромной вооруженной мощью. В этом случае он замахивается на само будущее человечества. Агрессивная имперская политика Вашингтона в последние годы серьезно усилила угрозу ядерного пожара, и нет сейчас более насущной задачи, чем помешать этому.

Так ставит вопрос наша партия. Такая задача ставится в центр всей внешнеполитической деятельности Советского Союза. Эта мысль красной нитью проходит через все выступления А. А. Громыко на международных форумах, встречах и переговорах с зарубежными политическими деятелями. В них конкретно, в применении к различным аспектам современной международной жизни преломляется еще один основополагающий принцип советской внешней политики — гуманизм. Причем гуманизм действенный, а не риторический, гуманизм дела, а не красивой фразы. Это важно подчеркнуть, потому что в наше время ни одно идейно-политическое течение, в том числе выступающее против мира на деле, не упускает случая поклясться в своей преданности ему. Как мы только что имели возможность убедиться, каждый раз, когда президент Рейган употребляет слово «сила», он непременно сопровождает его словом «мир». А американскую ракету «МХ» торжественно наименовали «стражем мира». Вот уж действительно верх лицемерия и абсурда!

Разумеется, противопоставлять ракетам с ядерными боеголовками благие увещевания, взывать к совести тех, кто вынашивает планы затяжной или «ограниченной» ядерной войны,— дело и пустое и малопродуктивное.

Мы с большим уважением относимся к народному пацифизму (именно народному, а не буржуазному), к самоотверженным

выступлениям сторонников мира, которые, не страшась преследований, учредили постоянный лагерь у военной базы США в Гринем-Коммон, протестуют против размещения американских «першингов» и «круизов» в ФРГ, организуют массовые антиядерные демонстрации перед Белым домом. Эти отважные люди вносят большой вклад в предотвращение ядерной катастрофы, помогают пробудить в широких слоях населения западных стран волю к действию в защиту жизни на Земле. Но справедливость требует признать, что главной силой, препятствующей развязыванию новой мировой войны, является Советский Союз, созданная им для сдерживания потенциального агрессора военная мощь, его твердая и вместе с тем гибкая политика на международной арене.

Выступая на XXXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН, А. А. Громыко напомнил, что уже в 1946 году в ООН был выдвинут советский проект международной конвенции о запрещении навечно производства и применения ядерного оружия и об уничтожении его запасов. Но не поднялась рука за это предложение у наших бывших союзников по борьбе против фашизма. Вашингтон в то время всецело уповал на политику ядерного шантажа. В 1949 году Трумэн одобрил план, согласно которому намечалось сбросить 133 атомные бомбы на 70 советских городов. И если бы наша наука и промышленность ценой огромного напряжения сил не создали в короткие сроки ракетно-ядерный щит для защиты Родины и мира, то к жертвам атомных ударов наряду с Хиросимой и Нагасаки наверняка прибавились бы города с советскими, китайскими, вьетнамскими, кубинскими, арабскими и любыми другими названиями.

На протяжении всех послевоенных десятилетий за исключением периода разрядки в первой половине 70-х годов события развивались по одной и той же схеме: совершенствование военной техники открывало возможность для количественного и качественного роста средств массового уничтожения, Советский Союз предупреждал об опасности нового витка гонки вооружений и вносил соответствующие предложения, США под разными предлогами их отклоняли и делали очередной шаг к наращиванию военных arsenалов, вынуждая нас принять ответные меры.

Сейчас, когда на каждого жителя планеты приходится более 4 тонн взрывчатки, помешать повторению этой схемы становится делом жизненного значения. Ведь к ракетно-ядерному оружию уже добавляется

химическое, электронное, биологическое, а к земной поверхности, океану и атмосфере в качестве вероятного театра военных действий — космос. По образному выражению А. А. Громыко, военно-промышленный комплекс США заставляет научно-технический прогресс маршировать в ногу с политикой гонки вооружений.

Демона войны, заявляет автор, еще можно и нужно обуздать. И Советский Союз не жалеет ради этого никаких усилий. В материалах сборника мы находим обоснование многочисленным мирным предложениям, с которыми выступили наша страна, государства — участники Варшавского Договора. Отличительная черта этих предложений — реалистичность, обязательный учет законных интересов западных партнеров, всего мирового сообщества. И еще одно важное обстоятельство: намечая возможность радикального решения тех или иных международных проблем, наша страна отнюдь не исключает промежуточных, частичных соглашений, постепенного продвижения к цели, разумных компромиссов.

Советская программа мира обращена в равной мере как к правительствам, так и к народам. Демократизм — один из важнейших принципов нашей внешней политики. Государству, которому чужд националистический эгоизм, чьи устремления совпадают с тягой всех народов к миру, дружбе, сотрудничеству, нет нужды таить в секрете свои планы и намерения. Народы, вышедшие в нашу эпоху на широкую арену исторического действия, не хотят, чтобы жизненно важные вопросы войны и мира решались без их участия и за их спиной.

Конечно, отмечает А. А. Громыко, в необходимых случаях Советское правительство проводит с капиталистическими государствами консультации, результаты которых становятся известны широкой публике позже. Существуют линии закрытой связи между Кремлем и Белым домом, резиденциями глав правительств Англии и Франции. Возникновение острых ситуаций в нашем беспокойном мире может потребовать срочных переговоров. Но конфиденциальные контакты не имеют ничего общего с тайной дипломатией. Суть последней — разрыв между словом и делом, обман обществу. В отличие от империалистических государств наша страна действительно преследует те цели, которые она во всеуслышание провозглашает.

Нельзя не сказать о публикуемых в сборнике теоретических статьях, посвященных главным образом вывозу капитала.

Опираясь на ленинское учение и обобщая большой фактический материал, А. А. Громыко показывает, что вывоз капитала оказывает огромное, и притом постоянно возрастающее, влияние на все стороны экономической и социальной жизни развитых капиталистических стран, их внутреннюю и внешнюю политику. На нынешнем этапе он приобрел новые черты: усилилась его агрессивность, притязания крупнейших монополий стали носить глобальный характер. Появились новые виды вывоза капитала — такие, как империалистическая экспансия, облачаемая в форму экономической и военной «помощи» развивающимся странам. Не бывало широкие масштабы приняла деятельность транснациональных корпораций, за которыми стоит прежде всего американский капитал.

Исследование тенденций вывоза капитала, соперничества монополий США, Западной Европы и Японии за сферы его приложения проливает свет на многие аспекты политических отношений в империалистическом лагере, на противоречия в позициях отдельных государств по тем или иным международным вопросам. Таким образом, теория служит надежной основой для прогнозирования вероятного хода событий и выработки решений.

Эффективность любой внешнеполитической программы, как бы хороша сама по себе она ни была, в большой мере зависит от умения провести ее в жизнь, то есть от того, что принято называть ис-

кусством дипломатии. За годы существования Советского государства в ходе интенсивных связей со многими странами мира наша дипломатия накопила огромный опыт, выработала свой неповторимый стиль, располагает хорошо подготовленными кадрами квалифицированных специалистов. В книге раскрывается наш подход к таким важным элементам дипломатической практики, как ведение переговоров, способы достижения взаимоприемлемых соглашений. Не последнее место в арсенале дипломата занимает язык: он может быть сухим, протокольным, а может быть образным, эмоциональным. Хотелось бы отметить, что руководитель советского внешнеполитического ведомства подает добрый пример в этом отношении всем, кто трудится на дипломатическом поприще. Его выступления отличаются живостью и выразительностью речи, использование метких сравнений, емких и запоминающихся образов.

С момента своего рождения Советское государство вдохновляется наказом В. И. Ленина: «Нам всего дороже сохранение мира». Эти ленинские слова, о которых еще раз напомнил А. А. Громыко в своем выступлении на второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, лучше всего выражают основную идею выпущенного в свет сборника речей и статей видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства.

Г. ШАХНАЗАРОВ,
доктор юридических наук.



НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

Знакомьтесь: опыт друзей. М. Политиздат. 1984. 286 стр.

Разные книги мы читаем по-разному. Эта заслуживает, я бы сказал, делового прочтения, с карандашом и блокнотом в руках. Здесь собраны статьи корреспондентов «Правды», посвященные проблемам, над которыми работают и которые успешно решают трудящиеся социалистических стран. Статьи в разное время публиковались в «Правде» и, естественно, сделаны по-газетному: невелики по объему, рассказывают о конкретных людях, предприятиях, инициативах и решениях; не претендуя на широкие обобщения, заставляют тем не менее думать. Каждый, кто так или иначе связан с промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, строительством, управлением, торговлей, сферой обслуживания, найдет здесь такое, что можно выписать, жирно

отчеркнуть, чтобы потом задать себе вопрос: «А почему бы и нам (нашим бригаде, заводу, колхозу, министерству) не сделать так же?»

Когда в газете появляется критический материал, то вслед за ним, как правило, идет сообщение о принятых мерах: критика признана правильной, то-то и то-то сделано во исправление. Жаль, что мы не стремимся обеспечить такие же быстрые, конкретные, точные ответы на публикации, рассказывающие о ценном опыте. В этом смысле «принимать меры» можно было бы едва ли не по всем материалам, включенным в сборник.

На обложку вынесены главные темы, например — рациональное использование рабочего времени, экономия энергии и сырья, борьба за качество. А вот заго-

ловки отдельных статей: «Точный учет», «Авторитет фирмы», «Квартира с гарантией», «Выгодная картошка», «Поле — склад — магазин», «Преодолевая дефицит». Никто не скажет, что опыта в этих делах нам не занимать...

Когда я читал эту книгу, приехал в командировку мой товарищ, заместитель директора одного машиностроительного завода в Белоруссии. Я не удержался и попросил его прокомментировать несколько статей: есть ли в них что-то новое, интересное, полезное для завода и для его руководителя? Однозначного ответа я не получил. Некоторые статьи он помнил по «Правде», другие прочитал впервые, но не нашел в них для себя нового (что неудивительно — ведь направления хозяйственного поиска у нас и у наших друзей в братских странах перекрещиваются, порой совпадают). Но вот примеры того, как практически воплощаются в жизнь ценные идеи в странах народной демократии, мой знакомый отметил как полезные для себя лично. Привлекли его, в частности, статьи о повышении коэффициента сменности машин и оборудования, о развитии деловых качеств руководителей и инженерно-технического персонала, о совершенствовании внутризаводского планирования.

В одном из материалов сборника приведены слова К. Маркса о том, что любая экономия в конечном итоге сводится к экономии времени. Мы часто сами себе напоминаем, что означает при нынешних масштабах производства рабочая минута: в целом по стране — это миллионы тонн и рублей. Либо мы их приобретаем, либо теряем безвозвратно, ибо ход времени необратим. Но одни напоминания дают мало проку. Чтобы сэкономить минуту, нужны качественные сдвиги во всем народном хозяйстве. И если наши друзья уже научились в каких-то сферах производства лучше нас экономить минуты, следует отнестись к этим их достижениям со всей серьезностью.

От того, насколько динамично мы развиваемся, зависит не только качество нашей жизни, но и международная безопасность. Обстановка в мире крайне тревожная. Империализм навязывает бешеную гонку вооружений, рассчитывая, что страны социализма не выдержат напряжения, пойдут на политические уступки и на капитуляцию. В этой борьбе мало выстоять, поддерживая военно-стратегический паритет. Нужно еще до минимума сократить неизбежные издержки противо-

борства, чтобы планы роста благосостояния советских людей последовательно и неуклонно претворялись в жизнь. Капитализм еще не исчерпал своих внутренних резервов, у него есть и такие «козыри», как наступление на права трудящихся, ограбление развивающихся стран. Мы можем противопоставить этому лишь одно: преимущества социализма как передового общественного строя. Это гигантские и неоспоримые преимущества, если иметь в виду историческую перспективу. Но чтобы они столь же убедительно, как и в социальной сфере, проявились сейчас в экономическом соревновании двух систем, одна из которых своим наиболее реакционным отрядом двинулась в «крестьянский поход» против коммунизма, — для этого нужны огромные, целенаправленные, согласованные усилия всех братских стран социализма. Внедряя опыт друзей с той же обстоятельностью, какая характерна для них, когда они перенимают наш передовой опыт, мы ускорим решение многих народнохозяйственных задач.

Именно эту политическую значимость обсуждаемых в книге вопросов старались показать широкому читателю авторы сборника. Один из его составителей, Б. Аверченко, в предисловии говорит о главных направлениях экономической политики братских стран, о совершенствовании и углублении международного социалистического разделения труда, о последовательном осуществлении экономической интеграции в рамках Совета Экономической Взаимопомощи. Ключевая роль в налаживании эффективного сотрудничества принадлежит марксистско-ленинским партиям. О какой бы стране ни зашла речь, читатель обязательно найдет живые свидетельства повседневной работы братских партий на всех участках социалистического строительства.

Важно отметить еще одно. Опыт друзей изучаем не только мы. Его по-своему изучает и наш классовый противник. За всем, что происходит в странах социализма, пристально следит буржуазная пропаганда. При этом она, как пишет в статье «Общее достояние» академик О. Богомолов, «пытается изобразить расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, усиление хозрасчетных начал в плановом управлении экономикой как возврат чуть ли не к капиталистическим методам хозяйствования. Одни социалистические страны, в которых шире применяются хозрасчетные регуляторы, западная печать всячески пытается про-

тивопоставить другим, в которых в силу конкретных условий управление производством более централизовано.

Вполне закономерные различия в национальной практике управления экономикой наши классовые противники стремятся использовать для проведения «дифференцированной» политики по отношению к отдельным социалистическим странам, для того чтобы попытаться разобщить их. Можно с уверенностью сказать, что из этих попыток у них ничего не выйдет».

Всякий опыт дорог, а опыт друзей вдвойне. И не только потому, что друзья готовы широко и бескорыстно им делиться. Главное, что он органически близок нам, выверен с социальной точки зрения, представляет не только экономическую, но и социальную ценность.

Наше многообразное сотрудничество с братскими странами базируется на объективных закономерностях и потребностях, которые отражены в документах Экономического совещания стран — членов СЭВ на высшем уровне, прошедшего в июне 1984 года в Москве. Выступая на приеме в честь участников совещания, товарищ К. У. Черненко сказал: «Понятно, конечно, что даже хорошие решения сами по себе еще не дадут результатов, если не будут приняты активные и целенаправленные действия по их воплощению в жизнь».

Активных и целенаправленных действий на этом участке партия требует и от печати, журналистов и издателей. В том, что они могут сделать многое, лишний раз убеждает нас книга «Знакомьтесь: опыт друзей».

С. МЕРИНОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



ИНЕССА БУРКОВА. «Я — должен!». Повесть о Николае Бирюкове. М. «Молодая гвардия». 1983. 272 стр.

Часто ли бывает, что автор, прочтя верстку своей книги, просит издательство рассыпать набор? Этот редкий случай — из творческой биографии Николая Бирюкова, работавшего в ту пору над повестью «Чайка».

1942 год. Писатель, потрясенный сообщением Совинформбюро о подвиге Лизы Чайкиной, создает документальную повесть о героине по оперативным собранным материалам. Повесть одобряют в издательстве «Молодая гвардия», в ЦК комсомола, рукописи дают «зеленую улицу» — готовят к выпуску. И вдруг... Что он, автор, себе думает? Заработался? Бирюков прикован к постели — неизлечимо болен, но цекамольцы напористы, разговаривают с ним без скидок. Однако и сам Бирюков энергичен, азартен, не уступает. Он чувствует, что может создать не литературный плакат, а серьезное художественное произведение о Лизе Чайкиной. Раз может, значит, так и надо. Читает новые страницы. Убеждает.

Здесь следует обратить внимание на два важных, принципиальных момента, акцентированных автором биографической повести «Я — должен!». Бирюков отказывается от компромиссного и, казалось бы, не лишнего резонанса варианта — издать все-таки уже завершенную повесть и работать над новой, более совершенной. Его убежденность передается и оппонентам: то, что не удовлетворяет писателя, рано выносить и на суд читательский. И второе: Бирюков считает, что «художественное полотно сильней воздействует на человека. И может остаться потомкам памятью о нашем времени. Об этом тоже не следует забывать». Глубина народной памяти о войне волнует писателя уже тогда — в сорок втором...

Роман «Чайка» вышел в свет в начале сорок пятого. Писатель изучил документы, встречался с партизанками, многое дали ему беседы с матерью Лизы Чайкиной — Аксиной Прокофьевной (в романе — Василиса Прокофьевна, мать Кати Волгиной). Об этом подробно рассказывает в повести И. Бурковой

Бирюковская «Чайка», неоднократно переиздававшаяся, переведенная в других странах, неотделима от литературного контекста своего времени. Образ Чайки приобретает в романе поэтическое звучание, близкое народным легендам. В оккупированных селах, не знаящих, что творится на

Большой земле, Чайку ждут как предвестницу победы, правды. И не так уж важно для людей, кто эта девушка — известный ли в районе комсомольский вожак Катя Волгина, прозванная Чайкой, ныне партизанка, или посланница «из Москвы, от партии, значит, нашей». Суть-то едина.

Николай Бирюков, который до и после войны, пользуясь инвалидной коляской, бывал в творческих командировках на строительстве Ферганского канала, в восстанавливаемых селах и городах Поволжья, степного Крыма, в военную годину вынужден был ограничиваться возможностями своей московской комнаты. Многие для романа дал ему, однако, личный опыт комсомольской работы, приобретенный в молодые годы, еще не изломанные полиартритом.

Литература стала для Николая Зотовича Бирюкова основой гражданского существования. Отсюда особая взыскательность к своим книгам, требование от друзей правдивой критики написанного, о чем не раз говорится на страницах повести И. Бурковой.

Одна из самых привлекательных черт Бирюкова — героя повести — это его внутренний отказ от роли мученика болезни, даже страх перед тем, что его могут жалеть, относиться к нему как к человеку, нуждающемуся в послаблении. Мужественный, не теряющий природной своей живости, пылкий, вторгающийся во все новые сферы человеческих знаний и забот, гордый своим кропотливым трудом «рядового писателя» — таков герой интересной книги Инессы Бурковой.

В. Сулов.



КАВКАСИОНИ. Литературный сборник. Выпуск первый. Редактор О. Ф. Нодия. Тбилиси. «Мерани». 1983. 336 стр.

«Союз сердец и узы братства и верность дружбе в мире дел — людей высокое богатство, их замечательный удел» — таков эпиграф из Г. Табидзе, предпосланный первому выпуску литературно-художественного и общественно-политического сборника «Кавкасиони», призванного знакомить всеобщего читателя с литературой и искусством Грузии и публиковать новые переводы грузинских, абхазских, осетинских писателей. На страницах «Кавкасиони» представлены проза и поэзия, публицистика и литературоведение.

Очерк М. Кораллова «Грузия, начало 80-х...» — вдумчивые размышления о современной экономике и трудовых ритмах республики. А публицистическое эссе Т. Мамадзе «Большая Грузинская» устремлено в глубины истории: автор с увлечением рассказывает о «грузинском отложении» в русской истории и культуре, о Грузинской слободе на Пресне, о грузинских захоронениях в московских церквях, о подвижнической работе советских историков и археологов, задача которых не дать современникам пройти мимо собственного истока.

Не пройти мимо истока... Пожалуй, такова сквозная нить сборника, делающая разнопроблемные и разножанровые материалы единым целым (без чего альманах, несмотря на отдельные удачи, не состоялся бы). Знаменательно звучат слова грузинского художника Ладо Гудиашвили в одной из статей «Кавкасиони»: «Человек почему так часто обращается к прошлому, что именно там хочет увидеть тот луч, который свяжет его нынешнюю жизнь с будущим». Не случайно огромное место на страницах сборника так или иначе занимает история.

В глубокую историю погружает нас посвященный Соломону Имеретинскому роман Р. Джапаридзе «Тяжелый крест», главы из которого публикуются в «Кавкасиони». События далекие получают в романе современную психологическую мотивировку, и это позволило переводчику «Тяжелого креста» У. Рижинашвили в послесловии к публикации сказать, что «такой современный в истинном смысле этого слова писатель, как Реваз Джапаридзе, не мог не сделать единственного естественного для себя выбора — написать современный исторический роман».

«Современным историческим» экскурсом стал и другой материал «Кавкасиони» — новый перевод древнейшего памятника грузинской словесности «Мученичество святой Шушаник», осуществленный В. Солоухиным. Перевод сопровождается статьей Т. Чиладзе, в которой писатель раскрывает самобытность грузинской агиографии и, словно высвечивая суть романа свежим взглядом, медленно перечитывает его как «истинную поэтическую прозу, где языком высокого искусства передана эволюция человеческих характеров». Таким образом, читатель не просто знакомится с новым мастерским переводом, но и получает возможность рассмотреть произведение в контексте общемировой культуры.

Несколько слов нужно сказать о том, как разумно составители сборника размещают в нем материалы. Так, рассказы Чхеидзе предваряются «Диалогами с Отаром Чхеидзе» и полемическими заметками самого писателя о принципах мифизирования художественной прозы. Это позволяет встречу всесоюзного читателя с одним из ведущих прозаиков сегодняшней Грузии осуществить в нескольких ракурсах. А статья Марченко о грузинской исторической романистике удачно перекликается и с тетралогией Р. Джапаридзе, и с исследованием Т. Чиладзе, и с размышлениями О. Чхеидзе о мифе.

Весомость стихотворного раздела обеспечивается яркими именами грузинских и осетинских поэтов (Дж. Чарквиани и К. Каладзе, А. Шенгелиа и Ш. Нишнинадзе, О. Чиладзе и Г. Бестауты) и вдохновением их русских переводчиков. Одна из публикаций заслуживает особого упоминания. Новые стихи Отара Чиладзе в переводе молодого талантливого поэта Н. Соколовской стали полнокровным явлением русской лирики, что позволяет утверждать: славные традиции перевоплощения грузинской поэзии на русский язык не иссякают.

Находкой «Кавкасиони» следует признать рубрику «Приглашение к переводу». Читателям предложен подстрочник знаменитого стихотворения Галактиона Табидзе «У него открытыми остались глаза», здесь же приведена русская транскрипция поэтического шедевра и научные комментарии к ней, проливающие свет и на универсальные законы грузинской просодии, следом идут «Пояснения к тексту» (автор Р. Тварадзе), которые являются, по существу, серьезным исследованием сложного образного мира Г. Табидзе. В итоге, с одной стороны, на русском языке создан портрет стихотворения во всей совокупности смыслов, ассоциаций, мелодий, а с другой — читатель «допущен» в рабочую переводческую лабораторию, как бы приглашен к переводу.

Рассказать подробно обо всех материалах первого выпуска «Кавкасиони» нет возможности, в то время как несомненного внимания заслуживает и колоритный рассказ (точнее — небольшая повесть) о послевоенной деревне абхазского писателя А. Гогуа, и переводы Г. Оратвелидзе из малоизученного фольклора убыхов, и мемуары К. Надирадзе о юном Владимире Маяковском...

Сборник «Кавкасиони» подготовлен главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным связям при Союзе писателей Грузии.

Татьяна Бек.



ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Тайные милости. Романы. М. «Советский писатель». 1983. 432 стр.

В книге В. Михальского два романа. Один из них — «17 левых сапог» — выдержал уже несколько изданий, другой — «Тайные милости» — печатается впервые. С героем этого нового романа мы знакомимся в то время, когда он вот-вот должен совершить качественный рывок в своем и без того удачном и быстром служебном восхождении. Отбывающий в столицу шеф намерен усадить Георгия в собственное кресло, утвердив его, что называлось в прежние времена, градоначальником, или городским головой.

Нет-нет, Георгий не карьерист, не рвач, не властолюбец. Он никогда не угодничал перед сильными мира сего и не плел замысловатых интриг против возможных соперников. Вопрос о назначении самодично решил его непосредственный начальник,

расположенный к своему заму за добрый нрав, деловитость, решительность и компетентность.

Герой будущему назначению рад. Он то ропливо начинает прикидывать, что ему следует сделать для нужд города в первую очередь и как именно сделать. Он «готов безо всякой жалости трать на это свою жизнь, свои каждодневные усилия».

Ну-ну, сурово заметит читатель, человек рвется для дела на алтарь себя принести, начальство ему только покровительствует. Интересно, как при этакой благодати конфликт возникнет?

А вот возникнет, и все. Какой же современный роман без конфликта? Правда, раскрытие его отодвинуто волею автора в конец произведения. В чем есть свой особый смысл. Но позволим себе маленькое отступление. Даже в таком беглом и общем изложении событий романа вы могли уловить что-то смутно обидное для героя. Не случайно же приходится пояснять, словно оправдывая Георгия, что к предстоящим светлым переменам в собственной жизни он никакого касательства не имел. А между тем настроенное отношение к герою с первых страниц романа пробуждает в читателе сам автор. И делает это совершенно откровенно. Вот, скажем, как характеризует писатель Георгия в начале книги: «Он обладал великим даром относиться ровно и хорошо ко всем без исключения и еще он умел молчать и улыбаться. Его обаятельная улыбка, доброжелательность и молчаливость делали свое дело не хуже слов и поступков». Хорошо это или совсем плохо? И так может быть и так. Оснований полюбить героя или наоборот приблизительно поровну. Но далее автор приводит слова одного из коллег Георгия: «Этот пойдет по трупам, этот ни перед чем не остановится». И нейтральный прежде контекст становится для читателя весьма однозначным.

Писатель старательно фиксирует все то недоброе, несправедливое, что возникает хотя бы на мгновение в сознании героя, его минутные слабости, непоследовательность, вспышки гнева. И все это вместе срабатывает поначалу так сильно, что мы словно бы и не замечаем, как много добрых человеческих качеств заложено в Георгии, как несчастлив он с жесткой мещанкой женой и как упорно пытается отстаивать свои принципы, как достойно ведет себя на работе, как ответственно относится ко всему порученному...

Автор ловит читателя (хорошо, если временами не ловится сам) на то известное литературное клише, по которому преуспевающий литературный герой, поднимаясь по служебной лестнице, непременно должен обнаруживать всю духовную выморочность карьериста. И читатель действительно с подозрительностью начинает следить за героем романа, за его удачами и злоключениями. И только дочитав роман, мы вдруг с удивлением чувствуем, что его финал заставил нас по-новому осознать и пережить все прочитанное.

На безлюдном берегу моря, куда сбегали от всех и всего Георгий и любимая им Катя, происходит трагическая случайность, и женщина погибает. В этих трудных усло-

виях Георгий, уже ни в чем не сомневаясь и не колеблясь, принимает единственно возможное для себя решение: презрев обывательские условности, он открыто хоронит Катю и берет к себе ее малолетнего сына. (Хотя складывалось все так, что он мог бы остаться в стороне, и никто не узнал бы, что было между ним и Катей. Ей ведь теперь все равно, а Сережа оказался бы в доме очень достойных людей.) Наш взгляд не только теплеет, что было бы совершенно естественно. Нет, мы словно бы прозреваем. И, глядя в прошлое, начинаем замечать то, чего раньше не могли или не хотели видеть. Мерилом самого главного в герое теперь стал поступок. Завершая роман, автор считает нужным сказать о герое только самое существенное. События длиной в год помещаются в три абзаца:

«Через год, когда достаточно просела земля на Катиной могилке, Георгий поставил памятник — незатейливую бетонную стелу с краткой надписью: фамилия, имя, отчество, год рождения, год смерти.

На годовщину приезжал разысканный Георгием через адресный стол отец Кати Сергей Петрович, а бывший ее муж и мать не откликнулись — наверное, на это были свои причины.

В первое время после похорон Кати в городе только и говорили что о Георгии, о крушении его семьи и карьеры. Сочувствующие напирали на то, что, дескать, зря он привез ее в город, зря выставил гроб в квартире своей матери, зря устроил «демонстрацию», надо бы все «по-тихому», «с умом» — тогда бы у него оставался шанс...»

Нас уже мало волнует, какие праведные или неправедные мысли посещают иной раз героя. А разве нам самим не приходит в голову порой черт те что? Увы, увы. И совсем неплохо, может быть, что нет у нас возможности судить о ближних по тому, что и когда им подумается. Зато знаем мы всю цену благородного поступка, совершенного пусть даже после раздумий и внутренних борений. Именно поступок, думаю, все корректирует, обнаруживая действительный нравственный потенциал человека.

Нет, похоже, автор не собирался написать просто историю одной несостоявшейся карьеры. Ему было важно заставить читателя задуматься над множеством существенных и непростых нравственных вопросов, в центре которых — извечный и решаемый каждым самостоятельно вопрос о смысле, о главном содержании жизни.

Г. Петрова.



Т. И. БАЧЕЛИС. Шекспир и Крэг. М. «Наука». 1983. 351 стр.

Как будни сегодняшней театральной жизни воспринимаем мы приглашение английского режиссера на постановку английской пьесы, скажем, в театр «Современник» или режиссера «Современника» на постановку русской пьесы в Англию. А начало этой традиции культурного обмена положил в нашей стране Московский Художественный театр, пригласивший в 1908 году Гордона Крэга для постановки «Гамлета». На годы растянулась трудная работа,

не сгладившая, но обострившая противоречия режиссерского замысла с искусством актеров, воспитанных на драматургии Чехова. Однажды пересекшись, дороги МХАТа и Крэга разошлись, но для театра эти репетиции-споры Крэга и Станиславского (который через много лет в «Моей жизни в искусстве» создаст яркий портрет Крэга, раскроет свою несовместимость с Крэгом и свое родство с ним) оказались очень важны. Оба жили театром — великим, самостоятельным искусством, оба не увидели в нем самоуверенных ремесленников. Крэгковский «Гамлет» 1911 года с Качаловым в главной роли был эпизодом в долгой жизни режиссера (1872—1966), спектакль не задержался в репертуаре, и все же Станиславский убежденно называет Крэга гениальным режиссером. Между тем знаем мы о нем несоразмерно мало, лишь по работам замечательного театроведа Н. Н. Чушкина.

Новая книга Татьяны Бачелис «Шекспир и Крэг» — это первая у нас книга, посвященная собственно Крэгу. Автор рассказывает о жизни Крэга, связывая ее с эволюцией европейского театра. Мы видим художника, который формируется и существует не «на фоне», но в реальной среде. «Викторианский Шекспир» предстает в атмосфере самого викторианства; режиссура Крэга немислима вне поисков художников-праерафалитов, театрального реформатора Генри Ирвинга, гениальной актрисы Элен Терри — матери Крэга, вне театрального опыта Франции, Италии, Германии.

Т. Бачелис дает также исторически конкретное сопоставление режиссуры Крэга и драматургии Шекспира, что весьма актуально в наши дни, когда права режиссера одновременно утверждаются и оспариваются, а сам он ставит своей задачей создание целостного спектакля, к которому так стремился Крэг.

Шекспировские роли, иггранные молодым Крэггом, Крэг — живописец, живописно-графическое видение им спектаклей и их сценическое осуществление соприкасаются в книге Бачелис с реальным временем и выражают его: в вариациях «Гамлета» Крэг словно восходит по ступеням в спасенный лучезарный мир, в «Макбете» спускается в преисподнюю, к мраку фашизма, к вереницам черных людей с факелами, напоминающих куклуksклановцев.

Заключительные главы книги посвящены московскому «Гамлету» и связям искусства Крэга с идеями Станиславского (и шире — театра современного).

Станиславский-режиссер жил в реальном актере, с ним, для него; Крэг — словно вне актера, над ним. Мечта Крэга — «сверхмаррионетка», идеальный актер, как бы лишенный телесности и осуществляющий замысел режиссера вне своей личности. Но если «сверхмаррионетка» — это неповторимый актер в совершенстве владеющий своей профессией, то о чем же все-таки спорили, в чем расходились Станиславский и Крэг? Думается, что афористически точный ответ дан в коротком диалоге, который приводит Т. Бачелис: «Крэг пошутил: «У актера нет души». Станиславский промолвил: «Это большая ошибка». Две эти краткие фразы

выразительнее всех дальнейших разъяснений, в них-то и раскрывается полнота гениальных режиссеров, мечтавших об идеале.

Е. Полякова.



Э. А. АРСЕНЬЕВ. Франция под знаком перемен. Очерки о классовой борьбе в современной Франции. М. Политиздат. 1984. 336 стр.

Вот уже три с лишним года, с тех пор как к власти во Франции пришли левые силы, возглавляемые лидером французских социалистов Франсуа Миттераном, в стране продолжается «левый эксперимент». Политологам и историкам предстоит всесторонне осмыслить его результаты и опыт, все плюсы и минусы. Выход в свет содержательной книги Д. Арсеньева свидетельствует, что изучение и подведение предварительных итогов событий последних лет во Франции уже началось.

Победа левых на президентских и парламентских выборах в 1981 году отражала, с одной стороны, острое недовольство широких социальных слоев политикой партий крупного капитала и финансовой аристократии, с другой — неодолимое стремление французского народа к переменам и обновлению страны.

Французская социалистическая партия (ФСП) — ведущая сила левого большинства — при всей своей неоднородности и вытекающей из этого непоследовательности политической линии не могла не считаться с настроениями французских трудящихся. По инициативе и при самом активном участии ФКП, входившей до июля 1984 года в правительственную коалицию, в стране был проведен целый ряд прогрессивных реформ, направленных на ограничение всевластия крупного монополистического капитала и на улучшение положения трудового народа. Среди них национализация пяти крупных монополистических групп (ныне четвертая часть французских трудящихся занята в национализированном секторе, выпускающем одну пятую всей промышленной продукции); значительное расширение прав трудящихся на предприятия; повышение покупательной способности низкооплачиваемых слоев населения; снижение пенсионного возраста до 60 лет; введение системы бесплатного профессионального обучения молодежи в возрасте 16—18 лет; предоставление пятой недели оплачиваемого отпуска и повышение семейных пособий; сокращение рабочей недели до 39 часов; установление налога на крупные состояния; отмена смертной казни; включение аборт в систему медицинского обслуживания, оплачиваемого соцстрахом; децентрализация в департаментах и т. д.

Особенность нынешней ситуации во Франции, и это подчеркивается в книге, состоит в том, что приход социалистов к власти не изменил классового характера республики. Реальная политическая и экономическая сила по-прежнему остается в руках буржуазии, что существенно ограничивает масштабы и эффективность реформаторской деятельности правительства. К тому же в руководстве ФСП возобллада-

ло правое течение, склонное к компромиссам и уступкам крупному капиталу. Эта тенденция особенно усилилась при втором правительстве, сформированном летом 1984 года Л. Фабиусом, в которое, как известно, коммунисты отказались войти.

Непоследовательность в сфере социально-экономической политики, выдвижение непопулярного у простых французов курса «строгой экономии», сохранение и даже рост безработицы и инфляции обернулись для правительства социалистов потерей доверия избирателей что показали результаты муниципальных выборов в 1983 году и выборов в Европейский парламент в 1984 году. Разочарованием и недовольством народных масс спешит воспользоваться правая оппозиция, намереваясь вернуться к власти в результате предстоящих парламентских (1986) и президентских (1988) выборов.

Намеченные социалистами программы натолкнулись на мощное сопротивление не только «своих» монополий, но и международного монополистического капитала во главе с США. Администрация Рейгана с самого начала взяла курс на подрыв экономических позиций левого правительства Франции и срыв проводимых им реформ, активно содействуя через доллар падению курса французского франка. За последние три года франк трижды девальвировался и обесценился по отношению к доллару вдвое. Попытки правительства и лично президента Ф. Миттерана добиться «понимания» и благосклонности со стороны вашигтонской администрации путем подчеркнутого афиширования атлантизма и даже антисоветизма не увенчались успехом. Напротив, «атлантическая солидарность», нарушившая равновесие внешней политики Франции, уже обернулась для нее ослаблением международных позиций, утратой прежней конструктивной роли в деле разрядки и сотрудничества между Востоком и Западом.

Судя по всему, это начинают понимать в руководящих сферах Парижа. Хотелось бы надеяться, что визит президента Ф. Миттерана в СССР, состоявшийся в июне 1984 года, повлечет за собой возобновление всестороннего и плодотворного диалога между Францией и СССР в соответствии с известным триптихом генерала де Голля — «разрядка, согласие, сотрудничество». Советско-французское сотрудничество, подчеркивается в книге Арсеньева, неизменно служило интересам мира и разрядки. Это тем более важно вспомнить теперь, когда международный горизонт затягивают грозные тучи.

Петр Черкасов.



В. М. БЛЕЙХЕР. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. Словарь. Киев. «Вища школа». 1984. 448 стр.

На первый взгляд нет ничего более чуждого литературе и искусству, нежели медицинские термины. Большинству читателей-неспециалистов они представляются чем-то вроде китайской грамоты. Однако стоит даже очень несведущему в медицине человеку заглянуть в словарь Блейхера, как

он с удивлением обнаружит множество знакомых имен и словосочетаний, давным-давно вошедших в его интеллектуальный багаж. Фактически в этом словаре отражена вся мировая литература. Тут и синдромы Отелло, Алисы в стране чудес, Мюнхгаузена, Пиквикский синдром, и геростратизм, и комплексы Эдипа, Антигоны и других героев древних мифов. Есть даже синдром Обломова, описанный зарубежными медиками в 1957—1965 и 1975 годах. Многие термины связаны с именами писателей или — что несравненно чаще — с именами персонажей их произведений: ведь словарь эпонимический, а это значит, что в его статьях обязательно присутствуют имена собственные.

Когда Льюис Кэрролл, И. А. Гончаров, Р. Распе или Я. Вассерман создавали свои книги, им вряд ли приходило в голову, что спустя много лет медики возьмут на вооружение описанные ими феномены. Отрезая в припадке безумия себе ухо, Ван Гог, конечно, не предполагал, что через 70 лет ученые найдут у пациентов похожий симптом и назовут его именем художника. Диоген, отличавшийся неприхотливостью в быту и живший в бочке при храме, едва ли рассчитывал, что через много столетий появится синдром Диогена...

Писатели и художники первыми поведали нам о многих нарушениях и отклонениях психики, за исследование которых медики принимались, как правило, спустя десятилетия. В «Записках сумасшедшего» Гоголь убедительно показал этапы бреда, описанные учеными только через полвека. Феномен двойника, почти исчерпывающее проанализированный Гофманом, Эдгаром По и особенно Ф. М. Достоевским, узаконен в медицине спустя 77 лет после выхода повести «Двойник». В 1847 году в журнале «Современник» была опубликована повесть Герцена «Доктор Крупов», в которой впервые в России употреблялось слово «психотерапия»: лишь через несколько десятилетий этим термином стали пользоваться врачи. Подобных фактов можно привести много.

Изучая взаимопроникновение медицины и художественной литературы, обращаешь внимание на удивительный факт. Среди писателей встречались врачи по профессии, были и выдающиеся ученые в области медицины (как правило, чрезвычайно слабые литераторы). Однако никто из них не выделял ни одного нового синдрома — это удавалось лишь писателям без медицинского образования.

Книга Блейхера убеждает читателя, что медицина впитывает в себя все, чем живут люди, является таким же документом истории культуры, как и литература. Многие медицинские термины своими образностью, красочностью, точностью не уступают находкам мастеров художественного слова, другие прямо позаимствованы из книг и устного творчества.

Германская мифология рассказывает о водяной нимфе Ундине. Обманутая мужем, Ундина прокляла и наказала его, лишив, выражаясь научным языком, автоматизированных функций. Он должен был постоянно (даже во сне) помнить о необходимости, например, дышать — в противном слу-

чае ему грозила смерть. В 1962 году два зарубежных врача описали синдром проклятья Ундины, при котором во сне появляются нарушения дыхания и человек просыпается.

Нередко медицинские термины, образованные от имени того или другого литературного персонажа, отличаются от общепринятой трактовки данного лица, несут иной смысл. Первое, что приходит на ум при упоминании о бароне Мюнхгаузене — безудержная фантазия, неукротимое воображение. Логично было бы назвать синдромом Мюнхгаузена именно такое свойство психики. Однако читатель обнаружит, что английский хирург Ашер в 1951 году почему-то вспомнил о бароне, описывая группу пациентов, стремящихся без ясной цели во что бы то ни стало попасть на операционный стол.

Есть в словаре Блейхера медицинские термины, связанные с мадам Бовари, легендарным фламандским королем (любителем пива и покровителем пивоварения) Гамбринусом, римским героем Гаем Муцием Сцеволой, длинноволосой девушкой по имени Рапунцель из сказки братьев Grimm...

Автор словаря проделал большую работу. Книга представляет интерес не только для специалистов в области медицины, но и для литературоведов, писателей, журналистов, привлечет она и широкого читателя.

М. Буянов,
кандидат медицинских наук.



Ю. К. МЕЛЬВИЛЬ. Пути буржуазной философии XX века. М. «Мысль». 1983. 247 стр.

Духовная культура современного буржуазного общества переживает период коренной трансформации. Марксистский анализ методологических и мировоззренческих ориентаций, вырабатываемых западными философами с целью преодоления кризиса буржуазной культуры, является важной и вместе с тем трудной задачей. Современная немарксистская философия, несмотря на свою в целом идеалистическую направленность, представляет собой крайне хаотичный и противоречивый конгломерат самых различных идей, точек зрения, методов. Немаловажно и то, что большинство буржуазных философов тяготеют к абстрактному и явно «глубокомысленному» способу решения философских проблем. Достаточно вспомнить эзотерические построения Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, современных аналитиков.

Профессор Ю. К. Мельвиль рассматривает в своей книге те философские течения, которые еще недостаточно проанализированы в советской литературе. Популярность изложения (в хорошем смысле этого слова) не только не помешала автору донести до читателя основы современной немарксистской философии, но и позволила поставить ряд важных теоретических, дискуссионных вопросов.

Подвергая критическому анализу основные пути буржуазной философии XX века,

Мельвиль большое внимание уделяет выяснению ее теоретических основ, социокультурной роли. «В социально-классовом плане современной буржуазная философия является абстрактной и утонченной формой защиты капиталистического строя. В теоретическом плане она противопоставит философии марксизма как в целом единый идеалистический фронт, как всесторонне разработанное идеалистическое мировоззрение». Для всей современной буржуазной философии характерна позиция расплывчатого, смутного идеализма, отвергающего объективно-идеалистическую онтологию.

Автор умело сочетает анализ общих идеологических и теоретических принципов современной буржуазной философии с критическим рассмотрением содержания каждой концепции в отдельности. Конкретности анализа способствует нетрадиционный подход к новым специфическим проблемам, преобладающим методам философствования, новым тенденциям, общим для большинства философских доктрин.

В целом для буржуазной культуры XX века наиболее характерен иррационализм, который выражается в противопоставлении философии науке, в стремлении к антропологизации философии. Детально прослеживая постепенное нарастание этой тенденции в творчестве А. Бергсона, Ч. Пирса, Л. Витгенштейна, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, К. Р. Поппера, Г. Г. Гадамера и ряда других мыслителей, автор показывает, что большинство современных буржуазных философов склоняются к признанию социума (сферы человеческого общения) той реальностью, которая имеет определяющее значение для человека. Социум, по их мнению, полностью детерминирует не только общественно-политические взгляды человека, его религиозные верования, но даже научные теории. Эта тенденция, характерная для основного потока современной философии, условно называется автором «коммунологической» или «социоцентристской». Социум начинает признаваться последней, абсолютной реальностью, источником человеческих идей, норм и ценностей и одновременно единственным критерием их истинности.

Проанализировав различные философские учения, Мельвиль делает вывод, что в современной буржуазной философии утверждается особая, «коллективистская» форма субъективного идеализма, принимающего в качестве критерия ценности и истинности общественное согласие. К сожалению, эта важная сторона современной буржуазной философии пока еще мало исследована в марксистской литературе. Книга Мельвиля является фактически первой попыткой марксистского анализа новой формы идеализма, в которой выразились коренные изменения, происходящие в недрах буржуазного общества.

Новизна авторского подхода, убедительность аргументации, ясность в изложении сложнейших проблем позволяют считать книгу Мельвиля удачным введением в основную проблематику современной буржуазной философии.

В. Бабушкин.

ЛЕТОПИСЬ «НОВОГО МИРА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В январе 1975 года читателям юбилейного номера журнала «Новый мир» была предложена публикация «Из летописи полувека». Тогда мы назвали наиболее приметные произведения, появившиеся на страницах журнала за минувшие пятьдесят лет.

Редакция получила много писем с благодарностью за предоставленную возможность в одном номере увидеть ретроспективную панораму журнала.

В этом номере, которым отмечается 60-летие «Нового мира», мы продолжаем начатую десять лет назад летопись.

1975

- Ф. Энгельс. Кола ди Риенци. Драма в стихах. Перевод с немецкого.
- Ч. Айтматов. Ранние журавли. Повесть.
- А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга первая.
- П. Антокольский. Конец века. Приключения фантаста. Стихи.
- И. Баграмян, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, генеральный инспектор Министерства обороны. Операция «Багратион».
- Г. Баklangов. Друзья. Роман.
- А. Берг, академик, Герой Социалистического Труда. Непрерывность технического прогресса.
- В. Брюсов. Неизданное. Из литературного наследия.
- К. Ваншенкин. Из лирики.
- Е. Винокуров. Новые стихи.
- Р. Гамзатов. Последняя цена. Поэма. Персидские стихи. Перевод с аварского.
- М. Ганина. Мои знакомые диспетчеры. Очерк (Набережные Челны).
- А. Гидаш. Миниатюры. Перевод с венгерского.
- В. Джалагония, Б. Чехонин. Чистый воздух. Очерк (Набережные Челны).
- Ю. Домбровский. «И я бы мог...» Заметки и размышления писателя.
- Е. Дорош. Страницы ненаписанных книг. Из литературного наследия.
- Ю. Друнина. Стихи.
- Н. Задорнов. Симода. Роман.
- Из писем В. И. Ленину. Публикация И. Брайнина.
- Из поэзии «Нового мира» за 50 лет.
- А. Исаакян. Мысли о жизни и искусстве. Из записных книжек. Перевод с армянского.
- В. Катаев. Кладбище в Скулянах.
- В. Кетлинская. Здравствуй, молодость! Роман.
- А. Кожин. Переключка. Очерк (Набережные Челны).
- А. Костин, доктор исторических наук. Пламя революции над Россией (К 70-летию революции 1905—1907 годов).
- В. Лидин. В медоносном краю. Третье окно от угла. Рассказы.
- М. Луковин. Стихи.
- А. Луначарский. Новая Европа и СССР. Из литературного наследия.
- Э. Межелайтис. Из циклов «Эскизы берега», «Ре-минор». Перевод с литовского.
- Г. Невелев. Царизм перед судом истории. Неизвестные письма декабристов (К 150-летию со дня восстания декабристов).
- А. Новиков, главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. «Нормандия» в небе России.
- В. Рождественский. Новые стихи.
- П. Ротмистров, Герой Советского Союза, главный маршал бронетанковых войск. Танковое сражение под Прохоровкой.

- Ю. Рытхэу. Когда киты уходят. Современная легенда.
 П. Севак. Стихи. Перевод с армянского.
 В. Солоухин. Стихи.
 Б. Сучков. «Открывать новые страницы жизни».
 Ю. Трифонов. Другая жизнь. Повесть.
 М. Троицкий, секретарь Татарского обкома КПСС. На новом этапе. Очерк (Набережные Челны).

А. Федоров, дважды Герой Советского Союза. Подпольный обком действует.
 Новые главы.

- Е. Федоров, академик. Экологический кризис и социальный прогресс.
 У. Фолкнер. Рассказы. Перевод с английского.
 М. Шагинян. Человек и время. Воспоминания. Часть четвертая.
 Н. Шамота. О человечности нашей партийности.
 Л. Шинкарев. Большой чертеж Сибири. Очерк.
 С. Щипачев. Новые стихи.
 Д. Эрдэ. Встречи с М. И. Калининым. Воспоминания.
 Л. Якименко. Мировое значение творчества М. А. Шолохова.

1976

- Л. Бабиченко. Вильгельм Пик.
 К. Бадигин, Герой Советского Союза. Тихий океан. Воспоминания.
 Л. Беляева. Семь лет не в счет. Повесть.
 И. Бестужев-Лада. Социальные проблемы советского образа жизни.
 Ю. Бондарев. Страницы из записной книжки.
 Б. Брехт. Рабочий дневник (1938—1955). Перевод с немецкого.
 П. Бровка. Новые стихи. Перевод с белорусского.
 К. Ваншенкин. Из книги «Дорожный знак». Стихи.
 Л. Васильева. Из лирической тетради. Стихи.
 А. Вознесенский. Из новой книги стихов.
 И. Герасимов. Пуск. Повесть.
 Я. Голованов. Архитектор в мире, где яблоки не падают.
 Д. Гранин. Обратный билет. Повесть.
 С. Данилов. Новые стихи. Перевод с якутского.
 В. Джалагония, Б. Чехонин. Групповой портрет. Очерк (Набережные Челны).
 С. Золотцев. Стихи.
 Д. Калиновская. Парамон и Аполлиария. Рассказ.
 Я. Козловский. Стихи.
 В. Кузнецов. Европа и разрядка.
 Ю. Кузнецов. Стихи.
 Е. Лопатина. Тогда, в июле. Очерк (Набережные Челны).
 Ю. Марцинкявичюс. Две поэмы. Перевод с литовского.
 Н. Матвеева. Стихи.
 Ю. Нагибин. Чужая. Рассказ.
 В. Новиков. Образ коммуниста — образ нового человека.
 Л. Новиченко. Социальное, нравственное, художественное.
 А. Овчаренко. Размышляющая Америка.
 П. Ребрин. В колыбельных местах. Очерк
 А. Родыгин, секретарь парткома КамАЗа. Главный экзамен (Набережные Челны).
 Д. Самойлов. Снегопад. Поэма.
 Г. Семенов. Вольная натаска. Роман.
 В. Сикорский. Стихи.
 К. Симонов. Япония-46. Воспоминания.
 Л. Славин. Арденнские страсти. Роман.
 С. Смирнов. Из цикла «Мое и наше». Стихи.
 А. Софронов. Стихи.
 Ю. Туулик. Можжевелник выстоит и в сушь. Роман. Перевод с эстонского.
 Т. Уайлдер. Мартовские иды. Роман. Перевод с английского.
 М. Цветаева. Повесть о Сонечке. Из литературного наследия.

1977

- А. Адамович, Д. Гранин. Главы из блокадной книги. Часть первая.
 Ч. Айтматов, Х. Плавинус. Человек и мир. Семидесятые годы. Диалог.
 Перевод с немецкого.
 П. Антокольский. Петербургская повесть. Стихи.
 В. Боков. Новые стихи.
 Ю. Бондарев. Мгновения.
 А. Бочкин. С водой как с огнем. Рассказ гидростроителя (Литературная запись Ю. Капусто).
 В. Бубнис. Цветение несаяной ржи. Роман. Перевод с литовского.
 Б. Васильев. Были и небыли. Роман. Книга первая.
 А. Вознесенский. Стихи.
 Р. Гамзатов. Из новых стихов. Перевод с аварского.
 М. Громов. Через всю жизнь. Воспоминания.
 И. Гронский. 1917 год. Записки солдата. Воспоминания.
 Е. Евтушенко. Из новой книги. Стихи.
 В. Елисеева. Так оно было.
 С. Капутикян. Меридианы сердца и души. Перевод с армянского. Из дневника.
 И. Кон. Открытие «я». Историко-психологический этюд.
 А. Крон. Бессонница. Роман.
 Ю. Кузнецов. Новые стихи.
 М. Лисянский. Стихи.
 М. Львов. Портрет. Стихи.
 Письма Марины Цветаевой Максимилиану Волошину.
 М. Прилежаева. Осень. Повесть.
 Р. Рождественский. Байкальская баллада. Стихи.
 М. Рощин. Воспоминание. Повесть.
 Ю. Рытхэу. Конец вечной мерзлоты. Роман.
 Ю. Скоп. Техника безопасности. Роман.
 Ч. П. Сноу. Хранители мудрости. Роман. Перевод с английского.
 Е. Старикова. Жить и помнить. Заметки о прозе Распутина.
 М. Храпченко. Литература и искусство в современном мире.
 М. Шагинян. Человек и время. Воспоминания. Часть пятая.
 И. Шкляревский. Из книги «Неназванная сила». Стихи.
 В. Шленский. Из стихов о Севере.
 С. Щипачев. Перевалы. Поэма.

1978

- Ф. Абрамов. Дом. Роман.
 В. Астафьев. Четыре коротких рассказа.
 Л. И. Брежнев. Малая земля. Возрождение. Целина.
 К. Ваншенкин. Из лирики.
 Б. Васильев. Были и небыли. Роман. Книга вторая. Часть первая.
 Е. Винокуров. Стихи.
 Ю. Гейко. Запахи детства.
 Э. Генри. Первые шаги.
 А. Гидаш. Стихи. Перевод с венгерского.
 И. Грекова. Кафедра. Повесть.
 Е. Евтушенко. Голубь в Сантьяго. Повесть в стихах.
 В. Каверин. Двухчасовая прогулка. Роман.
 А. Каплер. Строка в старой записной книжке.
 В. Катаев. Алмазный мой венец.
 А. Кешоков. Четыре стихотворения. Перевод с кабардинского.
 В. Кобыш. Жить, как по телевизору.
 В. Лидин. Страницы полдня.
 В. Липатов. Повесть без названия, сюжета и конца...
 Е. Лопатина. Если оглянуться на сделанное (Набережные Челны).
 М. Луконин. Быть с веком наравне. Размышления о современной поэзии. Из литературного наследия.

- Д. Маковицкий. Последние дни Л. Н. Толстого. Из яснополянских записок.
 А. Метченко. На собственной основе.
 С. Наровчатов. Стихи.
 П. Нилин. Впервые замужем. Рассказ.
 А. Овчаренко. Размышляющая Америка.
 Л. Озеров. Новые стихи.
 С. Орлов. Стихи.
 Д. Самойлов. Из пярнских элегий. Среда шумного бала. Стихи.
 Б. Слуцкий. Стихи.
 Стихотворения Вольтера. Из литературного наследия.
 О. Сулейменов. Цикл «Старые мастера». Стихи.
 Ю. Суровцев. Мир души человеческой. Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов.
 Л. Н. Толстой. Из неопубликованного.
 С. А. Толстая. Моя жизнь.
 Ч. Чаплин. «Я приветствую тебя, Россия!»
 М. Шагинян. Человек и время. Воспоминания. Части шестая—восьмая.
 В. Шубкин. Пределы.

1979

- Ю. Азаров. Диалог. Заметки о Бенджамине Споке и о современных проблемах воспитания.
 А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга вторая.
 М. Бажан. Памятник Лесе Украинке в Саскатуне. Стихотворение. Перевод с украинского.
 О. Берггольц. Звезда умрет — сиянье мчится... Из литературного наследия.
 Александр Блок и его неизданные письма. Из литературного наследия.
 В. Боков. У памятника Ленину. Стихи.
 П. Бровка. Стихи. Перевод с белорусского.
 Р. Валеев. Земля городов. Роман.
 К. Ваншенкин. Из книги «Поздние яблоки». Стихи.
 Ф. Видрашку. Не найдется ли у вас розового слона с голубыми ушами? Рассказ.
 Е. Винокуров. Из цикла «Мифы». Стихи.
 И. Герасимов. Предел возможного. Роман.
 А. Гидаш. Друзья-поэты. Стихи. Перевод с венгерского.
 Н. Глазков. Магаданская область. Стихи.
 Д. Гловер. Бессмертный Ленин. Перевод с английского.
 Ю. Друнина. Из новых стихов.
 В. Жуков. Новые стихи.
 Из наследия Розы Люксембург.
 Й. Кадлец. Виола. История, почти забытая. Перевод с чешского.
 Г. Кант. Остановка в пути. Роман. Перевод с немецкого.
 А. Карелин. Сейсмический пояс. Повесть.
 М. Карим. Не бросай огонь, Прометей! Трагедия в шести картинах. Перевод с башкирского.
 В. Карпов. Вспоминая Овечкина...
 Р. Киреев. Победитель. Роман.
 Ю. Крелин. На что жалуетесь, доктор? Повесть.
 Ю. Кузьменко. В конце века (Советская литература: годы восьмидесятые—девяностые). Меж городом и селом.
 Л. Лавлинский. В столетии суровом. Стихи.
 В. Лидин. Страницы полдня.
 Н. Макарова. Короткие рассказы.
 Э. Межелайтис. Из цикла «Индийский орнамент». Перевод с литовского.
 А. Межиров. Из новой книги. Стихи.
 А. Михайлов. Этюды о поэзии.
 К. Некрасова. Баллада о прекрасном. Стихи. Из литературного наследия.

В. Овчинников. Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах.

- А. Рекемчук. Нежный возраст. Роман.
- Б. Слуцкий. Новые стихи.
- Дж. Стейнбек. Заблудившийся автобус. Роман. Перевод с английского.
- В. Тендряков. Расплата. Повесть.
- М. Цветаева. Повесть о Сонечке. Часть вторая.
- Ю. Черниченко. Отпуск с Будвитисом. Очерк.
- В. Чуйков. Миссия в Китае. Записки военного советника.
- С. Щипачев. Опять весна. Играет оркестр. Стихи.
- Г. Эмин. Из лирики. Перевод с армянского.

1980

- Ч. Айтматов. И дольше века длится день. Роман.
- М. Алигер. Новые стихи.
- Г. Аполлинер. Перевод с французского. Из литературного наследия.
- Т. Аргези. Когда венчаются с железом жгучим клещи. Стихи. Перевод с румынского.
- Е. Батенчук. Долгой тебе жизни, КамАЗ! (Набережные Челны).
- Л. Божин. Мастер дизайна. Рассказ.
- К. Ваншенкин. «Там, где Семеновский полк...». Рассказ.
- Б. Васильев. Были и небыли. Роман. Книга вторая. Часть вторая.
- Е. Винокуров. Из цикла «Мифы». Стихи.
- А. Вознесенский. Андрей Полисадов, история. Стихи. Мне четырнадцать лет... Из дневника.
- Всегда открытое лицо. Из переписки писателя-публициста В. Я. Канторовича и ленинградского слесаря С. Г. Солипатрова.
- Р. Гамзатов. Батырай. Перевод с аварского.
- Ю. Гейко. Сайга. Повесть.
- Э. Генри. Неофашизм подымает голову.
- Д. Гранин. Картина. Роман.
- С. Дангулов. Заутреня в Рапалло. Роман.
- Ю. Друнина. «Ноль три». Стихи.
- А. Зверев. Предчувствие эпики. Латиноамериканская проза и пути современного романа.
- Н. Иванов. Когда приходит старость. Очерк.
- Е. Кибрик. Всегда открытие.
- А. Клибанов. «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!» (К 600-летию Куликовской битвы).
- С. Кондрашов. Прикосновение к Хиросиме.
- В. Крупин. Живая вода. Повесть.
- Н. Крымова. Этот странный, странный мир театра.
- Д. Лихачев. Заметки о русском.
- Н. Михайлов. Павел Корин.
- Ю. Нагибин. Итальянская тетрадь.
- С. Наровчатов. Абсолют. Рассказ. Стрельба по безоружным. Из воспоминаний сорокалетней давности.
- Ф. Новиков. Четыре этюда о зодчестве.
- В. Орлов. Альтист Данилов. Роман.
- Б. Пастернак. Начало прозы 36 года. Из литературного наследия.
- М. Петровых. Стихи разных лет. Из литературного наследия.
- В. Попов. Тихая заводь. Роман.
- Г. Резниченко. Трудный выбор. Последние американцы. Очерки.
- Е. Ржевская. Ближние подступы. Записки военного переводчика.
- М. Садовяну. О всемирном значении классической русской и советской литературы. Перевод с румынского.
- Н. Самвелян. Час «Очакова».
- Д. Самойлов. Память. Стихи.
- Свидетельствует Курт Бахман. Перевод с немецкого.

- М. Стур у а. Цвета времени в Батон-Руже.
 Ф. Таурин. Каменщик революции. Повесть о Михаиле Ольминском.
 Н. Тихонов. Из неопубликованной лирики.
 У. Фолкнер. Авессалом, Авессалом! Роман. Перевод с английского.
 Ю. Черняков. Пространство для маневра. Повесть.

1981

- А. Адамович, Д. Гранин. Блокадная книга. Часть вторая.
 Ю. Азаров. Трудный случай.
 А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга третья.
 А. Бесчастнов. Чекисты против «Эдельвейса».
 А. Бочаров. Рождено современностью.
 Л. И. Брежнев. Воспоминания.
 К. Ваншенкин. Из лирики.
 Г. Васильев. Расколотый остров. Ирландские репортажи.
 В. И. Вернадский в настоящем и будущем.
 Ф. Видрашку. Встречи. Заметки о русском языке.
 Е. Винокуров. На запад. Поэма.
 А. Вознесенский. Яблокопад. Стихотворение.
 И. Волгин. Последний год Достоевского.
 Л. Гинзбург. Разбилось лишь сердце мое. Роман-эссе.
 И. Грекова. Вдовый пароход. Повесть.
 Б. Гусев. Открытие. Несколько сцен из деловой жизни.
 Н. Евдокимов. Происшествие из жизни Владимира Васильевича Махонина.
 Повесть.
 Ф. Искандер. Бригадир Кязым. Рассказ.
 В. Камянов. Классика экзаменует. Проблема «проходного балла».
 А. Каштанов. Коробейники. Повесть.
 Я. Козловский. Три стихотворения.
 М. Колосов. Три круга войны. Роман.
 В. Крупин. Колокольчик. Рассказ.
 К. Кулиев. Беспокойство. Стихи. Перевод с балкарского.
 В. Лидин. Друзья мои — книги. Новые главы. Из литературного наследия.
 Ю. Нагибин. О ты, последняя любовь!.. Рассказ.
 С. Наровчатов. Диспут. Рассказ.
 И. Нонешвили. Цветы Эллады. Стихи. Перевод с грузинского.
 С. Островой. Стихи.
 В. Панова. Который час? (Сон в зимнюю ночь). Роман-сказка.
 Письма А. Твардовского Б. Ирину.
 В. Поволяев. Место под солнцем. Рассказ.
 Г. Поженян. Мост. Стихи.
 Г. Пряхин. Интернат. Повесть в записках.
 Г. Резниченко. Причастен ко всему. Очерк.
 Г. Семенов. Рассказы.
 Ч. Сноу. Лакировка. Роман. Перевод с английского.
 Ю. Трифонов. Опрокинутый дом. Рассказы.
 М. Турсунзаде. Песня о мире. Стихи. Перевод с таджикского.
 К. Феоктистов, И. Бубнов. Первый пилотируемый... Главы из книги.
 Б. Харчук. Материнская любовь. Диптих. Перевод с украинского.
 О. Челидзе. Баллада о старом доме. Стихи. Перевод с грузинского.
 Ю. Черниченко. Наука и земледелец. Очерк.
 Г. Чоккой. Возраст. Отрывок из поэмы. Перевод с молдавского.
 М. Шагинян. Лето в Баббакуме.
 Е. Яковлев. Гражданин и время. До чего же трудно хорошо работать! Очерки.

1982

- Ф. Абрамов. Рассказы.
 Ю. Азаров. Самое человеческое. Записки о нравственном воспитании.
 В. Бубнис. Час судьбы. Роман. Перевод с литовского.

- И. Бубнов. Пред будущим мы только дети.
- Б. Вагабзаде. Моей стране. Стихи. Перевод с азербайджанского.
- Б. Васильев. Вы чье, старичье? Рассказ.
- Ф. Видрашку. Набережная Надежды. Современные челнинские картины.
- А. Вознесенский. О.
- А. Вольф. Арагонитовый туман.
- Г. Герасимов. Физиогномика ядерного Марса.
- Д. Гранин. Ты взвешен на весах... Рассказ.
- А. Дементьев. Три стихотворения.
- И. Друцэ. Белая церковь. Роман.
- Е. Евтушенко. Мама и нейтронная бомба. Поэма.
- Н. Задорнов. Гонконг. Роман.
- В. Каверин. Верлиока. Сказочная повесть.
- С. Капустикян. На стыке веков и века. Из дневника.
- В. Карпов. Полководец. Документальная повесть. Часть первая.
- В. Катаев. Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим.
- Я. Козловский. Наш союз разноплеменный. Стихи.
- В. Конотоп. Дорожить землей.
- А. Кривонос. Провинция. Повесть.
- Ф. Кузнецов. «Нигилизм» и нигилизм. О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева.
- А. Левиков. Горькая сладкая жизнь. Очерк.
- А. Межиров. Огни. Стихи.
- С. Наровчатов. «Во Имя...». Из литературного наследия.
- К. Некрасова. Стихи. Из литературного наследия.
- А. Овчаренко. Размышляющая Америка.
- Письма А. Н. Толстого брату Сергею Николаевичу. Из литературного наследия.
- Г. Прякин. День и час. Повесть.
- П. Ребрин. Улица воспрянувших. Очерк.
- А. Рекемчук. Тридцать шесть и шесть. Роман.
- И. Роднянская. Предчувствия и память.
- М. Рощин. Шура и Просвирия. Маленькая повесть.
- Д. Самойлов. Три стихотворения.
- В. Соколов. Вальс. Стихи.
- Р. П. Уоррен. Потоп. Роман. Перевод с английского.
- К. Феоктистов, И. Бубнов. В ближнем и дальнем космосе.
- Что с Америкой? Диалог В. И. Кобыша и Г. А. Арбатова.
- М. Шагинян. 50 писем Д. Д. Шостаковича.
- З. Шейнис. Страницы жизни Коллонтай.
- Г. Шергова. Смертный грех. Поэма.
- И. Штемлер. Универмаг. Роман.
- М. Ярошевский. Встречи с Орбели. Воспоминания.

1983

- И. Абашидзе. Высший дар. Стихи. Перевод с грузинского.
- В. Архангельский. Свет над Дорой.
- А. Белей. Линия. Повесть.
- Я. Белинский. Голос Анголы. Стихи.
- В. Боков. Новые стихи.
- П. Боцу. Стихи. Перевод с молдавского.
- Л. И. Брежнев. Главы из книги «Воспоминания».
- К. Ваншенкин. Из лирики.
- А. Вергелис. Из книги «Волшебство». Стихи. Перевод с еврейского.
- Е. Винокуров. Из книги «Космогония». Стихи.
- А. Вознесенский. О пропорциях. Стихи.
- Е. Воробьев. Самая трудная должность. Воспоминания.
- Ю. Гейко. Испытание. Повесть.

- Э. Гежри. Заговор против Европы.
 И. Герасимов. Пробел в календаре. Роман.
 Я. Голованов. Звездные электростанции.
 Г. Грин. Почетный консул. Роман. Перевод с английского.
 Два стихотворения Марины Цветаевой.
 И. Дедков. О судьбе и чести поколения.
 Н. Доризо. Третья дуэль. Трагедия в трех действиях.
 С. Иванов. Из жизни Потапова. Роман.
 Ю. Казаков. Мальчик из снежной ямы. Из литературного наследия.
 В. Карпов. Полководец. Документальная повесть. Часть вторая.
 А. Крон. Капитан дальнего плавания. Повесть о друге.
 М. Кульчицкий. Неуспокоенность. Стихи. Из литературного наследия.
 С. Михалков. Новые басни.
 Ю. Нагибин. Болдинский свет. Рассказ.
 С. Наровчатов. «Стихов пишу мало — наступление было» (Письма матери с фронта).
 Ф. Новиков. Единство и крайности архитектуры.
 Л. Озеров. Земная ноша. Стихи.
 В. Осипов. Воспитание Тюменью.
 Ю. Островитянов. Критика без надежды (Социологический пессимизм и неомарксизм).
 Д. Дж. Планкетт. Один зеленый цвет. Рассказ. Перевод с английского.
 Н. Плотников. Маршруты Эдуарда Райнера. Повесть.
 А. Приставкин. Городок. Роман.
 А. Проханов. «В островах охотник...». Кампучийская хроника.
 Г. Резниченко. Болгарские огороды. Очерк.
 Р. Рождественский. Перед грозой. Стихи.
 В. Росляков. Уренгой—Запад.
 А. Сахнин. Неотвратимость. Повесть.
 Г. Семенов. Городской пейзаж. Повесть.
 В. Тушнова. Поэма памяти. Из литературного наследия.
 В. Цыбин. Из цикла «Пробуждение». Стихи.
 О. Чайковская. Соперница времени.
 Ю. Черниченко. Комбайн косит и молотит. Очерк.
 Ю. Черняков. Бригада. Повесть.
 А. Щекин-Кротова. Становление художника. Воспоминания.
 Ю. Эдлис. Жизнеописание.
 Н. Эйдельман. «Последний летописец». Главы из книги.

1984

- Ф. Абрамов. Наедине с природой. Из литературного наследия.
 Ф. Алиева. Чистый ключ. Стихи. Перевод с аварского.
 А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книга четвертая.
 Л. Аннинский. Ржаной хлеб летописца.
 В. Астафьев. Медвежья Кровь. Рассказ.
 Г. Балл. Тетя Шура, старый актер и остальные. Повесть.
 Ю. Бондарев. Мгновения.
 А. Боске. Стихи. Перевод с французского.
 Я. Брыль. Проблески. Рассказы. Перевод с белорусского.
 Е. Будинас. Дом в сельской местности. Очерк.
 У. Голдинг. Чрезвычайный посол. Повесть. Перевод с английского.
 О. Гончар. Из новых рассказов. Перевод с украинского.
 Д. Гранин. Еще заметен след. Повесть.
 Г. Грасс. Местная анестезия. Роман. Перевод с немецкого.
 А. Громыко, В. Ломейко. Сон разума рождает чудовищ.
 Д. Дидро. Стихи. Перевод с французского.
 А. Довженко. «Красота, которой мы служили...» Из литературного наследия.
 И. Драч. Отчий кров. Стихи. Перевод с украинского.
 М. Дудин. Из цикла «Записки на память».

- В. Еременко. Бутьласков. Рассказ.
О. Ждан. Два рассказа.
А. Жуков. Повод. Повесть.
М. Зошенко. Из писем и дневниковых записей (1917—1921 гг.).
Зульфийа. Ночь песен полна. Стихи. Перевод с узбекского.
А. Имерманис. Латвия. Стихи. Перевод с латышского.
М. Исаев. Моим радаром, сердце, будь. Стихи. Перевод с болгарского.
В. Каверин. Летящий почерк. Повесть.
Р. Казакова. Из монгольского дневника. Стихи.
В. Карпов. Полководец. Документальная повесть. Часть третья.
А. Каштанов. Другой человек. Повесть.
А. Кешоков. Стихи. Перевод с кабардинского.
Я. Козловский. Десять стихотворений.
Л. Леонов. Мироздание по Дымкову. Фрагмент из романа.
М. Лисянский. Это наш насущный день.
В. Литвинов. Шолоховские уроки. Над страницами «Донских рассказов».
Л. Лиходеев. Сентиментальная история. Роман.
В. Маканин. Где сходилось небо с холмами. Повесть.
А. Малдонис. Из новой книги. Стихи. Перевод с литовского.
В. Мещеряков. Загадка Грибоедова.
В. Муссалитин. Три рассказа.
А. Никитин. Третий сектор. Очерк.
А. Никитин. Испытание «Словом...».
С. Образцов. По ступенькам памяти.
В. Овчинников. Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием.
Г. Оганов. Экран для бизнеса.
Б. Олейник. Родная земля. Стихи. Перевод с украинского.
Н. Паклин. Внучка Толстого вспоминает.
В. Пальман. Неоплаченный долг. Очерк.
Е. Парнов. Сатанинский круг.
А. Преловский. Большая родина. Стихи.
Е. Ржевская. Ворошенный жар. Повесть.
Н. Самвелян. Век наивности. Рассказ.
И. Скала. Новые стихи. Перевод с чешского.
С. Смирнов. Жигули, мои вы Жигули!.. Поэма.
В. Соколов. Новые стихи.
Н. Старшинов. Пять стихотворений.
Е. Суворов. Совка. Повесть.
И. Тарба. Из новой книги «Волна и вершина». Стихи. Перевод с абхазского.
Л. Фейхтвангер. «...я-то не изменился...». Из литературного наследия.
Р. Харис. Узлы. Стихи. Перевод с татарского.
В. Цветов. Якудза.
В. Щербицкий. Восхождение.
-

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



РОЯЛИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные сочинения. В 10-ти тт. Т. 1. 1894—1900. 569 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ж. Аройо. Экономические противоречия при социализме. Сущность, проявления, разрешение. Перевод с болгарского. 223 стр. Цена 75 к.

И. Бестужев-Лада. Молодость и зрелость. Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи. 207 стр. Цена 35 к.

Развитой социализм. Сборник документов и материалов. 600 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Левашов. Билет до Байкала. Роман. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Преловский. Вековая дорога. Свод поэм. 1974—1983. 272 стр. Цена 1 р. 20 к.

Д. Тароцци. Верди. Сокращенный перевод с итальянского. («Жизнь замечательных людей») 352 стр. Цена 2 р. 60 к.

В. Цыбин. Зной. Лирика. 126 стр. Цена 55 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Карденаль. Час ноль. Стихи. Перевод с испанского. 175 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Мандзони. Обрученные. Миланская хроника XVII века, найденная и обработанная ее издателем. Перевод с итальянского. 622 стр. Цена 3 р. 20 к.

Г. Саттон. Гром среди ясного неба. Роман. Перевод с английского. 278 стр. Цена 1 р. 90 к.

Ураган. Рассказы мозамбикских писателей. Перевод с португальского. 207 стр. Цена 1 р. 30 к.

«РАДУГА»

Американская романтическая проза. На английском и русском языках. 523 стр. Цена 3 р.

А. Ла Гума. Скитания в ночи. И нитка, второе скрученная. Каменная страна. В конце сезона туманов. Время сорокопута. Повести. Перевод с английского. 623 стр. Цена 3 р. 80 к.

Ночная птица. Современная проза Бенгалии. Перевод с бенгальского. 335 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Яшин. Избранные стихотворения. На английском с параллельным русским текстом. 183 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Вампилов. Прощание в июне. Пьесы. 320 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Гордейчев. В кругу родимом. Новая книга лирики. 111 стр. Цена 70 к.

Ф. Каманин. Пиши ты больше про наши Ивановичи. Рассказы. 375 стр. Цена 1 р. 50 к.

О. Чиладзе. Железный театр. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 80 к.

ВОЕНИЗДАТ

Б. Грибанов. Пуля для президента. Документальная повесть. 133 стр. Цена 25 к.

А. Рыбин. Рубеж. Роман. 262 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Яковенко. Партизанские орлята. 336 стр. Цена 55 к.

«НАУКА»

П. Балашов. Писатели-реалисты XX века на Западе. Очерки жизни и творчества. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Долин. Очерки современной японской поэзии (гэндайси). 310 стр. Цена 1 р. 80 к.

Проблемы структурной лингвистики. 1982. 248 стр. Цена 2 р. 20 к.

Б. Якушин. Гипотезы о происхождении языка. 136 стр. Цена 50 к.

«ИСКУССТВО»

С. Андросов. Андреа Верроккьо. 1435—1488. 289 стр. Цена 2 р. 30 к.

Виды искусства в социалистической художественной культуре. 256 стр. Цена 1 р. 40 к.

Государственная Третьяковская галерея. Каталог живописи XVIII — нач. XX в. (до 1917 г.). 719 стр. Цена 4 р. 80 к.

Т. Еремеева. В мире театра. 238 стр. Цена 1 р. 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

К. Баллов. Поезда идут из детства. Рассказы. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 320 стр. Цена 1 р. 70 к.

Бердах. Избранная лирика. Перевод с каракалпакского. («Избранная лирика Востока») Ташкент. Издательство КП Узбекистана. 107 стр. Цена 65 к.

Я. Брыль. Поиски слова. Миниатюры и лирические записи. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 509 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Росляков. Московские повести. М. «Московский рабочий». 336 стр. Цена 1 р. 40 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 17.10.84 г. Подписано к печати 05.12.84 г. А 02583.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ л.)
27.12 уч.-изд. л.

Тираж 430.000 экз. (1-й завод 1—246.000 экз.) Зак. 3712.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636